

Звезда

2015/4

Владимир Набоков
Дар. II часть

Игорь Ефимов
Стремление к счастью.
Исторический роман

Али Хашагульгов
Стихи. Перевод с ингушского



Звезда

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1924 года

2015/4

Санкт-Петербург

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Роскомнадзора ПИ № ФС77-45485 от 22 июня 2011 г.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ЖУРНАЛ «ЗВЕЗДА». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Я. А. ГОРДИН

Общественный совет журнала «Звезда»

Б. В. АНАНЫЧ, историк, академик РАН; **В. Е. БАГНО**, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом); **О. В. БАСИЛАШВИЛИ**, народный артист России; **А. М. ВЕРШИК**, доктор физико-математических наук, профессор; **Н. Б. ВАХТИН**, доктор филологических наук, профессор; **Д. А. ГРАНИН**, писатель; **Л. А. ДОДИН**, народный артист России, главный режиссер Малого драматического театра — Театра Европы; **М. П. ПЕТРОВ**, доктор физико-математических наук, профессор; **М. Б. ПИОТРОВСКИЙ**, член-корреспондент РАН, директор Государственного Эрмитажа; **С. М. СЛОНИМСКИЙ**, композитор, народный артист России; **Э. А. ТРОПП**, доктор физико-математических наук, профессор.

Редакционная коллегия:

К. М. АЗАДОВСКИЙ, **Е. В. АНИСИМОВ**, **А. Г. БИТОВ**,
Вяч. Вс. ИВАНОВ, **И. С. КУЗЬМИЧЕВ**, **А. С. КУШНЕР**, **А. И. НЕЖНЫЙ**,
Жорж НИВА (Франция), **Г. Ф. НИКОЛАЕВ**, **В. Г. ПОПОВ**,
А. Б. РОГИНСКИЙ, **И. П. СМИРНОВ** (Германия)

Редакция:

Соредакторы: **А. Ю. АРЬЕВ**, **Я. А. ГОРДИН**

Е. Ю. КАМИНСКИЙ (проза)
И. А. МУРАВЬЕВА (публицистика)
А. А. ПУРИН (поэзия, критика)
Зам. гл. редактора **В. В. РОГУШИНА**

Зав. редакцией **Г. Л. КОНДРАТЕНКО**. Отв. секретарь **А. А. ПУРИН**
Корректоры: **А. Ю. ЛЕОНТЬЕВ**, **О. А. НАЗАРОВА**, **Н. В. НЕСТЕРОВА**
Зав. компьютерно-информационным отд. **Е. Ф. КУПРИАНОВ**
Верстальщик **В. М. БЕРДНИК**

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Звезды» запрещена.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются; в переписку по их поводу редакция не вступает. Материалы в электронном виде (в т. ч. присланные по e-mail) не рассматриваются.

Информацию о журнале «Звезда» и материалы из всех номеров журнала можно найти в Интернете по адресу: <http://www.zvezdaspb.ru>
<http://magazines.russ.ru/zvezda/>

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48,
зав. редакцией — (812) 273-37-24, бухгалтерия — (812) 272-18-15
редакция — (812) 272-71-38, отдел реализации — (812) 273-37-24
факс — (812) 273-52-56.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29. 12. 2010 г. (гл. 3, ст. 11, п. 4, пп. 5)
знак информационной продукции не ставится.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

ИЗ ЦИКЛА «БЕЗЫМЯННЫЙ ПОЛУСТАНОК»

1

Блеклое какое-то, облезлое,
дымное какое-то все, пыльное
чахлое, никчемное, нетрезвое.
Пузырится снег, как пена мыльная.
Сальное, глухое, нездоровое,
Квелое какое-то, ледащее...
Женщина какая-то безбровая
тянет в санках чадо голосащее.
А под вечер с четверга на пятницу
всё какой-то у кафе закрытого
призрак бродит, бормоча невнятицу —
не из Манифеста ли забытого?..
Ну каких таких идей бессмертие?
Боже мой, как тяжело жизнь придушена!
Ключ в замке ржавеет два столетия,
на щеколде сломана проушина...
Чем здесь жить, как выжить? — пить и маяться,
каяться и над собой куражиться...
Ничего на свете не меняется,
ничего не ладится, не вяжется.

2

Ну, давай, забывай, забывай
все, что было когда-то с тобой.
Ну, давай, сочиняй, сочиняй
жизнь чужую, тебе не впервой.

Александр Вадимович Фролов (род. в 1952 г.) — поэт, прозаик. Автор книг: «Обратный отсчет» (СПб., 1993), «Обстоятельства места» (СПб., 1998), «Для кого этот росчерк?..» (СПб., 2003), «Час Совы» (СПб., 2009), «...И другие стихи» (СПб., 2012). Проза публиковалась в альманахе «Крещатик» и в журнале «Зинзивер». Живет в С.-Петербурге.

Тихий ад, чахлый сад, дряхлый дом,
не твоих ребятишек орда...
У Обломова справься о том,
как сливается жизнь в никуда.

Что блазнит, уводя за края
прежней страсти в глухой уголок? —
простодушная дива твоя,
круглый, в ямочках весь, локоток.
Кулебяка и липовый чай...
И очерчен судьбы окоём.
Ну, давай, засыпай, засыпай,
забывайся беспамятным сном.

3

Не заглушая дрели свирепый звук,
зяблик-красавчик тянет свое «пинь-пинь»
Выйдешь в проулок — себя пожалеешь вдруг;
взгляд упирается в бедность, куда не кинь...

Ладит штaketник сосед, в сердцах матерясь.
Как-то здесь всё вразвалку, всё вкривь и вкось.
А с ноября по апрель такая грязь,
что и соседский «жигуль» застрял по ось.

Без остановки, гуднув надсадно и зло,
вестником прошлого прогрохотал состав...
Не повезло тебе, брат? А кому повезло?
Жизни осталось в пространстве двух-трех октав.

Ладно, да что там уже, жалей — не жалей:
Ну, сузился мир до надоевших примет...
А все-таки — зяблик!.. А по ночам соловей
сводит свои коленца в любовный бред.

4

Выйдет за полночь тихим, тверезым
покурить перед сном на крыльцо,
и к осенним искрящимся звездам
запрокинет худое лицо.
Что он видит, мой бедный товарищ,
взгляд свой вперив в надлунную высь?
— Как живешь, — говорю, — поживаешь?
— Все путем, — говорит, — зашибись!

А сентябрьское ясное небо
сыплет иглы холодных лучей...
— Вот что был, — говорит он, — что не́ был;
и не Божий уже, и ничей.

Знать бы, что всех нас ждет за порогом?
Может быть, ничего, кроме тьмы.
Если все это создано Богом,
то при чем здесь какие-то мы?

Он закурит свою сигарету.
— Звезд-то! — выдохнет. — Вот благодать!
Загадал бы желанье, да нету —
не желания — воли желать.

5

«Он проносится так, что вагоны не сосчитать, —
говорил мне обходчик, сжимая желтый флажок. —
Впечатленья такое, что время пустилось вспять
или сам ты со страшной скоростью куда-то вбок
устремился. Может быть, в большие те города,
те бессонные, где ночами не гасят свет...»
— Ты хотел бы отсюда уехать туда? — О, да!
— Ты однажды отсюда уедешь туда? — О, нет!

ИГОРЬ ЕФИМОВ

СТРЕМЛЕНИЕ К СЧАСТЬЮ

Париж, Монтиселло, Вашингтон

Исторический роман

ВЕСНА, 1785. ПАРИЖ

— Как? — воскликнул Джефферсон. — Вы готовы пропустить запуск нового воздушного шара братьев Монгольфье? Ваши внуки спросят вас: «Бабушка, неужели ты видела первые полеты человека по воздуху?» Что вы ответите им? «Да, я была в Париже, но не пошла посмотреть?»

Абигайль Адамс, прищурившись, вдела нитку в игольное ушко, сделала узелок, откусила хвостик и вернулась к важному делу — перелицовке своего платья для подростковой дочери.

— Мистер Джефферсон, дорогой Томас, мы вместе уже смотрели один запуск в сентябре — для меня довольно. Вся эта шумиха и балономания, охватившая Париж, слава Богу, пока проносится мимо моего семейства. Я своими глазами видела шляпы в форме летучих шаров, именами изобретателей называют новые танцы и прически, изображения рисуют на камзолах и плащах. Мое же отношение к происходящему определяется простым фактом: купить билеты на это модное зрелище для нас четверых будет стоить больше тридцати ливров. И я знаю, что мы не можем позволить себе такой расход, до тех пор пока Конгресс не увеличит жалование моему мужу.

Они сидели в саду, окружавшем большой полузаброшенный дом, арендованный Адамсами в парижском предместье Аутель. Каменные плиты тропинки едва были видны из-под прошлогодней подгнившей листвы, цветущие ветви

Роман публикуется в журнальном варианте.

Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г.) — издатель, прозаик, публицист, философ, автор многих книг прозы, философских и социальных исследований; лауреат премии журнала «Звезда» за 1996 г. (роман «Не мир, но меч»). Живет в США.

апельсиновых деревьев нависали над потрескавшейся оградой, заросший кувшинками пруд был украшен давно бездействующим фонтаном. Внутри дома Адамсам удалось расчистить один этаж для жилья, в двух других десятки комнат оставались в состоянии романтического запустения. Бродя по ним, Джефферсон однажды попал в восьмиугольный зал, каждая стена которого представляла собой большое зеркало. Толпа собственных пыльных отражений потом несколько раз возвращалась к нему в сновидениях.

— Сегодня вы едете к доктору Франклину? — спросила Абигаиль. — Довелось вам уже встретиться там с неповторимой, возвышенной, талантливой, непревзойденной мадам Гельвециус?

— О, да! И не раз. Для вашего сарказма есть достаточно оснований. Но знаете, я заметил, что с мужчинами она ведет себя совершенно по-другому. Если же в комнате появится дама, она начинает двигаться и говорить в три раза быстрее — видимо, чтобы не оставить сопернице просвета ни в пространстве, ни во времени.

— Через месяц после нашего приезда в Париж добрый доктор Франклин сказал, что хочет представить нас лучшей женщине в мире, воплощению французского обаяния, предельно раскованной, свободной от светских условностей. Мадам Гельвециус, войдя в зал и увидев меня и Нэби, вскричала: «Боже мой, где Франклин? Почему меня не предупредили, что здесь женщины? Как я выгляжу?» Появившегося хозяина дома эта шестидесятилетняя кокетка немедленно облобызала в обе щеки и в лоб. За обедом она сидела между доктором и моим мужем, закидывала руки на спинки их кресел, время от времени обнимала доктора за шею. Если все это называется «раскованностью», то что же мы назовем распушенностью и вульгарностью?

— Я тоже поначалу был шокирован многими непривычными для нас манерами и всем стилем французской жизни. Другая поклонница доктора Франклина, мадам Бриллон, развлекающая его музыкой и пением, взяла за правило время от времени садиться к нему на колени, даже в присутствии своего мужа. Впрочем, говорят, что муж не возражает, потому что имеет много утешений на стороне.

— Мы с вами вот-вот утонем с головой в болоте сплетен. Но согласитесь, что количество бастардов вокруг нас — пугает. Хорошо, внебрачный сын доктора Франклина явился плодом юношеского увлечения и вырос серьезным человеком, стал губернатором Нью-Джерси. Но почему так должно было случиться, что и его сын родился вне брака? Сейчас — это любимый внук нашего доброго доктора, для которого он пытается выхлопотать место секретаря при посольстве. Если мы будем так небрежно относиться к святости брачных уз, не ждет ли Америку судьба Парижа, в котором оперируют пятьдесят тысяч проституток? Директриса сиротского приюта Святых сестер сказала мне, что каждый год к ним поступает до шести тысяч подкидышей.

— Кроме брачных отношений есть большая разница и в отношении к труду. В Америке мы привыкли считать нормальным и похвальным, что человек проводит свои дни в полезных занятиях, а для досуга ему остаются выходные и праздники. И доктор Франклин всю жизнь не стеснялся демонстрировать окружающим свое трудолюбие и целеустремленность. Но во Франции он пытается скрывать эти достоинства. Потому что французы ведут себя так, будто жизнь должна проходить в погоне за удовольствиями и развлечениями, а любое отклонение от этой цели считают проявлением дурного вкуса.

— И это не только в светском обществе! — воскликнула Абигаиль. — Посмотрите на слуг! Кучер скажет, что он занимается исключительно коляской и лошадьми, а убрать навоз с дорожки — дело дворника. Дворник скажет, что передвинуть стол из одной комнаты в другую — не его работа. Кухарка готовит обед, но требует, чтобы для мытья посуды наняли специальную помощницу. Мы вынуждены содержать в доме восемь слуг, и все они половину рабочего времени сидят без дела или сплетничают о хозяевах.

— Восемь слуг? А знаете ли вы, сколько слуг в доме английского посла? Пятьдесят! А у испанского — семьдесят пять. В Конгрессе не понимают, как дорога жизнь в Париже. Они воображают, что посол может прожить на жалованье в девять тысяч долларов, не роняя при этом престижа и достоинства страны, которую он представляет. На самом же деле...

Джефферсон чувствовал, что разговор опять может соскользнуть на опасную тему, но уже не знал, как свернуть. Бережливость и практичность Абигаиль Адамс были для него постоянным живым укором. Да, вирджинский сквайр оказался совершенно неготовым и беззащитным перед соблазнами огромного европейского города. Он привычно заносил в бухгалтерский журнал все свои расходы до мелочей, однако просуммировать их и сопоставить с размерами доходов откладывал на потом. В конце концов, откуда ему было знать, какие будут в этом году цены на табак, отправляемый его управляющими из Вирджинии в Европу? И сколько его удастся собрать с полей? Цифры дохода расплывались в розовом тумане грядущих месяцев и лет и не могли удержать от сегодняшних трат, каждой из которых находилось свое оправдание.

Хорошо, снять жилье в окрестностях Парижа стоило бы меньше той безумной арендной платы, которую он платил за дом в центре города. Но тогда ему пришлось бы тратить массу времени для поездок на деловые встречи — разве не так? А карета? Покупая ее, он не мог предвидеть, что ремонт обойдется так дорого, что внутренняя обивка из зеленой марокканской кожи доведет этот расход до пятнадцати тысяч ливров. Приятельница генерала Шастеллю, графиня де Брийон, любезно предложила дать рекомендацию двенадцатилетней Патси-Марте для поступления в престижную школу-пансион при монастыре Аббе-Ройаль де Пантеон. Правила школы обещали, что ученицы из протестантских стран не будут подвергаться никакой католической пропаганде. Только математика, география, литературные композиции, рисование, музыка, латынь, вышивание. Плата за обучение была немалая. Но образование любимой дочери — не та статья, на которой можно экономить.

За обучение Джеймса Хемингса искусству французской кухни тоже нужно было платить. Также ему, как и Патси, понадобилось купить новую одежду, обувь, шляпу, перчатки. Чтобы облик американского посланника соответствовал требованиям Версальского двора, пришлось обзавестись шелковыми рубашками, кружевными манжетами и жабо, парадной саблей. В стране, где внешний вид ценился выше всех внутренних достоинств, даже экономной Абигаиль Адамс пришлось нанять парикмахершу, укладывавшую прически ей и дочери Нэби.

Список трат возрастал неудержимо. Мебель для дома, клавикорды, струны для скрипки, канделябры, жалованье шести слугам, ящики бордо, картины, скульптуры... А книги! Парижские книготорговцы не могли нарадоваться на американского дипломата. Он покупал толстые тома по истории, философии,

юриспруденции, естествознанию не только для себя, но ящиками отправлял их друзьям в Америку — Мэдисону, Монро, доктору Рашу, генералу Вашингтону.

Сущим разорением были праздники и торжества, устраиваемые королевским двором. Чтобы явиться на прием, посвященный рождению наследника престола, Джефферсону пришлось заказать новый костюм из шелка. Летом двор переезжал в Версаль и цены на жилье в окрестностях тамошнего дворца подсакивали втрое. По протоколу дипломатический корпус должен был присутствовать на еженедельных банкетах по вторникам. Американцам приходилось после обеда уезжать из Версаля, и это вызывало презрительные усмешки за их спинами.

В поучительных письмах дочери Джефферсон наставлял ее не покупать ничего, на что бы у нее не было в тот момент наличных денег в кармане, предупреждал о мучительных переживаниях, связанных с любой задолженностью. Сам же погружался в пучину долгов с каждым месяцем. Кредит Америки стоял невысоко, и ему было все труднее находить покладистых французских банкиров. В какой-то момент Джон Адамс помог занять у банка в Амстердаме. Но это спасло не надолго. Оставалось лишь надеяться, что Континентальный конгресс откликнется наконец на вопли-призывы своих дипломатов и поднимет их оклады до приличного уровня.

Отец и сын Адамсы появились в саду после своей утренней прогулки оживленные, вспотевшие, разгоряченные спорами о судьбах Америки, Франции, мироздания, собственной семьи. На что решиться молодому Джону Квинси: искать должность секретаря посольства в Европе или вернуться в Массачусетс и поступить в Гарвардский университет?

— Папа, не ты ли всегда внушал мне, что лучший путь к независимости — образование? Конечно, жизнь в Европе, путешествие в Россию, овладение языками дали мне очень много. Но без диплома от хорошего университета я не смогу свободно выбирать тот жизненный путь, к которому будет тянуться моя душа.

За последние месяцы Джефферсон необычайно привязался к молодому Адамсу. В беседах с ним можно было непринужденно путешествовать по страницам мировой истории, поэзии, философии. Готовясь к поступлению в университет, он уже переводил на английский Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона, Цезаря, Аристотеля, Плутарха, Лукиана, Ксенофонта. Алгеброй, геометрией, арифметикой они занимались по вечерам вместе с отцом, а перед сном вся семья позволяла себе отдохнуть за партией в вист. Джефферсон уговорил молодого человека пользоваться его домом в Париже не стесняясь, обедать и ночевать в нем, когда это только будет ему удобно. Абилай он сознавался, что Джон-Квинси в какой-то мере воплотил для него мечту о собственном сыне.

Для утоления отцовских чувств в Париже у Джефферсона оставалась лишь дочь Марта-Патси. В первый месяц ее пребывания в пансионе Аббе-Ройаль он навещал ее там каждый день, потом — не реже раза в неделю, а в перерывах насыпал письмами с поучениями. Вдруг в январе маркиз Лафайет привез из Америки ужасное известие: Люси-Элизабет, оставленная в семье тетки, умерла от коклюша, не дожив до трех лет. Снова, как и после смерти жены, Джефферсон сделался так болен от горя, что Адамсы умоляли его обратиться к докторам, мо-

жет быть, даже прибегнуть к лечению магнетизмом, которое тогда завез в Париж знаменитый венский медик Мессмер.

К врачам Джефферсон не пошел, но твердо решил вызвать к себе во Францию Полли-Марию. Не обещал ли он умирающей Марте взять на себя всю заботу о дочерях? Семейство Марты Эппс он не мог обвинить в небрежности, та же болезнь в те же недели унесла их собственного ребенка. Но все равно, все равно! Полли-Мария должна быть с ним! Он отдаст ее в ту же школу-пансион, где учится Марта-Патси. И сестры будут поддержкой и утешением друг для друга.

Он написал письмо супругам Эппс с просьбой посадить девочку на корабль, как только начнется летняя навигация. И что же?! В ответ пришло несколько строчек аккуратных круглых букв, выведенных самой Полли-Марией, в которых семилетняя упрямец объявляла, что будет рада повидать отца и сестру, но для этого им надо приехать в Америку. О том же, чтобы она покинула дом любимых ею дядюшки и тетушки, не может быть и речи.

Последние недели безжалостная подагра не позволяла доктору Франклину вставать с постели, поэтому американским посланникам приходилось собираться для своих совещаний в его доме. Карета покрывала расстояние от Аутеля до Пасси за двадцать минут. По дороге Адамс не смог удержаться и опять начал жаловаться Джефферсону на трудности своих отношений с главой американской дипломатической миссии.

— Не понимаю, откуда он берет время заниматься делами. Встает поздно, завтракает долго, а после завтрака сразу начинается поток посетителей, как важных, так и тех, кто просто мечтает увидеть самого знаменитого американца. Приглашения на обеды — каждый день. Он любезно звал меня с собой, но с какого-то момента я начал придумывать отговорки, чтобы иметь время для писания необходимых писем, для занятий французским, для общения с семьей.

— Продолжал ли он здесь свои опыты с электричеством?

— Насколько мне известно — нет. Честно сказать, я не понимаю, почему эти наблюдения над молниями вызвали такой ажиотаж в Европе, принесли ему мировую известность.

— Мне кажется, человеку приятно отвоевывать у небожителей их прерогативы. Прометей прославился, похитив огонь, доктор Франклин — похитив молнии у Зевса-громовержца. На Прометея в наказание наслали орла, клюющего его печень. Не за открытие ли электричества боги наслали на бедного доктора подагру и камни в почках?

— При встречах с французскими и британскими дипломатами мы с ним ведем себя совершенно по-разному. Там, где я пытаюсь воздействовать на оппонента твердостью и доказательствами, он будет обольщать и уговаривать. Я стараюсь держаться принципов морали, он действует игривостью и юмором. Девять лет назад, по пути на встречу с британским генералом для переговоров, нам довелось ночевать в гостинице в одном номере. Мы проспорили полночи о том, что лучше: задыхаться в комнате с закрытым окном или замерзнуть — с открытым.

Колеса кареты простучали по деревянному мостику, утиное семейство с возмущенными воплями посыпалось в воды речушки.

— А рассказывал я вам о том, как была устроена его встреча с Вольтером во Французской академии? Оба прославленных мудреца согласились на это тор-

жество под большим напором. Они воображали, что им удастся ограничиться дружеским рукопожатием на глазах у публики. Не тут-то было! Вся аудитория начала скандировать: «Обнимитесь! Поцелуйтесь!» Что оставалось делать несчастным старикам? Они подчинились и облобызали друг друга. На следующий день газеты пестрели заголовками в стиле: «Жаркое объятие нового Солона с новым Софоклом».

«Новый Солон» приветствовал гостей, лежа в постели, помахивая одной рукой, придерживая костыль другой. Светлые глаза его поблескивали за стеклами двойных очков — его собственного изобретения, позволявшего то разглядывать посетителей, то переводить взгляд на строчки письма.

— Хотите послушать куплеты, которые прислала мне очаровательная и безжалостная мадам Бриллон? «Наш мудрец опять в постели! / Он мечтал о женском теле, / но врага в кровать впустил, / потому что много пил, / позволял себе паштеты / и креветок, и котлеты. / Враг-подагра тут как тут. / Его норы очень крут». Я должен сочинить в ответ какую-нибудь сатиру на нее и отпечатать на своем домашнем прессе. Например, о даме, пытавшейся вернуть меня на путь добродетели и воздержания, а вместо этого ввергнувшей в пучину греха и соблазна.

— Для вашего домашнего пресса, — сказал Адамс, — я бы очень рекомендовал книгу нашего друга, сидящего рядом со мной. Такая досада, что он отпечатал свои «Заметки о Вирджинии» тиражом всего лишь в двести экземпляров. Ее должны прочесть все культурные люди в Европе. Страницы о природе, об индейцах, о рабстве — на вес золота.

— Мистер Джефферсон, я был бы рад получить экземпляр. Открывать европейцам глаза на Америку — такая же важная задача, как и открывать посольства в их столицах. Год назад я опубликовал на французском и английском нечто вроде наставления тем, кто подумывает об эмиграции в Соединенные Штаты. Главная мысль: ехать стоит тем, кто готов заниматься нужными делами — торговлей, ремеслами, фермами, плавильнями. Тем, кто мечтает о быстром обогащении и беспечной жизни, в Америке делать нечего.

Вошедший слуга тем временем придвинул к постели широкий стол. Адамс и Джефферсон разложили на нем последние послания из других стран, проекты договоров, вырезки из газет. Весь последний год трое американских дипломатов пытались наладить прочные торговые связи с остальной Европой, но пока им удалось заключить конкретное соглашение только с Пруссией. Предстояло возродить разрушенную войной торговлю с Англией — но это представлялось возможным только после открытия американского посольства в Лондоне.

Другой постоянно всплывавшей темой на совещаниях была борьба с пиратством в Средиземном море и восточной Атлантике. Алжир, Тунис, Марокко, Триполи и другие мусульманские страны на севере Африки превратили охоту за торговыми судами в доходный бизнес. Пока Америка была частью Британской империи, английские фрегаты защищали ее корабли. Но после отделения этот щит исчез. Теперь британцы не без злорадства следили за печальной судьбой американских пленных моряков, попавших в рабство к африканцам. Потери конкурентов были выгодны английским купцам. Франклин любил повторять печальную шутку: «Если бы Алжир не существовал, Англии было бы полезно создать его».

Джефферсон, столкнувшись с этой проблемой, испытал одновременно два чувства: яростного возмущения и унижительной беспомощности. Пиратов даже не так интересовали захваченные товары, как пленники, за которых они требовали — и получали — выкуп. Пока деньги не поступали, моряков отправляли на адский труд в каменоломнях, где многие погибали. Конгресс сообщил, что в этом году он сможет выделить на выкуп только 80 тысяч долларов. В среднем это получалось по двести за человека. Алжирский бей рассмеялся в лицо американскому посланцу. Он требовал 6000 за капитана, 4000 за помощника и 1500 за простого моряка.

— Построить десять фрегатов, отдать их под команду адмиралу Полу Джонсу и послать патрулировать африканский берег! — горячился Джефферсон. — За каждое нападение на американский корабль — бомбардировать тот порт, из которого вышли пираты. Такие люди понимают только язык силы.

Миролюбивый Франклин не то чтобы возражал ему, но предлагал глубже исследовать мирные варианты.

— Я говорил много раз, повторю и еще раз: «Не бывает хороших войн, так же, как не бывает плохого мира». По всей истории человечества видно, что война есть самое дурацкое, разорительное и жестокое занятие из всех придуманных людьми. Насколько мне известно, многие средиземноморские страны сумели тайно договориться с пиратами и платят им постоянную дань, так сказать, выкуп заранее. Нужно отправить специального посланника, чтобы он выяснил, сколько запросит алжирский бей, марокканский султан и остальные за обещание оставить американские суда в покое.

Споры между Франклином и Адамсом вскипали вокруг другого вопроса. Адамс считал, что Америка ведет себя слишком уступчиво в отношениях с версальским двором. Да, Франция оказала огромную поддержку Соединенным Штатам в Войне за независимость, но делала она это, преследуя собственные интересы, стремясь ослабить своего вечного противника. Франклин же считал, что, несмотря на окончание военных действий, на Америке до сих пор лежит груз моральных обязательств и нет ничего зазорного в том, чтобы время от времени демонстрировать благодарность Людовику Шестнадцатому и его министрам. Иметь в Европе такого могучего союзника — важнейшее условие успеха американской дипломатии в Старом Свете.

— А что если бы подбить французов использовать изобретение братьев Монгольфье в военном деле? — воскликнул Джефферсон. — Представьте себе: воздушный шар появляется над Алжиром и сбрасывает бомбу на дворец бей. Дикая язычники могут решить, что сам Аллах разгневался на них и послал небесный корабль в наказание за грехи.

Технические новинки были любимым коньком Франклина, и он с удовольствием подхватил новую тему разговора.

— Вы не представляете, как далеко ушли французы за два года, прошедших с первого полета человека в корзине воздушного шара. Летом 1783 года я своими глазами видел запуск первого аппарата, наполненного не горячим воздухом, а водородом. Его создатель, Жак Чарльз, вскоре сам совершил полет, длившийся два часа и покрывший двадцать четыре мили. Другой изобретатель, Жан-Пьер Бланчард, уехал в Англию, и там ему удалось сконструировать шар, который перелетел через Ла-Манш. Пилоты уже научились неплохо изменять высоту полета, выпуская часть газа или сбрасывая мешки с балластом. Проблемой

остается направление. Никакие воздушные лопасти-весла не помогают, шар летит по воле ветра.

— Я слышал, что однажды шар без пилота был унесен за двадцать километров от Парижа, — сказал Адамс. — Он приземлился на поле рядом с деревней. Крестьяне сначала до смерти перепугались, а потом накинулись на небесного гостя с вилами и топорами. Интересно, как реагировали бы фермеры у нас в Новой Англии. Наверное, стали бы кружком на колени и призвали пастора для совершения молитвы.

В конце совещания поговорили о надвигающихся переменах. Было известно, что Конгресс признал необходимым открыть посольство в Лондоне. Сторонники Джона Адамса настаивали на его кандидатуре, им возражали скептики, считавшие, что Георг Третий откажется разговаривать с бунтовщиком, еще недавно поносившим его в своих памфлетах. Семидесятипятилетний Франклин давно просил у Конгресса разрешения удалиться на покой. При этом он не был уверен, дадут ли ему камни в почках и подагра возможность и силы пересечь океан. Даже поездки в карете порой оборачивались для него невыносимыми страданиями.

— В любом случае, — сказал он, обернувшись к Джефферсону, — я уверен, что, по решению Конгресса, вам предстоит заменить меня на посту американского посла во Франции.

— Заменить вас невозможно, — сказал Джефферсон. — Но, если Конгресс примет такое решение, я сочту за честь унаследовать вашу должность.

26 апреля в Париж было доставлено послание, подтвердившее предсказание доктора Франклина: он освобождался от должности посла, его обязанности переходили к Джефферсону, а Джону Адамсу следовало срочно отправляться в Лондон, чтобы успеть представить двору верительные грамоты до четвертого июня, до празднования дня рождения короля. Опечаленная предстоящим расставанием Абигайль Адамс согласилась принять от Джефферсона прощальный подарок: два билета для себя и дочери на очередной запуск воздушного шара.

Утро выдалось солнечное, легкий неопасный ветерок слегка покачивал яйцеобразное сооружение размером с двухэтажный дом, привязанное к столбам и покрытое зелеными и красными изображениями небесных светил. Вокруг него concentрическими кругами шли ряды стульев, заполненные возбужденными парижанами и гостями, приехавшими из других городов. Каждый запуск требовал немалых расходов, и продажа билетов должна была обеспечить бесперебойность модного зрелища.

— Я помню, — говорил Джефферсон, — что вы не раз высказывались критически о французской толпе, отдавали явное предпочтение англичанам. Но взгляните на эти оживленные лица, столь открытые ожиданию чудесного! Нет, никогда я не отдам моих вежливых, приветливых, ироничных, щедрых, гостеприимных, чувствительных французов за тех заносчивых, плотоядных, хвастливых, бранчливых, надутых обитателей Альбиона, среди которых вам предстоит оказаться. Если бы местному народу удалось заполучить правительство получше и очистить свою религию от суеверий, жизнь здесь стала бы завидным уделом.

— Порой мне начинает казаться, что страстные антибританские эмоции так кипят в вашем сердце только потому, что большинство безжалостных кредиторов, сдирающих с вас грабительские ежегодные проценты, — англичане.

— Да, их банкиры поймали меня в свои сети еще до революции. Когда умер отец моей жены, мистер Вэйлс, его большое наследство было поделено между дочерьми. Все мужья дочерей, принимая свою долю, согласились принять и соответствующую часть долгов, лежавших на имении. Не зная хитросплетений британских финансовых законов, мы просто подписали соответствующие поручительства. Но, оказывается, мы должны были оговорить, что проценты будут выплачиваться только с доходов, приносимых собственностью покойного. Теперь кредиторы могут доить лично каждого из нас до конца жизни, независимо от того, приносит наследство какой-нибудь доход или нет. Конечно, за создание такой хитроумной системы для ловли простофиль я имею право возненавидеть лондонских финансовых крючкотворов.

Абигайль иронично улыбалась, прикрывала глаза, подставляла все еще молодое лицо весеннему солнцу.

— Ожидание чудесного? Не кажется ли вам, что для собравшихся зрителей самым чудесным подарком было бы падение одного из воздухоплателей с высоты в тысячу футов?

— Не спорю, элемент опасности присутствует в этих зрелищах и возбуждает. Но и к нему можно относиться по-разному. Когда планировался первый полет человека, его чувствительное величество Людовик Шестнадцатый предложил взять для этой цели преступника из Бастилии. Куда там! Множество представителей знатной молодежи кинулись оспаривать честь совершить первый полет. По жребию выиграла маркиз д'Арланд и Пилатр де Розье.

— Смотрите, корзина загорелась! — воскликнула Нэби Адамс. — Пилоты могут погибнуть на земле!

Джефферсон поспешил успокоить девушку:

— Нет, они просто зажгли топливо в металлической печке. Смесь соломы и шерсти, сгорая, посылает горячий воздух и дым внутрь шара. Другие конструкции создают подъемную силу иначе: наполняют пустоту водородом, который намного легче воздуха. Доктор Франклин пошутил по этому поводу: «Если вы нуждаетесь в веществе легче воздуха, наполните шар обещаниями любовников и придворных».

— Вы, я вижу, очень увлечены этим изобретением, — сказала Абигайль. — А может быть от него какая-нибудь практическая польза?

— Да, я еще до отплытия в Европу выписал книгу месье Сэнтфорда с подробным описанием первых полетов и конструкций шаров. Применение на практике? О, десятки возможностей. Перевозка тяжелых и громоздких грузов. Пересечение пустынь и джунглей. Во время войны — разведка позиций противника. Или доставка сообщений осажденному гарнизону. Путешествие к Северному полюсу над вечными льдами. Уже был совершен перелет через Ла-Манш. Представьте себе, если через год я прилечу к вам в гости на воздушном шаре.

Абигайль повернулась к нему, посмотрела долгим взглядом в глаза и сказала без улыбки:

— Это было бы просто чудесно.

Что-то было в ее голосе, что заставило Джефферсона смущенно умолкнуть. Шутливый тон вдруг стал неуместен, улыбка окаменела на губах. Общение с этой женщиной порой вызывало в нем желание приоткрыть створки своей душевной раковины. Когда подобное случилось с ним в последний раз? Да, пожалуй, пятнадцать лет назад, когда он стоял рядом с Мартой Вейлс-Скелтон

в бальном зале губернаторского дворца в Вильямсбурге. Кажется, и музыка действовала на Абигайль столь же безотказно, как на него самого. Когда они сидели рядом в соборе Парижской Богоматери и загремел хорал Куперена в честь рождения наследника престола, им не удалось скрыть друг от друга на-вернувшиеся на глаза слезы.

— Единственное, что меня печалит в предстоящем отъезде, — все так же серьезно сказала Абигайль, — это расставание с вами. За прошедшие месяцы мы с мужем так привыкли к тому, что у нас есть человек, с которым можно поделиться главными чувствами и мыслями. Быть с кем-то самой собой — большая радость. Даже счастье.

Возникла неловкая пауза. Нужно было чем-то заполнить ее, но на ум — на язык — просились только пустые любезности, которыми он уже научился успешно отгораживаться от собеседников в парижских салонах. На самом деле ему хотелось сказать Абигайль Адамс, что и для него предстоящая разлука — огромная утрата. Что он никогда не встречал таких женщин, как она. Что он завидует ее мужу. Что иметь подругу, спутницу, жену, с которой можно чувствовать себя совсем-совсем на равных — по уму, по чуткости, начитанности, по силе желаний, — должно быть чем-то волнующим, даже пугающим. Что знакомство с ней открыло ему такие комнаты и окна в доме души, которые он считал запертыми навсегда. Но ничего этого он сказать не посмел.

В это время раздался звон сигнального колокола, и служители начали от-вязывать веревки. Под восторженные крики собравшихся гондола оторвалась от земли и начала возноситься в небеса. Легкий ветерок подхватил наполненное горячим воздухом яйцо, бережно перенес через верхушки деревьев. В какой-то момент нарисованные на боках изображения глазастого солнца заслонили солнце настоящее, и шар оказался окруженным кольцом протуберанцев.

Абигайль повернула к нему улыбающееся лицо и сказала с едва заметной иронией:

— Если бы перенести эту картину на холст, получилась бы прекрасная иллюстрация к обещанному вами в Декларации независимости «стремлению к счастью».

Июнь, 1785

«Кажется, где-то я прочла, что Париж всегда покидают с грустью. Сознаюсь, мне было грустно расставаться с нашим садом, ибо я не надеюсь найти ему замену в этих краях. Но еще грустнее было расставаться с единственным другом, в котором мой спутник жизни находил полную свободу общения... Неделю назад я ходила слушать музыку в Вестминстерском аббатстве. Исполняли „Мессию“. Это было неописуемо возвышенно. Мне так хотелось, чтобы вы были рядом, потому что ваша любимая страсть получила бы необычайное удовлетворение. Я могла бы вообразить себя перенесенной в разряд высочайших существ, если бы не одна шумливая дама, сидевшая, к несчастью, позади меня. Ее голос музыке заглушить было не по силам».

Из письма Абигайль Адамс Томасу Джефферсону в Париж

Весна, 1786

«В феврале 1786 года мистер Адамс настоятельно просил меня присоединиться к нему в Лондоне безотлагательно, потому что ему почудились знаки потепления Британского министерства по отношению к Америке. Я выехал

из Парижа 1 марта, и по прибытии в Лондон мы выработали общие формы желательного договора, касавшегося кораблей, гражданства и товарообмена. Как полагается, я был представлен королю и королеве на одном из их приемов. Невозможно себе представить более нелюбезное поведение, чем то, которым они удостоили мистера Адамса и меня. Британский министр иностранных дел на первой же конференции продемонстрировал такую холодность и отдаленность, говорил так уклончиво и туманно, что мне стало ясно: они не хотят иметь с нами никакого дела».

Томас Джефферсон. «Автобиография»

Осень, 1786

«Туфли, заказанные Вами, будут готовы сегодня и отправлены Вам вместе с этим письмом. Только не шлите мне деньги за них. Из вложенного отчета Вы увидите, что в нашей торговле это я всегда в долгу у Вас, а не наоборот. Здесь ходят слухи, что кто-то готовил покушение на английского короля. На свете нет человека, за продление жизни которого я возносил бы такие молитвы, как за него. Для Америки он был настоящим Мессией, да продлит Господь его дни. Двадцать лет он трудится, толкая нас в сторону добра, и мы нуждаемся в нем еще на двадцать лет вперед. Здесь во Франции мы имеем только пение, танцы, смех и веселье. Никаких убийств, никаких предательств, никаких бунтов. Когда наш король выходит гулять, французы падают ниц и целуют землю, по которой он ступает. Потом кидаются целовать друг друга. В этом и есть их величайшая мудрость. Они имеют столько счастья за один год, сколько англичанин не получит и за десять лет».

Из письма Джефферсона Абиigail Адамс в Лондон

ОКТАБРЬ, 1786. ПАРИЖ

Непостижимое — неведомое — всегда являлось Джефферсону в обличьях непредсказуемых. Всю жизнь, сталкиваясь с ним, он в первую очередь спешил узнать, имеет ли очередной лик непостижимого название — имя — на человеческом языке. Довольно часто названия имелись. Смерч. Электричество. Землетрясение. Наводнение. Мираж. Магнетизм.

Теперь ему предстояло дать имя тому, что происходило с ним в течение последних двух месяцев. Спрашивать у знакомых и мудрецов не было смысла. Он заранее знал, что ему ответят. *Любовь*. Но это был ответ неправильный, ответ-увертка. Любовью называлось то, что он испытывал к дочерям, к племянникам, к друзьям, к покойной жене. Он хорошо знал это чувство, дорожил им, горевал, когда оно ослабевало. То, что опалило его при первом же взгляде на лицо Марии Косвей, при звуке ее голоса, при дуновении ее духов, должно было иметь другое — совершенно особое — название. У древних греков был праздник, называвшийся «Большие дионисии». На нем вакханки впадали в экстаз, носились по улицам в бурном танце, забрасывали друг друга гирляндами цветов. Может быть, этот праздник каким-то чудом перенесся через века и закружил их обоих в осеннем Париже?

Как всегда, у него постижение чего-то неведомого должно было осуществляться с пером в руке. Но как это сделать, если правая кисть, упрятанная в тол-

стый слой бинтов, лежала тут же, рядом с чернильницей, и распухшим пальцам не удавалось удержать даже зубочистку? Река боли вытекала из сломанных костей, поднималась до плеча, растекалась по шее и позвонкам.

Ну что ж — надо было учиться орудовать левой.

Джефферсон взял перо и коряво, буква за буквой, вывел на листе бумаги:

«Дорогая мадам! Исполнив свою печальную обязанность, посадив вас в карету у павильона Сент-Дени и увидев, как колеса пришли в движение, я повернулся и — полуживой — побрел к противоположной двери, к ожидавшему меня экипажу».

Нет, надо было унести прочь из этого печального октябрьского дня, на два месяца назад, в теплое августовское утро, обещавшее лишь обычную цепочку легких визитов и мимолетных встреч с парижскими знакомыми.

Джон Трамбалл — вот кто был во всем виноват!

Молодой американский художник приехал из Лондона с рекомендательным письмом от Адамсов — конечно, его пришлось принять со всем радушием, поселить у себя, в доме посольства. Джона обуревали идеи создания целой серии исторических полотен на темы американской революции. В Лондоне он сделал несколько эскизных портретов Джона Адамса для задуманной картины «Подписание Декларации независимости», теперь делал портретные зарисовки Джефферсона. Но в то утро он отложил мольберт и стал уговаривать своего гостеприимного хозяина отправиться на прогулку в Сен-Жермен.

— Там завершено строительство нового крытого рынка, — объяснял он. — Вы же не только дипломат, но и архитектор. Вам будет интересно взглянуть на конструкцию огромного деревянного купола.

— Дорогой Джон, мой день расписан по часам, намечено много важных встреч. И уж конечно, я никак не могу пропустить обед у герцогини Данвиль.

— Час еще ранний, мы успеем вернуться к полудню. Кроме того, я хочу познакомить вас со своими лондонскими друзьями, мистером и миссис Косвей. Они много слышали о вас и тоже очень хотели бы встретиться. Оба художники, весьма талантливые. А Мария, вдобавок, поет и сочиняет музыку. Уверен, она вам понравится.

Коварный Трамбалл! Выбрал такое заурядное, повседневное слово — «понравится». Не мог честно сказать: ослепит, заморозит, пронзит сердце, затуманит разум.

Да, именно так: появление Марии внесло раздор в отношения между его разумом и его сердцем. Нужно описать происходившее как диалог между этими двумя.

Джефферсон опять взял перо непривычными пальцами левой руки и продолжил послание:

«Разум (обращаясь к Сердцу): В тот день, пока я пытался привлечь твое внимание к архитектурным деталям купола нового рынка, ты только строило планы, как избежать расставания с супругами Косвей. Гонцы со лживыми посланиями, отменявшими намеченные встречи, были разосланы всем знакомым. Ты даже осмелилось сообщить герцогине Данвиль, что в последний момент пришли важные дипломатические депешки, которые требовали принятия срочных мер, что лишает нас возможности явиться к ней на обед. Ты требовало у меня, чтобы я придумал более убедительную отговорку, но я не желал быть замешан в этом обмане. А ты увлекло новых знакомых на обед в Сен-Клоде, потом на фейер-

верки на улице Сен-Лазар, потом в гости к Крумхольцам, где жена Джулия услаждала вас игрой на арфе до позднего часа. Если бы день был длинным, как лето в Лапландии, ты бы ухитрилось заполнить его новыми развлечениями, лишь бы вам не расставаться».

Брюзжание разума воспроизводить было нетрудно. Но и ответный монолог Сердца полился на бумагу легко и вдохновенно.

«Сердце: Говори, говори, вспоминай этот день! Все выглядело ослепительно прекрасным. Зеленые холмы по берегам Сены, радуга над дворцом в Сент-Жермен, сады, статуи. А развалины старинной башни со спиральной лестницей внутри, по которой королева Екатерина Медичи со своим звездочетом поднималась на вершину, чтобы прочесть на ночном небе тайну будущего! Колесо времени состязалось в скорости с колесами нашей кареты, но казалось, что и сотни часов не хватит, чтобы вместить все счастье того незабвенного дня».

Джон Трамбалл рассказал Джефферсону, что супруги Косвей в Лондоне владели домом, заполненным живописными полотнами, элегантной мебелью, японскими ширмами и веерами, персидскими коврами, мозаичными столиками с инкрустациями из яшмы и перламутра, музыкальными часами, вделанными в черепаховый панцирь, и прочими редкостями. Их салон посещали аристократы и художники, а по воскресным вечерам устраивались музыкальные представления, на которых Мария развлекала гостей игрой на арфе и пением итальянских песен.

В художественном мире репутация обоих была очень высока. Они выставились в Академии, были близки с такими знаменитостями, как Джошуа Рейнольдс и Томас Гейнсборо, а наследник трона, принц Уэльсский, заказывал Ричарду Косвею миниатюрные портреты своих возлюбленных. Среди лондонских повес и ловеласов Ричард также был известен тем, что изготавливал табакерки, расписанные эротическими сценами, которые тайно продавал за большие деньги. Его манеры и речь до такой степени были окрашены преувеличенной светской любезностью, что их можно было считать проявлением искренности. «Да, я даже не пытаюсь притворяться правдивым и откровенным». Сразу можно было заметить, что близость, если когда-то и была между супругами Косвей, она испарилась в водовороте светской жизни уже давно.

После первого дня, проведенного вместе, последовали другие, заполненные посещениями Лувра, Версаля, Королевской библиотеки, новой церкви Святой Женеьевы. Вместе с Джоном Трамбаллом они посетили мастерские художника Давида и скульптора Гудона. По поручению ассамблеи Вирджинии, Джефферсон заказал Гудону бюст Лафайета, который должен был быть установлен в Парижской мэрии как дар благодарных вирджинцев герою, защищавшему их от британцев. А Континентальный конгресс выделил тысячу гиней на создание статуи Вашингтона, и Джефферсон уговорил знаменитого скульптора совершить для этой цели путешествие в Америку.

Вскоре Ричард Косвей должен был приступить к выполнению тех заказов, для которых он приехал во Францию, и ошеломленный своей удачей Джефферсон смог остаться с Марией один на один, показать ей свои любимые места в Париже и окрестностях. Ей особенно понравился идиллический парк Дезерт де Рец, украшенный гротом, развалинами готической церкви, китайской пагодой, храмом бога Пана. Ах, какой был бы восторг, если бы он смог пересечь с ней океан и открыть для нее красоты родной Вирджинии!

Левая рука старательно продолжала выводить на бумаге нежные каракули.

«*Сердце*: А разве это невозможно? Где как не в Америке талантливая художница найдет пейзажи, достойные ее карандаша и кисти? Ниагарский водопад, причудливая вулканическая арка, образовавшая мост через реку Джеймс, ущелье Потوماка, разрезающее Голубые горы! И наше родное Монтиселло, где природа разостлала свой богатейший покров из лесов, скал, холмов, рек. Мы будем вместе созерцать сверху все чудеса Творения у наших ног: облака, снег, град, дождь, радугу. А солнце, встающее из водных глубин, будет золотить отроги дальних вершин».

Мария рассказывала ему о своем детстве. Она жила с родителями в Италии, поэтому ее английский был окрашен очаровательным итальянским акцентом. Страшное несчастье постигло семью незадолго до рождения Марии: четверо из пяти детей, появившихся на свет до нее, внезапно умерли в одну ночь по неизвестной причине. Отец подозревал, что кто-то приложил к этому руку, поэтому нанял специальную надежную гувернантку и велел ей не спускать глаз с новорожденной. Однажды гувернантка подслушала, как итальянская горничная, качая Марию, нежно приговаривала: «Золотое дитя, я уже отправила четверых на небеса, скоро отправлю и тебя». Горничную арестовали и поместили в сумасшедший дом. Мария хранила нежную память об отце, спасшем ее и потом заботившемся о ее образовании.

После смерти отца во Флоренции подрастающая девочка выразила желание стать монахиней. Но мать-протестантка не хотела и слышать об этом. Семья вернулась в Англию, где Марию взяла под свое покровительство знаменитая художница Анджелика Кауфман. Многие были покорены очарованием Марии, искали ее руки, но Ричард Косвей сумел так привлечь на свою сторону — деньгами и лестью — ее мать, что под давлением обеих девушка дала согласие на брак. Первые годы супруги прожили в мире и согласии, но потом начались измены Ричарда — с женщинами и мужчинами, — и к моменту встречи с Джефферсоном Мария чувствовала себя одинокой и несчастной.

В послании пора было дать голос и Разуму тоже.

«*Разум*: Взвешивай каждый свой шаг. Положи на одну чашу удовольствие, которое может доставить тебе встретившийся человек, на другую — страдания, которые он может причинить, и смотри, какая чаша перевесит. Не хватай приманку радости, не проверив, не спрятан ли в ней крючок. Искусство жить есть искусство избегать боли. Умелый штурман знает, как огибать скалы и мели. Приобретение новых друзей — дело нешуточное. Нам хватает собственных несчастий. Представь себе, каково тебе будет, если добавятся боль и несчастья других. Друг всегда может попасть в беду, заболеть или просто покинуть тебя, и ты останешься доживать кровотоющим обрубок. Не лучше ли ограничить себя наслаждением, даруемым созерцанием мира и всех чудес Творения, вознесясь над мирской суетой?»

Мария прочитала «Заметки о Вирджинии» и говорила ему, что у нее открылись глаза. До встречи с ним ее представление об Америке выросло из чтения лондонских газет, переполненных бранью и клеветой. Новая республика представляла там государством бандитов и головорезов, царством анархии и беззакония, в котором не уважались ни собственность, ни религия, ни жизнь человека.

Все предстало для нее в новом свете. Она заразилась его любовью к американцам, увидела их его глазами — занятых строительством школ и университе-

тов, прокладкой дорог и судоходных каналов, веротерпимых и законопослушных. И да она мечтала увидеть его страну. «О, если бы я была мужчиной и могла ехать туда, куда мне захочется!», — восклицала она.

С печальной иронией Мария описывала ему, каким бы она изобразила его на живописном полотне, если бы ей довелось рисовать его на фоне Монтиселло: одинокий и задумчивый, он сидит на большом камне, одетый в монашескую рясу, а над головой его витает душа покойной жены, заслоняющая своими крыльями блеск восходящего солнца.

Да, они оба почувствовали — опознали — душевное одиночество друг в друге. Не в этом ли таилось ощущение глубокого внутреннего родства, пронзившее обоих? Но могли ли они спастись от одиночества, разрушив стены житейских обстоятельств, разделявшие их? При своей глубокой религиозности — решила бы она на развод? При его любви к дочерям — решил бы он нарушить обещание, данное умирающей жене? Или нужно было просто дать волю своему чувству и бездумно кинуться в объятия друг друга, как это делали сотни пар вокруг них?

В то лето лихорадка любовных страстей в Париже, казалось, достигла размаха эпидемии. Подлинные и выдуманные амурные истории передавались сплетниками из салона в салон. В письме молодому американскому другу Джефферсон писал, что не рекомендует ему приезжать для получения образования в Европу, потому что «сильнейшая из человеческих страстей здесь господствует над душами и здешние красавицы могут убедить его в том, что соблюдение супружеской верности недостойно джентльмена и разрушительно для счастья». До него уже доходили слухи о любовных приключениях внука доктора Франклина, который явно вознамерился обогнать деда на этом поприще. Художник Трамбалл, недавно имевший в Америке скандал в связи с незаконным ребенком, не отставал от него. Лафайет, расставшись с одной красавицей, тут же подпал под чары другой. Даже секретарь американского посольства Вильям Шорт заразился лихорадкой и завел пламенный роман с пятнадцатилетней дочерью хозяев дома, где он снял себе жилье.

Ричард Косвей, конечно, не подходил на роль слепого мужа из водевиля, который последним узнает об увлечениях своей жены. Следуя правилам светского этикета, он приветливо улыбался американскому дипломату при встречах, но с каждым разом улыбка делалась напряженнее и кислее. Мария объясняла Джефферсону, что высокие мужчины безотказно вызывали особенное раздражение и нелюбовь в ее низкорослом муже. Он говорил жене, что им надо будет покинуть Париж, как только он закончит работу над заказанными портретами.

Вильям Шорт оказался прекрасным помощником, и Джефферсон мог перекладывать на него большую часть деловой переписки посольства. В каждом дне нужно было вырезать окно — просвет — для встречи с Марией, придумать новую загородную прогулку, поход в музей, визит в мастерскую художника, посещение оперы. Но в сентябре почти все его светские друзья вернулись в Париж, и на него посыпался град приглашений, многие из которых было невозможно проигнорировать.

Его популярность росла неудержимо с того момента, когда Лафайет объяснил своим соотечественникам, *кто* является автором американской Декларации независимости. Потом генерал Шастеллю опубликовал свои путевые заметки, в которых был дан такой лестный портрет хозяина Монтиселло. «Заметки о Вирджинии» для многих членов Французской академии стали главным источником знаний о далеком загадочном континенте. Джеймсу Мэдисону наконец удалось

провести в Вирджинской ассамблее законы о веротерпимости, над которыми они вместе трудились восемь лет назад, и опубликование этих законов в переводе на французский и итальянский стало сенсацией в политических кругах Парижа.

Знакомить европейцев с подлинной Америкой, прославлять ее достижения во всех сферах научной и культурной жизни Джефферсон считал своим долгом. Поэтому он с радостью извлек из очередной почты первый сборник стихов Филипа Френо, с поэзией которого он был немного знаком по газетным публикациям. Поэт был сокурсником Джеймса Мэдисона в Принстоне, во время войны служил на флоте, попал в плен к англичанам, провел несколько недель в трюмах тюремного корабля в Нью-Йорке, что еще больше разогрело жар его антибританских сатир.

Листая сборник, Джефферсон хотел выбрать стихи, которые могли бы увлечь Марию Косвей. Может быть, прочесть ей раннюю поэму «Сила фантазии»? Он читал отрывки из нее пятнадцать лет назад Марте Скелтон, когда она еще не была его женой, и до сих пор помнил одну строфу:

Все чудеса, что мы видим вокруг:
Солнце и звезды, море и луг,
Люди и звери, цветы и листва —
Что это все, как не труд Божества?
Жизни и смерти незванный черед,
И время само, что за солнцем идет,
Твердь и вода, и весь шар земной,
Сиянье и тьма, холод и зной,
Что этот вечный круговорот —
Как не Всевышнего замысла плод.¹

Также хорошо звучит «Политическая литания», но она слишком пронизана ненавистью к лордам и королям, а Мария, как-никак, подданная британской короны. Нет, уместнее всего будет вот это: «Обитель ночи». Не важно, что там поэт затрагивает тему смерти. Он делает это с такой приподнятой романтичностью, с такой смелостью. Душевное прикосновение к тайнам гроба возбуждает в нем обостренно радостное переживание жизни и человеческой судьбы — это главное.

Человеческая судьба! Думал ли ни в чем неповинный поэт, что его строчки могут когда-нибудь обернуться такой бедой и болью для его — ни в чем неповинного — читателя?!

Был чудный сентябрьский день. Они с Марией шли по уединенной аллее в Булонском лесу. Он предупредил ее, что у него есть поэтический сюрприз для нее, но такой, который нужно читать, непременно стоя на возвышении. Валун, белевший посреди травы в двух ярдах от дорожки, показался ему вполне подходящим постаментом. Он выпустил локоть своей спутницы, легко разбежался и...

Видимо, перед валуном, скрытая травой, в земле была незаметная вмятина, ямка, углубление. Его правая нога, готовясь оттолкнуться, утонула в ней на два-три дюйма, левой ноге, нацелившейся вознести его на валун в виде монумента, не хватило тех же двух-трех дюймов, она стукнулась носком о камень, и прославленный американский дипломат, одетый в модный парижский камзол, на глазах у дамы своего сердца рухнул во весь свой рост на жесткий французский суглинок, спрятанный под обманчиво мягким клевером.

¹ Перевод Марины Ефимовой.

Да, он успел выставить руки вперед, и левая немного смягчила удар. Но правая инстинктивно продолжала сжимать томик стихов, и кисть скрипача за-трещала под навалившейся на нее тяжестью.

В глазах потемнело от боли.

Мария кинулась к нему на помощь, опустилась рядом на колени.

Он кое-как повернулся, сел, попытался улыбнуться.

Не вышло.

Все силы уходили на то, чтобы не застонать вслух.

— Ничего, ничего, это пустяки... Вот когда я падал с лошади, то было по-серьезнее...

Пришлось возвращаться к карете.

День, начинавшийся так чудесно, померк.

Каждая выбоина под колесом откликалась толчком боли в сломанных костях.

Вызванный хирург качал головой, укоризненно вздыхал, настаивал на постельном режиме. Наложённая повязка казалась сделанной из раскаленного железа. Джеймса Хемингса с рецептом на обезболивающую микстуру ландолин послали в аптеку. Потянулись тоскливые дни.

Мария присылала справляться о здоровье, иногда появлялась сама, полная участия и неподдельной нежности. Но день ее отъезда приближался неумолимо. С трудом ей удалось вырваться, чтобы нанести ему прощальный визит. Они говорили о том, что разлука не будет долгой, что она вернется в Париж весной, а пока — письма, письма! Им так много нужно сказать друг другу. И лучше вести переписку через верного Трамбалла — он умеет хранить секреты.

Несмотря на предупреждения врача, несмотря на ее возражения Джефферсон встал с постели и поехал провожать супругов Косвей до Сен-Дени. Конечно, поездка не способствовала выздоровлению. Боль вернулась с прежней силой.

Джефферсон отложил перо и потянулся к пузырьку с ландолином.

А не было ли его падение подстроено судьбой как наказание за вечные прятки, которые он устраивает своим главным, самым сильным чувствам? Может быть, пришел момент перестать притворяться, будто он пишет двоим? Закончить галантный диалог Сердца и Разума? Дать им примириться, слиться в простом и ясном призыве: оставь мужа, стань моей женой, уедем вместе в Америку. Да, там у тебя не будет блистательного общества, которое окружает тебя в Лондоне и Париже. Но разве за эти недели не стало нам ясно, что мы можем заполнить жизнь друг друга с утра до вечера, что, пока мы вместе, нам никто, никто не нужен?

Он глубоко вздохнул и возобновил писание:

«Сердце: Холмы, долины, дворцы, сады, реки — все было исполнено радости только потому, что она радовалась, смотря на них. Пусть унылый монах, замкнувшийся в своей келье, ищет удовлетворения, удаляясь от мира. Пусть возвышенный философ хватается за иллюзию счастья, облаченную в наряд истины! Их высшая мудрость есть не что иное, как высшая глупость! Они принимают за счастье простое отсутствие боли. Если бы им довелось хоть раз пережить трепетное содрогание сердца, они были бы готовы отдать за него все холодные спекуляции ума, наполняющие их жизни».

Закончив писать, Джефферсон, неловко орудуя одной рукой, вложил листки в большой конверт и написал на нем: «Англия, Лондон, Стрэнд-Корт, мистеру Джону Трамбаллу, в собственные руки».

Ноябрь, 1786

«Мое сердце переполнено и готово разорваться... Я вчитывалась в каждое слово в Вашем письме, в ответ на каждую фразу могла бы написать целый том... Здесь все покрыто туманом и дымом, печаль захватывает душу в неприветливом климате... Ваши письма никогда не могут быть слишком длинными... Но что означает Ваше молчание? Каждый раз, когда в почте нет письма из Парижа, я впадаю в тревогу... Боль расставания превратилась в постоянное беспокойство...»

Из письма Марии Косвей Джефферсону

Весна, 1787

«Восстание в Массачусетсе сыграло свою роль в том, что американцы осознали дефекты имевшегося федерального правительства. Стремление к реформам набирало силу, и 14 мая 1787 года в Филадельфии собралась конвенция для выработки новой конституции. Меня включили в делегацию от штата Пенсильвания. Сознывая критическую важность происходившего, я посещал заседания почти ежедневно. Последние запасы жизненной энергии мне хотелось потратить на создание американской нации, которой я уже отдал так много в своей жизни. Во время весьма острых дебатов я старался находить компромиссы и играть роль примирителя».

Бенджамин Франклин. «Автобиография»

Весна, 1787

«Дорогой маркиз, Вы, наверное, будете удивлены, получив от меня письмо, отправленное из Филадельфии. Вопреки моим публичным заявлениям и искренним намерениям я снова вовлечен в общественную жизнь. Глас народа и давление, оказанное на меня, были настолько сильными, что я согласился принять участие в конвенции штатов. На этом съезде будет решаться, получим ли мы сильное правительство, способное обеспечить права на жизнь, свободу и собственность, или окажемся в плену анархии, в которой власть достанется энергичным демагогам, заботящимся не о благе страны, а только о своих корыстных интересах».

Из письма Вашингтона маркизу Лафайету

Май, 1787

«Надеюсь, это письмо будет вручено Вам моей дорогой Полли, когда она прибудет к Вам, желательно в том же добром здравии, в каком она сейчас. До тех пор, пока я не получу подтверждения ее благополучного прибытия к Вам, я буду умирать от беспокойства. Мои дети побудут на корабле с ней денек, чтобы она пообвыкла и примирилась с путешествием. Ради Бога, дайте нам знать о ее прибытии так скоро, как только будет возможно».

Из письма Элизабет Эннс Томасу Джефферсону в Париж

ЛЕТО, 1787. НОРФОЛК—ЛОНДОН—ПАРИЖ

Да, рассматривать себя глазами других людей Салли Хемингс научилась у брата Джеймса. Это он рассказал ей, сколько веселья можно извлечь из этого невинного обмана. Но играть в «как будто» она придумала сама. И как преобразилась ее жизнь с того момента!

Больше не надо было проводить скучные часы, подметая комнаты в большом доме в Монтиселло. Теперь это была игра «как будто я подметаю комнаты». Кончилось долгое мытье посуды у бабьи в кухне или у колодца. Теперь это была игра в мытье посуды. А там, где игра, разрешалось ждать чудесного, неожиданного, удивительного.

В подметаемую комнату мог войти юный охотник, подстреливший фазана и ищущий девушку, которая была бы достойна получить его добычу в подарок. К колодцу вдруг мог подъехать торговец бусами, лентами и браслетами, принимающий в уплату за свой товар улыбки и поцелуи. Или опустится лебедь, изображенный в большой книжке, которую они с Полли тайком листали в библиотеке поместья в Эппингтоне, куда их поселили после отъезда массы Томаса Джефферсона во Францию. Этот лебедь был на самом деле богом Зевсом — тоже большим мастером устраивать всякие «как будто», являвшимся разным красавицам то в виде быка, то в виде золотого дождя, а то, наоборот, превращавшим новую возлюбленную в корову.

Полли легко усвоила правила игры в «как будто» и с удовольствием принимала участие в ней. Она была на пять лет младше Салли, но ее фантазия была расцвечена сказками белых, которые ей рассказывала тетюшка Элизабет или читал из книжки дядюшка Фрэнсис Эппс. Полли сама уже умела читать и писать, а Салли еще только училась разбирать по слогам напечатанные слова. Причем училась сама, тайком, потому что белые придумали себе правило: черных грамоте не учить. Полли нарушала это правило, помогала Салли узнавать буквы алфавита, даже когда они были нарисованы на коробках или в газетах по-другому — не так, как в букваре.

Ощущала ли себя Салли черной?

Кожа ее была настолько светлой, что продавцы в лавках Шарлотсвилля или Ричмонда, куда они ездили с тетей Элизабет за покупками, часто говорили ей «мисс». Правда, это было связано и с тем, что тетя, как и ее покойная сестра, миссус Марта, покупали Салли очень хорошую одежду. Или дарили платья, туфли, рубашки, из которых выросли их собственные дочери. Разделение на белых и черных казалось Салли просто одним из многочисленных «как будто», которые взрослые придумали для своей забавы, но которым надо было строго подчиняться, чтобы не портить игру.

Другим важным «как будто» были родственные связи. Мама Бетти довольно рано объяснила ей, что для рождения ребенка обязательно нужны двое: мужчина и женщина. Все дети, рожденные мамой Бетти от разных мужчин, становились для Салли братьями и сестрами. Но, оказывается, и дети, рожденные разными женщинами от одного и того же мужчины, имели право считать друг друга братьями и сестрами. Хозяин мамы Бетти, покойный мистер Вэйлс, сначала любил одну женщину и родил с ней мисус Марту. Потом та женщина умерла, он женился на другой и родил с ней тетю Элизабет. Марта и Элизабет называли себя сестрами и любили друг друга. А когда и мать Элизабет умерла, мистер Вэйлс полюбил маму Бетти и родил с нею Роберта, Джеймса, Феню, Критту, Питера и последней — ее, Салли.

Салли была послушной девочкой и довольно быстро научилась играть в главное «как будто» обширного потомства мистера Вэйлса: «как будто» миссус Марта и тетя Элизабет по отношению к ней являются только белыми хозяйками, но никак не сестрами. А она по отношению к Полли — только нянька, но никак

не тетушка. Увлечение семейства игрой в «как будто» распространилось даже на имена: Полли на самом деле была записана в церковной книге как Мария, ее старшую сестру, Марту, все называли Патси, да и сама Салли при рождении была названа Сарой.

С одной стороны, игра в «как будто» была важным подспорьем в жизни маленькой девочки, отрадой и развлечением. С другой стороны, бывали случаи, когда Салли заигрывалась и оказывалась лицом к лицу с нешуточной опасностью. Взять хотя бы ту историю, когда ее послали на реку полоскать белье. И она, стоя на мостках, хлестала рубахами по воде, воображая себя плывущей в лодке. А потом взяла доску и стала орудовать ею как веслом. И старые мостки вдруг сорвались с кольев, вбитых в дно, и превратились в плот. Который течение начало быстро уносить вниз совсем не «как будто», а по-настоящему. Дядюшке Фрэнсису пришлось догонять ее по берегу на лошади и потом кидать ей спасательное лассо.

Мистер и миссис Эппс были очень добры к Салли. Тетя Элизабет, конечно, никогда открыто не называла ее сестрой, но всячески выражала ей внимание и заботу. Иногда даже называла «мой личный доктор». Это потому, что у Салли в руках открылись такие же лечебные свойства, как и у ее брата Джеймса. Простыми поглаживаниями по вискам она прогоняла приступы мигрени, которые часто одолевали миссис Эппс.

Да, в детстве было немало опасных ситуаций. Но все они теперь казались пустяками. Потому что в одно прекрасное утро они с Полли проснулись не посреди реки, а посреди взаправдашнего океана. На корабле с парусами, на котором, кроме них двоих, не было других пассажиров. Только моряки со жвачкой во ртах и с обветренными суровыми лицами. Что будет, если они перестанут слушаться доброго капитана Рэмси и захотят сделать с ними то, что белый капитан Хемингс проделал когда-то с бабушкой Салли, родившей потом от него маму Бетти?

Угроза этого плавания нависала над Полли уже давно. Ее отец, масса Томас, слал дядюшке Фрэнсису письмо за письмом, требуя отправить дочь к нему в Париж. Его можно было понять. После смерти маленькой Люси-Элизабет он сходил с ума от беспокойства. Видимо, воображал, что силы небесные, столь часто поминаемые белыми по всякому поводу, будут больше послушны ему во Франции, чем дяде Фрэнсису и тете Элизабет — здесь, в Эппингтоне. Но какие силы небесные помогут двум девочкам, если морское чудовище проткнет своим клювом тонкое днище корабля и черная бездна глубиной в сотни футов проглотит их вместе со всей командой?

Супруги Эппсы готовы были исполнить просьбу массы Томаса, но каждый раз всплывали какие-то препятствия, заставлявшие отложить отплытие. Кроме того, отец Полли требовал, чтобы женщине, назначенной сопровождать ее, была сделана прививка против оспы. Эппсы нашли подходящую черную невольницу, она была согласна подвергнуться страшной процедуре и плыть через океан, но вдруг выяснилось, что она беременна и не может взяться за такое важное дело. Тогда тетя-сестра Элизабет, отчаявшись, попросила Салли взять на себя эту роль. На прививку времени уже не оставалось, но зато Полли так любила свою няньку и так доверяла ей, что с нею ей плыть было бы менее страшно, чем с кем-нибудь другим.

Почему Салли согласилась?

Воображала, что ей удастся преодолеть страх, привычно превратив опасное плавание в игру «как будто мы пересекаем океан»?

Не хотела расставаться с Полли, которая стала для нее за прошедшие годы ближе родной сестры, а точнее — племянницы?

Рвалась увидеть новые страны, города, людей?

Ведь с далекой Францией ей довелось столкнуться еще в детстве, не выезжая из Монтиселло. Той весной, когда родилась Люси-Элизабет, поместье посетил французский генерал. Его слуга Марсель знал лишь несколько слов по-английски, и все Хемингсы потешались, слушая за обедом на кухне его рассказы, сопровождавшиеся прыжками, гримасами, выкриками, мычаньем, кудахтаньем. Салли запомнила несколько французских слов: «вояж, бонжур, аревуар, руж, нуар». Ну и конечно, те три слова, которые Марсель неизменно произносил, устремляя свой черный блестящий взгляд на нее, девятилетнюю, когда сталкивался с ней у конюшни, на кухне, под цветущей сиренью: «маде-мазель», «шармант», «магнефик».

Возможно, эти встречи происходили не совсем случайно. Марсель мог вынырнуть из-за поворота тропинки, из кустов боярышника, из тени, отбрасываемой главным зданием на карету французских гостей. И каким-то чудом вслед за ним, неведомо откуда, неизбежно появлялась мама Бетти. Будто она находила его и шла за ним по запаху французского одеколона, всегда окружавшего его невидимым облаком. А у Салли каждый раз от этих встреч оставалось чувство, будто кто-то надел ей на шею невидимое тесное ожерелье.

Такое же чувство тесного ожерелья она пережила три года спустя, когда они с Полли уже жили в поместье Эппсов. Но в этот раз приехавший в гости пятнадцатилетний племянник хозяев не достаивал ее ни взглядом, ни словом. Черная девочка-рабыня не представляла никакого интереса для отпрыска белых богачей. Это она, тайком взглядывая на него, мысленно произносила «шармант», «магнифик», «амур». Бусины ожерелья казались мягкими, боль, вызываемая ими, была сладостной, но все же это была боль. И ее никак не удавалось превратить в очередное «как будто».

В первые дни плавания Салли ощущала себя виноватой перед Полли. Ведь это она придумала и подсказала тете-сестре Элизабет, как можно заманить девочку на корабль. Полли начинала рыдать, как только заходила речь о возможном расставании с любимыми дядей и тетей, с их уютным домом, со всеми лошадьми, кошками и собаками, которых она знала по именам, кормила и гладила своими руками вот уже три года.

А что если устроить «как будто» праздник на воде?

Как будто капитан Рэмси захотел порадовать всех детей семейства Эппсов. И «как будто» исключительно для этой цели привел свой бриг «Роберт» вверх по реке Джеймс до самого поместья Эппингтон. Полли поверила и вместе со своими кухнями радостно носилась по палубе и трюмам, играя в прятки и жмурки. А потом, к вечеру, для всех был устроен праздничный ужин на капитанском мостике. После которого, как и следовало ожидать, Полли безмятежно заснула в кресле. Ее кузин родители тихо увели на берег и увезли домой. А Полли проснулась на следующий день посреди океана.

Нет, на Салли она не сердилась. Ведь ее нянька и сама стала жертвой обмана — так она считала. Ее тоже оторвали от любимого дома, от всех родных, послали в неведомую даль, полную чужих людей и неведомых опасностей. Те-

перь им обеим нужно было собрать все детские силенки, чтобы перетерпеть — оставить позади — пять недель жизни между небом и водою. В Священном Писании сказано, что Бог отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, «и назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями». Однако корабль их, видимо, заплыл в те места, где это отделение еще не произошло. Суши, с травой и деревьями, не было нигде — лишь мокрая холодная вода и ослепительно равнодушное небо.

Девочкам оставалось только придумывать новые «как будто». В тесной кухонной кухне добрый кок, негр Вилли, уступал Салли одну конфорку на плите, и она «как будто» варила на ней кашу для них обеих или пекла лепешки из кукурузной муки. Тот же Вилли извлекал из океана бадью воды, чтобы Салли могла «как будто» постирать одежду.

Раз в три дня они устраивали купанье. Здесь «как будто» не требовалось, потому что купанье было удовольствием и без игры. Бадью с водой оставляли на пару часов на палубе, чтобы она успела согреться под солнцем. Заботливая тетка-сестра Элизабет оставила в их каюте дорожный сундучок со всем необходимым: мыло, две мочалки, полотенца, ковшик, домашние тапочки, гребни, булавки, иголки и нитки, баночку меда, галеты, мешочек с орехами, сушеные абрикосы. Положила даже колокольчик с цепочкой, который умирающая миссус Марта подарила Салли.

Дверь каюты имела прочный засов, так что можно было не опасаться случайных или намеренных вторжений. Полли уже прекрасно умела мыться сама, Салли оставалось только обливать ее водой из ковшика и обтирать полотенцем. Потом наступала ее очередь. Она залезла в бадью, намыливалась с головы до ног, и Полли не без зависти разглядывала холмики на ее груди, обтекаемые струйками мыльной воды.

Из книг у капитана Рэмси была только Библия. Полли читала из нее отрывки вслух и по-настоящему. Но священная книга для Салли всегда была собранием лучших историй «как будто», каких ей самой никогда бы не придумать.

В этот раз ей ярче других запомнилась история про Авраама и Агарь. Может быть, потому, что Агарь тоже была служанкой в доме господина своего, как и мама Бетти, и тоже родом из Африки. Бог обещал Агари, что от сына ее, Измаила, произойдет великий народ. Вот бы узнать, какой из народов, населяющих Землю, произошел от Измаила! В Библии не говорилось, какого цвета была кожа Агари. А что если все черные — это и есть народ, произведенный Господом от Измаила?

Во время всего плаванья небо вело себя по-доброму, ни разу не послало на них ни одного из тех злобных ураганов, которыми оно умело время от времени карать за грехи всех вирджинцев. Постепенно девочки успокоились, свыклись с корабельной жизнью. В конце плаванья, в погоне за развлечениями, они придумали довольно рискованную «как будто»: «как будто капитан Рэмси это на самом деле отец Полли, притворившийся мореплавателем, чтобы тайно приплыть за своей дочерью в Америку». Полли так вошла в роль, что в любую свободную минуту вертелась вокруг капитана, радостно смеялась любым его шуткам, говорила, что ни за что не расстанется с ним. Капитан реагировал на ее выходки добродушно, баловал сладостями из своего запаса, обещал, что, когда она вырастет, он уговорит своего сына жениться на ней, и тогда они все вместе заживут в одном доме одной семьей.

Но, разговаривая с Полли, осыпая ее несбыточными обещаниями, подыгрывая отведенной ему роли, капитан Рэмси не сводил своих тяжелых выпуклых глаз с ее четырнадцатилетней няньки.

Тесное ожерелье безотказно возникало у Салли на шее под этим взглядом. Но в этом чувстве не было и тени счастливого трепыхания, которое она испытывала, находясь вблизи от белого красавца — племянника Эппсов. Скорее оно напоминало то ожерелье, которое набрасывал на нее заезжий парижанин Марсель. И после него — многие другие мужчины, белые и черные, богатые и бедные, красивые и уроды. Потому что сомнений не оставалось: Господь выбрал для Салли Хемингс судьбу родиться и вырасти очень милостивой. Или, как говорили некоторые, «хорошенькой». Или даже «красивой». «Шармант, магнифик, ла белла». Ни в какую «как будту» этот простой факт превратить было невозможно. Оставалось учиться тому, как приспособиться к этой судьбе, как избежать опасностей, таящихся в ней.

С капитаном Рэмси ей приходилось вести постоянную невидимую войну. Он все время искал повода остаться с ней наедине, прикоснуться якобы невзначай к руке, лежащей на коленях, поправить волосы, выбившиеся из-под косынки. Несколько раз начинал расспрашивать, какие инструкции дал ее хозяин, мистер Джефферсон, насчет дальнейшей судьбы обеих девочек. Полли отдадут в школу-пансион? Значит, услуги няньки-горничной ей больше не понадобятся? Оставят ли ее в Париже или отправят обратно в Америку? Пусть Салли знает, что на его корабле ей всегда будет предоставлена отдельная каюта и самое доброе и заботливое отношение.

Салли испытала большое облегчение, когда плаванье закончилось и корабль пристал к английскому берегу.

Город Лондон проплывал за окнами кареты довольный тем, что у него нашлось еще несколько чудес, чтобы поразить воображение двух юных американок. Эти огромные мосты через Темзу. Эти башни, купола и шпили церквей и соборов. Звон гигантских часов Большого Бена. Потоки шикарных экипажей, ландо, колясок, фаэтонов на улицах, разряженная толпа, сверкающие окна и витрины модных лавок... Нет, ничего подобного не доводилось им видеть в Ричмонде или Вильямсбурге. Нужно было срочно привыкать к своей муравьиной малости, потерянности, никому ненужности. Когда капитан Рэмси передавал своих пассажирок миссис Адамс, Полли уже без всякого притворства цеплялась за него, плакала и говорила, что ни за что, ни за что не расстанется с ним, что он стал для нее как отец родной.

Дом американского посланника мистера Адамса был большим и удобным. Каменные стены хорошо защищали от уличной жары, широкие окна наполняли светом просторные комнаты. Салли очень быстро поняла, что мистер Адамс только «как будто» является хозяином и главой семейства, а на самом деле всем командует и распоряжается его жена.

Миссис Адамс, казалось, всегда точно знала, что и как должно быть сделано в данную минуту, кому поручена та или иная работа, какие произнесены слова, какой укоризной отмечены промахи, слабости, греховность окружающих. Как будто у нее в душе были невидимые весы с двумя чашками: на одной написано «правильно», на другой — «неправильно», и она всегда следовала указаниям этих чашек. Ни покойная мисус Марта, ни тетя-сестра Элизабет Эппс не могли бы сравниться с ней по степени уверенности в себе.

На следующий день после прибытия миссис Адамс первым делом повезла девочек покупать приличную одежду, в которой им можно было бы выходить к гостям или гулять по улицам. Они переходили из магазина в магазин, а вернее — из одного сверкающего дворца в другой, — и их карета постепенно заполнялась свертками, баулами, коробками. Для Полли были куплены четыре платья из голландского полотна, несколько ярдов муслина, кисеи и кружев для пошива юбок, бобровая шляпка, две пары кожаных перчаток, шесть пар чулок, три ярда синей ленты, щетка для волос и зубная щетка. Но и Салли не осталась без обновок: двенадцать ярдов ситца для пошива двух платьев и жакета, четыре ярда голландского полотна для передников, три пары чулок, два ярда подкладочной ткани, шаль на плечи.

Миссис Адамс отправила в Париж письмо, извещавшее мистера Джефферсона о благополучном прибытии Полли и ее горничной. Все были уверены, что он примчится при первой возможности, чтобы забрать дочь. Салли уже неплохо владела ремеслом портнихи, и ее посадили превращать купленные ткани в нижние юбки и ночные рубашки. Однажды она сидела в отведенной ей комнате и случайно подслушала обрывки разговора между миссис Адамс и зашедшим с визитом капитаном Рэмси. Речь шла о ней, о Салли Хемингс.

— Я имел возможность наблюдать за ней в течение долгого пути, — говорил капитан. — По поведению, по манере, по способности владеть собой она еще совершенный ребенок. Не представляю, как родственники Полли-Марии могли поручить этой рабыне такое важное дело. Уверен, что ее хозяину не будет от нее никакой пользы в Париже, одни хлопоты.

— Хорошо, — сказала миссис Адамс, — я передам мистеру Джефферсону ваши впечатления.

— Кроме того, отдает ли он себе отчет в том, что во Франции рабство запрещено? Выучив несколько французских слов, девочка может явиться в полицию и заявить, что она хочет жить в Париже свободной женщиной. И никакой судья не сможет отказать в ее просьбе. Уже несколько десятков американских негров освободились таким образом от своих хозяев. И среди французов полно идеалистов, которые помогают им овладеть профессией, выучить язык, найти жилье.

— Мы с мужем — горячие противники рабовладения и всей душой на стороне этих идеалистов и освобожденных ими рабов.

— Да, в теории все это прекрасно. Но реальность состоит в том, что в парижских трущобах освободившаяся девочка наверняка попадет в руки торговцев живым товаром и сделается проституткой. Пожалуйста, передайте мистеру Джефферсону, что из сочувствия к этому неопытному ребенку я готов бесплатно увезти ее обратно в Вирджинию, где она сможет вернуться в свою семью, в понятный и привычный для нее мир.

Подслушанный разговор оставил в душе Салли след липкого страха. Будто ядовитая жаба проползла там и наполнила сердце постоянно ноющей болью. Ведь никто не станет слушать ее, если она заявит, что не хочет, что боится плыть в Америку с капитаном Рэмси. Миссис Адамс не станет вступаться за нее, она положит слова капитана на одну чашку своих весов, жалобы Салли — на другую, и, конечно, слова взрослого белого перетянут.

Если бы Салли спросили: «Как к тебе относится миссис Адамс?» — она бы уверенно ответила: «Хорошо». И не сочла бы нужным упомянуть одну странную особенность: за все эти дни хозяйка дома ни разу не обратилась к ней по имени. Только «ты», «девочка», «пойдем». Но не «Салли».

Постепенно и другая новость из подслушанного разговора стала разрастаться в сознании Салли кустом то ли жгучих тревог, то ли призрачных надежд. Известие о том, что во Франции любой черный может сделаться свободным, тоже было очень волнующим. Но можно ли было верить ему? Ведь брат Джеймс так рвался к получению свободы, делился с ней своими мечтами. Он уже прожил в Париже три года, и ни о каком освобождении в его письмах домой не упоминалось. Неужели он стал бы скрывать от родных такую новость?

Погруженная в эти тревожные размышления, Салли сидела с шитьем в руках, когда в комнату ворвалась Полли, кинулась ей на грудь и, рыдая, стала кричать:

— Он не приедет! Он не приедет!

Как? Что случилось? Болезнь? Крушение корабля?

Нет — оказывается, пришло письмо от массы Томаса, извещающее, что важные обстоятельства не дают ему возможности покинуть Париж и он придет за девочками слугу, месье Петита.

Не только Полли была ошеломлена и расстроена этим известием. Супруги Адамсы не могли скрыть своего изумления и досады. Отец, который два года добивался приезда дочери? Который втянул столько людей в это важное и нелегкое дело? Который весной два месяца путешествовал по Италии и югу Франции, сейчас не мог покинуть посольство на неделю? И вместо себя посылает слугу, не говорящего по-английски?

В душе миссис Адамс чашка весов с надписью «неправильно» резко пошла вниз, и она села писать письмо мистеру Джефферсону с упреками и с просьбой изменить свое решение.

Потянулись тревожные дни ожидания. Не зная, как утешить и подбодрить разгневанную Полли, Салли предложила ей новую «как будто»: как будто миссис Адамс на самом деле ее мама. Полли увлеклась новой игрой, стала выражать к хозяйке дома такую же нежность, какая раньше доставалась капитану корабля.

Другим развлечением — отвлечением — служили книги. Их в доме было великое множество. Листая одну из них, Салли дошла до картинки, изображавшей негра в богатой старинной одежде, стоящего над белой женщиной, спящей в кровати. Она попросила Полли прочесть всю историю, и через три часа обе дружно рыдали над судьбой несчастной Дездемоны. Миссис Адамс застала их над раскрытой книгой и, обращаясь к одной только Полли, стала объяснять, что жалеть эту женщину не следует, что, выйдя замуж за черного, она нарушила важнейший закон природы, за что и была справедливо наказана судьбой.

Все эти дни Салли продолжала жить с непреходящей ноющей болью в сердце. Что будет в письме массы Томаса? Как он решит ее судьбу? Примет ли он предложение капитана Рэмси?

Но вместо почтальона с письмом в одно прекрасное утро в дверь дома постучал месье Петит. Миссис Адамс прекрасно знала его, потому что в годы их жизни во Франции он служил дворецким в их доме в Аутеле. Она увела его в кабинет мужа. Салли понимала, что подслушивать не было смысла, потому что разговор шел по-французски, но она не могла оторвать взгляда от двери.

Наконец миссис Адамс вышла и мрачно объявила, что — о, счастье! о, силы небесные! о, милость Господня! — месье Петиту поручено везти в Париж обеих девочек. Да, для их поездки американское посольство выписало два паспорта, действительных на два месяца. И Салли своими глазами увидела в руках месье Петита два документа с печатями и могла прочесть ясно выведенные имена: «мисс Мария Джефферсон» — в одном и «мисс Салли Хемингс» — в другом.

Все происходившее дальше окрасилось для нее какой-то серебристой дымкой надежд и мечтаний. Ноющая боль страха в душе улетучилась — это было главным. Шторм, напавший на них при пересечении канала и поваливший на койку позеленевшего месье Петита, был воспринят ею как веселое приключение. Тряска дилижанса, сражавшегося с ухабами французских дорог, была успешно превращена в очередную «как будту». Ее бодрости и веселья хватало на двоих, ей удавалось утешать и смешить Полли всякий раз, как обида, причиненная отцом, пыталась вернуться в сердце девочки.

Массу Томаса Салли ярче всего помнила таким, каким он был в последние дни болезни жены: не видящим никого вокруг, отрешенным, почти нездешним, готовым, казалось, вот-вот последовать за ней в Царство небесное. Из разговоров своих семейных она знала, что в их Вирджинии он был самым важным и знаменитым человеком, что самые богатые джентльмены были его друзьями и даже сам великий генерал Вашингтон писал ему письма и спрашивал его советов. Однако для Салли важнее было другое: в рассказах ее родных о хозяине Монтиселло никогда не просвечивало, не мелькало, не затаивалось чувство страха.

Может быть, поэтому она ничуть не боялась, когда их путешествие подошло к концу и карета въехала во двор большого нарядного особняка в Париже.

Полли распахнула дверцу и прыгнула в объятия сестры, Патси-Марты.

Салли вышла с другой стороны и тут же оказалась в сильных руках брата Джеймса. Он закружил ее, защекотал, как в детстве, расцеловал, поставил на землю.

Мистер Джефферсон стоял на крыльце дома, одетый по-домашнему, в жилете поверх белой рубашки, без парика. Лицо его выражало изумление, почти испуг.

Он не смотрел на приехавшую долгожданную дочь.

Он не отрываясь смотрел на Салли Хемингс.

И под этим взглядом знакомое тесное ожерелье захлестнуло ей шею, но не той болезненной петлей, которую рождали в ней глаза капитана Рэмси, а той лентой готовности к неслыханному, несбыточному счастью, которую она впервые пережила, глядя на пятнадцатилетнего белого гостя из других миров.

Июль, 1787

«Любезная мадам, вчера я был осчастливлен прибытием моей дочери в добром здравии. Прежде всего она сообщила мне, что обещала Вам, как только оглядится здесь, осчастливить Вас визитом на пять-шесть дней. В своих расчетах она принимает во внимание только порывы собственного сердца, которое переполнено теплым и благодарным чувством к Вам. Путешествие ее прошло благополучно, она завела дружбу с попутчиками, с дамами и джентльменами, и время от времени сидела на коленях то у одного, то у другого. Свою сестру она совсем забыла, но, увидев меня, сказала, что слабо припоминает, как я выгляжу».

Из письма Томаса Джефферсона Абигайль Адамс

Лето, 1787

«На съезде по выработке новой Конституции многие компромиссы были достигнуты с большим трудом. Когда все было готово к окончательному голосованию, многие делегаты опасались, что те, чьи аргументы были отвергнуты, объединят свои усилия и проголосуют против. Если бы это случилось, Конституция наверняка была бы отвергнута ассамблеями штатов. Руководители съезда

обратились ко мне с просьбой призвать к единогласию. Так как здоровье мое сильно пошатнулось в те дни, я просил прочесть подготовленную мною речь другого делегата. Он же внес предложение, рекомендуемое делегатам подписать документ, подтверждающий единодушное согласие штатов».

Бенджамин Франклин. «Автобиография»

Сентябрь, 1787

«Уважаемый сэр! Сразу по возвращении из Филадельфии в Маунт-Вернон я посылаю вам текст Конституции, выработанной федеральным съездом.

Отправляю документ без комментариев. Вы из своего опыта знаете, как трудно бывает примирить такое многообразие интересов, какое существует сегодня в различных штатах. Мне бы хотелось, чтобы предложенная Конституция была более совершенной, но я искренне верю, что это наилучший вариант, какого можно было достичь сегодня. Так как она открыта внесению поправок в будущем, ее принятие штатами представляется мне крайне желательным».

Из письма Вашингтона Патрику Генри в Вирджинию

Осень, 1787

«У нас сейчас проходит обсуждение проекта Конституции для Соединенных Штатов Америки. У меня есть много причин верить в то, что его создавали откровенные, честные люди, и надеюсь, так его и воспримут. В нем могут быть недостатки, но где их нет? Если его утвердят, то ситуация в нашей стране сильно изменится к лучшему и вскоре Америка заслужит уважение других стран в такой же мере, в какой они пренебрегали ею до сих пор».

Из письма дипломата Говернора Морриса

ДЕКАБРЬ, 1787. ПАРИЖ

В тот вечер воскресшая жена возникла перед Джефферсоном так естественно и бесшумно, словно и впрямь ангелы опустили ее с небес и поставили посреди двора, рядом с запыленной каретой.

«Это не сон, — говорил он себе. — Это не может быть сон. Я чувствую боль в покалеченной кисти, а во сне боль уходит. Я слышу голоса и смех дочерей, вижу, как Патси кружит и подбрасывает приехавшую Полли. А воскресшая Марта смотрит на меня со своей чуть вопросительной улыбкой, будто опять ждет каких-то важных, все объясняющих слов».

Но какой молодой ее воскресили!

Это была даже не юная вдова Скелтон, с которой он встретился на бале в губернаторском дворце в Вильямсбурге. Семнадцатилетняя невеста Бафурста, стоящая рядом с ним в церкви перед алтарем, — вот на кого была похожа воскресшая. И что скрывать: ведь уже тогда он был задет стрелой ее красоты и потом носил в закромах памяти эту рану, пока судьба не свела их снова — свободными, одинокими, бесценными друг для друга.

Наваждение длилось минуту или две.

Потом оно кончилось, Салли Хемингс выпустила руку брата Джеймса, сделала несколько шагов к крыльцу и слегка присела перед хозяином:

— Масса Томас, сэр, ваша дочь, милостью Господней, возвращена под крышу вашего дома.

Джефферсон пришел в себя, кивнул ей, улыбнулся и двинулся в сторону Полли. Та высвободилась из объятий сестры, подставила щеку для поцелуя отцу, но на расспросы отвечала односложно и неприветливо. Видимо, обида засела в ней глубоко. Чтобы она растворилась, возможно, понадобится больше времени, чем на пересечение океана. Джефферсон был готов к этому. Даже без укоризненных писем Абигаиль Адамс он понимал, какую горечь мог оставить в Полли его отказ приехать за ней в Лондон. Обязанности дипломата — это объяснение не принимали ни взрослые, ни дети. Ведь эти обязанности не мешали ему весной два месяца путешествовать по югу Франции и по Италии.

Однако о подлинных причинах Джефферсон не мог бы рассказать никому. Он прятал их даже от самого себя. Не называл словами. Когда пришло известие о том, что Полли плывет в Англию, он честно стал готовиться к поездке, составлял подробные инструкции для остающегося в посольстве Вильяма Шорта. Но потом в его сознании всплывала Мария Косвей. Он представлял себе, как окажется с ней в одном городе, может быть, в получасе ходьбы — и что? Нанести светский визит и удалиться? После всех нежных писем, летавших между ними в течение восьми месяцев? Или добиваться тайных свиданий? Опять прятаться от мужа? Улыбаться ему при встречах в лондонских гостиницах, говорить любезности?

Десятки его знакомых во Франции вели себя именно так и не видели в этом ничего зазорного. Лафайет, например, купался в своих любовных увлечениях при живой жене, которую он ценил и обожал. Джефферсон и рад был бы принять парижские правила куртуазной игры, но чувствовал, что нет — не может. Скрытность и лицемерие были профессиональной необходимостью для политика и дипломата. Но личную жизнь он мечтал оставить царством правдивости, подлинности, любви.

Ах, если бы Мария сумела вырваться и приехать в Париж без мужа!

Вернувшись из своей весенней поездки, Джефферсон послал ей письмо, в котором сравнивал увиденное с Элизиумом.

«Почему Вас не было со мной?! Чарующие пейзажи проплывали перед моими глазами, они только ждали, чтобы Ваш карандаш увековечил их. Как Вы прожили эти месяцы? Когда приедете к нам? Утратить Вас совсем было бы для меня просто несчастьем. Приезжайте, и мы будем завтракать каждый день по-английски, гулять в парке Дезерт, обедать в беседках Марли и забудем о том, что нас ждет новое расставание».

Мария жила в одном городе с Адамсами. Джефферсон не мог бы ответить на вопрос, почему он никогда не делал попыток свести ее со своими близкими друзьями. Предчувствовал, что их знакомство внесет новый клубок скрытности и неискренности? Ведь даже его отношения с Абигаиль Адамс порой окрашивали неизбежным оттенком фальши его дружбу с ее мужем. О, да, ему и Абигаиль не в чем было упрекнуть себя. Ни в словах, ни в письмах, ни в случайных касаниях они ни разу не перешли границы пристойного. Но ведь в помыслах своих человек не властен над собой. И в те недели, когда он жил в лондонском доме Адамсов весной прошлого года, засыпая, он не мог усмирить свое воображение и не думать о том, что происходит рядом в супружеской спальне. Правильно учил Христос: «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбойдействовал с нею в сердце своем».

Полли удалось быстро устроить в школу-пансион, и обе дочери вскоре покинули особняк Ланжак. Для Салли отвели комнату в мезонине, и дворецкий

Петит на смеси французского и английского разъяснял ей обязанности горничной по уходу за бельем, скатертями и простынями. В выходные появлялся Джеймс и уводил сестру показывать ей парижские чудеса. Особенный восторг у нее вызвал театр итальянских марионеток в Пале-Рояле и восковые фигуры в салоне Куртиус. В просторном доме Джефферсон сталкивался с ней нечасто, но облик девушки с лицом утраченной жены поселился в его памяти как теплый, негаснущий огонек.

А потом случилось то, на что он уже не смел надеяться: Мария решилась, вырвалась из Лондона и приехала в Париж одна!

Целый год ее существование воплощалось для него лишь в виде строчек писем, и он успел забыть, как ослепительно красиво ее лицо, как нежен звук голоса, как изящны движения рук, шеи, бровей. Его сердце наконец сумело заглушить предостерегающий бубнеж зануды-разума, и он проделал все, что полагалось бы проделать опытному парижскому ловеласу: придумал десятки поводов для того, чтобы исчезать из посольства, запаса наличными деньгами для всяких внезапных трат, снял отдельную квартирку в безлюдном квартале за Булонским лесом. Мария приезжала к нему туда в сумерках, и они кидались в объятия друг друга так безоглядно, будто судьба сделала им подарок — вернула в далекую неумелую юность.

Вспоминая сейчас, в холодном декабре, те жаркие сентябрьские дни, Джефферсон жалел, что муза поэзии облетела его стороной. То, что происходило между ними в неверном свете единственной свечи, не могло быть воссоздано обычной речью. Опять душа его соприкасалась с чем-то, чему люди еще не сумели подобрать название. Невыразимость отступала лишь тогда, когда Мария, блестя обнаженными плечами, выпрыгивала из кровати, подбегала к клавикордам и наигрывала для него какую-нибудь мелодию из входившего в славу Моцарта или пыталась нащупать — уловить — собственную музыкальную тему, только что промелькнувшую в ее распаленном сердце.

В этот приезд она поселилась в получасе езды от Парижа, на вилле своей приятельницы, польской княгини Изабеллы Любомирской. Джефферсон был знаком с княгиней, бывал в ее салоне, но теперь предпочитал вызывать Марию на свидание записками, отправленными с посыльным. Они оба вели себя осторожно, старались не показываться на людях вместе, никому не рассказывали о своем романе. Однако само их отсутствие начало вызывать подозрения друзей и знакомых. Джон Трамбалл прислал из Лондона встревоженное письмо:

«Вы, конечно, видите с миссис Косвей. Умоляю, передайте ей, что прошло уже три доставки почты из Франции и ни один из ее друзей не получил от нее ни строчки. Они не только сердятся на нее, но и умирают от беспокойства: не вызвано ли это молчание болезнью или несчастным случаем. Мне поручено серьезно побранить ее».

Джефферсон ответил шутливо, прося отложить все упреки до того момента, когда он изобретет бранящую машину-автомат, потому что нормальное человеческое сердце не может выражать осуждение в адрес столь замечательной особы, как миссис Косвей. Мария все же сочла, что ее непопадание в парижских салонах слишком затянулось и становится подозрительным. Она понемногу стала выезжать, навещать старинных друзей, принимать их в доме княгини.

В октябре свидания в квартире за Булонским лесом сделались реже. Если Джефферсон и Мария встречались на людях, они обменивались двумя-тремя

фразами и расходились. Оказываясь наедине, были по-прежнему нежны и заботливы, но оба, не сговариваясь, обходили молчанием вопрос: а что будет дальше? Задать этот вопрос вслух означало бы снова дать права зануде-разуму — и что можно было услышать от него в ответ?

«Ну, хорошо — она скажет тебе *да*, согласится нарушить заветы своей веры, решится на развод с мужем, уедет с тобой в Вирджинию. Ты нарушишь клятву, данную умирающей жене, женишься на ней, сделаешь ее хозяйкой Монтиселло. Что ждет вас там — двух клятвоступников? Ты обожаешь радовать и одаривать тех, кого любишь, — чем ты сможешь одарить блистательную светскую красавицу посреди гор и лесов? Не впадет ли она в безнадежную тоску на второй, на третий месяц? Не начнет ли осыпать тебя упреками за то, что ты оторвал ее от друзей, от театров, от концертов, от выставок? При твоей открытости чувству вины, как ты будешь жить с женщиной, чей взгляд и голос будет наполнен не умирающей горькой укоризной?»

В начале ноября чувство вины вдруг пронзило его во сне — но не по отношению к Марии. Ему приснилась Марта с ребенком на руках, которого она пыталась поить какой-то микстурой из пузырька. Ребенок был явно болен, но они не знали — чем именно.

Он проснулся в страхе и отчаянье.

Боже, как он мог забыть об этом!

Рассвет едва тронул крышу особняка Ланжак, а ему уже вывели из конюшни коня, и он скакал по дороге, ведущей на восток от Парижа. Год назад ему довелось познакомиться со знаменитым доктором Робертом Саттоном и посетить его в лечебнице, устроенной им неподалеку от кладбища Пер-Лашез. Дорогу он помнил хорошо, здание нашел без труда.

Семейство врачей Саттонов прославилось в Англии своими успешными прививками оспы. В среднем у них тяжело заболел или умер один пациент из ста — это считалось очень хорошим результатом. Они стали так знамениты, что их вызвали во Францию к постели умиравшего короля Людовика Пятнадцатого, но было уже поздно. Роберт Саттон остался и создал клинику, в которой уже побывало много знатных и богатых пациентов. После прививки полагался карантин на сорок дней. Питание больных тоже подчинялось строгим правилам и считалось частью лечебного процесса.

Доктор Саттон вышел в приемный покой, чтобы лично приветствовать американского дипломата. Во время первой встречи Джефферсон понял, что его любознательности придется довольствоваться крохами информации — врачи прятали свои методы под покровом секретности. Но все же ему удалось разузнать, например, что по сравнению с другими медиками они резко сократили применение ртути в послеоперационных лекарствах. Это показалось ему разумным, потому что на симптомы ртутного отравления жаловались несколько его знакомых, сделавших прививку у других врачей.

— Мистер Джефферсон, чем я обязан столь приятному визиту? Насколько я помню, вы смело привили себе оспу уже двадцать лет назад, когда это даже в Англии считалось попыткой нарушить волю Всевышнего. А-а, пришла пора подвергнуться операции вашей юной родственнице, приехавшей из Америки? Очень хорошо. Как раз через два дня мы выписываем одну пациентку, и ее комната будет свободной. Юная особа не говорит по-французски? Это не беда. Половина наших санитарок — англичанки. К сожалению, по нашим правилам,

плату мы должны получить вперед. В американской валюте это будет стоить вам сорок долларов. Под каким именем я должен записать пациентку в журнал? Салли Хемингс? Прекрасно. Ждем ее через два дня.

Джефферсону с трудом удалось сохранить невозмутимость, когда он услышал, во что обойдется операция. Долги, висевшие на посольстве и на нем лично, росли неумолимо. Вряд ли Конгресс согласится покрыть этот расход. В клинике для титулованных особ — свои расценки. Он мог бы это предвидеть. Придется, видимо, заплатить из своего кармана. Но не мог же он допустить, чтобы эта девочка — перевоплощенная Марта — осталась беззащитной перед страшной болезнью.

Джефферсон попросил Джеймса подготовить сестру, заверить ее, что будет не очень больно и совсем неопасно. Действительно, Саттоны научились делать такой маленький надрез на руке, что многие пациенты едва замечали его. Все же в карете, ехавшей в Пер-Лашез, Салли была непривычно молчалива, держалась напряженно, сжимала в пальцах кружевной платочек, подаренный ей Патси. Только в уютной приемной, украшенной пестрыми занавесками, она немного расслабилась. А когда им навстречу вышла добродушная санитарка, заговорила по-английски и приветствовала новую пациентку положенным книксеном, Салли чуть не прыснула. Белая санитарка присела перед ней? Такого с ней еще не случалось.

Джефферсон и Джеймс помахали ей вслед, брат обещал писать не реже раза в неделю.

Несколько дней спустя в кабинет Джефферсона зашел встревоженный Вильям Шорт. Он положил на стол кожаное досье, начал доставать принесенные бумаги.

— Сэр, наконец мне удалось найти в парижском суде толкового клерка, у которого я смог осторожно расспросить об их правилах и законах, касающихся невольников, приехавших в страну. Как вы знаете, рабство во Франции запрещено. Если какой-то иностранец привезет с собой раба, этот раб имеет право подать в суд петицию об освобождении, и суд в девяти случаях из десяти эту петицию удовлетворит без долгих проволочек.

— Интересно было бы узнать, на каком языке должна быть написана петиция.

— О, в Париже проживает много освободившихся таким образом рабов, владеющих французским, которые с готовностью помогут своему собрату. Также и среди парижан много идейных противников рабства. Ваш друг Лафайет, я знаю, писал Вашингтону, призывая его приложить все силы к отмене рабства в Америке, жертвовать деньги на создание государства освобожденных негров в Африке или в Вест-Индии.

— Вас тревожит, что брат и сестра Хемингсы могут соблазниться этим шансом получить свободу?

— Не только это. Оказывается, владелец раба, привезенного им во Францию, обязан безотлагательно зарегистрировать его в канцелярии муниципалитета. Уклонение от этого правила карается огромным штрафом: три тысячи ливров. Мы не зарегистрировали ни Джеймса, ни Салли. Это может вам обойтись в потерю шести тысяч. Если я правильно помню, ровно столько вы платите в год за аренду этого особняка.

Джефферсон задумчиво листал лежащие перед ним листы с отпечатанными текстами правил.

— Дорогой Вильям, вы знаете мое отношение к институту рабовладения. Если бы я увидел реальную возможность немедленно покончить с ним, я бы тут же присоединился к движению аболиционистов. Но эти близорукие идеалисты, призывающие сегодня же освободить невольников, имеющих профессию, не хотят видеть, что каждая плантация представляет собой цельный организм, питающий своими трудами не только белых хозяев, но также черных малышей и стариков. Что станет со старыми и малыми, если все работоспособные вдруг покинут поместье? Вашингтон рассказывал мне, что его Маунт-Вернон уже перестал приносить доход, все, что выращивается там, идет на поддержание жизни черных. Если бы у него не было земель, сдаваемых в аренду, ему бы не на что было жить.

— Да, та же проблема встанет и перед вами, когда вы вернетесь в Вирджинию. Но что вы решите сейчас в отношении Хемингсов? Будете рисковать и дальше, не регистрируя их как положено?

— Не знаю. Мне нужно подумать. Что-то в душе противится, мешает подчиниться такому вторжению государства в мою жизнь. Но, конечно, я очень благодарен вам за то, что вы разузнали все это для меня, поставили в известность.

Несколько раз Джефферсон навещал Марию в доме ее приятельницы, княгини Любомирской. Иногда Мария опаздывала к назначенному часу, и тогда он имел возможность побеседовать с хозяйкой дома. Его необычайно занимали ее рассказы о трагической судьбе Польши в последние десятилетия. Страна, которая в семнадцатом веке была империей, простиравшейся от Балтийского моря до Черного, в веке восемнадцатом постепенно хирела, терпела поражения в войнах, теряла территории, которые переходили под власть грозных соседей: Пруссии, Австрии, России. В чем же была причина?

Княгиня считала, что главная причина ослабления ее страны — старинное «право вето», позволявшее любому члену правящего сейма наложить запрет на предлагаемый закон, даже если все остальные считали его абсолютно необходимым. Джефферсон слушал ее с огромным интересом, потому что и Америка в те месяцы стояла перед решающим политическим выбором: какую меру независимости оставить отдельным штатам, какой мерой власти наделить центральное правительство? Проект Конституции, выработанный летом на съезде в Филадельфии, был разослан для утверждения в штаты, и друзья держали его в курсе кипевших дебатов. Выбираемый на долгий срок президент — разве это не аналог выбираемого польского короля? И к чему эта система привела Польшу сегодня?

— Пятнадцать лет назад три европейские империи вели свои войны на польской земле: Пруссия Фридриха Великого, Австрия императрицы Марии-Терезии и Россия Екатерины Второй, — рассказывала княгиня. — Кто победил — осталось неясным, но кто проиграл было очевидным: Польша. Она потеряла треть своей территории, которую разделили между собой жадные соседи. Тем не менее, наш король, Станислав Второй, пытался провести много важных реформ. Поверьте, я хвалю его не потому, что он мой кузен, а потому, что он искренний и убежденный проводник идей Шарля Монтескье, Эдмунда Берка, даже вашего Джорджа Вашингтона. В союзе с сеймом он увеличил число гимназий

и университетов, отменил право вето, разработал конституцию. Однако все это пришлось не по вкусу русской императрице, и она грозит новым вторжением.

— Как странно! — удивился Джефферсон. — Французы считают ее такой просвещенной государыней. Она переписывалась с их философами, пригласила в свою страну десятки европейских ученых.

— О, эта дама умеет пустить пыль в глаза. Ее когти всегда спрятаны в до-рогих русских мехах. На словах она требует от Польши установления веротер-пимости по отношению к не католикам: протестантам, православным, евреям. На деле же, после страшного восстания казаков на Урале она боится любого дуновения свободы из соседней страны. Что произойдет, если русские поме-щики последуют примеру польских и начнут массами отпускать на волю своих крепостных?

Если разговор уходил от политических тем и возвращался к светской жизни в Париже, Джефферсон порой не мог удержаться от жалоб на Марию, которая все больше времени тратила на встречи с друзьями и знакомыми, на посещения выставок и спектаклей. Ему хотелось бы занять в ее душе столько же места, сколько она занимала в его душе. Каждая ее отговорка — «Ах, я уже обещала вечер среды провести у графини»; «Ох, мы с друзьями должны быть на приеме у английского посланника» — вызывала в нем укол ревности. Княгиня сочув-ствовала ему и осторожно объясняла жизненные трудности Марии:

— Поймите, ее зависимость от мужа не имеет границ. Он распоряжается деньгами, их дом и дорогие коллекции в нем — его собственность. Стоит ему прекратить ежемесячные субсидии ей, и она окажется в положении нищенки. У нее была надежда во время этого приезда в Париж получить заказы от друзей на писание их портретов, но из этого ничего не вышло. Даже вы поручили пи-сать портрет Лафайета Трамбаллу, а не ей.

— Но я не распоряжаюсь этими деньгами. Их присылает Конгресс с подроб-ными инструкциями. Я только могу порекомендовать того или иного художника.

— Это я понимаю. Но порекомендовали вы хоть раз Марию Косвей?

Джефферсон смущенно умолк. Но вечером, оставшись в спальне один, учинил себе строгий допрос. «Почему ты этого не сделал? Считаешь Марию недостаточно талантливой? Или боишься, что ваши отношения выплывут на свет? И тебя обвинят в корыстной выплате казенных денег собственной воз-любленной?»

За три прошедших месяца первоначальный пожар их романа заметно ослаб, подернулся пеплом сомнений. Радовать и одаривать чем-то тех, кого он любил, было для Джефферсона главным счастьем в отношениях с людьми. Но даже необъятный Париж с его прелестными окрестностями, похоже, исчерпал себя. В нем не осталось чудес, которыми можно было бы поделиться с Марией. Джеф-ферсону казалось, что Мария ищет в нем не только страстного возлюбленного, но и рыцаря-спасителя, который мог бы вызволить ее из тюрьмы безрадостного супружества. Но был ли он готов — способен на такой подвиг? Созрел ли для того, чтобы поставить любовь выше долга — перед дочерьми, перед близкими, перед тенью покойной жены, перед страной, наконец? Скандальный роман американского посланника с замужней иностранкой — на такую поживу на-кинулись бы газеты всех европейских столиц.

И когда Мария сообщила ему, что муж решительно потребовал ее возвра-щения в Лондон и что отъезд назначен на шестое декабря, он не произнес тех

слов, которые она, наверное, ждала от него. Вместо них он стал говорить о том, что физическая разлука не сможет порвать невидимую связь их сердец. Что их любовь навеки сковала их души, и они будут хранить память друг о друге как святыню. И ждать, когда судьба снова подарит им счастье свиданья. А пока он отложит все срочные дела, чтобы утром в день отъезда позавтракать с ней в ресторане и потом проводить, опять проехав в ее карете до Сент-Дени.

Подъезжая утром шестого к вилле княгини Любомирской, Джефферсон испытывал грусть, под которой еле слышно журчал ручеек облегчения. Да, эта женщина была прелестна, неповторима, обворожительна. Но при этом — слишком непокорна. Чтобы идти навстречу ее порывам и желаниям, ему постоянно приходилось делать усилия над собой, в чем-то ограничивать свою свободу. Лучше будет, если она останется в его жизни далекой мечтой, смутной надеждой, строчками надушенных писем. Писатель Стерн в своем «Сентиментальном путешествии» показал своим читателям, как можно любить на далеком расстоянии друг от друга. Почему бы не последовать его примеру?

Княгиня сама вышла встретить его в гостиной. Она выглядела смущенной, взгляд ее был полон сочувствия.

— Мария уже уехала, — сказала она. — Просила ее извинить, оставила вам письмо.

Ошеломленный Джефферсон с трудом распечатал конверт, не сразу смог поймать взглядом волнистые строчки:

«У меня нет сил позавтракать с Вами завтра. Попрощаться один раз было достаточно больно. Я уезжаю в глубокой печали. То, что Вы отдали все заказы на портреты Трамбаллу, а не мне, показывает, насколько я Вам не нужна, насколько не могу быть полезной. А мне так бы хотелось отблагодарить Вас за доброе отношение ко мне».

Джефферсон читал и чувствовал, как разочарование и досада в его душе стремительно вытесняются гневом и возмущением. Ах, вот вы как! После всего, что было между нами?! Ни слова любви, одни упреки? Прав, о, как прав был мистер Разум, когда поучал: «Заглатывать наживку удовольствия, не проверив, нет ли в ней крючка, — самое опасное дело на свете». Да и чего другого можно было ждать от англичанки? Все они — бездушные лощеные манекены, умеющие прятаться за соблазнительными маскарадными масками.

Княгиня что-то говорила в утешение. Он кивал, бормотал извинения, отклонялся.

Теперь нужно было направить все силы на то, чтобы забыть непредсказуемую и непокорную. Заняться запущенными дипломатическими проблемами. Ответить на письма Адамсу, Мэдисону, Вашингтону.

На Рождество он забрал обеих дочерей из школы, для Патси устроил выезд на костюмированный бал.

Под Новый год пришло письмо из клиники доктора Саттона, извещавшее, что Салли Хемингс перенесла прививку хорошо, что срок обязательного карантина закончился и ее можно забрать домой.

Джефферсон решил поехать за девочкой сам.

Когда она вышла к нему в приемную, он снова на секунду был ошеломлен ее сходством с покойной Мартой. Семя любвеобильного отца, возрождающее один и тот же облик в дочерях, — кто может постичь это очередное чудо Творца?!

В карете Салли была оживлена, охотно отвечала на вопросы любознательного хозяина.

— Да, кормили там вкусно, но по строгим правилам: только пудинги, овощи, фрукты, каши. Никакого мяса или рыбы. Я так соскучилась, как приедем, побегу к Джеймсу на кухню и схвачу баранью котлету прямо со сковородки. Или кусочек *roulet*. То есть курицы. Да, французских слов я поднабралась сотни две. Скоро начну забывать английские. Еще заставляли много гулять. Говорили, что это помогает выздоровлению.

— Доктор Саттон хранит свои методы в секрете. Когда мы вернемся в Вирджинию, американские врачи, наверное, накинутся на тебя с расспросами.

— Главный их секрет, я думаю, один: чистота. Все моют по двадцать раз в день. Лицо, шею, руки, ноги. Ложки, вилки, тарелки, чашки. А разные блестящие инструменты даже кипятят в кастрюльке.

— Я рад, что операция прошла благополучно. Ты большой молодец, что не испугалась, поехала без споров, слушалась врачей. Думаю, тебе полагается награда. В ближайшее время дам Джеймсу денег, чтобы он сводил тебя в модную лавку и купил что-нибудь нарядное.

Глаза девочки засияли, но потом она глубоко вздохнула и, словно испуганная собственной дерзостью, спросила:

— Сэр... Масса Томас... А можно?.. Если это разрешено во Франции... Можно я пойду в лавку сама?.. Без Джеймса?.. Я уже знаю дорогу в Пале-Рояль... Мне так хочется подойти к прилавку самой, самой показать на какую-нибудь шляпку и сказать продавщице: «Сильву пле...» А потом самой заплатить!..

Джефферсон, глядя на лицо Салли, светящееся в полумраке кареты, вдруг подумал: «Вот кого бы я мог без труда радовать и делать счастливой каждый день. Не опасаясь капризов, непокорности, непредсказуемости».

Через несколько дней в расходной книге мистера Томаса Джефферсона появилась запись: «Выдано Салли Хемингс 36 франков». Ежемесячная плата Джеймсу Хемингсу была указана отдельно.

Апрель 24, 1788

«Милый друг, вернувшись вчера из путешествия по Европе, я получил гору писем, но первым делом отвечаю на Ваше, не открыв другие. Очень мечтал о вас, находясь в Дюссельдорфе. В их музее видел великолепное собрание картин. Полотна Ван дер Верфа врезались мне в память. Особенно прелестно то, на котором Сара вручает Аврааму свою служанку Агарь. Хотел бы я быть на месте Авраама, если только это не означало бы находиться среди умерших в течение последних пяти или шести тысяч лет... Видимо, я просто дитя природы, любящее то, что вижу и чувствую, не задумываясь о том, что явилось причиной моих чувств, и не заботясь о том, имеется ли причина вообще. В Гейдельберге снова мечтал о вас. Водил по всем садам, держа за руку...»

Из письма Томаса Джефферсона Марии Косвей

Май, 1788

«Дорогой маркиз, конвенция штата Мэриленд ратифицировала федеральную конституцию большинством: 63 против 11. В следующий понедельник соберется конвенция Вирджинии. У нас есть надежды на то, что там она будет одобрена, хотя не очень большим числом голосов. Несколько предстоящих недель пред-

определят судьбу Америки для нынешнего поколения и, вероятно, в большой мере повлияют на общественное благоденствие на века вперед. Если все будет проходить в гармонии и взаимном согласии, соответственно нашим желаниям и ожиданиям, я должен признать, дорогой маркиз, что это превзойдет все, на что мы могли надеяться еще восемнадцать месяцев назад. Перст Провидения будет виден в этом настолько, насколько это только возможно в человеческих делах на Земле».

Из письма Джорджа Вашингтона маркизу Лафайету во Францию

Июль, 1789

«Месье де Корни и пять других депутатов были посланы к коменданту Бастилии с требованием открыть доступ к арсеналам. Перед тюремой уже бурлила большая толпа. Депутаты подняли белый флаг, и такой же флаг был поднят на стене крепости. Депутаты уговорили собравшихся отступить, а сами вышли вперед, чтобы предъявить свои требования коменданту. В это время со стен раздалась стрельба, и четверо в толпе были убиты. Депутаты отступили, а народ пошел на штурм и очень быстро овладел крепостью, которую защищали сто человек. Нападавшие выпустили узников, забрали все найденное оружие, а коменданта и его заместителя потащили на Гревскую площадь, где им отрубили головы, и с торжеством понесли их по улицам к Пале-Роялю. В Версале некоторое время никто не решался сообщить королю о событиях в Париже. Только ночью герцог Лианкур вошел в спальню короля и рассказал ему с подробностями о том, что творилось в столице».

Томас Джефферсон. «Автобиография»

Осень, 1789

«Сегодня утром повесили пекаря... Он работал всю ночь, чтобы испечь как можно больше хлеба, но толпа обвинила его в сокрытии запасов. Как водится, ему отрубили голову и с торжеством носили ее по улицам. Говорят, когда его жена увидела это, она умерла от ужаса. Неужели Божественное провидение оставит такие преступления безнаказанными? Париж нынче представляет собой самое страшное место на земле. Убийства, жестокости, кровосмешение, жульничество, грабежи, угнетение, разгул. И это в городе, который выступил на защиту священного дела *свободы*. Когда стены существовавшего деспотизма рухнули, все темные страсти вырвались наружу. Одному только небу известно, чем кончится борьба. Скорее всего, чем-то очень плохим; то есть рабством».

Из дневника американского дипломата Говернора Морриса

СЕНТЯБРЬ, 1789. ПАРИЖ

Вспоминая свои письма в Америку, регулярно посылавшиеся им в течение жаркого парижского лета, Джефферсон порой задавался вопросом: кого он пытался убедить в том, что французская революция идет правильным и желательным путем, — своих адресатов или себя? Он словно вернулся в годы юности, обновил в голове все приемы адвокатского ремесла и со страстью кинулся защищать дорогого его сердцу «клиента»: свободу и счастливое будущее французского народа. Все зверства вырвавшейся из-под контроля толпы должны были найти

оправдание в веках деспотизма и угнетения, выпавших на долю этой нации, все отрубленные и поднятые на пики головы заслужили прежними преступлениями свою судьбу — таков был его главный тезис.

После взятия Бастилии политические события в стране понеслись непредсказуемо, как потоки лавы на склонах вулкана. Созванные королем Генеральные штаты изменили название на Национальное собрание и объявили себя верховной властью в государстве. Армия отказывалась подчиняться приказам офицеров. Настойчиво носились слухи о том, что король тайно призвал на помощь наемников из Фландрии и Германии. Многотысячная толпа голодных явилась из Парижа в Версаль, требовала хлеба и наказания ненавистных министров.

Лафайет был вынесен на пост командующего вооруженными силами, но и его приказы часто не выполнялись. Каждый день ему доводилось спасать кого-то из рук разъяренной черни, однако это была капля в море. Однажды в его штаб-квартиру ворвалась толпа, только что совершившая самосуд над бывшим интендантом Парижа. Впереди шествовал гордый собой бунтовщик с трехцветной кокардой на шляпе, державший в руках вырванное сердце несчастного, другой за ним нес отрезанную голову.

Всему этому надо было находить объяснения-оправдания. Или не замечать. Или объявлять нетипичными крайностями. Или доказывать, что за великое и святое дело освобождения народа можно заплатить и более высокую цену. Ведь он, Джефферсон, уже откликаясь на восстание Шейса в Массачусетсе, писал друзьям, что дерево свободы необходимо время от времени поливать кровью угнетателей и бунтовщиков. Маленькие восстания в свободной стране должны случаться время от времени, ибо они очищают политическую атмосферу, как гроза очищает воздух. Америка заплатила за свою свободу семилетней гражданской войной. Франция, наученная ее примером, может достичь бухты мира и благоденствия гораздо быстрее.

Действительно, пример Соединенных Штатов вдохновлял многих. Французские политики обращались к американскому дипломату за советами, искали его посредничества в своих дебатах. По просьбе одного из депутатов Национального собрания он даже составил краткий проект возможного соглашения между народными избранниками и престолом. В него были включены пункты, предоставлявшие парламенту верховную законодательную власть, право облагать население налогами, командование вооруженными силами. Роль короля не была ясно обозначена, но открытое устранение монархии не подразумевалось. В обмен за все уступки, королевское правительство должно было получить заем в 80 миллионов ливров, который будет покрыт налогами, распределенными на все сословия.

Да, если на свободный человеческий разум не налагать оков мракобесия и невежества, он неизбежно приведет нацию к свободе и процветанию. «Перед Национальным собранием сегодня лежит чистый холст, на котором оно может создать такую же картину, какую мы создали в Америке, — писал Джефферсон в одном письме. — Твердость и мудрость делегатов внушает надежду. Видимо, они примут конституцию похожую на английскую, но лишенную ее дефектов. Я с таким доверием отношусь к здравому смыслу людей и к их способности управлять своими делами, что пусть меня побьют камнями как лжепророка, если в этой стране не восторжествует разумное начало. И не только в ней. Она — лишь первый пример наступления свободы в Европе».

Пока под стенами особняка Ланжак бушевали неуправляемые толпы, внутри, под его крышей, тихо протекала незаметная семейная революция, в которой опять все законы и правила разума подвергались испытанию порывами человеческих сердец.

Все началось полгода назад, в Пасхальные праздники.

В тот день очередной приступ мигрени заставил Джефферсона отложить том Гиббона, уйти в спальню на два часа раньше обычного. Он сидел на кровати, сжав виски руками, и тихо мычал. Именно таким его застала Салли Хемингс, вошедшая со стопкой выстиранных и выглаженных простынь.

Он поднял на нее глаза и виновато помотал головой. Она положила простыни на кресло, стала перед ним и заговорила укоризненно и убежденно, тем тоном, каким она обычно говорила с расшалившейся Полли:

— Мама Бетти всегда учила миссус Марту, что так нельзя, нельзя делать. Как только мигрень залезла в лоб через глаза, ее нужно гнать немедленно. Никогда не следует давать ей расползаться по всей голове.

— Легко сказать — «гнать». А как? Вызвать доктора Саттона?

— Миссус Эппс тоже страдала от этой напасти. И она говорила, что мои руки ей помогают. Я гладила ее по вискам, и через пять минут все проходило. Хотите попробовать? Или опять скажете, что это все наши суеверия и темное шаманство?

— Да хоть бы и шаманство! Я готов пробовать что угодно.

Он раздвинул колени, чтобы она могла подойти к кровати вплотную, нагнул голову. Салли взяла пузырек с одеколоном, стоявший на столике, смочила ладони. Он ощутил скольжение ее прохладных пальцев по коже лба и висков. Они двигались в странном ритме, будто стирали невидимую паутину и потом стряхивали ее на пол. Паутина была цепкой, но девочка терпеливо снимала ее слой за слоем.

И чудо случилось. Пространство боли, заполнявшей весь череп, начало сжиматься, утекать, слабеть.

Как это могло произойти? Может быть, в ее руках таился тот загадочный магнетизм, которым пытался лечить людей доктор Месмер? Ведь и в Библии описаны излечения путем наложения рук. Не могли эти легенды родиться на пустом месте.

Облегчение было таким явным, радостным, жизнь возвращающим!

Он открыл глаза, увидел близко-близко лицо юной Марты, со старательно высунутым кончиком языка. Вспышка острого, непредвиденного счастья пронзила ему сердце с такой силой, что он на несколько секунд то ли потерял сознание, то ли оглох и ослеп.

А когда пришел в себя, понял, что его губы слились с губами волшебной целительницы. И он не мог вспомнить, кто начал этот поцелуй.

Неужели — она?

Осмелилась на такую дерзость?

И дальше они все делали молча, но в полном согласии.

Любовно и заботливо снимали одежду друг с друга.

Находили спрятанные дары, пускались на щедрый обмен.

Исчез, растворился в сумраке комнаты хозяин-владелец, исчезла рабыня-невольница.

Остались мужчина и женщина. И стали они как одна плоть.

И она вскрикнула от боли, но тут же прижала его к себе, как бы умоляя не пугаться, не останавливаться, не жалеть.

Потом, когда зануда-разум снова обрел ограниченное право голоса, он вылез с целым списком своих «почему?». Он предлагал сердцу вспомнить всю историю пережитых им влюбленностей и честно спросить себя, почему его всегда тянуло только к женщинам, уже познавшим тайны супружеской жизни, — Бетси Уокер, Марта Скелтон, Абигайль Адамс, Мария Косвей? Не была ли пережитая им нынче вспышка острого счастья связана с тем, что впервые в жизни ему досталась *нетронутая*? И если это так, то не пойдет ли в следующие разы счастье на убыль? (То, что следующие разы будут иметь место, как бы не подвергалось сомнению.)

Но сердце отказывалось слушать зануду. Вскоре разум обиженно удалился в свою башню абстрактных суждений, а сердце отдалось выпавшей ему буре новых, очищающих, волшебных переживаний, как воздушный шар отдается возносящим его горячим потокам воздуха.

Радость, переполнявшая Джефферсона, должна была быть разделенной с той, кто дарил ее. Но чем он мог порадовать девочку, занесенную судьбой далеко от дома, от родных? Он не мог повести ее с собой в театр, в музей, в ресторан, в парк, как водил Марию Косвей. Только покупка нарядов и украшений не грозила разоблачением, и она сделалась главным источником удовольствия для обоих. В сутлке больших магазинов не было риска, что кто-то из знакомых узнает его и станет расспрашивать об очаровательной спутнице. Расходная книга запестрела еженедельными тратами, которые никак нельзя было представить для покрытия Конгрессу.

Раньше Салли старалась хлопотать в его спальне и кабинете только в те часы, когда он уезжал из особняка по делам, или был занят с гостями, или обсуждал текущие дела с Вильямом Шортом. Теперь Джефферсон придумывал разные предлоги, чтобы оказаться с ней в одной комнате наедине. Ее рассказы о жизни в Вирджинии, о соседях и родственниках, о новом колодце, который вырыли в Монтиселло на южном склоне, возрождали в нем томительную память о родных местах, обостряли желание — мечту — вернуться туда. И ведь не было ничего невозможного для них в том, чтобы поселиться там вдвоем! Мария Косвей была несовместима с его любимым горным обиталищем. А Салли была неотделимой частью его, она росла под его крышей, она играла под ветвями груш и яблонь, посаженных им.

В отправленном недавно письме американской приятельнице, сравнивая француженок с американками, Джефферсон уподобил одних амазонкам, других — ангелам. «Вспомните этих парижских дам, как они носятся по улицам в погоне за удовольствиями, кто в колясках, кто верхом, а кто и пешком, ищут свое счастье в бальных залах и на вечеринках, забывая о том, которое они оставили у себя дома в детской. Разве можно сравнить их с нашими соотечественницами, занятыми нежной заботой о своих семьях, умеющими разглаживать морщины политических раздумий на лбах своих мужей?!»

Салли созналась ему в том радужном облаке из разных «как будто», которым она умела украшать свою жизнь. Но также призналась, что, когда она с ним, нужда в «как будто» исчезает. А однажды он вернулся домой после обильных возлияний в доме Лафайета и наутро плохо помнил, как прошла их ночь.

И Салли, лежа рядом с ним в постели, смущенно попросила, чтобы он и впредь называл ее так, как в этот раз.

— Да? А как я называл тебя?

— Вы все твердили: «Агарь! Агарь! Агарь!».

По воскресеньям обе дочери Джефферсона приезжали в особняк Ланжак и либо проводили время с отцом, либо принимали друзей у себя, либо уезжали в гости, на вечеринки, на музыкальные сборища. Патси нередко брала с собой и Салли, которую она представляла своим подругам как родственницу из Америки. Талант портнихи в соединении со щедростью хозяина позволял девочке одеваться так, что с ней не стыдно было появиться и в модном салоне. Брат Джеймс занимался французским языком с нанятым учителем, и Салли часто присутствовала на этих уроках. Она быстро превращалась в парижскую мадемуазель, только с легким английским акцентом и замечательным ровным загаром — шармант, магнефик!

Несчастье грянуло в середине апреля.

Обе дочери, как обычно, приехали вечером в субботу, но утром к завтраку вышла только Полли.

— А где Патси? — встревоженно спросил Джефферсон. — Неужели заболела? Этого нам еще не доставало!

— Нет, — ответила Полли, не глядя на отца. — Она уехала обратно в пансион.

— Как «уехала»? Не предупредив, не спросив разрешения, не попрощавшись? Что случилось?

Все объяснилось через полчаса. Салли вошла в кабинет и, потупив глаза, сказала:

— Патси ночью зачем-то спустилась на второй этаж. И увидела, как я выхожу из вашей спальни.

А через три дня мистеру Джефферсону было доставлено письмо. В нем его дочь, Марта Джефферсон, официально извещала его, что в душе ее произошел религиозный переворот, что она приняла решение поступить в монастырь и, так как по правилам католической церкви для этого необходимо разрешение родителей, просит отца дать согласие на такой важный для нее жизненный шаг.

Прочитав письмо, Джефферсон немедленно вызвал дворецкого Петита, велел закладывать карету. Помчался в Аббе-Рояль де Пантеон. Осыпал упреками директрису школы-пансиона: «Так-то вы выполняете обещание не заманивать учениц в католицизм!» Забрал обеих дочерей прямо посреди уроков. («За вещами придем потом!») Привез их в особняк Ланжак. Отвел Марту-Патси в свой кабинет, посадил перед собой, взял за руки и обрушил на ее голову краткий курс по истории церкви, к которой она захотела присоединиться.

Крестовые походы, кровавые бесчинства на пути, массовые убийства православных христиан в захваченном Константинополе. Перед штурмом Тулузы, укрывшей еретиков-катаров, солдаты спрашивают священников, как им отличить еретиков от католиков. «Убивайте всех, — отвечают те, — Бог отличит своих от чужих». Попытки инквизиции. Позорная торговля индульгенциями. Сонмы сожженных заживо, скорбные тени Яна Гуса, Иеронима Пражского, Джордано Бруно и тысяч безвестных жертв религиозного мракобесия.

— А вот что они творили здесь, во Франции, каких-нибудь сто лет назад!

Он вскочил со стула, извлек с книжной полки том воспоминаний герцога Сен-Симона, начал читать:

— «Отмена Людовиком Четырнадцатым Нантского эдикта, предоставлявшего гугенотам право открыто исповедовать свою веру, лишила королевство четвертой части народонаселения, разорила торговлю и ослабила государство во всех частях, надолго отдала население на открытое и официально разрешенное разграбление вооруженными отрядами драгун; дозволила истязания и пытки, от которых умерли тысячи людей обоего пола, растерзала целый мир семейств, обрекая обобранных на голодную смерть... Глазам всех предстало ужасное зрелище целого народа изгнанников и беглецов, выброшенных на улицу, хотя и не совершивших никакого преступления... Знатные, богатые, старцы, люди обеспеченные, слабые, не привыкшие к лишениям, были осуждены грести на галерах и страдать от бича надзирателя исключительно за религию...»

Поставив на место том Сен-Симона, Джефферсон извлек другую книгу, потоньше.

— Вот здесь великий Вольтер описал, что они проделали с невинным жителем Тулузы, протестантом Жаном Каласом, каких-нибудь двадцать пять лет назад. Его взрослый сын покончил с собой, но отцу и другим членам семьи предъявили обвинение в убийстве. Они якобы хотели воспрепятствовать переходу молодого человека в католицизм. Так как доказательств не было, обвиняемого подвергли пыткам. Сначала растягивали на дыбе. Потом вливали в него горячую воду кувшин за кувшином. Потом привязали к колесу на площади и железными прутьями перебили руки и ноги. Но несчастный все равно вопил о своей невинности.

Джефферсон прекрасно понимал, что одними разоблачениями католицизма ему не удастся отвоевать сердце дочери, вернуть ей интерес к радостям светской жизни. По его просьбе друзья и знакомые стали засыпать Патси приглашениями на балы и вечеринки, маскарады и театральные премьеры. Конечно, весь этот вихрь развлечений требовал новых нарядов, и счета модных и ювелирных лавок начали расти в апреле и мае стремительно. Для Салли на несколько недель была, под предлогом обучения, снята комната в доме мадам Дюпре, владелицы прачечной, обслуживавшей особняк Ланжак.

Джефферсону были понятны чувства его дочери, он видел душевную смуту ее матери, Марты Вэйлс-Скелтон, которой надо было как-то ужиться с греховным увлечением своего отца, жить бок о бок с его цветными отпрысками, о которых, конечно, знали и судачили все родные и знакомые. Ощущал ли он себя виноватым? Готов ли был расстаться с новым, доставшимся ему счастьем, чтобы избавить дочь от таких же переживаний? Когда зануда-разум снова и снова задавал ему этот вопрос, сердце снова и снова отвечало ему: «Нет. Не отдам. Ни за что. Не откажусь. Буду сражаться до конца за обеих».

В конце августа наконец пришло долгожданное известие: американский Конгресс разрешил своему посланнику поехать на родину в заслуженный — после пяти лет! — отпуск. Во время его отсутствия дипломатические функции будет выполнять секретарь посольства, мистер Шорт.

Начались предотъездные хлопоты, поиски подходящего корабля, упаковка багажа. Горы ящиков, сундуков, баулов росли во всех комнатах и залах особняка

Ланжак, грузчики постепенно увозили их на склад транспортной конторы. Любимые вещи будто нарочно попадались на глаза хозяину и печально спрашивали: неужели ты готов расстаться со мной?

Нет, как правило, он не был готов.

Список предметов, увозимых за океан, делался все длиннее. Кровати, матрасы, настенные часы, одежда и обувь, клавикорды и гитара для Патси, ящики с вином, сыром, чаем, картины, бюсты, вазы. Отдельный список перечислял саженцы: два пробковых дерева, четыре абрикосовых, белая фига, пять лиственниц, четыре груши, три итальянских тополя и множество других кустов и растений.

Лафайет, отчаянно пытавшийся примирить враждующие фракции в Национальном собрании, вдруг обратился к Джефферсону с просьбой устроить в посольстве прощальный обед для узкого круга депутатов, еще способных слушать аргументы друг друга.

— И ваш личный авторитет, и пример американцев, сумевших утвердить Конституцию, многим внушает надежду, — говорил он. — Споры кипят вокруг того, какую меру власти оставить королю. Умеренные монархисты считают, что он должен иметь право вето, республиканцы настаивают на том, чтобы Национальное собрание могло отменять королевское вето абсолютным большинством голосов. Но радикальные газеты Марата и Демулена вопят о том, что всякий депутат, который проголосует даже за ограниченное право королевского вето, должен быть объявлен предателем нации.

За столом собрались восемь депутатов. Правила вежливости соблюдались, но некоторым это давалось нелегко. Шеф-повар Джеймс Хемингс превзошел себя. Средиземноморский суп буабес вызвал одобрительные покачивания напудренных голов. Jones de porc braises или свинина тушенная в сидре прервала горячую дискуссию о независимости судебной власти. Мексиканские бобы и флоридские авокадо увели беседу в сторону необходимости трансатлантических связей. Ананасное мороженое на десерт почти сгладило противоречия между сторонниками союза с Испанией и поклонниками прусского короля. Но, увы, на следующий день все гости американского посланника, вернувшись на скамьи Национального собрания, возобновили свои споры с прежним ожесточением.

Джефферсон сидел в кабинете над багажными списками и раздумывал, хватит ли у него духа расстаться с любимым фаэтоном, когда в дверь постучали. Он поднял глаза на вошедших, и сердце у него сжалось тоскливым предчувствием.

Джеймс Хемингс выступил вперед, почти заслонив оробевшую Салли, и выпалил, видимо, заготовленную, много раз отрепетированную тираду:

— Масса Томас, сэр, мы очень благодарны вам за то, что вы для нас сделали, всегда будем помнить вашу доброту, но мы решили не возвращаться в Вирджинию. Здесь мы свободны, а там нам придется вернуться в неволю. Я получил место повара в богатом доме, для начала нам хватит моего жалованья на двоих. А потом Салли тоже найдет место горничной. То, что она знает два языка, дает ей большое преимущество. Не сердитесь на нас, сэр. Пожалуйста. Сильву пле.

Джефферсон, стараясь не выдать свою растерянность, вглядывался в лица брата и сестры. Помолодевший Джон Вэйлс, помолодевшая, воскрешенная Марта. За прошедшие два года он так сжился с обоими, что ощущал их членами своей семьи. Разве мог он ожидать такого удара, такой измены от родных людей?

Но ведь Вильям Шорт предупреждал его, насколько возможен подобный вариант. И разве сам он не славословил свободу в своих писаниях и речах, разве не объявлял ее главным даром Творца человеку?

— Джеймс, я вижу, что твое решение хорошо обдумано и вряд ли ты откажешься от него. Не в моей власти помешать тебе. Хотя ты знаешь меня давно и знаешь, что я всегда выполняю свои обещания. Мое слово твердо, и оно остается в силе: если ты вернешься со мной в Америку и обучишь брата Питера всему, чему ты научился — заметь, на мои деньги, — у французских поваров, я немедленно дам тебе свободу. Здесь ты навсегда останешься чужаком, тебе не у кого будет искать помощи и защиты в трудную минуту. Чтобы получить постоянную работу, необходимо стать членом соответствующей гильдии, а это очень нелегко и занимает много лет. Так что обдумай все хорошенько еще раз. Даю тебе неделю. А теперь иди. Я хочу поговорить с Салли наедине.

Брат оглянулся на сестру, та незаметно кивнула. Он открыл рот, но передумал и вышел, не сказав ни слова.

Джефферсон подошел к Салли, взял за руку, подвел к тому же креслу, в котором пять месяцев назад он уговаривал Патси, сел перед ней.

— Что случилось? Ты так мечтала о возвращении в Монтиселло, о встрече с мамой Бетти, с сестрами. Или ты усомнилась в моих словах? В том, что я буду заботиться о тебе до конца жизни? Но ты знаешь меня, ты сама говорила, что я настоящий — не «как будто». А что ждет тебя здесь? Страна бурлит, сами французы не могут быть уверены в завтрашнем дне. Разве смогут они, разве захотят помогать пришельцам?

— Я делаю это не для себя, — тихо сказала Салли.

— Не для себя? Тогда для кого же?

Она взяла его руку, потянула, положила себе на живот.

— Для него. Только представьте себе — он вырастет и скажет мне: «У тебя был выбор. Ты могла родить меня свободным — и не захотела». Каково мне будет слушать его упреки?

— Боже мой, ты в положении?! Почему же ты мне сразу не сказала?

— Я не была уверена. И боялась, что вы рассердитесь. А теперь... Вы же знаете: Джеймс с детства бредил о свободе. И тут такой поворот судьбы... Он уговорил меня.

Она потупилась, но Джефферсон взял ее лицо в ладони, поднял к себе, заглянул в глаза.

— Салли, о, Салли! Ты боишься упреков будущего сына, но забываешь, что упрекать сможет только выживший, выросший и заговоривший. Однако, чтобы ребенок вырос, ему нужен дом, убежище. Какое убежище ты сможешь дать ему в чужой стране, на которую надвигается голодная зима? Я хоронил своих детей, я могу рассказать тебе, какое мучительное чувство вины оставляет в сердце каждая такая смерть. Свобода? Это будет самая большая «как будта» в твоей жизни и самая опасная. Ты не будешь свободна от холода, от болезней, от равнодушия и презрения окружающих, от двуногих хищников, которые станут наперегонки пытаться воспользоваться твоей беспомощностью. Ты спросишь: «А что ждет меня в Вирджинии?» Я опишу тебе, и, зная меня, ты согласишься, что это не просто сотрясение воздуха, а твердые клятвенные обещания.

Дальше пошло легко. Он просто облекал в слова те мечты о жизни в Монтиселло, которые проносились перед ним по темному потолку спальни в по-

следние месяцы. Как он будет заботиться о ней, о ее детях, о всех ее родных, как она ни в чем не будет знать нужды. Как они вдвоем будут обучать их детей грамоте, ремеслам, музыке, вере в Бога. Как все дети, достигнув совершеннолетия, получат свободу. Как он добьется от властей штата разрешения всем освобожденным остаться в Вирджинии. Конечно, он старше ее на тридцать лет, с ним всякое может случиться. Но сразу по возвращении в Монтиселло он перенесет все свои обещания на бумагу, и его адвокат будет хранить это завещание, заверенное сургучной печатью. Да, не в его власти изменить законы так, чтобы им можно было пожениться по-настоящему. Но он никогда не забудет, что судьба породнила их по-другому, что она, Салли, — сестра его покойной жены.

В конце он просил ее обдумать все хорошенько и отказаться от намерения остаться во Франции. А пока — вернуться к мадам Дюпре, чтобы Джеймс не мог давить на нее и влиять на столь важное — на всю жизнь! — решение.

Потянулись тоскливые дни.

Судоходное агентство слало ему из Англии письма, требуя назначить дату отплытия и указать число пассажиров.

Он не отвечал.

Вдруг вновь потекли нежно-призывные послания от Марии Косвей. Она упрекала его за долгое молчание, умоляла навестить ее в Англии.

Уличные бесчинства докатились и до квартала, где располагалось посольство. Несколько раз грабители проникли в особняк Ланжак, украли пять упакованных чемоданов. Пришлось установить решетки на окнах, повесить сигнальные колокольчики. Джефферсон обратился в парижскую полицию с просьбой об усилении охраны. Префект только разводил руками, говорил, что его жандармы с утра до вечера заняты тем, что спасают лавочников и пекарей от самосудов толпы. Фигуры повешенных украшали многие уличные фонари. Джефферсон вдруг вспомнил землетрясение, случившееся в Вирджинии накануне войны. Невидимый великан, ворочающийся в недрах, — не он ли затаился теперь и под мостовыми Парижа?

Вынужденное безделье оставляло время для раздумий, и ум его все время возвращался к одному и тому же вопросу: имеет ли одно поколение право навязывать свою волю другому, идущему вслед за ним, выпуская законы и конституции, устанавливая правила владения, наследования, взимания процентов со старых долгов? Или следует стремиться к торжеству принципа: «земля принадлежит живущим»? Тогда любой закон может быть действительным только в течение двадцати лет, после чего новое поколение будет вправе отменить его.

Как всегда, в сложных проблемах ему легче было разбираться с пером в руке. Он попытался изложить свои раздумья в длинном письме Джеймсу Мэдисону. Но вскоре его унесло из сферы чистого теоретизирования в мир конкретных политических страстей сегодняшней Франции. Должны ли французы признавать права аристократии и церкви на владение землями и угодьями или пришла пора признать эти древние привилегии незаконными?

Пока речь шла о французах, он без труда становился на сторону отмены сословных барьеров. Но когда мысль его соскальзывала на опасно близкую и большую тему, на судьбу белых и черных американцев, она начинала буксовать. Он так и не решился уложить в слова то, что мучило его на самом деле: «Почему я должен подчиняться жестоким законам, принятым неизвестными мне людьми

за сто лет до моего рождения и сегодня запрещающим мне жениться на сестре моей покойной жены?»

Как это часто бывало в его жизни, вслед за душевной смутой пришла и мигрень. Ее сверло бурило мозг то за левым глазом, то за правым, то разворачивалось в сторону затылка — ему чудилось, что острое вот-вот может пробить черепную коробку и высунуться наружу. На третий день он сидел за столом, тщетно вглядываясь в газетные строчки, пытаясь разглядеть цифры в статье об остатках муки на складах Парижа. Он не слышал, как открылась дверь, но увидел край нарядного платья рядом со своим креслом. Поднял глаза.

Салли стояла близко-близко от него, держа в руках сумочку, расшитую бисером. Лицо ее сияло. Она достала из сумочки колокольчик, подаренный ей когда-то умирающей Мартой, взмахнула им несколько раз. Нежный перезвон прокатился по стопкам связанных книг, по торчащим гвоздям на опустевших стенах, улетел под потолок.

Джефферсон отодвинул кресло от стола, встал, взял ее за руки.

— Что случилось? О ком звонит колокол? Мы кого-то хороним?

— Скорее, сзываем на пожар, — сказала Салли загадочно. — Горит имение маркиза Лагрийо. Его подожгли восставшие крестьяне. И маркиз сказал, что с него довольно.

— Кто такой маркиз Лагрийо?

— Это тот богатч, который нанял Джеймса на работу без разрешения гильдии поваров. Но теперь он срочно уезжает — или бежит? — в Данию. Повар ему больше не нужен. Так что нам с братом придется вернуться в Вирджинию.

Ошеломленный — ликующий — измученный — Джефферсон мог только притянуть ее к себе, прижаться щекой к ее лбу и повторять:

— Это судьба! Ты видишь — это судьба хочет, чтобы мы были вместе! Агарь! О, Агарь моя!..

Потом был сеанс решительного — и успешного! — изгнания мигрени шаманско-магнетическими трюками.

Потом — страстное слияние истосковавшихся друг по другу мужчины и женщины.

А через два часа месье Адриан Петит уже скакал в почтовое отделение со срочным письмом в судовую контору, в котором мистер Томас Джефферсон точно указывал, сколько кают и спальных мест ему понадобится на корабле «Клермонт», отплывающем в Норфолк, штат Вирджиния: «Одна каюта для меня и моего слуги, другая — для двух моих дочерей, 17 и 11 лет, и их служанки 16 лет; всего пять кроватей».

Октябрь, 1789

«Ночью королева Антуанетта была разбужена возгласом часового, стоявшего у ее двери, который призывал ее спасаться бегством. В тот же момент он был зарублен. Королева едва успела выбежать из спальни через потайную дверь, как толпа бандитов ворвалась туда и начала протыкать штыками и саблями еще теплую постель. Потом король, королева и их дети были вынуждены покинуть свой дворец, залитый кровью, загаженный, разграбленный, заваленный отрубленными частями человеческих тел. Их всех отвезли в столицу, где поместили в старый дворец, превращенный в Бастилию для королей».

Эдмонд Берк. «Заметки о Французской революции»

Декабрь, 1789

«Наш корабль прибыл в Норфолк 23 ноября. Оттуда я направился домой, но провел несколько дней в имении моих родственников Эппсов. Именно там я получил письмо от президента Вашингтона, содержавшее приглашение занять пост министра иностранных дел в его правительстве. В ответном письме я писал, что хотел бы уйти из политической жизни и посвятить себя дому, друзьям, семье, но если он считает, что мне следует пожертвовать своими желаниями для общественного блага, я приму его предложение. Второе письмо застало меня уже в Монтиселло месяц спустя — генерал Вашингтон настоятельно просил меня занять пост в его кабинете. Я вынужден был согласиться».

Томас Джефферсон. «Автобиография»

Январь, 1790

«Александр Гамильтон, директор казначейства, сделал доклад Палате представителей Конгресса о необходимости упрочения кредита. Он говорил красноречиво и в то же время ясно аргументировал, описывая свой план. Кроме консолидации долгов различных штатов было предложено создание общенационального банка. Эта мера встретила серьезную оппозицию. Одни подвергали сомнению полезность банковской системы; другие критиковали детали; но главным образом подвергали сомнению право Конгресса учреждать общенациональную финансовую корпорацию».

Дэвид Рэмсей. «История Америки»

Апрель, 1790

«Дорогой папа, я очень надеюсь, что ты не изменишь своего решения посетить Вирджинию этой осенью. Мое счастье не может быть полным без тебя. Мой муж полностью разделяет мои чувства. Я учусь во всем выполнять его желания, и в этом плане все остальное отступает на второй план, за исключением моей любви к тебе».

Из письма дочери, Марты Рэндолф Джефферсон, отцу в Нью-Йорк

Лето, 1792

«Целую неделю по Парижу катилась волна бессудных убийств, унесшая тысячи жизней. Началось с того, что две или три сотни священнослужителей были казнены за то, что отказались принести присягу, положенную по новому закону. Мадам Ламбаль была обезглавлена, ее голову и внутренности парадно носили на пиках по улицам. Вчера в Версале казнили пленников, доставленных из Орлеана. Стража была послана, чтобы арестовать герцога Ларошфуко. Его везли в Париж вместе с женой и матерью, когда толпа напала на карету и убила его».

Из письма Говернора Морриса Джефферсону

СЕНТЯБРЬ, 1792. ШАРЛОТСВИЛЬ, ВИРДЖИНИЯ

Пока ехали вдоль реки по вымощенной новым булыжником дороге, цокот лошадиных копыт порой заглушал слова и заставлял собеседников переспрашивать друг друга. Но потом свернули на тенистую лесную тропу, лошади перешли на шаг, и беседа потекла спокойнее.

— Прошлой весной мы с мистером Мэдисоном совершили путешествие в Вермонт, — рассказывал Джефферсон. — Не могу описать вам нашего восхищения богатством и каким-то спокойным величием тамошней природы. Уверен, что когда-нибудь прогресс науки и — особенно — ботаники сделает возможным, чтобы и в наших краях прижились и сахарный клен, и серебристая ель, и белая сосна. Ведь на взгорьях у нас и температурный режим, и количество осадков мало отличаются от условий Новой Англии.

— Вот вы и займитесь этими научными изысканиями, — сказал Томас Белл. — Будет прекрасный повод, чтобы оставить столичную жизнь и вернуться в родные места.

— Я ли не мечтаю об этом! Уже не раз обращался к президенту с просьбой об отставке. Но он настоятельно просит меня не покидать мой пост. А ему я отказать не в силах ни в чем.

Знакомство Джефферсона с мистером Беллом началось заочно, еще во время пребывания в Париже. Управляющий написал ему, что один джентльмен, переехавший в Шарлотсвилль из Нью-Джерси и открывший большой магазин, хотел бы арендовать невольницу на роль домоправительницы. Нет, он хочет не какую-нибудь, а ту, которая приезжала из Монтиселло несколько раз в магазин за покупками, — Мэри Хемингс. Да, он знает, что у нее четверо детей, и не намерен разлучать ее с ними. Да, Мэри выразила согласие поступить на службу. Причитающееся ей жалованье наниматель будет выплачивать в пользу владельца Монтиселло.

При личной встрече мистер Белл чем-то напомнил Джефферсону Джона Адамса — только увеличенного вдвое во всех размерах. Другое отличие: широкая улыбка так часто освещала лицо ньюджерсийца, что казалось — в какой-то момент она может приклеиться там навсегда. Томас Белл очень интересовался политикой, он выписывал «Национальную газету», открытую в Филадельфии поэтом Френо при поддержке министерства иностранных дел, и в своих взглядах решительно склонялся на сторону антифедералистов.

Джефферсону нравилось обмениваться мнениями с образованным купцом, он всегда посещал его дом с удовольствием. Тем более, что и для Салли эти визиты были настоящими праздниками: встреча с любимой старшей сестрой, которая практически стала хозяйкой в доме мистера Белла. У них уже родилось двое детей — племянники для Салли, пополнение обширного клана Хемингсов. Джефферсону было приятно узнать, что вечный спор между разумом и сердцем в душе мистера Белла тоже окончился победой сердца. Владельца магазина и владельца Монтиселло сблизило то, что они оба решили нарушить писанные и неписанные законы своего штата, сделать бесправную невольницу спутницей жизни. А что сильнее сближает людей, чем соучастие в преступлении.

— Не уведет ли эта тропа нас слишком далеко? — спросил мистер Белл. — Как бы мои гости не поумирали от голода.

— Там впереди скоро будет развилка, и мы свернем направо, — сказал Джефферсон. — Джеймс обещал мне, что они с Питером управятся с обедом к двум часам. Так что у нас с вами еще целый час для прогулки. А я как раз хотел расспросить вас, как реформы и нововведения моего коллеги, директора казначейства, отражаются на торговом классе. Почему депутаты Конгресса голосуют за них, мне совершенно ясно: буря финансовых спекуляций несет им изрядные барыши. Но почему и совершенно бескорыстный генерал Вашингтон в моих

стычках с мистером Гамильтоном почти всегда принимает его сторону — этого я понять не могу. Его главный аргумент: реформы внесли явное оживление и даже процветание в послевоенную жизнь страны. Но так ли это?

Джефферсон придержал своего коня, чтобы мистер Белл мог поравняться с ним и говорить, не повышая голоса. Тот помолчал немного, отводя от лица проплывающие тополиные ветки, потом заговорил в своей обычной манере — то есть загибая поочередно пальцы на правой руке.

— Первое: в делах торговых и промышленных участвует обычно столько причин и факторов, что почти невозможно проследить, что из-за чего происходит. Пройдет слух, что ожидается неурожай пшеницы или кукурузы, — и цены на зерно полетят вверх. А кто пустил слух, почему ему поверили — пойдешь доищишь. Второе: есть у меня доступ к кредиту или нет — огромная разница. Если нет, я побоюсь запастись слишком много товара, и покупатель часто будет уходить с пустыми руками. Плохо и мне, и ему. Так что в этом плане национальный банк, гарантирующий доступность кредита, — большое подспорье. Он обещает мне, что для энергичного и честного предпринимателя всегда деньги найдутся. Для рынка это — как стук сердца для человека: если стучит ровно, значит, кровь будет достигать кончиков всех двадцати пальцев, если слабо — пальцы начнут белеть, замерзать, отваливаться.

— Но кредит существовал и в Средние века. Он просто назывался ростовщичество.

— Э-э, нет. Ростовщик сидел на своих деньгах и в ус не дул. К нему заимодавец полз на животе, умолял. Сейчас все меняется. Если я, другой, третий не станем одалживать деньги у банка, он разорится. Мы ему так же нужны, как он нам. Это третий пункт — и самый важный.

— Значит, вы целиком поддерживаете реформы... — Джефферсон почувствовал, что ему трудно произнести имя своего недруга, — реформы казначейства.

— То, что торговая жизнь в стране оживилась, отрицать нельзя. Но если, как пишет в своей газете мистер Френо, под этой завесой федералисты тайно проталкивают возрождение монархии, лордов, аристократии, это уже никуда не годится.

— Бывая во дворцах и салонах Парижа и Лондона, я много раз испытывал чувство, будто я нахожусь среди людей, утративших способность видеть стоящего перед ними человека, способных различать только звания и титулы.

— То же самое я испытывал, встречаясь с членами недавно созданного у нас общества Цинцинната.

— Дорогой мистер Белл, мы знаем друг друга не очень давно, но все же вы могли заметить, как я сторонюсь, как избегаю раздоров между людьми. Много раз я пытался подавить в себе враждебное чувство к полковнику Гамильтону, мысленно напоминал себе о всех его многочисленных заслугах перед страной, особенно на поле боя. Но снова и снова на поверхность всплывала коренная разница наших представлений о человеке — и порыв к примирению умирал.

— В чем же вы видите эту разницу?

— Мистер Гамильтон, следуя философу Дэвиду Юму, убежден, что душой каждого человека владеют только две страсти: корысть и страх. Поэтому и управлять людьми следует, играя на этих двух страстях. Возвышенные порывы, благородные мечты, самоотверженность, чувство чести, преданность долгу, готовность жертвовать своими интересами — все это редкие и случайные

отклонения от правила, которыми можно и нужно пренебрегать. Я же убежден, что если правители пренебрегают лучшими чувствами своих сограждан, эти чувства будут отмирать как не востребуемые. Даже от наших невольников порой доверием и похвалами можно добиться лучших результатов в работе, чем угрозами и наказаниями.

— А как у вас складываются отношения с вице-президентом? В свое время я зачитывался статьями и трактатами мистера Адамса.

— Мы были ближайшими друзьями в течение многих лет, особенно в Париже. И я в полном отчаянии от того, что политические и газетные пертурбации проложили пропасть между нами. Да, мы по-разному отнеслись к нашумевшему новому трактату Томаса Пэйна «Права человека». Прочитав рукопись, я послал издателю частное письмо, выражавшее одобрение идеям автора и осуждение его противников. К моему изумлению, издатель опубликовал это письмо в виде предисловия к книге. Мистер Адамс, выступивший против трактата, принял употребленное мною слово «ереси» на свой счет и оскорбился. Никакие мои извинения не помогли, при встречах в Филадельфии он едва достаивает меня кивком.

— Неужели обвинения против мистера Адамса в тайном пристрастии к монархическому правлению, столь часто появляющиеся в «Национальной газете», имеют под собой основания?

— В его писаниях вы не найдете прямых высказываний в этом плане. Но его сторонники выражаются гораздо откровеннее. Я постарался обрисовать эту опасность в большом письме президенту, отправленном весной. Генерал Вашингтон тяготеет своим постом так же, как я — своим, так же мечтает удалиться на покой в свое поместье, к семье. Однако я написал ему, что его уход может привести к кризису республиканского правления, к отделению многих штатов, даже к гражданской войне между Севером и Югом. На сегодняшний день он видится мне главным — если не единственным — бастионом против возрождения монархии и против распада нашего союза. Я с трепетом жду его решения по этому судьбоносному вопросу.

Когда они вернулись в Шарлотсвилль, легкие облачка затянули небо, смягчили жар сентябрьского солнца. Каменный дом мистера Белла был выстроен голландским иммигрантом и чем-то напоминал те дома, которые Джефферсон видел в Амстердаме. Кусты цветущей жимолости уютно огораживали просторный двор. Букеты роз в двух вазах украшали накрытый стол. Детская беготня, крики и смех приглушали звуки скрипки, на которой наигрывал Джесси Скотт. Семейство этого Скотта состояло из мужчин и женщин разных оттенков кожи, но все были в той или иной мере музыкально одаренными. Джефферсон нанимал Джесси и двух его братьев играть на свадьбе Марты-Патси два года назад и не без зависти вслушивался в мелодии, лившиеся из-под их смычков: после перелома кисти ему уже было трудно играть на любимом инструменте.

Бетти Хемингс и ее дочери хлопотали вокруг стола. Роберт взял под уздцы обеих лошадей, увел их в конюшню. Салли, с двухлетним сыном на руках, подошла к Джефферсону, вопросительно улыбнулась, убрала рыжеватую прядь со лба ребенка. При рождении она хотела назвать его Измаилом, но решительно воспротивилась Бетти Хемингс. «У моего внука будет достаточно проблем в жизни и с нормальным именем», — заявила она. Назвали Томом. Мальчик сосредоточенно крутил колеса игрушечной коляски, подаренной ему дядей Джеймсом. Веснушки на его бело-розовых щеках рассыпались щедро, как одуванчики на

лугу. На Салли был вышитый шелком чепец, привезенный ей Джефферсоном из Филадельфии. Когда он покупал его в модной лавке, продавщица сказала: «Надеюсь, что вашей дочери он понравится».

В письмах и в разговорах с друзьями Джефферсон часто жаловался на усталость от столичной жизни, на суету, говорил, что мечтает оставить свою должность, вернуться к саду, дому, семье. И друзья тактично не уточняли, не спрашивали, *какую семью* он имеет в виду. Ведь дочь Полли жила в филладельфийской школе-пансионе у него под боком. Дочь Марта с детьми переехала в поместье мужа, но навещать ее там его не тянуло. Ее свекр, пятидесятилетний Томас Рэндольф-старший, вдруг женился на восемнадцатилетней девице, которая оказалась жадной скандалисткой и ухитрилась насмерть поссорить своего мужа с сыном, Рэндольфом-младшим, и его женой. Атмосфера в доме Марты сделалась такой тяжелой, что это отравляло Джефферсону всю радость от встреч с внуками.

Так чьи же лица проплывали теперь перед его глазами, когда он произносил слова «вернуться к семье»? Не пора ли было признаться хотя бы самому себе: вот эти женщины, мужчины и дети, заполнявшие гостеприимный двор мистера Белла, незаметно заполнили теплом то место в душе, которому пристало название «семья». От них ему не надо было прятать свою любовь к Салли и маленькому Тому, носить маску невозмутимости, блюсти обличье государственного мужа недоступного человеческим слабостям. Не он ли писал, что «Творец создал нас свободными и равными»? Пусть жители Шарлотсвилля, графства Абермаль, всего штата Вирджиния смотрели на него и мистера Белла с осуждением. Пройдет десять, двадцать, сто лет — и тогда откроется, что они двое были ближе к исполнению замысла Творца о человеке, чем все остальные.

Сегодняшнее торжество было посвящено дню рождения Мэри Хемингс. Мать, братья, сестры вручили ей свои подарки с утра. Теперь настала очередь мистера Белла. Он вышел из дома, неся в руках горшок с каким-то растением, приблизился к Мэри с видом торжественным и загадочным, поставил горшок перед ней. Джефферсон немедленно узнал растение, смутился, но решил не портить другу и соседу задуманный спектакль.

— Дорогая Мэри, дорогие гости! — начал мистер Белл. — Конечно, вы можете презрительно фыркнуть на мой подарок. «Что за манера, — скажете вы, — дарить имениннице жалкий двулистник?» Но знаете ли вы, что это растение было продемонстрировано весной Филадельфийскому философскому обществу? И докладчик, знаменитый ботаник Бенджамин Бартон, объяснил, что это американский вариант, отличный от своего азиатского собрата, описанного Линнеем под названием *Sanguinaria*.

— Я знаю, что индейцы племени чероки используют его для припарок против нарывов, — сказала Бетти Хемингс. — А ирокезы — против поноса и болезней печени.

— Совершенно верно. И далее мистер Бартон предложил назвать это новое открытое растение именем человека, который внес огромный вклад в изучение флоры и фауны Америки. Дорогая Мэри, позволь вручить тебе не обычный двулистник, а прекрасную «джефферсонию». Если ты сумеешь сохранить ее до весны, она порадует тебя прелестными цветами.

Шеф-повару Джеймсу хотелось не только поразить собравшихся чудесами французской кухни, но также продемонстрировать им какие-нибудь ритуалы

банкета в парижском ресторане. Ведь там официанты с каждым новым блюдом выстраиваются шеренгой и движутся к столу торжественной процессией. Сам Джеймс, Роберт, Питер, Джесси Скотт надели белые фартуки, напялили белые колпаки и пошли от дверей кухни в затылок друг другу, неся подносы с горшочками, стараясь сохранять серьезную мину, не реагировать на смех и аплодисменты гостей.

Джеймс объявлял названия по-французски, Салли переводила на английский.

— Soupe à l'oignon...

— ...луковый суп с сыром, на говяжьем отваре, для взрослых — с вином, для детей — без вина...

— Veau braisé aux citrons confits...

— ...тушеная телятина по-лионски, с морковью, лимоном, оливками и сельдереем...

— Frisée aux lardons...

— ...салат с яйцом и жареным беконом, заправленный смесью оливкового масла, уксуса и горчицы...

— Fondant au chocolat...

— ...шоколадный торт...

— Trifle aux framboises...

— ...малиновое суфле...

В конце банкета Роберт встал со скамьи, повернулся к Джефферсону и произнес небольшую речь:

— Сэр, вы всегда учили нас правилам достойного поведения, и мы честно старались следовать вашим наставлениям. Одно из правил гласило: «Никогда не вскрывать и не читать чужие письма». Убирая ваш кабинет в Вильямсбурге, Ричмонде или Монтиселло, я закрывал или отводил глаза, если замечал на столе забытый вами исписанный листок. Но недавно одно из ваших писем было опубликовано в Балтиморской газете, которую выписывает черный клиент парикмахерской в Филадельфии, где я получил работу. И мне очень хотелось бы зачитать его собравшимся. Даете ли вы мне разрешение на это?

— О каком письме идет речь? — спросил Джефферсон.

— Помните, год назад вы ответили дружеским посланием Бенджамину Бэннекеру, черному астроному и математику, приславшему вам выпускаемый им альманах?

Джефферсон вытер платком малиновое суфле из углов губ, улыбнулся, развел руками.

— После опубликования охранять тайну переписки не имеет смысла. Можешь прочесть.

Роберт поднес к глазам сложенный газетный лист, начал читать:

— «Сэр, благодарю Вас за присылку Вашего альманаха. Никто не радуется больше меня доказательствам того, что природа наделила наших черных братьев талантами наравне с людьми других цветов кожи. Если эти таланты не проявляются, виной тому тягостные условия, в которых черные находятся в Африке и в Америке. Мне также представляется крайне желательным, чтобы условия для Вашего полного умственного и физического развития были улучшены как можно скорее, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Я также позволил себе послать ваш альманах моему Кондорсе, секретарю Академии наук

в Париже и члену филантропического общества, потому что он представляется документом, опровергающим негативные мнения о Вашей расе. Остаюсь, с величайшим почтением, вашим покорным слугой, Томас Джефферсон».

Торжественная тишина повисла над столом.

— Мне рассказали, что свое образование мистер Бэннекер получил при помощи и поддержке квакеров, живших по соседству с его семейной фермой, — сказал Джефферсон. — Мы расходимся с ними в религиозных взглядах, но следует отдать им должное: добротой и отзывчивостью они часто превосходят другие вероисповедания. Так как мистер Бэннекер имеет познания в астрономии, мне удалось помочь ему получить работу в группе землемеров, размечавших границы нашей будущей столицы на берегу реки Потомак.

— Столица Америки будет в Вирджинии — ура! — воскликнул мистер Белл. — За это необходимо выпить.

Стаканы, кружки, рюмки, бокалы — с сидром, пивом, виски, вином — поднялись над столом, потянулись друг к другу, спугнули своей короткой трелью несколько воробьев, притаившихся в жимолости.

В Монтиселло вернулись в сумерках. Мальчика Тома бабушка Бетти забрала ночевать в свой флигель.

Джефферсон перед сном сел полистать новое издание гоббсовского «Левиафана», недавно присланное ему из Англии. На обложке печатник поместил картинку, изображающую великана, тело, руки, голова, ноги которого были составлены из крошечных человеческих фигурок. Такие же фигурки суетились на земле, торчали из-под ступней гиганта.

Салли, закончив стелить постель, заглянула через плечо Джефферсона и вздохнула.

— Какой страшный великан! И сама сказка такая же страшная?

— Ее придумал английский писатель Томас Гоббс. Он предлагает своим читателям вообразить, будто земные народы и государства ведут себя так же, как отдельные люди: трудятся, дерутся, любят или ненавидят друг друга.

— Да, такую «как будту» я могу понять. Но разве всегда великан остается таким свирепым и страшным, как на этой картинке?

— Свирепым? — переспросил Джефферсон. — Таким свирепым, что никто никогда не сможет его полюбить?

— Только не я.

— А помнишь французскую сказку про дочь купца и чудовище? Девушка сначала испугалась чудовища, а когда оно упало бездыханным, пожалела его и заплакала. От упавшей на него слезинки чудовище воскресло и превратилось в красивого принца.

— Вот и я так же: пусть этот великан сначала испустит дух — тогда я, может быть, заплачу над ним. Но не раньше.

— Да? А я, например, чувствую, что способен пожалеть его и таким. Даже полюбить. Только полюбив, можно удержать его от бессмысленных злодейств, увести прочь от опасных пропастей и волчьих ям.

А наутро пришло долгожданное письмо от Вашингтона. Но облегчения оно не принесло. Две трети текста были посвящены подробному описанию тревожной ситуации на южной и западной границах государства. Испанцы подстрекали

индейские племена чероки, крик, чикасо, чоктау нарушать мирные договоры с американцами, а также перебрасывали войска из Вест-Индии в Западную Флориду. Двое американских офицеров, находившихся в плену у индейцев, были казнены. Лондон тоже явно прилагал руку к разжиганию вражды между племенами и Соединенными Штатами.

Не хотел ли Вашингтон вложить в свое длинное послание скрытый упрек ему, Джефферсону, за долгое отсутствие? Такой подробный доклад о международных отношениях должен был бы отправить министр иностранных дел президенту, а не наоборот.

Далее в письме шли расплывчатые призывы к большей терпимости по отношению к коллегам по кабинету министров. Те же самые обороты Вашингтон использовал и в устных увещаниях: «Члены правительства должны относиться с большим пониманием к политическим мнениям друг друга... Если мы позволим разнице мнений привести нас на грань распада, это будет печальнейший поворот событий... После того как Конгресс утвердил какую-то меру, всем министрам следует дружно проводить ее в жизнь, чтобы испытать ее практическую целесообразность и выполнимость, а не тянуть в разные стороны».

В письме было все, кроме ответа на главный вопрос: согласен ли президент выставить свою кандидатуру на второй срок?

Джефферсон вздохнул, спрятал конверт в ящик стола и отправился на утреннюю прогулку, чтобы на ясном сентябрьском небе отыскать новые — ах, найти бы неопровержимые! — аргументы и доказательства.

9 сентября, 1792

«Почести и доходы, связанные с моим постом, не так привлекают меня, как мнение моих соотечественников. Надеюсь, я заслужил их одобрение, честно выполняя свои обязанности и повсеместно защищая их права и свободы. Не могу допустить, чтобы после ухода в отставку мой покой нарушался клеветой человека, вся история которого — если только история удостоит нагнуться, чтобы заметить его, — пронизана махинациями против свободы страны, которая не только приняла и кормила его, но осыпала почестями. Надеюсь, что мои сограждане могли убедиться, что я не являюсь врагом республики, не интригую против нее, не растрчиваю ее деньги, не протитую в целях коррупции. Полагаю, что Вы и сами могли убедиться в том, что никакие газетные раздоры не исходили от меня, что я не затевал интриги в законодательных органах. Могу обещать и Вам, и себе, что такое положение дел сохранится на всем протяжении короткого времени, которое мне осталось находиться на моем посту».

Из письма Джефферсона президенту Вашингтону

Зима, 1793

«Человечество достигло стадии просвещения. Оно открыло, что короли не отличаются от других людей, особенно в сфере совершения преступлений и неудержимой жажды власти. Разум и свобода разливаются по миру и не остаются, пока вознесенные короны не падут, королевские скипетры не будут изломаны на куски во всех уголках земного шара. Монархия и аристократия должны быть уничтожены, и права человека прочно утверждены во всем мире».

Из сообщения о казни короля Людовика Шестнадцатого в «Нью-Йорк джорнал», подписанного Республиканец

Март, 1793

«Сограждане! Снова глас моей страны вызвал меня выполнять роль верховного правителя. В свое время я найду слова, чтобы выразить благодарность за оказанную мне честь и за выражение доверия ко мне со стороны народа Соединенных Штатов.

Конституция требует, чтобы перед вступлением в должность президент принес присягу. Эту присягу я нынче приношу в вашем присутствии. И если во время своего правления я намеренно нарушу какие-то статьи Конституции, пусть все присутствующие здесь на этой торжественной церемонии подвергнут меня единодушному осуждению».

Из речи Вашингтона на втором вступлении в должность президента

Декабрь, 1794

«Данное заявление дано в подтверждение того, что я, Томас Джефферсон, проживающий в графстве Албемарль, штата Вирджиния, даю свободу Роберту Хемингсу, сыну Бетти Хемингс; что впредь он будет свободен распоряжаться собой и всем своим движимым и недвижимым имуществом; что он освобождается от всяких обязательств службы; что ни я, ни мои наследники не будут вправе требовать от него каких бы то ни было трудов. Этот документ об освобождении засвидетельствован моей печатью, в графстве Албемарль, 24 декабря, года одна тысяча семьсот девяносто четвертого».

МАЙ, 1795. МОНТИСЕЛЛО

— Вы хотите, чтобы я с обоими детьми исчезла на время приезда гостей? — спросила Салли.

Фраза прозвучала наполовину вопросом, наполовину — утверждением, но Джефферсон выбрал расслышать отзвук вопросительного знака в конце.

— Мэдисоны пробудут три-четыре дня, не больше. Мне бы хотелось, чтобы они имели возможность отдохнуть и расслабиться, чтобы детская беготня и крики не беспокоили их. Кто бы мог подумать, что закоренелый холостяк, Джеймс Мэдисон, в свои сорок три года найдет себе подругу по сердцу! Да еще моложе него на семнадцать лет. Может быть, сыграло свою роль то, что судьба обрушила ужасные удары на его невесту незадолго до их встречи. В 1792 году умер ее отец, год спустя желтая лихорадка в Филадельфии унесла мужа и младшего сына. Молодая вдова, без средств, с двухлетним сыном на руках... Мэдисон явился в ее жизни спасителем, тем самым рыцарем в сияющих доспехах. Думаю, именно это помогло ему преодолеть обычную застенчивость и сделать предложение.

— Хорошо, я на это время поселюсь с детьми у мамы Бетти. Дни уже теплые, а ночью будем топить ваш подарок — железную печку, изобретенную мистером Франклином.

— Ты встречалась с мистером Мэдисоном, видела, что он так же расположен к черным, как и я. Но его молодая жена... Мы ничего не знаем о ней. Недавно один беглец из Франции, бывший священнослужитель, месье Талейран, посмел пройтись по улице Филадельфии с красивой мулаткой. Все тамошнее общество подвергло его остракизму.

— А где же вы поселите их? Крышу над новой пристройкой не успеют доделать, а в южных комнатах еще не вставлены окна.

— Наверное, прикажу поставить двуспальную кровать в большой спальне в мезонине. В крайнем случае, уступлю им свою.

В день приезда гостей Джефферсон несколько раз в нетерпении выходил на крыльцо. Коляска все не появлялась. Лишь под вечер он разглядел в сумерках на дороге две фигуры, поднимавшиеся пешком.

— Провалились по колесную втулку! — весело прокричал Мэдисон. — Наша богоспасаемая Вирджиния побьет все другие штаты по глубине дорожной грязи — может заглотить всадника вместе с конем.

Край дорожного платяя Долли Мэдисон болтался на уровне щиколоток, но все же красноватые пятна суглинка успели украсить его в нескольких местах. Она улыбнулась хозяину дома, обвела рукой розовеющее вечернее небо, цветущие кусты, посадки персиковых деревьев и сказала с завистливым восхищением:

— И все это вы имеете каждый день для одного себя?

Джеймс Хемингс появился с фонарем в руке и светил гостям, пока они осторожно ступали по доскам, перекинутым через канаву на входе в дом.

— Я затеял гигантскую перестройку всего здания, — объяснял Джефферсон, то ли извиняясь, то ли делясь мечтами. — Не знаю, когда удастся закончить, но не могу отказать себе в удовольствии принимать друзей уже сейчас. Надеюсь, вы великодушно простите мне неизбежное неустройство. По крайней мере, в отведенной вам комнате удалось навести порядок.

За ужином мужчины немедленно принялись обсуждать бурные политические события прошедшего года.

— Нет, даже на моей горе мне не удалось укрыться от потока злобных глупостей, текущих каждый день из нашей столицы, — возмущался Джефферсон. — Уже само введение налога на спиртное было нарушением Конституции. Конечно, люди возмутились, конечно, стали устраивать собрания, обсуждать, как им одолеть нагрянувшую беду. В западных графствах для многих жителей гнать виски — единственный способ не впасть в нищету. И что же наши правители? Объявили это бунтом, послали целую армию на подавление. Армия явилась и не обнаружила восставших! А кто вел карателей? Все тот же, все он! Какой злой дух перебросил нам в наказание этого человека с его малярийного острова?

— Вы знаете, конечно, что вскоре после вашего отъезда мистер Гамильтон тоже покинул свой пост в правительстве, — сказал Мэдисон. — Казначейство теперь возглавляет мистер Уолкот.

— Да, пост покинул, но из политики не ушел. Он воображает, что читатель не догадывается, кто скрывается за псевдонимом «Камиллус», защищая в бесчисленных статьях условия мирного договора с Великобританией. Какое-то время я с уважением относился к Джону Джею. Но то, как он повел себя в Лондоне, когда Вашингтон отправил его туда вести переговоры, — непростительно! Вся страна возмущена условиями, на которые он согласился. В Делавере споры идут только о том, сжигать ли изображения Джея, или сжечь его самого. Оплачивать наши довоенные долги английским банкирам! За семь лет войны англичане нанесли такой урон американской торговле и промышленности — о каких долгах может идти речь?! Неужели Конгресс утвердит этот договор?

— Дебаты в Сенате достигли небывалого накала. Окончательное голосование может произойти в ближайшие недели.

— Мне запомнилось, — сказала Долли Мэдисон, — что в своих памфлетах Гамильтон-Камиллус упоминает и ваше имя, мистер Джефферсон. Анализируя мотивы противников договора, он выдвигает такую версию: республиканцы просто стараются очернить федералиста Джона Джея, чтобы уменьшить его шансы на президентских выборах в следующем году и тем самым увеличить ваши шансы. Есть ли здесь зерно правды?

— Милая миссис Мэдисон, я сто раз заявлял публично и в частном общении, что не имею никаких амбиций в сфере общественной жизни. Все тщетно — мне не хотят верить. С другой стороны, я не могу не думать о судьбе страны и о том, кто возглавит ее после ухода Вашингтона с поста президента. Мистер Адамс явно примкнул к лагерю федералистов, так что его избрание обернется катастрофой. И тут я попадаю в ловушку: ненависть политическую жизнь, страшая и избегая ее, я исподволь толкаю в это пекло дорогого мне человека — вашего мужа. Если бы он согласился выдвинуть свою кандидатуру, это было бы лучом надежды для всех честных республиканцев.

— Ну, нет! — воскликнул Мэдисон. — Двадцать лет я подвизался на политическом поприще — с меня довольно. Уверен, что среди наших сторонников найдется много достойных людей, которые были бы рады занять освобождающийся высокий пост. Например, что вы думаете о сенаторе Аароне Берре?

— Я слышал, что он показал себя очень способным адвокатом. В должности конгрессмена и сенатора демонстрировал вдумчивость и осмотрительность. Многие также считают его весьма образованным джентльменом.

— Сознаю, что я не могу судить о Берре беспристрастно. Ведь это он совершил переворот в моей судьбе — познакомил в прошлом году с Долли. Не исключаю, что я занимался политикой только потому, что просто не знал о других радостях в этой жизни. Но теперь...

Он сжал руку жены, нежно поднес ее к губам, поцеловал пальцы. В ответ она улыбнулась, погладила его по волосам, прижалась щекой к плечу.

— Как только кончится мой срок в палате представителей, мы уедем из Филадельфии в Монтпелье и последуем вашему примеру: будем наслаждаться красотой творения, сокровищами книжных знаний, дружбой соседей. Может быть, к тому времени дорогу между нашими имениями замостят булыжником, и мы сможем навещать друг друга хоть каждую неделю. Тридцать миль — их легко можно покрыть за день по хорошей дороге.

Когда настало время отправляться на покой, снова появился Джеймс Хемингс с фонарем, повел гостей к витой лесенке, ведущей на второй этаж. Мэдисон решительно начал подниматься за ним, но его жена в сомнении застыла перед открытой дверцей, оглянулась на хозяина дома.

— Да, лестничная клетка получилась узковата, — сказал Джефферсон, виновато разводя руками. — Не знаю, как исправить этот просчет.

Долли приподняла подол платья, вслепую нащупала ногой первую ступень, но на второй запнулась, пошатнулась и решительно сошла обратно.

— Увы, мистер Джефферсон, боюсь, что архитектор, проектируя это сооружение, забыл, что им придется пользоваться не только джентльменам, но и дамам. Я не вижу другого выхода — должна попросить вас удалиться. Спокойной ночи. Ужин был бесподобный, вы не зря потратили деньги на обучение повара в Париже.

Смущенный Джефферсон снова развел руками, поклонился, ушел в свою спальню. Оставшись одна, Долли спокойно развязала кушак, расстегнула пуго-

вицы платья, стянула его через голову и уверенно стала подниматься по узким ступеням, сияя белыми панталонами.

Утром следующего дня, после завтрака, была устроена прогулка по поместью. Джефферсон, преобразившись в рачительного фермера-земледелца, объяснял гостям научную систему севооборота, которую он собирался применять на своих полях.

— Сначала пшеница, за которой в том же году последует турнепс — он послужит кормом для овец. Далее — кукуруза и картофель вперемешку, а осенью — вика. Ее можно будет пустить весной как кормовую добавку. Потом — горошек и рис. Рожь и клевер будем высевать по весне. Завершать цикл — гречихой. И через шесть лет все начинать сначала. Посевы табака буду сокращать, он слишком быстро истощает почву.

— А для чего оставлены эти маленькие грядки? — спросила Долли.

— О, здесь вырастет все то, что может привести в восторг парижского гурмана: шалфей, базилик, мята, чебрец, лаванда, укроп, розмарин. Та деревянная конструкция, похожая на дракона, — новый молотильный аппарат, сделанный по чертежам, присланным из Шотландии.

— Я помню, вы много лет пытались восстановить мельницу, разрушенную наводнением, — сказал Мэдисон. — Есть ли успех в этом начинании?

— Сначала я надеялся, что удастся обойтись без строительства новой дамбы, а просто проложить обводной канал. Работы начались в тот год, когда была подписана Декларация независимости. Но потом началась война, потом — мое губернаторство, потом — пять лет в Париже. Без хозяйского глаза подобные проекты почему-то начинают буксовать. За двадцать лет я угрохал на это дело тысячи и тысячи, а мельницы все нет.

На следующий день Мэдисону нужно было съездить в Шарлотсвилль, заверить какие-то бумаги в суде графства Албемарль. Его фаэтон к тому времени уже был извлечен из дорожной ямы и теперь бодро укатил своего владельца, укрывшегося под парусиновой крышей от теплого весеннего дождя.

Джефферсон пригласил Долли в свой кабинет — ему хотелось показать ей архитектурные эскизы будущего особняка.

— Перемены задуманы грандиозные, — говорил он. — Младшая дочь тоже не сегодня — завтра выйдет замуж, у нее пойдут дети. Где размещать подрастающих внуков, если они все сразу захотят навесить любящего их деда? Вместо восьми комнат в перестроенном доме будет двадцать. Восточный фасад украсят вот эти колонны. Второй этаж я увенчаю куполом, под которым разместится просторная бильярдная. Сейчас мы решаем, где изготавливать кирпичи: внизу у ручья или наверху, куда воду для замеса придется поднимать в бочках. Старые кирпичи тоже пойдут в дело. Хотя оказалось, что их не так-то легко очищать от известки — она прилипла к ним слишком прочно. Это показывает, что и первоначальную постройку мы возводили на совесть. Двадцать лет назад она даже выдержала землетрясение.

— И сколько же времени у вас уйдет на все эти переделки? — спросила Долли.

— Боюсь, что несколько лет. Но знаете, мое воображение легко переносит меня в будущее. Новый дом еще существует только на бумаге — а мне кажется,

что я уже живу в нем. Моя покойная жена упрекала меня за это — и справедливо. Это ей приходилось защищать детей от реальных сквозняков, бороться с дымом из кухни, как-то добывать воду из пересыхающего колодца. Я же слишком легко прятался в своих мечтах о будущем благоденствии.

— Карандашный портрет на стене — это она?

— Да, но он сделан британским пленным офицером и слабо передает ее очарование. О настоящем портрете я вел переговоры с замечательным художником, Чарльзом Пилом, он должен был приехать к нам после войны. К сожалению, Марта не дожидая.

— Вы употребили выражение «жить мечтами». Я очень хорошо знаю, что это такое, потому что росла в общине квакеров. Мои родители жили мечтами о том, что все люди от природы добры, что злые поступки — лишь результат невежества, незнания подлинной воли Господа нашего. Но при этом квакеры легко теряют свою доброту, когда сталкиваются с мечтами других людей, не похожих на них. Меня, например, изгнали из общины, когда я вышла замуж за Джеймса — то есть за чужака.

— И все же следование идеалам — важнейший компас в выборе жизненного пути. Меня часто упрекают в том, что, преклоняясь перед идеалом свободы, я готов оправдывать все жестокости и зверства Французской революции. Я их отнюдь не оправдываю. Но я говорю, что злодеи вроде Дантона и Робеспьера потому и смогли захватить власть, что люди достойные служили идеалу свободы недостаточно самоотверженно. Этот идеал обладает огромной притягательной силой для простых людей — его нельзя уступать негодьям.

— Во Франции много ваших близких друзей погибло под ножом гильотины. Неужели это никак не поколебало вашу веру в *liberte, egalite, fraternite*? А сейчас пожар мятежа перекинулся во французские колонии в Вест-Индии. Я встречала беглецов с острова Сан-Доминго. Они рассказывают страшные истории о зверствах черных над белыми. Не ждет ли нас такая же участь в Вирджинии, если черные решатся на восстание?

— Еще Монтень писал — цитирую неточно, по-памяти: «Те, кто расшатывает государственный строй, первыми, чаще всего, и гибнут при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал». Но вот похоже, что американцы опровергли это правило: люди, взбунтовавшиеся против английской короны, не только не погибли, но сумели выстроить государство на более гуманных и просвещенных началах.

— Да, и даже способны давать приют другим бунтарям. Ну, не парадокс ли это?! Еще два года назад французский посланник, гражданин Жене, разъезжал по нашей стране, подстрекая американцев последовать примеру парижских толп. А сегодня он вынужден просить у Вашингтона политического убежища, потому что знает, что на родине его ждет гильотина.

— Ход французской революции разочаровал многих ее сторонников. Я получаю из Парижа письма от Томаса Пэйна, от Джеймса Монро. Они выражают сомнения в том, что Европа уже сегодня готова последовать примеру Франции и начать свергать троны. Но они, как и я, уверены в том, что процесс этот неизбежен и рано или поздно принципы свободы и равенства восторжествуют.

— То есть в строительстве государства вы готовы следовать тем же принципам, что и в строительстве — перестройке — дома. Неважно, сколько недель, месяцев, лет жильцам придется жить без стен, без крыши над головой, без пола

под ногами. Главное — не отступить от архитектурных идеалов, сочиненных гениальным Палладио два века назад. А в строительстве государства — сохранить идеалы Платона, Бэкона, Локка, Монтескье.

— Я слышу нотки сарказма в вашем голосе. Да, должен признать, что привычка уноситься помыслами и мечтами в будущее порой делает меня слепым и равнодушным к нуждам настоящего. Но должен предупредить, что вашему супругу это свойственно в такой же мере. Сегодня он мечтает о том, чтобы уединиться с вами в Монтпелье и отдаться радостям семейной жизни. Однако выбросить из головы мысли о судьбе страны в ближайшие десятилетия он не сможет. Боюсь, ваша пастораль продлится недолго.

— Вполне возможно, не спорю. — Долли улыбнулась, потом покачала головой и театрально вздохнула. — Но в чем я уверена, так это в том, что навязанная вами себе сельская идиллия в Монтиселло будет еще более короткой.

Вечером Джефферсон уединился с вернувшимся из Шарлотсвиля Мэдисоном в достроенном северном флигеле.

— Хотел бы обсудить с вами один деликатный вопрос. Вы знаете, что с Джоном Адамсом меня связывает долгая дружба. Политические разногласия охладили ее, но мне очень тяжела мысль, что я могу утратить расположение этого достойнейшего человека. С другой стороны, ясно, что противоборство республиканцев с федералистами грозит столкнуть меня с ним лоб в лоб. Наши кандидатуры на пост президента, скорее всего, будут выдвинуты в следующем году.

— Да, боюсь, что это неизбежно. Но что можно предпринять в подобной ситуации?

— Я написал письмо Адамсу, но еще не отправил. Хочу прочесть его вам и услышать ваше мнение.

— Я весь внимание.

Джефферсон достал исписанный лист бумаги, поднес его поближе к огоньку свечи, начал читать:

«Я оставляю другим возвышенное удовольствие прорываться сквозь шторм. Меня больше устроит спокойный сон и теплое ложе подо мной, общество добрых соседей, друзей и возделывателей земли, а не шпионов и психопатов. Амбиция управлять людьми чужда мне, поэтому я бескорыстно поздравлю любого, кому достанется такой удел. Если он достанется Вам, я от всей души буду желать, чтобы Вам удалось спасти нас от войны, которая разрушит нашу торговлю, кредит и сельское хозяйство. Если Вам удастся это, заслуженная слава будет целиком Вашей. От души желал бы Вашему правлению славы и счастья. На нашем жизненном пути случались эпизоды, которые могли бы отдалить нас друг от друга. Тем не менее я продолжаю высоко ценить те моменты, когда мы вместе боролись за нашу независимость, и храню в душе чувства уважения и привязанности к вам».

Мэдисон долго молчал, сложив кончики пальцев, вглядываясь в лунный пейзаж за окном. Наконец заговорил, бережно выбирая слова, но с той убежденностью, какая была свойственна его речам в ассамблее и Конгрессе:

— Думаю, послать это письмо было бы большой ошибкой. Политика и эмоции — разные вещи и часто — несовместимые. Вы уже несколько раз оказывались в ситуации, когда ваши частные письма просачивались в печать и били бумерангом по вам и по всем вашим сторонникам. Отправка такого письма

в ситуации надвигающегося противоборства за президентское кресло может быть истолкована как жест дуэлянта, демонстративно стреляющего в воздух. Необходимость прятать свои чувства, даже самые искренние и возвышенные. — это жертва, которую государственный деятель должен приносить на алтарь своего служения стране. Да, это наша беда, наша болезнь, наше проклятье — но другого не дано. Я со всей серьезностью призываю вас не отправлять это письмо.

Ночью сон долго не приходил к Джефферсону, а потом начал накатывать волнами, оставляя просветы, в которых мозг выбрасывал на экран памяти причудливые — искаженные — воспоминания. Вдруг всплыл амбар, переполненный подвыпившими избирателями в день его первых выборов в ассамблею, но кубок с пуншем ему протягивает не Бетти Уокер, а Абигаиль Адамс, одетая по последней парижской моде. Студенческие годы, Бафурст Скелтон накануне своей свадьбы, овеванный предвкушением жаркого и манящего таинства, держит в руках запыленный фолиант и отказывается показать его стоящей тут же Марте. Лицо Ричарда Косвея, провожающего печальным взглядом жену, уводимую Джоном Трамбаллом по мосту через Сену.

Бетти, Марта, Абигаиль, Мария — ведь они все предстали перед ним, уже окутанные, озаренные чьей-то любовью. Не здесь ли кроется разгадка его увлечений? Не может ли оказаться, что женщина, освещенная чьей-то любовью, сама начинает лучиться в ответ? И именно это ответное излучение действует на него с такой безотказной силой?

Да, если бы жив был доктор Франклин, Джефферсон посоветовал бы ему оставить в покое электричество и заняться изучением таинственных лучей, протягивающихся между мужчинами и женщинами в самые неожиданные моменты. Ведь Долли Мэдисон никак нельзя назвать красавицей. Это лучи обожания, текущие на нее из глаз мужа, делают ее столь волнующе привлекательной. Или все же здесь играет роль та дерзость, с которой она смеет комментировать его поступки, вслушиваться в слова, бросать вызов?

На рассвете сон бесшумно улетучился, и Джефферсону не оставалось ничего другого, как встать, одеться, ополоснуть лицо водой из заготовленного тазика, выйти из дома. Ястреб, расставшись с мечтой о завтраке, тяжело взлетел с позолоченной верхушки дуба, исчез в море листвы. Ветки кустов сирени, пригнутые тяжелой росой, касались песка лиловыми гроздьями.

Джефферсон бесцельно брел мимо грядок розмарина.

Но, видимо, бесцельность была только кажущейся. Потому что он вскоре оказался около флигеля мамы Бетти.

И увидел Салли.

Она шла от колодца, изогнувшись в талии под тяжестью ведерка с водой.

Увидев его, она замерла на секунду, потом поставила ведро на землю. Стояла в ожидании, уронив руки.

Какие — чьи — лучи текли к нему от нее? Неужели его собственные — пропитавшиеся ее юной прелестью, отраженные, усиленные на обратном пути к своему источнику?

Он подошел, обнял, стал целовать. В шею, в щеки, в мочку уха, в губы. Прижимая к себе, ловя ответные поцелуи. Бормоча «Агарь, Агарь, Агарь...».

Вдруг ее тело сжалось под его ладонями, застыло. Взгляд был устремлен в сторону главного дома.

Джефферсон оглянулся.

Долли Мэдисон шла по тропинке, неся закрытый, еще ненужный солнечный зонтик на плече, жмурясь на ослепительное облако. Увидела их, остановилась, склонила голову то ли в недоумении, то ли в испуге.

Салли высвободилась из объятий, взяла ведро, ушла во флигель.

Джефферсон стоял в растерянности, пытаясь понять — придумать, — какие слова могут изменить, загладить неловкость ситуации.

Но Долли Мэдисон опередила его.

Она решительно приблизилась к нему, положила ладонь на локоть. Заговорила без улыбки, но участливо, дружелюбно, убежденно.

— Не говорите ничего. Я уже видела ее вчера с сыном и все поняла. Сын — вылитый вы, она — копия своей сестры, чей портрет висит у вас на стене. Я могу только пожелать вам счастья и много-много детей. Надеюсь, что нам предстоит еще долгие годы дружбы, и я готова когда-нибудь выступить в роли крестной матери для них. Для дочери квакеров все они будут такими же людьми, как все остальные.

— То, что вы сказали... — начал Джефферсон. — Ваши слова сняли большой груз с моей души...

— Вы, конечно, догадываетесь, что сплетни о вашей личной жизни гуляют и по Филадельфии, и по Нью-Йорку. Но я клянусь вам, я хочу, чтобы вы знали: никогда ни одно слово, слетевшее с моего языка, не присоединится, не сольется со злой молвой. Вам никогда не надо будет прятать от нас с Джеймсом ни вашу подругу, ни ее детей.

Февраль, 1796

«Данный документ, составленный в Монтиселло, в графстве Албемарль штата Вирджиния, в пятый день февраля одна тысяча семьсот девяносто шестого года, удостоверяет, что я, Томас Джефферсон, объявляю свободным Джеймса Хемингса, сына Бетти Хемингс, которому исполнилось тридцать лет, и даю ему полную свободу распоряжаться собой на все будущие годы».

Лето, 1796

«В поместье мистера Джефферсона работают плотники, каменщики, кузнецы. Молодые и взрослые негрятянки прядут ткани для одежды остальных. Он стимулирует их вознаграждениями и похвалами. В управлении хозяйством ему помогают две дочери, миссис Рэндолф и мисс Мария, — прелестные, скромные и дружелюбные женщины. Образование они получили во Франции. Мистер Рэндолф владеет изрядной плантацией неподалеку. Он часто проводит время с мистером Джефферсоном и относится к нему скорее как родной сын, чем зять. Мисс Мария живет с отцом постоянно, но, так как ей уже семнадцать и она очень хороша собой, она наверняка скоро обнаружит, что есть на свете обязанности даже более приятные, чем обязанности по отношению к отцу. Философский склад ума мистера Джефферсона, его любовь к наукам, превосходная библиотека и большой круг друзей помогут ему пережить эту утрату».

Из путевых заметок герцога Рошфуко Лианкура

Сентябрь, 1796

«Главным правилом в нашем поведении по отношению к другим странам должно быть одно: повсеместно расширять наши торговые отношения с ними и избегать всяких политических союзов. Там, где подобные союзы уже суще-

ствуют, мы будем следовать им, но на этом следует подвести черту. В Европе существует множество противоречивых интересов, которые к нам не имеют никакого отношения. Она неизбежно будет находиться в состоянии внутреннего противоборства, и для нас было бы ошибкой дать ей вовлечь нас в свою вражду».

*Из прощального обращения Вашингтона,
подготовленного для него Гамильтоном*

Март, 1797

«По всеобщему мнению, мистер Адамс является человеком неподкупной честности, и широта его ума вполне соответствует посту президента, занятому им. Мы можем надеяться, что меры, принимаемые им, будут разумными, что он не примкнет ни к какой партии и не позволит превратить себя в орудие какого-то человека или группы людей. На церемонии принятия присяги он произнес речь, в которой объявил себя другом Франции и мира, сторонником республиканизма, врагом партийности и обещал не руководствоваться политическими пристрастиями при назначении на государственные должности. Как благородны такие чувства! Как достойны патриота!»

Из газеты «Аврора»

ИЮНЬ, 1798. ФИЛАДЕЛЬФИЯ

До последнего предотъездного дня, до последнего момента Джефферсон не знал, решится ли он исполнить совсем нетрудное поручение младшей дочери. Полгода назад Мария вышла замуж за своего кузена Джека Эппса, молодые строили планы будущей жизни, выбирали место, где поселиться. Джефферсон подарил им восемьсот акров земли, двадцать шесть рабов, четверку лошадей с коляской, несколько коров, свиней, овец и делал все возможное, чтобы им захотелось жить вблизи Монтиселло. Так неужели теперь трудно было исполнить просьбу новобрачной, содержащуюся в последнем письме от нее: нанести визит миссис Абигаиль Адамс и передать привет от нее и благодарность за теплый прием в Лондоне десять лет назад? Писать напрямую жене президента Мария не решалась.

С супругами Адамс Джефферсон встречался в этом году редко и только на официальных приемах. Отношения делались все более натянутыми, а обстановка в Конгрессе и столице менялась непредсказуемо чуть ли не каждый день. Когда Джон Адамс объявил, что депеши из Парижа отданы на расшифровку, республиканцы были уверены, что это уловка, что правительство прячет сведения, рисуящие французскую директорию в благоприятном свете. Они выступали в Конгрессе один за другим, требуя немедленного оглашения полученных известий.

И что же?

Когда депеши были расшифрованы и зачитаны, даже самые горячие сторонники Франции должны были умолкнуть в смущении и растерянности.

Оказалось, что ни Директория, ни министр иностранных дел Талейран даже не удостоили ни одного из трех американских посланников личной встречей. Вместо этого к ним были направлены три мелких чиновника, обозначенных в депешах буквами X, Y, Z, передавшие предварительные требования Талейрана: взятка лично ему в 250 тысяч долларов и предоставление Франции займа в раз-

мере десяти миллионов. Без выполнения этих условий ни о каких переговорах не может быть и речи. Захваты же американских судов будут продолжаться с усиленной энергией.

Буря возмущения быстро перекинулась из зала Конгресса на улицы Филадельфии, и очень скоро газеты федералистов разнесли ее по всей стране.

«Ни пенса вымогателям-французам!»

«Все средства — на строительство флота!»

«К оружию!»

Трехцветные кокарды исчезли со шляп, якобинские клубы закрывались, никто уже не смел распевать «Марсельезу»: раздавались призывы изгнать французских беглецов, число которых в Америке к тому времени достигало 25 тысяч. Подписка на газеты республиканцев стремительно падала, дом редактора «Авроры» кто-то пытался поджечь. Конгресс одну за другой принимал меры, направленные на подготовку к войне: союз с Францией, заключенный в 1778 году, аннулировать, торговлю приостановить, разрешить захват французских судов в американских водах, начать строительство боевых фрегатов, объявить призыв десяти тысяч ополченцев в армию, которая вскоре должна быть доведена до пятидесяти тысяч. Президент Адамс обратился к Вашингтону с просьбой возглавить армию, и тот согласился при условии, что ему будет дано право назначать офицерский состав, а в качестве заместителя иметь Александра Гамильтона.

Посреди этой воинственной лихорадки Джефферсон ощущал себя потерянным, отодвинутым на задний план, ненужным. Его отношения с президентом с самого начала подернулись ледком, когда тот, при вступлении в должность, предложил ему отправиться послом в Париж. Довольно странно было отправлять за три тысячи миль человека, который — по Конституции — должен был бы занять твое место в случае твоей внезапной смерти или другого несчастья. Джефферсон отказался.

Он не чувствовал себя вправе открыто высказываться против иностранной политики правительства. Его правилом стало: не участвовать в газетной войне ни при каких обстоятельствах. На каждую твою ответную реплику ты получишь двадцать новых нападок, считал он. Его молчание давало возможность памфлетистам противной стороны приписывать ему участие в профранцузских заговорах, обвинять в атеизме, трусости, бездарности, коварстве, объявлять врагом Вашингтона и союза между штатами. Один конгрессмен на торжественном обеде, восхваляя президента Адамса, вспомнил библейского Самсона, поражавшего врагов ослиной челюстью, и поднял тост: «Да поразит наш президент тысячу французов челюстью Томаса Джефферсона!»

Свирепость политического противоборства стремительно теснила даже правила джентльменского поведения. Когда республиканец, представлявший в Конгрессе штат Вермонт, сказал что-то, что не понравилось федералисту из штата Коннектикут, тот пересек зал и плюнул в лицо обидчику. В другой раз между депутатами разгорелась настоящая драка, в ход пошли тяжелая трость и каминные щипцы.

Джефферсон не верил во французские заговоры, не верил в возможность нападения Франции на Соединенные Штаты. Он надеялся, что мир в Европе наступит, когда Британия и ее союзники будут разбиты доблестной армией республики, у которой появился молодой талантливый генерал по имени Буонапарте. Каждое сообщение о его победах укрепляло эти надежды. В разго-

ворах с парижским посланником вице-президент Джефферсон позволил себе высказать уверенность, что американский народ никогда не забудет о помощи, оказанной ему Францией в обретении свободы. Ведь президент избирается сроком всего на четыре года, и все может измениться, когда к власти придет более дальновидный политик.

Если бы об этих частных беседах стало известно, его легко могли бы обвинить в том, что он тайно ищет у иностранного дипломата поддержки в борьбе за президентское кресло на будущих выборах. Другая сфера, где следовало проявлять предельную осторожность, — отношения с республиканской прессой. Наверное, было ошибкой заплатить Томасу Кэллендеру за экземпляр его памфлета целых пятнадцать долларов. Да и потом, в течение года, он подбрасывал бедствующему журналисту небольшие суммы. Как легко это могло обернуться очередным шквалом обвинений: «Вице-президент тайно поддерживает газетные нападки на федеральное правительство!». К тому же, бедность Кэллендера не могла быть такой уж отчаянной, если он сумел оплатить приезд из Англии жены и трех сыновей.

К этому шотландскому беглецу Джефферсон испытывал двойственное чувство. Его неряшливая внешность, низкий рост, запах виски изо рта, нагловатая и в то же время заискивающая манера придвигать лицо близко-близко к лицу собеседника вызвали раздражение, почти брезгливость. С другой стороны, взгляды и убеждения Кэллендера почти во всем совпадали с главными идеалами республиканской партии.

На родине он подвергся гонениям за смелые нападки на британскую политическую элиту, с трудом избежал ареста. В своих статьях, печатавшихся в филаделфийских газетах, выступал последовательным пацифистом, доказывал безумие войны с Францией. Нападал на введение налогов, на реформы казначейства, на учреждение банка эдиктом Конгресса, на договор с Британией, на самого Вашингтона. В отчетах о заседаниях палаты представителей не позволял себе исказить речи выступавших, но умело вносил замечания в скобках или выделял некоторые слова италиком, так что все оговорки, ошибки, несуразности в речах федералистов делались заметны. «Народ должен знать все дела и помыслы политиков!» — таков был его лозунг, его искреннее убеждение.

Серия статей, объединенная потом и выпущенная год назад под названием «История Америки за 1796 год», принесла Кэллендеру скандальную славу далеко за пределами Филадельфии. Джефферсон знал о готовящемся издании и не одобрял всю затею, несмотря на рассыпанные в книге комплименты в его адрес, однако его попытка вмешаться была предпринята слишком поздно. При всей его нелюбви к Гамильтону ему казалось неджентльменским использовать любовные истории человека в политической борьбе. Но республиканцы были в восторге. А необъяснимая откровенность бывшего директора казначейства в ответной публикации привела его противников в экстаз. «Двадцать вражеских перьев не могли нанести мистеру Гамильтону такого урона, какой он нанес себе собственным пером», — писал Кэллендер в письме Джефферсону.

Конечно, пресса федералистов не осталась безответной. Газета «Дикобраз», созданная другим беглым шотландцем, Вильямом Коббетом, называла Кэллендера «лжецом, вонючим животным, пьяницей, мелкой змеей, бесстыжим наймитом, страдающим манией реформации». Внешность его тоже подвергалась издевательствам: «Этот запаршивленный шотландец одет как бродяга, шляпу не

носит, голову держит набок и постоянно дергает плечами, будто ему досаждают вши и блохи».

К сожалению, у Кэллендера не было хорошего редактора, который мог бы ему указывать на его собственные ошибки и несуразности. В той же «Истории Америки за 1796 год», ведя атаку на федералистов, главным оплотом которых были Бостон и Массачусетс, он так зарвался, что нарисовал их бандитами, поднявшими в 1770-е ненужный бунт против доброго короля Георга Третьего: «На глазах у собравшейся толпы они уничтожили 342 ящика чая. Акт парламента, закрывший в наказание порт Бостона, был абсолютно оправданной мерой... Весь континент был преждевременно втянут в войну, чтобы спасти кучку бостонских заправил от заслуженного возмездия».

Может, была доля правды в нападках хулителей Кэллендера? Подобные пассажи можно сочинять лишь после распития нескольких кружек грога или бутылки виски. Вряд ли найдется вирджинец, которого порадовала бы такая похвала: «Если бы остальные штаты Америки вели себя так сдержанно и разумно, как Вирджиния, мы бы до сих пор оставались колонией Англии и горя не знали».

Двенадцать лет назад в письме к Марии Косвей он свел свое сердце в длинном диалоге с разумом. Если бы сегодня вновь возник повод для такого диалога, разум, скорее всего, перешел бы в контрнаступление и отвоевал бы обширные территории. Охота за счастьем — прекрасная вещь. Но как часто она оборачивается ненужными страданиями для окружающих, да и для самого охотника. Разве достижение целей, выбранных разумом и чувством долга, не дает гораздо более глубокое и долговечное утешение вечно томящейся душе?

Как часто человек, раздираемый порывами страстей, спрашивает себя: «Да чего же ты хочешь? К чему стремишься?» Достаточно изучив себя за пять десятков лет, Джефферсон мог честно ответить себе: «Две вещи важны для меня на свете, две вещи влекут сильнее всего остального: первое — вызывать одобрение или даже восхищение ближних и дальних; второе — оставаться верным себе, оставаться самим собой». И конечно, самыми трудными жизненными ситуациями были те, в которых эти два порыва оказывались несовместимы, когда они сталкивались лоб в лоб, как два корабля в тумане.

Уж как его всегда радовали одобрительные отзывы Вашингтона, как он дорожил их многолетней дружбой! И чего бы, казалось, стоило промолчать, не выступать против финансовых реформ казначейства, которые вызывали такую поддержку президента? Но нет: согласиться с ними и было бы изменой себе, своим убеждениям. Он предпочел уйти с поста министра иностранных дел, удалиться в свое поместье, и столь дорогая ему дружба умерла, тихо истаяла на холмах и равнинах, разделявших Монтиселло и Маунт Вернон.

Та же самая судьба, видимо, постигнет и его дружбу с Джоном Адамсом. Нет, президент Адамс не навязывает Конгрессу эти ужасные новые законы, но он идет на поводу у самых рьяных и близоруких депутатов точно так же, как раньше Вашингтон шел на поводу у Гамильтона. Разве мог он, Джефферсон, всю жизнь отстаивавший свободу слова, высказаться в поддержку закона о подрывной деятельности, грозившего штрафом и тюрьмой тому, кто посмел бы открыто выразить свое несогласие с политикой правительства? А этот закон о чужеземцах? Требовать от людей, чтобы они подавали за пять лет заявление о желании поселиться в Америке, а потом, приехав, ждали пятнадцать лет получения гражданства? Это значило бы поставить крест на мечте сделать Америку убежищем для всех гонимых.

В какой-то момент Джефферсон подумал, что вызывать восхищение и при этом оставаться самим собой ему легче всего с одним человеком: с Салли Хемингс. Ее любовь к нему не нуждалась в словесном выражении, она струилась в ней так же естественно и негромко, как горный ключ струится меж кустов бересклета. Имея талант спастись от горестей и угроз повседневной жизни прыжком в «как будто», она могла и его одаривать своим душевным бальзамом с той же безотказностью, с какой ее пальцы изгоняли мигрень из его головы. Своих прежних возлюбленных он тоже старался оберегать от душевных ран — но как часто для этого ему приходилось удерживать себя от искреннего выражения чувств, ловить ироничные замечания, готовые сорваться с языка, поддакивать, обнадеживать, даже льстить. С Салли в этих уловках не было нужды. Ей было довольно того, что он любит ее, — все остальное было как суета муравьев у подножия горы.

Конечно, если их отношения станут достоянием гласности, если сплетня просочится в газеты, шум поднимется оглушительный. Легко было представить себе кричащие заголовки статей:

«Защитник прав человека принудил черную невольницу служить ему наложницей!»

«Борец с тиранией тиранствует над своими рабами!»

«Получат ли цветные потомки нашего вице-президента возможность заседать в Конгрессе? В Верховном суде? Исполнять должность послов в других государствах?»

Скорее всего, его шансы победить на президентских выборах будут потеряны так же безнадежно, как они были потеряны для Гамильтона. Но поддаться страху, соображениям выгоды, отказаться от Салли, найти себе благонравную белую подругу, жениться, нарожать детей? Это и было бы самым большим предательством самого себя. И, конечно, предательством Салли. Ведь она доверилась ему тогда, в Париже, она — бесправная и безденежная — отдала ему самое дорогое, что у нее было в тот момент: мелькнувшую надежду на свободу. Было бы последней подлостью забыть о таком даре.

Своих детей Салли опекала с неменьшим старанием, чем остальных, но, конечно, уберечь их от болезней не могла. Зимой Джефферсон получил от дочери Марты письмо, извещавшее, что двухлетняя Харриет умерла. Зато семилетний Том пошел на поправку после затяжного приступа плеврита. Была надежда, что некоторым утешением в смерти дочери для Салли послужит ожидание нового ребенка — ее беременность сделалась явной уже в декабре. Марта писала, что для ухода за больными она либо сама приезжала в Монтиселло чуть не каждый день, либо посылала кого-то из поместья Варины, в котором она в это время жила со своей семьей.

Дочь Марта! Вот кто стал самой прочной, самой долгой — уже четверть века! — любовью для Джефферсона. Каким-то образом она нашла в своей душе запасы щедрости и терпимости, чтобы простить отцу двусмысленность положения, в которое ставил ее его выбор. Наверное, ей в этом помогало то, что они росли с Салли бок о бок, в одном доме, играли в детстве. Они были почти ровесницы, а дедушка Марты приходился Салли отцом. Парижские приятельницы в письмах Марте передавали привет запомнившейся им «мадемуазель Салли».

Но здесь, в Америке, расовое клеймо оставалось неодолимым. Сколько раз, наверное, Марте доводилось в общении с родственниками и знакомыми ловить

укоризненные намеки, косые взгляды, даже насмешки. Не потому ли она предпочитала жить в деревне, избегала появляться в городах? Она с достоинством несла свою судьбу, беря пример с матери, которой тоже пришлось жить в окружении шоколадных братьев и сестер. И как он был благодарен ей за это! У них обоих было чувство, что их взаимная любовь была испытана сурово и останется с ними до конца дней.

Строгий голос разума наконец победил нерешительность Джефферсона, и за день до отъезда из Филадельфии он отправился в президентский особняк. Дворецкий объявил ему, что мистер Адамс уже уехал на заседание кабинета министров, и пошел доложить миссис Адамс о посетителе. Дождаясь ее внизу в гостиной, Джефферсон пытался вспомнить все теплые письма, летавшие между ними через Ла-Манш, когда ее муж был послом в Лондоне. Они обменивались сведениями о детях, о знакомых, о светских новостях, а также выполняли просьбы друг друга о всевозможных покупках. Абигаиль хлопотала об отправке ему заказанной арфы, посылала одежду для подрастающей Полли. Он, в свою очередь, отыскивал для нее и отправлял парижские туфли, флорентийский шелк, перчатки, батист на платье. Специально поехал в монастырь Монт-Калвери, славившийся изготовлением шелковых чулок, и потом испытал приятное волнение, пакуя этот деликатный товар.

Но вдруг переписка оборвалась.

Последнее письмо от Абигаиль он получил десять лет назад. Что могло быть причиной? Конечно, и он, и Адамсы вернулись в Америку, не раз оказывались вместе то в Нью-Йорке, то в Филадельфии. Но при коротких личных встречах таким холодом веяло от обоих супругов, что Джефферсон поневоле стал избегать их. Возможно, политические разногласия были главной причиной. Но не могло ли к этому добавляться что-то еще? Адамсы придерживались строгих моральных правил и взглядов. Если бы они узнали о его отношениях с Салли Хемингс, вряд ли они отнеслись бы к этому с таким пониманием, как Марта или Долли Мэдисон.

Войдя в гостиную, Абигаиль поздоровалась с гостем без улыбки и на некоторое время замерла, положив руку на спинку кресла. На лице ее застыло то выражение, которое пронизательная Салли подметила еще в Лондоне и назвала качанием весов с чашками «правильно» и «неправильно». Видимо, вариант «отказаться разговаривать со старинным другом» заставил стрелку весов качнуться в сторону «неправильно» — Абигаиль опустилась в кресло и сделала приглашающий жест рукой в сторону дивана, стоявшего напротив.

— Я пришел проститься перед отъездом, — сказал Джефферсон, — и передать горячий привет от Полли, которая часто вспоминает вас и доброту, с которой вы приняли ее в своем доме, когда она пересекла океан и так была полна страха перед новой жизнью.

— Я слышала, что девочка вышла замуж. Кто ее муж? Довольны ли вы новым зятем?

— Она вышла за своего кузена Джека Эпса. Он вполне достойный молодой человек, они знали друг друга с детства. Я предпочел бы, чтобы она выбрала другого ухажера, моего молодого друга, конгрессмена Вильяма Джилса, но ведь сердцу не прикажешь. А как поживают ваши дети? Знаю, что мой любимец, Джон Квинси, — уже посол в Пруссии. Есть ли новости о нем?

— О, да! Он успел поднести нам сюрприз: наконец, в свои тридцать лет, нашел себе избранницу. Она — дочь американского купца, они венчались в Лондоне.

— А дочь Нэбби и ее семья?

— Они прочно осели в Нью-Йорке. Их дети растут здоровыми и очень радуют меня при встречах.

— С ее мужем, полковником Смитом, мы в свое время обменивались дружескими письмами, когда жили в Европе.

— Да, он показывал мне ваши письма. Мне запомнилось одно. То, в котором вы восхваляете бунты, объявляете их полезной грозой, очищающей политическую атмосферу в государстве.

Интонация и выражение лица Абилайс Адамс ясно показали, что чашка с надписью «неправильно» опять решительно пошла вниз в ее душе и стукнулась о дно весов.

— Я отнюдь не восхвалял. Я просто указал на тот факт, что в мировой истории не было государства, которое могло бы просуществовать без восстаний и революций. И с гордостью подчеркнул, что восстание в Массачусетсе — единственный случай в десятилетней истории тринадцати американских государств. Это получается один небольшой бунт за сто тридцать лет. Какая страна может похвастать таким спокойствием?

— Раз уж мы заговорили о политике, я позволю себе воспользоваться случаем и спросить: сами-то вы верите той клевете, которую республиканские газеты печатают о моем муже? Что он скрытый монархист, что тайно готовит возвращение Америки под власть Британии?

— Конечно, нет. Но в мой адрес газеты федералистов бросают еще более чудовищные обвинения. Я стараюсь не обращать внимания, говорю себе, что это оборотная сторона, издержки той самой свободы слова, без которой республиканское правление неосуществимо. Да, раскол на партии пронизал все стороны жизни. Когда в Филадельфии отличного врача уволили с поста директора больницы, главный пропагандист федералистов честно объявил в своей газете: «Я скорее доверю собакелизывать мою рану, чем позволю перевязать ее врачу-республиканцу».

— Когда создавалась Конституция, было проведено разумное разделение верховной власти на три ветви: исполнительная, законодательная, судебная. Но никто не мог предвидеть, что так быстро в стране вырастет четвертая ветвь: пресса. Оказалось, что десятки и сотни умелых демагогов, никем не избранных и не назначенных, жонглируя словами, фактами, слухами, домыслами, могут увлекать тысячи граждан то в одну, то в другую сторону. Их ядовитые перья способны перечеркнуть все достоинства, заслуги, таланты избранной жертвы поношений.

— Согласен, у свободы печати есть свои досадные побочные явления. Но очень часто газетчики разных партий переносят огонь друг на друга и забывают заниматься очернением политиков. Во всяком случае, выпускать против них закон о подрывной деятельности представляется мне не только несправедливым, но и опасным. В Канаде оленеводы традиционно боролись с волками при помощи ружей и собак. Оказалось, что применение ядов действует более эффективно. Но в тех местах, где такой метод применялся интенсивно и волки исчезли совсем, среди оленей начался падеж от болезней. Оказывается, добычей волков, в первую очередь, становились больные животные, и распространение

заразы замедлялось. Так и среди людей: если политики и чиновники не будут бояться разоблачений, коррупция среди них достигнет масштабов эпидемии.

— Но то же самое случится и в стадах журналистов: если вы не будете удалять из них самых оголтелых, если окажется, что беспардонная и безнаказанная клевета приносит безотказный успех и рост тиражей, эпидемия лжи и бесстыдства захлестнет все типографские станки. Есть писаки, у которых злоба накапливается на перьях, как яд — в зубах кобры. Полагаю, вам известно такое имя: Джеймс Кэллендер?

— Да, мне попадались его публикации.

— Этот человек делает вид, будто он борется с пороками и злоупотреблениями, а на самом деле ему ненавистна любая власть как таковая. Живя в Шотландии, он нападал на британское правительство, приехав в Америку, сделал своей мишенью американское. Никому нет пощады: ни верховному судье Джону Джею, ни генералу Вашингтону, ни президенту Адамсу. Я знаю, что вы поддерживаете Кэллендера деньгами, потому что вам нравится, как он поливал грязью вашего врага Гамильтона. Но поверьте моей интуиции: если на следующих выборах ваша партия придет к власти, и она, и вы сделаетесь объектом его ненависти и нападков. Кобра не может изменить своей сути, не может превратиться в ужа.

— По сути, наш спор, как и все политические споры, есть *состязание страхов*. Одни страшатся тех тенденций в развитии страны, которые могут привести к ущемлению свобод, возврату тирании. Другие, как ваш муж и его соратники, больше боятся наступления неуправляемой анархии, диктатуры толп. Но не кажется ли вам, что если закон о подрывной деятельности будет принят Конгрессом — а сомневаться в этом не приходится, — если журналистов и печатников начнут сажать в тюрьму и штрафовать, это только придаст им ореол мученичества и усилит их влияние на умы?

— С моей точки зрения, такой человек, как Кэллендер, давно заслужил если не виселицу, то, по крайней мере, смолу и перья. Закон же предполагает довольно мягкие наказания: штраф не больше двух тысяч долларов и заключение не больше двух лет. Кроме того, четвертая статья закона ясно указывает, что он будет отменен в марте 1801 года, что он принимается в ряду других оборонных мер на время войны.

— Но Америка не находится в состоянии войны! Если бы все эти военные приготовления не провоцировали Францию...

— Да, я помню вашу страстную любовь ко всему французскому. И вашу способность увлекаться абстрактными идеями. И вашу веру в мечты Руссо о врожденной доброте и незлобivosti человека. Однако давнишний друг Америки, британский парламентарий Берк превосходно объяснил в своей книге «Заметки о французской революции», как легко в погоне за прекрасным идеалом свободы народы могут рухнуть в кровавый хаос. Я не хочу свободы для грабителя с ножом, для сумасшедшего с мушкетом, для адвоката с гильотиной.

— Позвольте мне сказать следующее. Любой политический лидер, обращаясь к своим согражданам, выступает в роли прорицателя. «Вот какие перемены в нашей жизни желательны, и я верю в то, что у нас хватит сил и мудрости, чтобы осуществить их». Так мы говорили в 1776 году, но лидеры противной партии выступали с обратными пророчествами: «Нет, противоборство с Британией безнадежно и только принесет ненужные страдания». И те, и другие устремляли

свой взор в океан неведомого, который именуется «дух нации». Мы оказались правы и победили. Почему нельзя поверить в то, что и дух французского народа найдет в себе силы для преодоления крайностей революции? Какое мы имеем право грозить ему оружием?

— Кто и кому грозит оружием? Мой муж прилагает все усилия к тому, чтобы избежать прямого военного столкновения. Он отдает себе отчет в том, какими бедствиями оно будет чревато для народа, насколько Америка не готова к нему. Но, как сказал какой-то римский историк: «Хочешь мира — готовься к войне». Кроме того, объявление войны — прерогатива Конгресса. Если воинственные настроения захватят две трети депутатов, президент не сможет даже применить право вето.

— Все равно, глава исполнительной власти мог бы энергичнее использовать свое влияние, мог бы противодействовать принятию провокационных оборонительных мер. Франция поглощена войной в Европе — каким образом она может напасть на нас? Из Вест-Индии? Из Луизианы?

— Вы были главой исполнительной власти в Вирджинии в 1781 году. И вы так же не верили в возможность вторжения британцев, откладывали призыв милиции, хотя война уже шла полным ходом. Генерал фон Штойбен рассказывал нам, как вы даже отказались выделить ему рабочих или роту солдат для строительства оборонительного форта на реке Джеймс. И чем это обернулось? Сожженные города, разграбленные поместья, тысячи угнанных в плен и убитых. Я бы умерла от стыда за своего мужа, если бы он допустил что-то подобное.

Джефферсон почувствовал, что у него перехватывает дыхание. Слова Абиigail ударили в самое больное, в то, что он всеми силами пытался отодвинуть в самые дальние чуланы памяти. Он попробовал привычно захлопнуть створки своей душевной раковины, но было поздно. Стрела торчала внутри. И рана — он знал это — будет болеть еще долго-долго.

Оставалось только найти силы, чтобы сохранить маску вежливости и проститься не теряя достоинства. Он встал с дивана, начал говорить что-то о необходимости укладываться перед отъездом.

— Значит, вы уедете, на дождавшись голосования в Конгрессе? — спросила Абиigail.

— Мнение вице-президента учитывается только тогда, когда голоса в Сенате разделятся поровну. На этот раз перевес на стороне федералистов столь очевиден, что такой вариант исключается. Я могу удалиться в Монтиселло с чистой совестью.

Выйдя из президентского особняка, Джефферсон вдруг вспомнил тот майский день в Париже, когда они вместе смотрели запуск воздушного шара. И как Абиigail сказала: «Какое это счастье — иметь кого-то, с кем можно оставаться самой собой».

Что ж, сегодня она безусловно осталась самой собой со своим посетителем. Да и он тоже — не лицемерил, не поддакивал, не скрывал своего несогласия. Но каким крахом, каким болезненным разочарованием это обернулось для его другой мечты — нравиться и восхищать ближних и дальних. Он не верил, что когда-нибудь — чем-нибудь — ему удастся заслужить одобрение и дружбу этой неповторимой, непокорной, ни на кого не похожей женщины.

Но на следующий день, выезжая в карете из Филадельфии, он уже улетал мыслями вперед, на поля предстоявших полемических баталий, укладывал

в голове первые фразы резолюции против новых законов, проект которой он переправит в ассамблею штата Кентукки. Сделать это надо будет тайно, потому что главные положения документа легко могут быть подведены под действие «Закона о подрывной деятельности». Оглядывая зеленеющие берега Делавера, он, незаметно для себя, напевал запомнившуюся ему английскую песенку:

Тропа вольна свой бег сужать,
Кустам сам Бог велел дрожать,
А мы должны свой путь держать,
Свой путь держать, свой путь держать...

Лето, 1798

«Подрывные силы в нашей стране используют в качестве инструмента прищельца по имени Джеймс Кэллендер. Во имя чести и справедливости, как долго мы будем терпеть, чтобы такая гнида, воплощение партийной грязи и коррупции, принявшая облик человеческий, продолжала оперировать безнаказанно? Не пришло ли время, чтобы он и ему подобные боялись поносить нашу страну и правительство, выражать презрение ко всему американскому народу, призывать наших врагов презирать нас и поливать ядом клеветы наши власти, учрежденные конституцией?»

Из газеты федералистов

Декабрь, 1798

«Ассамблея штата Вирджиния выражает свой решительный протест против опасных нарушений конституции, содержащихся в двух законах, принятых на последней сессии Конгресса. Закон об иностранцах предоставляет федеральному правительству право изгонять из страны неугодных, которое не было оговорено Конституцией. Закон о подрывной деятельности прямо нарушает первую поправку, запрещающую Конгрессу принимать законы, ограничивающие право граждан свободно обсуждать действия властей и обмениваться мнениями на этот счет».

*Из Вирджинской резолюции, анонимно подготовленной
Джефферсоном и Мэдисоном*

Декабрь, 1799

«Смерть нашего возлюбленного главнокомандующего, генерала Вашингтона, пробудила, я уверен, в Вас те же чувства, что и во мне. Может быть, среди его друзей нет никого, кто бы имел так много оснований скорбеть о его кончине, как я. Для нашей страны это огромная утрата. Сердце мое в печали, разум в унынии».

Из письма Александра Гамильтона другу

Зима, 1800

«После генерала Вашингтона осталось множество бумаг и документов, и не следует принимать все это наследие как неопровержимую истину. То, что сохранил его собственное описание событий или его мнения, заслуживает абсолютного доверия. Мало было людей, чьи мысли отличались бы такой честностью и глубиной. Его страсти были сильны, но его разум умел побеждать их. Однако его собственные слова запечатлены в оставшихся бумагах лишь как малая

часть их. Остальное представляет собой смесь слухов и реальности, подозрений и свидетельств, фактов и домыслов. История будет черпать из этого материала то, что составитель, роялист или республиканец, сочтет полезным выбрать. Вот если бы историю американской революции писал сам генерал Вашингтон, получился бы достойный памятник цельности его ума, глубины его суждений, его способности отличать истину от фальши, принципы от претензий».

Томас Джефферсон. «Автобиография»

Январь, 1801

«Я согласен с тем, что политика мистера Джефферсона сильно окрашена фанатизмом, что он был злонамеренным противником действий правительства Адамса, что он искусен и упорен в достижении поставленных целей, что он может пренебрегать правдой и умело лицемерить. Но неправы те, кто считает, что, следуя своим принципам, он может решиться на необдуманные поступки и меры. Скорее его характер склонен сохранять те социальные нововведения, которым он вначале противился, если они показали свою работоспособность. Что касается Аарона Берра, то ясно, что он человек экстремальных и нерегулируемых амбиций. У него нет твердых убеждений, и он легко может пойти по пути удовлетворения своих личных интересов. Может ли человек без принципов быть успешным государственным деятелем? Я полагаю, что нет».

Из частного письма Александра Гамильтона

Февраль, 1801

«На президентских выборах 1800 года мистер Джефферсон и мистер Берр получили одинаковое число голосов выборщиков, каждый по 73. Хотя многие, голосуя за Берра, имели в виду, что он займет пост вице-президента, Конституция требовала, чтобы в такой ситуации исход выборов решался голосованием в Палате представителей Конгресса. Здесь восемь штатов из шестнадцати проголосовали за Джефферсона, шесть — за Берра, а делегации двух штатов разделились поровну между федералистами и республиканцами, и они никак не могли высказаться в пользу того или другого. 35 раз проводилось голосование, и только на 36-й один федералист из штата Делавер снял свое возражение против республиканского кандидата, и этот штат стал девятым „за“, что и принесло победу мистру Джефферсону».

Джеймс Рэмсей. «История Америки»

Март, 1801

«Наша обширная и плодородная земля, наш энергичный народ находятся в торговых отношениях с многими заокеанскими странами, которые уважают лишь силу и забывают о праве. Отголоски их раздоров докатываются до наших мирных берегов, и это нормально, что среди нас будут расхождения в мнениях о том, откуда нам грозит наибольшая опасность и какие меры необходимо принять для укрепления обороноспособности. Но, расходясь в мнениях, мы едины в своей преданности республиканскому правлению. В этом смысле мы все федералисты, мы все республиканцы. Некоторые честные люди опасаются, что наше правительство, представляющее собой эксперимент невиданный в мировой истории, дающее надежду всему миру на возможность обретения свободы, не будет иметь достаточно силы. Я не согласен с этим. Я думаю, что, наоборот, только то правление, которое поддержано свободными гражданами,

устремляющимися самоотверженно на защиту своих границ и своих законов, будет наисильнейшим».

*Из речи Джефферсона при вступлении в должность
третьего президента США*

Сентябрь, 1802

«Хорошо известно, что человек, которого американцы с восторгом удостоили многими почестями, вот уже много лет имеет в качестве наложницы одну из своих рабынь. Ее зовут Салли. Имя ее старшего сына — Том. Говорят, внешне он весьма похож на президента, хотя и черный. Ему десять или двенадцать лет. Его мать была во Франции вместе с мистером Джефферсоном и двумя его дочерьми... Какой образец поведения американский посланник демонстрировал перед глазами двух молодых леди!

Эта девица Салли родила президенту несколько детей. В окрестностях Шарлотсвиля нет человека, который не был бы осведомлен об этой истории, но... Молчание! Да, полное молчание будут хранить об этом республиканские газеты и биографы».

*Из статьи Джеймса Кэллендера,
напечатанной в газете «Ричмондский Рекордер»*

СЕНТЯБРЬ, 1802. МОНТИСЕЛЛО

— Это и есть та безопасность, которую вы обещали мне тогда в Париже? — спросила Салли.

На ее осунувшемся лице полные слез глаза казались непомерно большими, взгляд был устремлен над головой Джефферсона, блуждал по оленьим рогам на стене, по мраморным бюстам, по гравюрам с морскими пейзажами. С того дня, когда год назад пришло известие о самоубийстве брата Джеймса в Балтиморе, она, казалось, утратила свой дар прятаться в царство «как будто» от горестей реальной жизни. Но от того, что обрушилось на них сегодня, укрыться было бы все равно невозможно, потому что источник опасности был растворен в ночном мраке за окном, в стволах шумящих деревьев, в тумане, подползавшем к стенам дома.

Джефферсон повернулся к подростку, стоявшему рядом с Салли, в смущении мявшему вязаный картуз в черных пальцах.

— Давай, Роберт, расскажи все по-порядку. Значит, двое неизвестных белых мужчин пришли в магазин мистера Белла и начали расспрашивать тебя о твоих родственниках, так?

— Ну да. У нас в Шарлотсвиле я никогда их раньше не видел. Нездешние, это точно, и говорят как янки. Но откуда-то все про нас знают. Знают, что мою мать зовут Мэри Хемингс-Белл, что отец умер два года назад. Но больше всего их интересовала наша родня здесь, в Монтиселло. Все спрашивали про кузена Тома, знали, что он сын тети Салли. Хотели знать, бывает ли он в Шарлотсвиле и все такое.

— А ты не спросил, зачем им это нужно?

— Я не спрашивал, но они сами объяснили, что хорошо знали дядю Джеймса в Балтиморе, дружили с ним и что он перед смертью оставил небольшое наследство любимому племяннику. Им якобы поручено передать Тому деньги и кое-какие вещи.

— Интересно, почему же эти добрые самаритяне ждали целый год, чтобы исполнить благое дело. И почему они не могут сделать это, прямо явившись в Монтиселло.

— Я не посмел спрашивать белых джентльменов, но они сами объяснили, что в Монтиселло их не пустят, ибо там — то есть здесь — перед чужаками делают вид, будто Тома Хемингса вообще нет на свете. Вот если бы я пригласил его в Шарлотсвилль или на рыбалку или в лес на прогулку, они бы мне хорошо заплатили. И тут же дали целых десять долларов.

— Какие негодяи! — воскликнула Салли. Потом вдруг перешла на французский. — Вы видите, другого объяснения нет: кто-то нанял их похитить мальчика! Чтобы выставить его перед всем светом. Живое подтверждение газетной брани. Боже мой, где укрыться от них, где искать спасения?!

Джефферсон подошел к ней, обнял за плечи, отер платком слезы. Затем обернулся к Роберту Беллу:

— Они обещали прийти снова?

— Да, через два дня.

— Ты хорошо поступил, Роберт, что предупредил нас. Я не хочу, чтобы ты возвращался в Шарлотсвилль в темноте. Переночуй у бабушки Бетти. Завтра утром я скажу тебе, как следует отвечать незванным гостям.

Когда Роберт ушел, Салли устало опустила в кресло и произнесла, глядя в пустоту:

— Все же это невероятно: самый главный, самый могущественный человек в стране не в силах уберечь и оградить одного ни в чем не виноватого мальчика, собственного сына.

Джефферсон молчал. Этой беды он ждал давно, предвидел ее и все же оказался совершенно не готов, когда голова Медузы, покрытая змеями, возникла перед ним, приблизилась вплотную и показала свой оскал. Как пророчески права была Абигайл Адамс, предупреждавшая его о Джеймсе Кэллендере: «Кобра не может превратиться в ужа».

Ну, а если бы он вел себя осторожнее, если бы согласился встретиться с ним, когда он приезжал в Вашингтон полтора года назад, задобрив обещаниями, даже дал пост почтмейстера в Ричмонде — разве это что-нибудь изменило бы? Другой журналист, другая газета, жадная до раздувания скандалов, рано или поздно раскопали бы все тайны Монтиселло, вынесли на всеобщее обозрение. Единственный способ спастись от злобных перьев: оставаться незаметным, вести скромную тихую жизнь, не выходить за границы семейного круга. Но когда судьба вынесла тебя так высоко, ты неизбежно попадешь под ослепительный свет всех фонарей и факелов.

— Вы не будете возражать, если Том сегодня ляжет в моей комнате? — спросила Салли. — Я отодвину к стене кровать Беверли, а Харriet положу в постель с собой. Тому постелю матрас на полу. Иначе не смогу заснуть от тревоги.

— Хорошо, делай как знаешь. Но для тревоги пока нет достаточно причин. Никакие похитители не рискнут, не посмеют явиться сюда, пока я здесь.

— Через две недели вы уедете обратно в Вашингтон. И что тогда?

— Мне нужно время, чтобы все обдумать. У нас есть разные варианты. Ты тоже подумай, вслушайся в свои чувства. Готова ли ты будешь, если это понадобится для безопасности Тома, расстаться с ним на время? Утром, на свежую голову, мы все обсудим и примем решение.

Когда Салли ушла, Джефферсон достал свежий выпуск газеты «Ричмондский рекордер», присланный накануне, и стал перечитывать новую заметку Кэллендера:

«Наш информатор сообщил, что в первой моей статье была допущена ошибка: черная девица Салли прибыла во Францию не вместе с мистером Джефферсоном, а тремя годами позже, сопровождая его младшую дочь».

«Наш информатор» — кто бы это мог быть? Таким точным знанием всех деталей и обстоятельств событий пятнадцатилетней давности мог обладать только очень близкий человек, может быть, даже родственник. Это он сообщил Кэллендеру, что Салли рожала пять раз, что старшему ее сыну двенадцать лет, что его зовут Том. Кто мог питать к хозяину Монтиселло затаенную ненависть, чтобы нанести подобный удар?

Муж Марты, Томас Мэн Рэндолф, не раз выражал раздражение в адрес главы семейства — не мог ли он выбрать такой способ насолить? Ведь и для него связь тещи с цветной женщиной должна была быть источником многих неудобств и неловкостей, помехой в политической карьере.

Или племянник, Питер Карр?

Пять лет назад он уже был пойман на странной эпистолярной авантюре — послал письмо Вашингтону, якобы от имени некоего Лонгхорна, в котором провоцировал бывшего президента высказаться неодобрительно в адрес Джефферсона. Когда подделка была разоблачена бдительным почтмейстером, Вашингтон, конечно, не мог поверить, что племянник действовал без ведома дядюшки. Именно после этой истории порвалась последняя связь между Монтиселло и Маунт Верноном.

Впрочем, так ли это важно — кто именно выступил в роли доносчика? Посеянные зубы дракона взошли, Язону нужно думать, как одолеть возникшую из-под земли армию врагов.

Что если попросить шерифа Шарлотсвиля задержать подозрительных пришельцев и выяснить, кто послал их? Старинный друг, полковник Николас Льюис, наверное, не откажет в такой просьбе.

Но нет, они повторят свою версию, что выполняют поручение покойного Джеймса Хемингса, и их придется освободить. А газеты федералистов получают повод писать о президенте, который пытается пускать в ход полицию для сокрытия своих неблагоприятных деяний.

Нанести удар прямо по газете «Ричмондский рекордер»?

Кажется, ею владеет недавний иммигрант из Англии — не найдется ли повода выслать его из страны? Создается впечатление, что Британия, не сумев подавить свои колонии оружием, решила отравить их ядовитыми перьями, высылая сюда самых рьяных раздувателей скандалов. Конечно, это будет истолковано как покушение на свободу слова. Кроме того, статьи Кэллендера уже перепечатывают чуть ли не все крупные газеты страны. Мэрилэндская «Фредерик-таун Геральд» даже провела собственное расследование и подтвердила фактологическую правильность разоблачений.

«Салли Хемингс и ее дети от мистера Джефферсона действительно существуют, — писала газета. — В Монтиселло она имеет отдельную комнату, выполняет роль домашней портнихи или даже домоправительницы. Характер ее отличается трудолюбием и добронравием. Ее интимные отношения с хозяином всем известны, поэтому по своему статусу она находится гораздо выше других слуг

в доме. Ее сын, которого Кэллендер называет „президент Том“, действительно, внешне очень похож на мистера Джефферсона».

Ну что ж, хорошо, что хотя бы отдали должное доброте и благоденствию Салли. Другие газеты не гнушались даже использовать эпитеты «заурядная шлюха». Но, конечно, и в таких заметках таилась опасность. Она пряталась в слове «похож». Похитить мальчика, рожденного черной невольницей и похожего на президента, — это будет разжигать азарт авантюристов всех мастей так же безотказно, как кровь из раны упавшего в воду моряка собирает вокруг него стаю акул. Всех не остановишь, не отгонишь. Выход может быть только один: убрать соблазнительную дичь из океана, населенного зубастыми хищниками.

Джефферсон достал лист бумаги, открыл крышку чернильницы, обмакнул перо и вывел на верхней строке: «Дорогой мистер Вудсон...»

Всходящее солнце еще только подкрасило снизу полоску облаков на горизонте, когда Джефферсон прошел по галерее и спустился в кухню, пропахшую сушеным укропом. Питер Хемингс уже разжигал печь для завтрака, его старшая сестра замешивала тесто для оладий.

— Крита, ты сможешь справиться сегодня с готовкой обеда одна? — спросил Джефферсон. — Я хочу похитить Питера для другого дела.

— Конечно, масса Том. У нас со вчерашнего дня и супа осталась почти полная кастрюля, и жаркое. Соберу в огороде огурцов и помидоров для салата, сварю кукурузу — на всех хватит.

Джефферсон поманил Питера за собой, вышел на веранду.

— Ты помнишь дорогу на ферму мистера Вудсона в графстве Гучлэнд? В прошлом году я посылал тебя к нему обменять наши гвозди на муку.

— Это там, где Риванна впадает в Джеймс?

— Вот-вот. Мне нужно, чтобы ты срочно отвез ему письмо, дождался ответа и привез обратно. Двадцать миль в один конец — сумеешь обернуться за день?

— Конечно, масса. Какого коня можно взять?

— Бери любого. Только проверь, чтобы был подкован.

Джефферсон достал из кармана конверт, запечатанный сургучной печатью, вручил посланцу, похлопал по плечу. Питер, довольный тем, что выпало нарушить кухонную рутину, побежал к конюшне.

Теперь оставалось только ждать.

Впрочем, нет — еще одно обстоятельство нуждалось в проверке.

После завтрака Джефферсон увел Тома Хемингса с собой в кабинет, посадил к столу и сказал:

— Мама Салли говорит, что за прошедший год ты сделал успехи в правописании. Я хочу убедиться в этом. Возьми бумагу, перо и опиши все, что ты видишь вокруг себя в этой комнате.

Мальчик послушно подвинул к себе лист бумаги и стал обводить взглядом стены, окна, люстру под потолком. Потом вытер пальцы и принялся описывать увиденное. Его светловолосая голова чуть свесилась набок, белый воротник рубашки оттенял крепкую загорелую шею. Глядя на затылок сына, Джефферсон подумал, что взаимная настороженность, окрашивавшая их отношения, вырастала из одного и того же корня: оба чувствовали, что им нельзя — было бы опасно — полюбить друг друга от всей души. С внуками все было гораздо

проще. Но когда дети оказывались вместе в одной комнате, он старался следить за собой, никому не оказывать предпочтения. Легче всего это получалось со скрипкой в руках — общие танцы и музыка уравнивали всех безотказно.

Через полчаса Джефферсон забрал у Тома исписанный листок.

— Давай посмотрим, что у тебя получилось. Ну что ж, очень неплохо. Ошибки, конечно, попадаются, над этим придется еще трудиться. Ага, ты описал не только окно, но и деревья за ним — очень интересно. «Настенные часы показывают одиннадцать» — правильно, всегда следи за временем. Мудрый Франклин писал: «Если ты любишь жизнь, не растрачивай попусту время, ибо это тот самый материал, из которого она ткется». А скажи, Том, когда мама Салли или дядя Питер поручают тебе какую-нибудь работу, есть среди этих заданий что-нибудь, что нравится тебе больше других?

— В конюшне! — воскликнул мальчик не задумываясь. — Всякая работа с лошадьми — это лучше всего. Готов мыть их, чистить гривы, убирать навоз. Они такие красивые! И умные. Все понимают, что им говорят. «Дай копыто» — дают. «Наклони голову» — наклоняют.

— Я тоже с детства любил коней и верховую езду. А хотел бы ты попасть в ученье к плантатору, у которого много лошадей? Тогда бы ты смог, когда вырастешь, завести собственный конный завод и выращивать лошадей на продажу.

— Очень хотел бы.

— Постараюсь это устроить. Верхом ты уже ездил неплохо, я видел. Может быть, в ближайшее время тебе представится случай совершить длинную конную поездку.

Когда мальчик ушел, Джефферсон почувствовал, что очередной приступ мигрени начал пускать свои щупальца вокруг глазных яблок. Звать на помощь Салли не было смысла — гибель Джеймса так подействовала на нее, что волшебная целительная сила будто испарилась из ее рук. Джефферсон выпил рюмку ландолина и стал ждать, когда лекарство подействует.

Да, Джеймс Хемингс... Чего ему не хватало? Свободный, с хорошей профессией, здоровый, молодой. Говорят, что после освобождения он стал охотнее уступать зову зеленого змия. Но ведь пьянство, как правило, — не причина душевного надлома, а следствие его. Некоторая ожесточенность была заметна в нем с юности. Как он тогда в Париже сцепился со своим учителем французского — даже подрался, отказался заплатить за часть уроков. Год назад Джефферсон пытался нанять его к себе, в президентский особняк, сообщил ему об этом через владельца гостиницы в Балтиморе, но тот со смущением написал в ответ, что Джеймс Хемингс требует письменного запроса от Президента Соединенных Штатов с указанием предлагаемого жалованья. Ублажать такие капризы не было времени — пришлось нанять более покладистого повара-француза. Может быть, это и оказалось роковым ударом по самолюбию отпрыска гордого Джона Вэйлса?

Слава Богу, что у Роберта Хемингса судьба сложилась по-другому: женился, рождает детей, работает. Правда, он ушел из парикмахерской, завел собственный фруктовый ларек. Так случалось не раз: бывший невольник, получивший свободу, ни за что не хотел возвращаться в статус служащего, искал любую возможность сделаться «независимым предпринимателем». Дочь Марта, встретившаяся с Робертом на улицах Ричмонда, писала отцу, что бывший слуга полон чувства вины за то, что отказался возобновить службу в Монтиселло на правах свободного, оправдывался желанием быть с семьей. Пришлось хлопотать о том, чтобы Роберту разрешено было остаться в Вирджинии.

Почему же Роберт сумел выдержать испытание свободой, а Джеймс — нет? Не связано ли это с тем, что судьба двух братьев в юности сложилась по-разному? Джеймс все-таки всегда оставался на службе у хозяина, а Роберту было разрешено свободно искать и выбирать себе нанимателей. Может быть, умению быть свободным подростков следует обучать так же, как их учат грамоте, езде верхом, игре на скрипке?

Надежды на то, что штатная ассамблея сделает шаги в сторону отмены рабства, быстро таяли. Страх, что черные последуют примеру восставших в Сан-Доминго, распознал по плантациям. Слухи, долетавшие с взбунтовавшегося острова, леденили кровь: семьи белых вырезали от младенцев до стариков, трупы с выколотыми глазами качались на ветках деревьев, бывших владельцев живьем сжигали в их домах. Два года назад в Ричмонде был раскрыт заговор некоего Габриэля, подбивавшего черных собратьев проделать то же самое в Вирджинии и потом укрыться в горах. Два десятка участников были приговорены к повешению. Джефферсон написал губернатору Джеймсу Монро, призывая помиловать осужденных, — куда там! Белые пригрозили, что возьмут дело в свои руки и не ограничатся изобличенными заговорщиками.

Посыльный из почтовой конторы Шарлотсвиля привез дневную порцию пишем и газет. В черных заголовках передовиц Джефферсону теперь всегда чудилось что-то змеиное — он отложил газеты в сторону. Среди конвертов один был толще других — послание от нового директора казначейства, Альберта Галлатина.

Эмигрировавший в Америку двадцать лет назад, уроженец Женевы, Галлатин быстро завоевал такой авторитет в Пенсильвании, что был избран в палату представителей. В Конгрессе он, ссылаясь на двухсотлетний опыт республиканского правления в Швейцарии, неумоимо критиковал все реформы Гамильтона в сфере организации финансов. Естественно, став президентом, Джефферсон пригласил такого человека стать членом его кабинета. Он надеялся, что на посту директора казначейства Галлатин сумеет поднять архивы этого учреждения и разоблачить все махинации выскочки с Вест-Индских островов.

И что же?

Через полгода честный швейцарец явился к президенту с докладом и смущенно объявил, что никаких злоупотреблений со стороны бывшего директора обнаружить не удалось. Более того, финансовую структуру, созданную им, можно признать совершенной. Всем будущим директорам остается только следовать заложенным принципам. Благодаря учреждению Банка Соединенных Штатов и таможенной службы удалось уменьшить общенациональный долг. А это, в свою очередь, возродило кредит Америки, и европейские банкиры снова готовы ссужать ее займами.

Джефферсон знал, что по отношению к двум политическим противникам, Гамильтону и Адамсу, в глубине его души таилась еще и личная зависть: у них обоих были сыновья, а у него — нет. Мечта иметь сына, наследника, продолжателя дела жизни — не умирала. Конечно, сыновья от Салли не могли осуществить эту мечту, ибо расовые предрассудки ставили перед ними непреодолимую стену. Но что если бы у него был любимый сын от Марты и жестокая судьба обошлась бы с ним так же, как она обошлась с сыновьями его соперников?

Сначала сын Адамса, Чарльз, умирает спившимся и растраниженным все состояние. Год спустя Филип Гамильтон, талантливый и многообещающий, гибнет в нелепой дуэли. Представить себе горе отцов — на это не хватало во-

ображения. Игла сострадания проникала сквозь старинную стену вражды. А в соединении с открытиями Галлатина рызмывала и уверенность в том, что вражда была оправданной. Вдруг окажется, что и его противники, на своих постах, делали что-то нужное и полезное для страны, что в каких-то направлениях их взор дальше проникал за черту горизонта?

Возможно, неутоленный отцовский инстинкт прорвался и в его чувстве к Меривотеру Льюису. Каждый раз, как мальчик появлялся в Монтиселло, у него теплело на сердце. Подросток явно унаследовал все добродетели дяди Николаса, растившего его: честный, энергичный, вдумчивый, незлобивый. Бывал он и на пикниках в доме мистера Белла в Шарлотсвиле, дружил с его детьми и с Мэри Хемингс. Иметь личного секретаря, который знает о твоих отношениях с Салли и не осуждает их, — это, конечно, сыграло свою роль в сделанном выборе.

Плюс у них с юным Льюисом была одна общая страсть: разведывать тайны Творения, коллекционировать и описывать травы, деревья, птиц, зверей. Мальчик делился с ним своей мечтой: совершить путешествие к Тихому океану. Что если последние события в Европе сделают эту мечту осуществимой? Огромные территории за реками Миссисипи и Миссури сейчас принадлежат Испании, Франции, Британии. Но если организовать экспедицию с сугубо научными целями, для сбора географической, зоологической, ботанической информации, может быть, правительства этих стран не заподозрят Америку в агрессивных происках и дадут разрешение на проезд?

Питер вернулся из поездки только в сумерках. Джефферсон прочитал привезенный им ответ мистера Вудсона и поднял взгляд на посланца.

— Питер, в последний год ты показал себя не только отличным поваром, но и вполне взрослым человеком, с чувством ответственности. Я хочу, чтобы ты дал мне обещание никому не рассказывать о сегодняшней поездке.

— Никому-никому? Даже маме Бетти?

— Даже ей.

— Хорошо. Я обещаю.

— А теперь походи и скажи Салли, что я жду ее в кабинете.

Салли вошла настороженная, в темном платье, застегнутом под самое горло. За прошедшие годы ее сходство с покойной Мартой не только усилилось, но как бы повторило те же возрастные стадии. Сейчас это была Марта в тридцать лет — такая, какой та была в год рождения Марии.

— Салли, я все обдумал и хотел бы получить твое согласие на составленный мною план. Ты помнишь мое обещание: давать свободу всем твоим детям по достижении ими двадцати одного года. Но обстоятельства, как ты видишь, сложились так, что Тома, ради его безопасности, нам следует отпустить гораздо раньше. Согласна ли ты на это?

— Отпустить — но куда? К кому? Просто отправить мальчика на все четыре стороны?

— Конечно, нет. Ты помнишь мистера Джона Вудсона, богатого фермера из графства Гучлэнд? Он — сын моей тетки с материнской стороны, то есть приходится мне кузеном. Другие Вудсоны владеют не только фермами, но и паромами на реке Джеймс. Мы встречались с Джоном не раз на пикниках во дворе мистера Белла. Он добрейший и достойнейший джентльмен. Я написал

ему, и он выразил готовность принять Тома под видом племянника в свой дом и заботиться о нем вплоть до совершеннолетия. Вот письмо от него.

Пока Салли читала, Джефферсон смотрел на ее склоненный профиль и вдруг почувствовал, что его вечное чувство вины перед ней отлилось в новую иглу боли во лбу. Может быть, и правда, для нее было бы лучше остаться в Париже? Может быть, судьба пощадила бы ее и маленького Тома, дала бы выжить в пожаре революции и войны? Она встретила бы достойного человека, который пленился бы ее очарованием, принял бы ее с ребенком, женился бы на ней, дал ей то бесценное сокровище, которого он, Джефферсон, дать не может, при всем своем богатстве: чувство собственного достоинства, место среди других людей на земле?

Салли подняла глаза от письма, посмотрела на Джефферсона пытливо и задумчиво:

— Значит, Исмаилу пора удалиться в пустыню? А Агарь должна дать свое согласие на это? На то, чтобы он стал жить «как дикий осел и чтобы руки всех людей были на нем»?

— Как ты помнишь, дальше Священное Писание сообщает, что у Исмаила родилось двенадцать сыновей и от него пошел великий народ, называемый измаильтяне. Но, возвращаясь из царства легенд в наш бранный мир, мы увидим, что Тому не грозит ни жажда, ни голод в пустыне. Мистер Вудсон будет регулярно сообщать нам о здоровье «племянника», и в случае болезни мы сможем быстро прийти на помощь. Тома обучат всем премудростям земледелия, чтобы он смог завести свое хозяйство, когда вырастет. Только о местонахождении его не должна знать ни одна живая душа. Свои письма тебе он станет отправлять, не указывая обратного адреса. Похитители, потеряв его след, должны будут оставить свою преступную затею.

— А что если они попытаются похитить Беверли?

— Четырехлетний Беверли мало похож на меня и не представляет для них интереса. О двухлетней Харриет и говорить нечего. Под крышей Монтиселло они будут в безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы они выросли готовыми к вступлению в мир свободных.

— Вы сказали, что ваш кузен, мистер Вудсон, бывает в Шарлотсвиле. Не сможет ли он иногда брать с собой Тома, чтобы я могла повидаться с ним в доме сестры?

— В первый год это будет слишком опасно. Злоумышленники могут появиться там снова, и мы не будем знать об этом. Гораздо лучше, если ты с Питером будешь время от времени навещать сына прямо на ферме мистера Вудсона. Только делать это следует так, чтобы никто не знал о настоящей цели вашей поездки. Родным скажете, что отправляетесь в Ричмонд за покупками.

Обсуждая необходимые предосторожности, оба постепенно свыкались, примирялись с мыслью о том, что задуманный план не только осуществим, но и представляет собой наилучший вариант спасения от нависшей угрозы. Все же Салли попросила отложить отъезд сына на два дня — чтобы собрать необходимую одежду, обувь, тетрадки, а главное — подготовить себя и его к предстоящей разлуке. Джефферсон с готовностью согласился.

Ему тоже до отъезда в Вашингтон требовалось принять решения по многим вопросам, не терпевшим отлагательства.

Американский посол в Англии, Руфус Кинг, назначенный еще Вашингтоном, просил об оставке. Кого послать на замену ему?

Готовилось присоединение к союзу нового штата — Огайо. Как добиться, чтобы в Конституцию нового штата был заранее включен пункт о запрете рабства?

Секретарь президента, капитан Меривотер Льюис, ждал инструкций о задуманной ими экспедиции к Тихому океану.

Министр иностранных дел, Джеймс Мэдисон, — о переговорах с Бонапартом.

Джефферсон давно вынашивал идею строительства сухих доков, в которых боевые корабли смогут лучше сохраняться в мирное время, — кому поручить это важное дело?

Также его не оставляла мечта заманить дочерей с их детьми погостить у него в президентском особняке в Вашингтоне.

Эти и другие неотложные мысли и заботы продолжали клубиться в его уме, когда ранним утром назначенного дня он стоял на крыльце своего дома, глядя на двух путников, готовых в дорогу. Перед тем как оседлать коня, Питер Хемингс, положив руку на Библию, поклялся никому не рассказывать, куда он отвезет своего племянника.

Салли последний раз прижала к груди сына, застегнула пуговицы на его куртке, повесила через плечо фляжку с водой. Стремя было высоковато для мальчика, и Джефферсон подсадил его в седло.

Том смотрел прямо перед собой, твердая морщина на лбу без слов должна была показать всем, что детству пришел конец и что он готов к тому, что ждет его впереди.

Стук копыт вспугнул стаю вьюрков с лужайки, и они красиво рассыпались на ветках ближайших кустов крыжовника.

Осень, 1802

Сатирическая баллада, напечатанная в газетах федералистов:

Ура! Наш масса Джефферсон
Сказал, что все равны.
Но почему не пашет он,
А мы пахать должны?

И почему, коль все равны,
Нет белой у меня жены?
Нет радости в моем дому?
Мне жисть такая ни к чему.

А ежели, неровен час,
Мы, братцы, жен сменяем враз?
Возьму я белую жену — последнего фасона,
И будет черная в дому у массы Джефферсона.

Ура, братва! Начнем с утра!
Крушите все кругом!
Кричите все: «Гип-гип ура,
Наш масса Джефферсон!»¹

¹ Перевод Марины Ефимовой.

Июнь, 1803

«Задачей вашей экспедиции является исследование реки Миссури и ее притоков, а также возможного водного пути через континент к Тихому океану с целью расширения нашей торговли. Астрономические инструменты для определения широты и долготы уже приготовлены для Вас, а также военное министерство поможет Вам собрать и закупить необходимое оружие, палатки, лодки, аммуницию, лекарства, предметы для обмена с индейцами. Военный министр предоставит Вам право вербовать на добровольных началах солдат и офицеров для участия в экспедиции, над которыми Вы будете иметь полную власть командира».

*Из инструкций, подготовленных Джефферсоном
для капитана Меривотера Льюиса*

ЛЕТО, 1803. ВАШИНГТОН

Семьи Джефферсонов и Льюисов, живя в окрестностях Шарлотсвиля, имели возможность хорошо узнать друг друга и с годами прониклись таким взаимным доверием, какого не всегда удается достичь даже кровным родственникам. Когда Джефферсон жил в Париже, полковник Николас Льюис практически сделался его душеприказчиком в графстве Албемарль. А когда пришло время выбирать домашнего учителя для любимого племянника Меривотера, полковник нанял не кого-нибудь, а сына того самого профессора, который учил еще юного Томаса Джефферсона.

С детских лет Меривотер Льюис умел инстинктивно разделять окружающих его людей на два главных разряда, но долго не мог найти правильного названия для них. «Добрые» и «злые»? Нет, этим он пользовался только в школьные годы. Затем началась путаница, ибо в обоих разрядах попадались и мягкие добряки, и суровые деспоты, культивировавшие дисциплину. Учитель английской грамматики объяснил ему значение слова «справедливость». «Справедливый и несправедливый» подходило ближе, но тоже не отражало ту глубинную разницу, которую мальчик угадывал чутьем по интонациям голоса, по манере смотреть или не смотреть в глаза, по внешнему облику человека. Наконец в Евангелии ему попалось слово, которое показалось самым исчерпывающим: «миротворец».

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

Да, именно так: с одной стороны — миротворцы, ищущие способов покончить с любой враждой; с другой — сеятели раздора, радующиеся любому поводу «гневаться на брата своего».

И всей душой, всеми помыслами Меривотер Льюис тянулся к тем, кто сделал умиротворение главной задачей своей жизни. Он мечтал занять почетное место в их рядах, послужить установлению всеобщего мира на земле во славу Творца.

Спрашивается: каким же образом такой юноша мог сознательно и добровольно в двадцать лет взять в руки мушкет и вступить в милицию штата Вирджиния, чтобы отправиться на подавление восстания в Западной Пенсильвании?

Сам Меривотер не мог бы с уверенностью ответить на этот вопрос. Может быть, семейная традиция сыграла здесь свою роль. Его покойный отец участвовал в Войне за независимость, его отчим и любимый дядюшка Николас тоже были офицерами. Кроме того, духи зла и раздора порой набирали такую мощь,

что их невозможно было подавить и отразить иначе как с оружием в руках. Когда генерал Энтони Вэйн разбил объединенные племена индейцев в битве при Фоллен Тимберс, в северо-западном Огайо, он тем самым положил конец — или по крайней мере устроил перерыв — в сорокалетней войне, заливавшей кровью западную границу страны.

Участвовать в настоящих боевых действиях прапорщику Льюису не довелось. Начальство, видимо, заметило в нем природный дар убеждать, вести переговоры, примирять страсти и поручило заниматься исключительно вербовкой рекрутов. За этим занятием и застало его письмо из Вашингтона, приглашавшее его принять чин капитана и занять пост личного секретаря новоизбранного президента.

Мистер Томас Джефферсон был кумиром Меривотера Льюиса с детских лет. На миротворческой шкале он занимал в сердце мальчика самые верхние ступени. Во время встреч в Монтиселло и Шарлотсвиле будущий президент был воплощением приветливости и спокойствия, его невозможно было представить себе разгневанным, осуждающим кого-то, грозящим карами детям или невольникам.

Книгу «Заметки о Вирджинии» Меривотер прочел от корки до корки, делал выписки из нее. Также дядюшка Николас давал ему читать свою переписку с посланником, а потом вице-президентом Джефферсоном. В одном письме из Филадельфии тот делился с полковником Льюисом своими опасениями о том, что запланированное Конгрессом строительство американского флота может спровоцировать Францию на военные действия. «Шесть кораблей по 74 орудия на каждом, и еще шесть, несущих по 18 стволов, составит 552 орудия. Изготовление каждого будет стоить 10 тысяч долларов. Где мы возьмем эти пять миллионов?»

Только настоящий миротворец, будучи вознесенным на вершину власти, мог обратиться к народу с этими незабываемыми словами: «Мы все федералисты, мы все республиканцы!» Кто еще из политиков был способен подняться на такую душевную высоту?

Конечно, Меривотер Льюис был изумлен и осчастливлен, получив в начале 1801 года письмо от своего кумира, в котором тот приглашал его приехать в Вашингтон и занять пост его секретаря. Перенестись из армейских казарм и провинциальных городков в блестящий мир столицы, общаться с депутатами Конгресса, судьями, министрами, иностранными послами — хватит ли у него образования, светского лоска, проницательности, умения владеть собой? Но предаваться страхам и колебаниям просто не было времени. Меривотер немедленно ответил президенту благодарным письмом, собрал свой нехитрый багаж и выехал в Вашингтон.

К счастью, обязанности секретаря оказались посильными: курсировать между президентским особняком и Капитолием, доставляя послания членам Конгресса, рассылать приглашения на обеды и совещания, просматривать поступающую почту и газеты. Джефферсон вел обширную переписку, однако предпочитал писать письма собственной рукой, и это было большим облегчением для его секретаря, который не блистал искусством правописания. И с первых же месяцев оба исподволь, но неустанно, делали шаги к осуществлению их общей мечты — организации экспедиции к берегам Тихого океана.

Впервые они обсуждали такую возможность еще десять лет назад, когда Философское общество в Филадельфии планировало отправить на берега

Миссури французского ботаника Андре Мишо. Уже тогда Меривотер просил Джефферсона включить его в состав экспедиции. Энтузиазм девятнадцатилетнего юноши был таким искренним, что хозяин Монтиселло открыл ему доступ к своей домашней библиотеке и всячески поощрял интерес к географии, геологии, ботанике, зоологии, археологическим раскопкам. Президент Вашингтон тоже был крайне заинтересован, предлагал даже денежный взнос для финансирования. Экспедиция сорвалась, потому что Мишо объявили французским шпионом, пытающимся проникнуть на территорию, принадлежащую Испании. Джефферсон обещал Меривотеру, что на этот раз заранее прощупает почву и будет улаживать дипломатические проблемы с неослабным вниманием.

Порой трудности, выраставшие перед ними, казались непреодолимыми, как горная гряда, увенчанная снежными вершинами. Какими аргументами убедить Конгресс выделить деньги на затею, не сулящую никаких немедленных выгод? Где найти переводчиков для общения с племенами индейцев на берегах Миссури? Насколько сильны и враждебны эти племена? Согласятся ли они показать путь в горах, отделяющих верховья Миссури от верховьев Коламбии, впадающей в Тихий океан? Как получить разрешение колониальных властей Испании, Франции, Британии на проезд через их территории?

Последний вопрос приобрел особую остроту летом 1802 года. Испания, находившаяся в союзе с Францией, вдруг объявила о закрытии Новоорлеанского порта для Америки. Это означало, что все товары, доставлявшиеся к океану по Огайо и Миссисипи, оказывались запертыми на материке. Буря возмущения поднялась в Конгрессе и во всех штатах, не имевших другого выхода к морю.

«Воевать! Немедленно отбить Новый Орлеан у испанцев!»

Понадобилась вся энергия и весь талант миротворца Джефферсона, чтобы остудить горячие головы. «Мы заплатим за такую ошибку многолетней войной, — объяснял он, — десятками тысяч жизней и сотнями миллионов долларов. Вместо того чтобы посылать армию за полторы тысячи миль, не лучше ли дожидаться того момента, когда берега Миссисипи заселятся достаточным числом американцев, чтобы создать новый штат, который сможет обеспечить другой выход к океану?»

Однако непредсказуемые извивы европейской дипломатии вскоре привели к тому, что Новый Орлеан перешел под власть Франции. И всемогущий первый консул Бонапарт, отчаянно нуждающийся в деньгах для войны с Англией, обратился к американцам с заманчивым предложением: «Не хотите ли приобрести этот важный порт, а заодно и всю Луизиану, за весьма сходную цену?» Речь шла, по сути, о том, чтобы без войны увеличить вдвое территорию Соединенных Штатов. Ошеломленный открывающимися возможностями Джефферсон срочно отправил Джеймса Монро для переговоров в Париж. А экспедиция на запад по Миссисипи и Миссури вдруг превратилась из смутной мечты двух любознательных вирджинцев в насущную государственную необходимость.

С этого момента подготовка закипела всерьез. Она шла по пяти направлениям одновременно.

Конструирование и изготовление нескольких гребных шлюпов и баркасов. Закупка необходимого снаряжения.

Вербовка солдат и гребцов, способных выдержать все тяготы двухлетнего путешествия.

Ознакомление с картами и путевыми заметками, составленными британскими и канадскими путешественниками, достигавшими Тихого океана по суше.

Сбор информации о племенах, населявших берега Миссисипи, Миссури, Коламбии.

Нравы, быт, обычаи, весь уклад жизни индейских племен, обитавших за Аллеганскими горами, были хорошо знакомы Меривотеру Льюису с юности. В его сознании не было места стандартному образу краснокожего, с окровавленным ножом в одной руке и содранным скальпом — в другой, утвердившемуся в воображении многих американцев. На шкале «миротворцы — агрессоры» племена и отдельные индейцы располагались с тем же непредсказуемым разнообразием, как и белые. Мирные делаверы, жившие в своих тростниковых домах и выращивавшие овощи на грядках, были совсем не похожи на свирепых минква, приплывавших в их края на пирогах ради грабежа и убийств. В дальнейшем путешествии исследователям предстояло сталкиваться с племенами, которые еще не встречались с европейцами. Нужно было готовиться к любому повороту событий.

В Вашингтоне время от времени появлялись вожди, приехавшие для переговоров, и Меривотер не упускал возможности встретиться с ними, расспросить об их нуждах, расширить список подарков для индейцев, которые следовало взять с собой. В этом списке уже были гребни и платки, нитки бисера и карманные зеркала, кухонные ножи и медные котелки, разноцветные ленты и иголки с нитками, серьги и брошки, ножницы и булавки, пачки табака и цветные рубашки, наперстки и рыболовные крючки. Стоимость всего заготовленного богатства перевалила за 600 долларов, но Меривотер не был уверен, что пришла пора подвести черту.

В сентябре предыдущего года Джефферсон еще находился в Монтиселло, когда в столицу прибыл вождь Красивое Озеро, возглавлявший племя сенека, входившее в ассоциацию ирокезов. Капитану Льюису пришлось принимать его в особняке и вести переговоры самостоятельно. Этот вождь перенес в свое время тяжелую болезнь, во время которой ему явился Создатель всего живого и приказал учить соплеменников соблюдать древние традиции и церемонии, укреплять семейные отношения и не прикасаться к спиртному. Вождь Красивое Озеро сделался чем-то вроде пророка, послушать его приезжали ирокезы из самых дальних селений. Джефферсон жалел потом, что не встретился с ним лично, написал ему большое письмо. В этом письме он заверял новоявленного пророка, что будет строго следить за соблюдением правил покупки земли у индейцев, за тем, чтобы такие покупки делались только при ясно выраженном согласии всего племени.

«Брат Красивое Озеро! — писал президент. — Да сопутствует тебе удача во всех делах. Призывай наших краснокожих братьев оставаться трезвыми и возделывать землю, а женщин — прясть и делать одежду для своих семей из тканей. Пока вы добывали пропитание охотой, вам нужны были обширные просторы. Но при переходе к земледелию вы сумеете получать с одной поляны больше, чем с целого леса. Ваши дети и женщины будут сыты и тепло одеты, все племя будет жить мирно и счастливо, постоянно возрастая числом».

Вместе с вождем приезжал племенной шаман по имени Воронье Крыло, и Меривотер Льюис с интересом расспрашивал его о верованиях ирокезов. Среди прочего шаман похвастался, что может уничтожить любого врага на расстоянии, призвав на помощь невидимых духов. Брат Льюис не верит ему? Он даже не верит, что это духи, наученные шаманом, отправили на тот свет генерала Энтони Вэйна, отомстили через год за битву у Фоллен Тимберс? А есть у брата

Льюиса враг, с которым ему хотелось бы расправиться? Можно провести испытание. Только для успешного колдовства понадобится какая-нибудь вещь, принадлежавшая врагу.

Капитан Льюис не стал сознаваться шаману в том, что в его сердце, издавно столь настроенном на примирение всех со всеми, недавно начала вскипать волна неодолимой злобы. И не к кому-то одному, а к целой профессии. Меривотер Льюис год назад возненавидел газетчиков. Страсть, с которой они обливали грязью политиков, генералов, судей, друг друга, давно вышла из берегов разумности, справедливости, уважения к элементарной достоверности фактов. Казалось, сеятели раздора нашли себе занятие по душе, объединились в банды и шайки и устроили в стране настоящий шабаш нечистой силы. А то, что главным объектом их злобы стал президент Джефферсон, придавало чувствам его секретаря особую силу.

Пожалуй, отношение к свободе печати было единственным пунктом, в котором они расходились во мнениях. Позиция «над схваткой», занятая президентом, казалась Меривотеру неправильной. Правильным было бы вернуть закон о подрывной деятельности. Судить, штрафовать, сажать в тюрьму сорвавшихся с цепи писак. И был среди них один, по отношению к которому Меривотеру довелось впервые в жизни испытать незнакомое чувство: желание уничтожить.

Он стыдился этого чувства (хорош миротворец!), но ничего не мог с собой поделать. С объектом ненависти у него состоялась только одна встреча, когда мистер Джефферсон послал его поддержать только что выпущенного из тюрьмы журналиста пятьюдесятью долларами. Конечно, Меривотер не мог предвидеть, что этот жалкий неблагодарный человечек через год делается яростным врагом президента. Но уже тогда он будто всей кожей воспринял бурление злобной враждебности, изливавшейся из глаз, губ, языка этого сеятеля раздора. И конечно — пера. С детских лет он умел инстинктом распознавать эту вибрацию злобы во встречном, но никогда она еще не встречалась ему в таком чистом виде. Создатель всего живого либо совершил здесь ошибку, либо, наоборот, хотел изготовить учебный экспонат, выродка, на котором остальные люди могли бы научиться взаимодействию с чистым злом.

Этому негодяю мало было раскопать, разнохвать и вынести на свет интимные отношения президента с Салли Хемингс. Он также раздул историю тридцатилетней давности о романе молодого и неженатого Томаса Джефферсона с женой его друга и соседа, Джона Уокера. Муж давно знал об этих грехах молодости и примирился с ними, но тут, под давлением газетной шумихи, дошел до того, что прислал владельцу Монтиселло вызов на поединок.

Страшно признаться, Меривотер порой даже подумывал об убийстве ненавистного газетчика. Дуэль исключалась, потому что тот не был джентльменом. А вдруг и правда, шаман Воронье Крыло может прийти на помощь? И, подавив природный скептицизм, Меривотер согласился принять участие в ритуале.

Сначала нужно было запереться в темном помещении и окурить его дымом специальных корней.

Потом, при свете масляной лампы, была вылеплена из воска человеческая фигурка с непомерно большой головой и раскрытым в крике ртом.

Потом, под звуки песнопений и заклинаний, фигурка была завернута в газетный лист, отпечатанный в типографии, принадлежавшей намеченной жертве.

Заключительный этап состоял во втыкании в завернутую фигурку булавок и иголок, над каждой из которых произносились точные указания, какой орган следует пронзить: печень, сердце, желудок, легкие, мозг.

Шаман Воронье Крыло твердо обещал, что духи сделают свое дело — враг не проживет и года.

Меривотер немного стыдился такого нарушения заповедей миролюбия, но оправдывал себя тем, что пытался расправиться не просто со злодеем, не со своим врагом («благоволите к врагам вашим»), а с врагом самого мистера Джефферсона.

С какого-то момента ценность каждого человека в глазах капитана Льюиса стала определяться тем, как тот относился к президенту.

На вершине этой шкалы, конечно, оказались дочери, Марта и Полли. Когда они зимой гостили в особняке вместе со своими детьми, их любовь к отцу выражалась горячо и многообразно, они почти состязались друг с другом в попытках украсить его повседневную жизнь, дать возможность отдохнуть от государственных забот. Меривотер следил за тем, чтобы продукты регулярно завозились на кухню, чтобы в окнах были заделаны щели, а главное, чтобы все тринадцать каминов топились регулярно. Видимо, Марта почувствовала, как одиноко бывает отцу в большом здании, и, вернувшись в свой дом, прислала ему клетку с двумя пересмешниками.

Второе место на шкале близости к Джефферсону по праву занимали государственный секретарь и его супруга. Долли Мэдисон не раз принимала на себя роль хозяйки за обеденным столом президента, помогала ему составлять списки приглашаемых. Джеймс Мэдисон не только был верным политическим соратником в течение четверти века. Джефферсон мог посвятить его даже в самые интимные проблемы своей жизни. Когда над ним нависла угроза дуэли с Джоном Уокером, Мэдисон пришел на помощь и, как настоящий миротворец, тайно собрал в своем доме в Монтпелье представителей враждующих сторон, которые сумели договориться об условиях примирения.

Куда отнести вице-президента Аарона Берра, Меривотер не знал. Этот человек имел такие приятные манеры, что Джефферсон никогда не тяготился его обществом. Если в их разговорах мелькала тень несогласия, Берр предпочитал почтительно умолкнуть, не настаивать на своем мнении. Только раз случился эпизод, приоткрывший капитану Льюису глубинную разницу между двумя столпами американской политики.

В тот день из Парижа было получено письмо от американского посланника, извещавшее о соблазнительном предложении первого консула Бонапарта — купить у Франции Новый Орлеан и всю Луизиану. Ошеломленный Джефферсон поделился этой новостью с вице-президентом в присутствии своего секретаря. Берр необычайно оживился и воскликнул:

— Ого! В этом случае я смог бы решить все свои финансовые проблемы.
— Каким образом? — спросил Джефферсон.
— Создам компанию для скупки земель по берегам Миссисипи. Сейчас они страшно упали в цене из-за закрытия Новоорлеанского порта. Но когда станет известно, что эта территория перейдет под власть Америки и торговля на ней забурлит, цены подскочат вдвое, втрое.

Было очевидно, что вице-президент не находил ничего зазорного в том, чтобы использовать полученную на высоком посту информацию для личных

финансовых операций. Джефферсон был явно шокирован его реакцией, но промолчал. Однако, оставшись со своим секретарем наедине, обронил:

— Мы оба с мистером Берром любим предаваться фантазиям. Только я фантазирую о будущем страны, а он — о своем собственном.

В кругу близких президенту людей важное место занимал также один старинный друг — его ментор, обучавший когда-то хитросплетениям адвокатского ремесла: Джордж Уиф. И как раз этой весной Уиф обратился к своему прославленному ученику с весьма интимной просьбой: принять на себя роль душеприказчика в исполнении завещания. Семидесятисемилетний Уиф имел основания тревожиться: его родственники после его смерти могли оспорить его волю в вирджинском суде и отказаться передать дом и половину денег на банковском счете его цветной сожительнице и их сыну. Джефферсон согласился взять на себя эту обязанность и послал своего секретаря в Ричмонд совершить необходимые формальности.

Тем временем подготовка к экспедиции на берег Тихого океана шла полным ходом. Закупка необходимого снаряжения и погрузка его в фургоны для доставки к пункту отплытия в Питтсбург осуществлялась помощниками капитана Льюиса. Сам же он должен был в марте выехать в Филадельфию, где ему предстояло загрузить собственную память огромным объемом необходимых познаний. Джефферсон снабдил его письмами к своим коллегам по Философскому обществу, в которых просил их уделить время для занятий с начальником столь важного предприятия.

Вложить за два месяца несколько университетских курсов в голову способного молодого человека — кто сказал, что это невыполнимо?

Профессор ботаники знакомил капитана Льюиса с сотнями видов диких растений уже известных науке, чтобы он мог собрать на берегах Миссури коллекцию неизвестных.

Профессор астрономии учил его использовать секстант и другие навигационные приборы для определения широты и долготы важнейших вех, встречаемых на пути: гор, островов, водопадов, речных притоков.

Профессор географии объяснял, как создавать карты местности и наносить на них сетку координат.

Знаменитый доктор Раш давал инструкции по лечению ран, травм и болезней, которые могли случиться с участниками экспедиции: как вправлять вывихнутый сустав, как закреплять шинами сломанную кость, как накладывать повязки, что принимать от простуды, малярии, желудочного расстройства, змеиных укусов.

В своих наставлениях Джефферсон многократно подчеркивал, что безопасность путешественников всегда должна оставаться самым важным фактором при выработке решений. Никаких побочных экскурсий, никаких рискованных столкновений с индейцами! Путевые журналы хорошо бы вести в двух экземплярах и хранить их в разных баркасах. Необходимо также придумывать разные приемы, помогающие экономить полезное пространство для грузов. Например, порох можно везти в свинцовых ящиках, с тем чтобы по мере их опустошения отливать из них пули.

Но, конечно, главное внимание должно быть уделено знакомству с племенами, которые будут встречаться на пути. Их численность, размер терри-

тории, язык, традиции, жилье, приемы охоты и рыболовства, продвинутость в земледелии, одежда, оружие, лечебные средства, моральные правила, религиозные верования — все это будет необходимо знать тем американцам, которые впоследствии придут, чтобы направить аборигенов на путь прогресса и цивилизации.

Еще оставался нерешенным вопрос о помощнике. В опасном путешествии командир может погибнуть — и что тогда? Нельзя допустить, чтобы столь важное и дорогостоящее предприятие потерпело неудачу из-за столь заурядного события, как смерть одного человека.

Во время военной службы капитан Льюис познакомился и сдружился с капитаном Вильямом Кларком. В мае он написал бывшему сослуживцу письмо, в котором приглашал принять участие в экспедиции. «Наша прошлая дружба дает мне уверенность в том, что на земле нет человека, с которым я был бы так рад разделить обязанности, возлагаемые на меня этой миссией, как с Вами». Однако ответа все не было. А следовало спешить, чтобы успеть до зимы достичь хотя бы устья Миссури. В начале июля капитан Льюис выехал в Питтсбург.

По договору с корабельщиками постройка двадцативесельной галеры должна была быть завершена 20-го числа. Но подрядчик, извиняясь и проклиная приверженность своих плотников зеленому змию, объявил, что ему понадобятся еще две-три недели. Кроме того, река Огайо сильно обмелела за лето, так что спуститься по ней к Миссисипи будет нелегко. Становилось ясно, что экспедиция до начала зимы в лучшем случае сможет лишь достигнуть города Сент-Луис в месте впадения Миссури в Миссисипи.

Зато в конце месяца одно за другим пришли три радостных известия.

Президент Джефферсон сообщил срочным письмом, что договор в Париже подписан и, значит, экспедиции, по крайней мере на первом этапе, предстоит путь не по чужим владениям, а по американской территории.

Капитан Кларк наконец откликнулся посланием, в котором выражал радостное согласие принять участие в путешествии.

Ричмондская газета сообщила, что 17 июля известный журналист Джеймс Кэллендер был найден утонувшим в реке. Правда, кое-кто выражал сомнения в том, что человек, даже очень пьяный, может утонуть в месте, где вода ему по пояс. Видимо, духам, посланным шаманом Воронье Крыло, пришлось приложить какие-то дополнительные усилия.

В августе наконец галера была спущена на воду, и путешествие началось. Тысячи опасностей подстерегали капитана Льюиса и его спутников впереди. Но в одном он мог быть уверен: в течение ближайших двух лет ни один газетный лист не попадет ему в руки и не отравит душу ядом печатной лжи и клеветы.

Осень, 1803

О чем расспрашивать индейцев на берегах Миссури. Из перечня вопросов, подготовленных капитаном Вильямом Кларком:

«В каком возрасте они вступают в брак?

Разрешается ли полигамия?

Как они сохраняют провизию?

Какими болезнями они страдают чаще всего?

Как лечатся от оспы?

Применяют ли кровопускание?

В каком возрасте у женщин начинаются и в каком кончаются менструации? Случаются ли у них самоубийства?

Есть ли у них законы, карающие смертью за какие-то преступления?

Сильна ли их приверженность алкоголю и считается ли это преступлением?

И так далее, на темы религии, традиций, охоты, земледелия, войны, развлечений, одежды, украшений.

Январь, 1804

«Я давно понимал, что Луизиана представляет собой темное пятнышко на нашем горизонте, которое легко может превратиться в смерч. Нас спасли от этого только здравый смысл Бонапарта и наша собственная способность разумно оценивать связь между причинами и следствиями. События развернулись быстрее, чем я ожидал. Исход оказался счастливым, и я предвижу весьма важные и благотворные последствия этого удвоения территории столь свободной республики, как наша. Независимо от того, останемся ли мы единым союзом или будем существовать в виде двух конфедераций — Атлантики и Миссисипи, я верю, что стремление к счастью будет осуществимо в обеих. Насколько это будет в моей власти, я стану энергично защищать интересы как западной части, так и восточной».

Из письма Джефферсона Джозефу Пристли

Весна, 1804

«Река Канзас получила свое название от племени, которое обитает по обоим берегам ее, в двух деревнях, одна на 20 лиг от Миссури, другая — на 40. Сейчас это племя не очень многочисленно, потому что оно понесло большие потери в войнах с соседями. Раньше они жили на южных берегах Миссури, на открытой и красивой равнине, когда французы впервые появились в Иллинойсе. Мне рассказывали, что это очень воинственный народ, но они терпели поражения от племен Айвэй и Сокис, которые были лучше снабжены огнестрельным оружием. Сейчас они охотятся на бизонов. Наши охотники убили несколько оленей и видели бизонов. Высокий берег реки переходит в возвышенность, очень живописную и удобную для постройки форта и пристани. Правда, вода в реке имеет неприятный привкус».

Из путевого журнала Льюиса и Кларка

ВЕСНА, 1804. ВИРДЖИНИЯ

Если бы какой-то вьедливый газетчик-федералист мог подсмотреть, чем занимается по вечерам президент Джефферсон в своем кабинете, результатом, скорее всего, была бы очередная сенсационная статья, наполненная гневными разоблачениями: «Наконец-то этот безбожник, этот поклонник якобинцев, этот друг всех атеистов от Томаса Пэйна до Вильяма Годвина, показал свое истинное лицо. Добрым христианам будет трудно поверить, но мы видели своими глазами, как новоявленный поклонник дьявола сидит за письменным столом с бритвой в руке и режет на мелкие куски Святое Евангелие!»

Такого газетчика даже нельзя было бы обвинить во лжи. Ибо в течение многих месяцев мистер Джефферсон в тишине президентского особняка занимался

именно этим: вырезал из священных текстов строчки, содержавшие слова Христа, и, вклеивая их в бухгалтерскую книгу, создавал Евангелие для самого себя, такое Евангелие, которому он мог бы следовать, не насилюя собственный разум.

В «Евангелии от Томаса» не было места чудесам. Непорочное зачатие, явление ангелов, превращение воды в вино, насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами — это все были сказки в духе античных мифов, добавленные крестившимися эллинами, жадными до всяких метаморфоз. Об отношении самого Христа к чудесам ясно было сказано у Матфея, в начале четвертой главы. Там дьявол искушает его, предлагая доказать сыновность Богу — чудесами: превратить камни в хлебы, полететь по воздуху. «Отойти от меня, Сатана, — отвечает ему Христос. — Ибо сказано: не искушай Господа Бога твоего». Нигде, ни одним словом Христос не утверждает свою исключительную божественность, десятки раз, обращаясь к своим слушателям, говорит: «Отец *Ваш* небесный».

Заповеди Христа и вся его жизнь, очищенные от легенд и поздних наслоений, складывались в моральное учение такой чистоты и возвышенности, что душа восторженно рвалась следовать ему, но, по слабости и греховности человеческой, снова и снова опускалась на землю. Джефферсон не планировал публиковать свою компиляцию евангельских текстов — он просто хотел иметь исчерпывающий документ для себя, для дочерей, для внуков, для самых близких людей, ясно показывающий, *в какого Христа он верил*. Вопреки всей клевете и обвинениям в безбожии, он считал себя ближе к подлинному Христу, нежели его хулители.

В какой-то мере толчком к созданию книги при помощи только ножниц и клея послужил труд богослова и ученого Джозефа Пристли — «Сравнение Сократа и Иисуса». Труды этого многостороннего британского мыслителя давно привлекали внимание Джефферсона. Джозефу Пристли приписывали открытие кислорода раньше или одновременно с Лавуазье. Его открытия в области химии и физики гармонично сочетались с глубоко религиозным проникновением в тайны мироздания.

То, что такой независимый ум не смог ужиться с духовной атмосферой монархической Англии и нашел приют в Америке, подтверждало надежды Джефферсона на будущий расцвет культуры в молодой республике. В письмах Джозефу Пристли он предлагал ему принять участие в создании нового университета в Вирджинии, где молодые люди могли бы знакомиться с новейшими достижениями в математике, зоологии, медицине, астрономии, географии, но также и в этике, искусствах, юстиции, политике.

О вопросах христианской веры Джефферсон также много и увлеченно беседовал с доктором Рашем и даже дал ему обещание когда-нибудь изложить подробно свои взгляды на этот важнейший предмет. Первую попытку он сделал в письме, отправленном доктору год назад, где сравнивал платонизм, иудаизм и христианство. Там он объяснял, в чем ему виделось превосходство учения Христа: в отличие от двух других, оно описывало не только долг человека перед соплеменниками, но и перед всем человечеством; если платонизм и иудаизм судили только поступки человека, то Христос вглядывался в глубину души его и судил также и мотивы.

Был у Джефферсона и глубоко личный импульс для того, чтобы в очередной раз взглядеться в тайны небытия и потусторонней жизни: тревога за дочь Марию. В феврале она родила дочь, и, как всегда у нее, послеродовый период

протекал очень тяжело. Ее муж, новоиспеченный конгрессмен Джек Эппс, уехал из столицы, не дождавшись конца заседаний, и слал подробные отчеты из Эджвилла. Мария была очень слаба, почти не могла есть. В груди началось воспаление, молоко исчезло. По счастью, сестра Марта тоже недавно родила, так что смогла подкармливать новорожденную племянницу.

Джефферсон, имевший большой опыт ухода за роженицами, слал из Вашингтона подробные советы. «Питание должно быть легким, для улучшения пищеварения пусть выпивает рюмку вина. Шерри в погребе в Монтиселло очень хорошо для этой цели... Как только ей станет получше, перевезите ее туда, воздух на горе чище... Весь дом — в вашем распоряжении, можете использовать все запасы в нем, слуг, дрова».

Но уехать из столицы до конца сессии Конгресса он не считал себя вправе. Хотя договор о покупке Луизианы за 15 миллионов долларов был ратифицирован и сенатом, и палатой представителей с большим перевесом голосов, оставалось еще множество проблем, требовавших постоянного внимания. С директором казначейства Галлатином нужно было уточнять финансовые этапы выплат Парижу. С министром иностранных дел Мэдисоном — отношения с Испанией и ее территориями во Флориде. Кому-то следовало поручить составление Конституции для тех штатов, которые теперь добавятся к союзу.

В свободные вечера он снова и снова возвращался к своей работе над Евангелиями. Если в них попадались слова Христа, которые ему были не вполне ясны, он помечал вырезанную полоску вопросительным знаком. Если в словах было что-то грозно-пугающее, он использовал для вопросительного знака красные чернила и складывал эти фрагменты в отдельный конверт. Он планировал впоследствии отыскать Евангелия на греческом и латыни, чтобы сравнить и убедиться в точности перевода. Постепенно конверт делался все толще, и таившиеся в нем строчки словно бы горячели — только что не жгли ему пальцы, как костерок из вопросительных знаков.

Как понимать слова «Враги человека — домашние его» (Матфей, 10:36)? А перед этим еще страшнее: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Матфей, 10:34—35).

Ах, как хотелось бы выдать такие строчки за ошибку памяти евангелиста! Но ведь и у Луки говорится о том же и даже еще беспощаднее: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лука, 12:49). Ясно, что эти ужасные слова хранились в памяти первых христиан и честно передавались из уст в уста.

Если считать Христа апостолом межчеловеческой любви, куда спрятать стих 26 из 14-й главы Евангелия от Луки: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником?»

Не таится ли разгадка этого противоречия в многократно повторяемых словах «много званых, но мало избранных»? Или: «многие слышат, но не каждый вместит»? Все семейные связи человек порывает, принося монашеский обет. Дочь Марта, тогда в Париже, чуть не откликнулась на этот высокий зов, чуть не ступила на путь «избранных». Непомерно высокая требовательность к себе, беспощадный моральный суд над своими поступками и порывами — разве не ведут они к тому, чтобы человек возненавидел себя и свою греховную жизнь?

Нет, порвать с близкими, отказаться от человеческих привязанностей — на такое избранничество Джефферсон не чувствовал себя способным. Но вот притча о виноградарях вызвала безотказный отклик в его душе. Щедрость выше справедливости! Платите работавшему на вас с полудня столько же, сколько работавшему с утра! Не здесь ли таилось его глубинное расхождение с Гамильтоном? Тот, похоже, воображал, что человеческую справедливость можно приравнять к Божественному милосердию. Но позволительно ли государственному деятелю думать иначе? Обоожествление справедливости — не это ли так сближало Гамильтона с Вашингтоном?

Покупка Луизианы была отмечена празднованиями во всей стране. Голоса противников этого правительственного акта тонули в хоре поздравлений. Но другой поборник справедливости, директор казначейства Галлатин, после торжественного банкета в президентском особняке обронил: «Все же мы не должны забывать, что возрождение кредита Америки было осуществлено усилиями мистера Гамильтона. Если бы не это, голландские банкиры сегодня не согласились бы вручить консулу Бонапарту оговоренные 15 миллионов долларов. А так они уверены, что деньги будут возвращены им Соединенными Штатами со всеми положенными процентами».

Вчитываясь в Священное Писание, Джефферсон обратил внимание на то, что слово «справедливость» очень часто используется в Ветхом Завете и очень редко — в Новом. Зато в Новом многократно мелькает волнующее слово, которого совсем нет в Старом: «воскресить, воскрешать». Рациональный ум, столь решительно отвергавший рассказы о чудесах, якобы сотворенных Христом (верил только в исцеления), вдруг отыскал логическую лазейку, позволившую ему допустить возможность чуда воскресения.

Ведь каждое живое существо, каждый олень, орел, барс, бизон, голубь, каждая форель, цапля, утка, даже лягушка или змея, были, несомненно, чудом Творения. Почему же перед лицом этих явных чудес нужно было считать невозможным чудо воскрешения кого-то одного? В науке логике подобное утверждение попадало в таинственный разряд тех, которые невозможно было доказать и невозможно опровергнуть. Но разве не было возвращение ему покойной жены в облике юной Салли намеком свыше, подтверждением возможности чуда воскрешения?

Конечно, здесь опять начинался его вечный диалог между разумом и сердцем. «Все живое рано или поздно умирает, — говорил разум. — Мы не видим ни одного примера воскрешения».

Но и сердце отказывалось молчать. «Мне невыносима идея неотвратимости и непоправимости смерти, — отвечало оно. — Я не смирюсь с ней никогда». И так как угроза гибели дорогого существа в эти недели в очередной раз приблизилась вплотную, сердце цеплялось за надежду с утроенной силой.

Что если Бог продолжает творить и захочет отыскать пути для воскрешения умерших?

В Ветхом Завете Он не представлен всеведующим и всемогущим. Он, например, не знает, что Каин убьет Авеля, спрашивает его: «Почему омрачилось лицо твое?» Не знает, как прореагирует Иов на обрушенные на него несчастья.

Циничный Сатана высказал предположение, что Иов любит и восхваляет Бога лишь до тех пор, пока Тот осыпает его дарами, охраняет от бед и горестей.

С разрешения Бога Сатана испытывает Иова всеми мыслимыми несчастьями и страданиями и доводит до того, что праведник взроптал, проклял душу свою, посмел обратиться к Богу с обвинительной речью. И Бог с одобрением отнесся к его протесту. Что если новый Иов посмеет с такой же страстью восстать против неизбежности смерти — не захочет ли Бог пойти ему навстречу и внести здесь поправку в свое Творение?

Уехать из Вашингтона Джефферсону удалось только в самом конце марта. К тому времени Марию уже перевезли — вернее, перенесли на носилках — из Эджвилла в Монтиселло. Увидев ее, Джефферсон сразу вспомнил лицо умиравшей жены: такое же выражение отказа от борьбы за жизнь, бесконечной усталости и примирения. Джек Эппс просиживал у ее постели ночные часы, а все остальное время бродил по дому, держа на руках двухлетнего сына, будто страхась, что безжалостная судьба отнимет и его тоже.

Когда умирала Марта, Джефферсон пытался заковать болезнь, отдалить смерть, работая до бесконечности над «Заметками о Вирджинии». Теперь он тоже погружался в работу над новым трудом, над «Евангелием от Томаса», страстно ища в священных текстах надежду на чудо воскресения.

«Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лука, 20:34–36).

«Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоанн, 5:2–29).

«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Иоанн, 6:40).

«Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верю всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» (Деяния, 24:14–15).

«Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все оживут; вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1-е Коринфянам, 15:21, 22, 51–52).

Погружение в Евангельские тексты сделало свое дело — дало душе силы примириться с неизбежным. И когда наступил роковой день, Джефферсон не упал в обморок, как тогда, 22 года назад, но нашел слова утешения для рыдающей Марты, для растерянного — овдовевшего — Джека Эппса, для плачущей Салли. Потом ушел в свой кабинет, открыл пустую страницу журнала и вывел твердой рукой:

«Сегодня, 17 апреля, между 8 и 9 утра, умерла моя дорогая дочь, Мария Эппс».

20 мая, 1804

«Причины различного свойства удерживали некоторое время мое перо, пока глубокое чувство сострадания не вырвалось из моего сердца и не заставило выразить Вам мое глубокое сочувствие в связи с утратой такой чудесной дочери.

Привязанность к ней, созревшая с того времени, когда Вы поручили ее моим заботам в Лондоне, была жива до сих пор. Помню и нежную сцену прощания с ней, когда она обнимала меня за шею и орошала мою грудь слезами, восклицая: „О, почему они отрывают меня от вас именно тогда, когда я вас так полюбила!“ Из собственного опыта я знаю, какие прочные нити любви опутывают родительское сердце и какую агонию оно испытывает в момент обрыва. Та, которая когда-то была счастлива называться вашим другом, от души желает Вам найти утешение в вере в Вершителя наших судеб».

Из письма Абигаиль Адамс Джефферсону

13 июня, 1804

«Дорогая Мадам, пылкие чувства по отношению к моей покойной дочери, выраженные Вами в письме от 20 мая, пробудили во мне ответные эмоции. Всегда буду с благодарностью помнить Вашу доброту к ней. Она тоже всегда помнила о Вас и расспрашивала меня о любых новостях, связанных с вами. Разрешите мне воспользоваться этими печальными обстоятельствами, чтобы выразить глубокое сожаление по поводу той разделяющей черты, которая пролегла между нами. Поверьте, что моя высокая оценка Вашего характера и души не ослабевала ни на минуту в течение всех этих лет, и лишь сомнение в том, что обнаружение этих чувств будет Вам приятно, препятствовало открытому выражению их».

Из ответного письма Джефферсона

Июль, 1804

«Потерпев поражение на выборах в штате Нью-Йорк, вице-президент Аарон Берр решил свести счеты с Александром Гамильтоном, которого он считал виновником своих неудач на политическом поприще. С этой целью он направил Гамильтону письмо, в котором требовал публично признать или опровергнуть некоторые его отрицательные высказывания, просочившиеся в печать. В этих требованиях ему было отказано, и в результате между двумя соперничающими политиками состоялась дуэль. Противники встретились 11 июля в Хобокене, штат Нью-Джерси. Первым же выстрелом Гамильтон был смертельно ранен. Берр поспешил уехать из штата; ему грозило не только судебное преследование, но и общий гнев и возмущение происшедшим».

Дэвид Рэмсей. «История Америки»

18 августа, 1805

«Сегодня мне исполнился 31 год. Учитывая среднюю продолжительность человеческой жизни, можно утверждать, что я прошел половину пути, отпущенного мне в этом подлунном мире. Подумал, что мною сделано мало, слишком мало для счастья человечества или для расширения познаний будущих поколений. С горечью вспоминал, как много часов я проводил в безделье, и думал, сколько полезного можно было бы узнать, если бы потратить те пустые часы на серьезные занятия. Но так как поправить это нельзя, я решил гнать грустные мысли и в будущем решительно удвоить усилия к тому, чтобы с пользой применять отпущенные мне таланты; если до сих пор я *жил для себя*, то теперь начну жить *для человечества*».

Из путевого журнала капитана Льюиса

СЕНТЯБРЬ, 1807. МОНТИСЕЛЛО

Возвращения Меривотера Льюиса из Ричмонда можно было ждать со дня на день. Джефферсон порой корил себя за то, что взвалил на своего бывшего секретаря эту щекотливую задачу: быть зрителем на суде над Аароном Берром, с тем чтобы потом описать ему в деталях все происходившее. После успешного завершения Тихоокеанской экспедиции молодой капитан превратился в общенациональную знаменитость, города устраивали торжественные приемы и банкеты в его честь, Конгресс назначил губернатором Луизианы.

Впрочем, сам Льюис не только не возражал, но уверял Джефферсона, что именно новое назначение делает для него присутствие на суде вполне оправданным. Ведь заговор Берра разворачивался на берегах Миссисипи от Сент-Луиса до Нового Орлеана, и на суде должно было всплыть множество обстоятельств, рисующих жизнь края, которым предстояло управлять новому губернатору.

В этот раз Джефферсону не удалось превратить пребывание в Монтиселло в отдых от государственных забот. Очередной кризис в отношениях с Великобританией только набирал силу, Америке все труднее удавалось сохранять нейтралитет. Озлобленность англичан нарастала. Ведь это американские миллионы, полученные Францией при продаже Луизианы, дали Бонапарту возможность возобновить военные действия в Европе, победить русских и австрийцев под Аустерлицем, построить мощный флот, который удалось разбить в Трафальгарской битве лишь ценой больших потерь, включая невосполнимую утрату — гибель адмирала Нельсона.

Уехать из Вашингтона удалось только в начале августа. Дом в Монтиселло постепенно приближался к тем мечтам, которые витали в голове его хозяина уже двадцать лет назад. Большинство изменений и переделок были направлены на то, чтобы обитатели, гости и слуги могли как можно меньше мешать друг другу. Спальни теперь имели двойные окна и двери с задвижками. В столовой была устроена — по парижскому образцу — поворачивающаяся дверь с полками, имевшая название «безмолвный официант». Слуги приносили блюда из кухни, расставляли их на полках, не входя в помещение, потом поворачивали дверь на 180 градусов и предоставляли обедающим возможность выбирать то, что им по вкусу. Справа и слева от камина прятались небольшие лифты, поднимавшие охлажденное вино из погреба.

У Салли теперь было трое детей на руках, материнские заботы поглощали ее внимание с утра до вечера. Младшему было уже два года. Когда он родился, в Монтиселло гостили супруги Мэдисоны, и Долли упростила родителей дать мальчику имя ее мужа. Карапуз Мэдисон рос здоровым и проявлял необычайный интерес ко всему связанному с водой: любил купаться в ванночке, играть под дождем, шлепать по лужам. Мог часами переливать воду из бутылки в кружку и обратно. А в начале сентября Салли вбежала в кабинет Джефферсона, радостно размахивая вскрытым конвертом:

— Письмо от Тома! Он собирается жениться! И мистер Вудсон готов выделить молодым небольшой участок земли.

— Кто же невеста?

— Об этом он не пишет.

— Нашего разрешения не спрашивает? Только извещает?

— Ему уже семнадцать, он вправе чувствовать себя самостоятельным мужчиной. Ох, кажется, ко мне возвращается способность играть в «как будто!» «Как будто я стану бабушкой!» Когда я вижу, сколько счастья вам доставляют внуки, я не могу не завидовать.

В середине месяца с запада налетел сильный ветер с дождем и градом. Пришлось послать всех свободных работников укреплять столбы и веревки на виноградниках. Видимо, на океане разыгрался первый осенний ураган, и его косматые щупальца пытались дотянуться до Аллеганских гор. А когда под вечер из свинцовых струй появился всадник, завернутый в темный плащ, шелкающий под ветром, можно было вообразить, будто и его сорвало с палубы какого-то тонущего корабля и перенесло над вирджинскими плантациями прямо к крыльцу дома в Монтиселло.

Меривотер Льюис стал перед Джефферсоном с видом понурым, обескураженным, даже виноватым. Развел руками, помотал головой:

— Сэр, вы не поверите! Они вынесли вердикт «невиновен!» Этот человек не был повешен за убийство Гамильтона, а теперь увернулся от наказания за государственную измену!

Джефферсону удалось сдержать — скрыть — изумление и досаду, сохранить приветливую улыбку на лице.

— Да, наша юстиция не устает изобретать новые и новые сюрпризы. Но я хочу, чтобы вы прежде всего переоделись в сухое и выпили стакан грога. За ужином расскажете все подробно.

Описание суда над полковником Берром растянулось на два часа и сопровождалось гневными и язвительными комментариями рассказчика.

— В конце концов, даже послушные присяжные, отобранные защитой и судьей Маршаллом, сформулировали свой приговор с оговоркой: «В предложенных нам требованиях и ограничениях, мы должны вынести вердикт „вина не доказана“». Но судья отбросил оговорку, опубликовал просто: «вердикт — невиновен». Правда, на последних стадиях процесса полковник Берр ухитрился своими замечаниями и комментариями сильно раздражить судью. Поэтому Маршалл пошел навстречу просьбе прокурора возбудить против обвиняемого дела не на федеральном уровне, а уже в штатных судах Кентукки и Огайо. Для этого понадобятся новые свидетели и новые улики, а пока прокурор будет собирать их, полковник Берр останется под стражей.

— Ну что ж, мы не можем сказать, что американское правосудие проявило полную беспомощность. Опасный заговор был раскрыт, парализован. Главный преступник пытался бежать от шерифов, скрывался. Говорят, что в момент ареста он был одет в лохмотья, прятал лицо под отросшей бородой, на поясе носил не пистолет, а жестяную кружку. За решеткой провел уже полгода, и неизвестно, что ждет его впереди. Даже если ему удастся увернуться от уголовного преследования, стая кредиторов настигнет его по выходе из тюрьмы и растащит остатки имущества. Нет, судьбе Аарона Берра завидовать нам не придется.

Утром следующего дня атаки океанских ветров прекратились, подсыхающие листья на ветках шелестели, словно шепотом пересчитывая оставшихся в живых. Джефферсон проснулся рано, но его гость был уже на ногах, прогуливался по саду с дочерью Марты, шестнадцатилетней Анной Рэндолф. Девушка выглядела радостно оживленной.

— Гранпа, представляешь — мистер Льюис уверяет, что индейские бобы, которые я вырастила из семян, присланных им в прошлом году, выглядят точно так же, как на берегах Миссури. Ни перемена климата, ни расстояние в тысячу миль не повлияли на них.

— Мисс Рэндолф проявила невероятные познания в ботанике, — сказал Льюис. — В следующую экспедицию я готов пригласить ее сопровождать нас в качестве эксперта.

— Пусть только сначала приналяжет на латынь. Мои наставления она пропускает мимо ушей. Но подтвердите хотя бы вы: без этого мертвого языка сегодня невозможно ориентироваться в бескрайнем мире живых растений.

— Конечно, это так. С одним исключением: если в Луизиане мне попадет неизвестный красивый цветок, я обойдусь без латыни и назову его «Анна Рэндолфиния».

Девушка покраснела, но не растерялась, подхватила посланный шар и начала с увлечением фантазировать о судьбе нового цветка:

— О, как прекрасно! Юноши будут приносить своим невестам букеты свежесрезанной «рэндолфинии». Девушки станут плести из нее венки. А в какой-то момент на нее наткнется пасущаяся корова, лизнет и скажет своим телятам: «Держитесь подальше от этой гадости. Только горечь и колючки!»

Мужчины засмеялись и пошли к конюшне — верховая прогулка перед завтраком давно сделалась традицией для обоих. Когда выехали на берег Риванны, Льюис сказал:

— Очаровательная мисс Рэндолф чем-то напомнила мне ту индианку, которая родила сына, живя в нашем зимнем лагере со своим мужем-французом. Ее звали Сакагава. Она была из племени шошонов, но в детстве ее похитили манданы, так что она выросла, зная языки двух племен, плюс выучила французский. Это очень помогло нам, когда мы отыскивали наконец шошонов и смогли купить у них лошадей, чтобы пересечь горный хребет, отделявший долину Миссури от долины Коламбии. Сакагава выступила в роли переводчицы. Не знаю, что бы мы делали без нее.

— Она была единственной женой этого француза?

— Нет, у него было еще две. Брачные обычаи индейцев часто ставили нас в тупик. С одной стороны, у них считается правильным и похвальным уступать гостю жену на ночь, и многие участники нашего отряда пользовались этим, так что венерические болезни стали нашим бичом во время обеих зимовок. С другой стороны, бывали случаи, когда муж выражал крайнее недовольство, даже избил жену. Но кто пользовался неизменным успехом у индианок, это черный слуга капитана Кларка — Йорк. Он был диковинкой для всех племен. Один вождь решил, что мы нарочно выкрасили его, и долго тер послунявленным пальцем его кожу — пытался стереть краску. Индеец, которому удалось заманить Йорка в свой вигвам и оставить там со своей женой, охранял вход и отгонял посторонних — так ему хотелось заполучить черного младенца.

— Попадались вам какие-нибудь идолы, которым поклоняются индейцы? Из чего складывается их религиозная жизнь?

— Мужчины племени мандан весной совершают паломничество к священному камню. По их поверьям, камень открывает им ближайшее будущее: какова будет охота на бизонов, ждать ли нападения врагов. Также зимой они устроили ритуальный вечер танцев, которые должны привлечь много дичи в их края. По-

середине шатра танцевальный круг составили старики, а индейцы помоложе один за другим подводили им своих жен в рубашках, накинутых на голое тело, и просили оказать им честь, одарив женщин своими ласками. Причем некоторые старики еле держались на ногах. Не уверен, что всем им удавалось порадовать духов успешным завершением обряда в вигвамах, куда они удалялись.

— Вы рассказывали, что добыча пропитания охотой остается главным занятием индейцев круглый год. Но что происходит зимой? Умеют ли они делать запасы, засаливать мясо, вялить его?

— С этим дело обстоит у них очень плохо. Они умеют стойко переносить голод, умеют поддерживать друг друга запасами, следуя священным обычаям гостеприимства. Из домашних животных, кроме лошадей, у них есть только собаки. Они едят и тех, и других, и мы не раз следовали их примеру. Но был один эпизод, запомнившийся мне: мы подстрелили оленя, освежевали и зажарили его, а внутренности выбросили. Покидая стоянку, я оглянулся и увидел, что несколько индейцев подкрались к остывшим углям, схватили выброшенные кишки и принялись пожирать их сырыми.

— Насколько они готовы последовать нашему примеру, заняться земледелием, перейти к оседлой жизни?

— Конечно, многие достижения белых вызывают у них жгучий интерес и даже зависть. На первой зимовке мы устроили в лагере нечто вроде кузнечной мастерской. Индейцы выстраивались в очередь, прося отковать им наконецники для стрел и копий, отремонтировать и наточить томагавки. Расплачивались початками кукурузы, вяленой рыбой. Но каждое племя, пытающееся перейти к оседлой жизни, становится легкой добычей и жертвой нападений других племен. Утрачивая мобильность, они утрачивают возможность спастись бегством от более сильных соседей.

— Но что будет, если белые возьмут на себя защиту оседающих племен, будут оборонять их от внешних агрессий?

— Осуществить это в бескрайних прериях и долинах будет очень трудно. Кроме того, в устройстве нашего общества есть черты, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся, а индейцам они внушают лишь ужас и отвращение. Вот вам пример. Был эпизод, когда один солдат из нашего отряда украл со склада бутылку виски, напился и заснул на ночном посту. Как водится, состоялся суд, и его присудили к прогону сквозь строй. Когда индейцы увидели это зрелище — белые на морозе хлещут прутьями своего собрата по голой спине, — их вождь сказал мне, что никогда не согласился бы жить с народом, в котором соплеменники так поступают друг с другом.

— Если вождь не имеет права наказывать своих воинов, как же он поддерживает дисциплину среди соплеменников?

— В том-то и дело, что никак. Всем правит обычай, которому следуют очень строго. Власть же вождя — эфемерна. Белые воображают, что договорившись с вождем о покупке какой-то территории, заплатив за нее товарами и деньгами, они получают гарантию того, что поселенцы на купленной земле будут в безопасности, что вождь не позволит своим воинам напасть на них. Ничего подобного. Если какой-то воин решит, что для него настало время потешить душу воинскими подвигами или грабежом, он отправится снимать скальпы, не спрашивая вождя. Ведь для него переход от убийства бизонов и оленей к убийству людей — дело одного мгновения. Орудия те же самые: лук, стрелы, копьё, томагавк.

Вечером за обедом Марта и Анна присоединились к мужчинам. «Безмолвный официант» был уставлен гастрономическими чудесами, изготовленными Питером Хемингсом, миски испускали ароматный пар из-под крышек. Рядом с некоторыми лежали названия по-английски и по-французски.

— Вы, капитан Льюис, — говорила Марта, — уже много и увлекательно рассказывали нам о том, как вы помогали индейцам охотиться, как лечили их, как объясняли важность и полезность письменности, как призывали к честной и мирной жизни. А было ли что-нибудь полезное, чему *вы научились у них?*

— Трудный вопрос, миссис Рэндолф. Ну, вот вам такой пример: индианка Сакагавеа рожала, находясь в нашем лагере, очень трудно и долго. Я не знал, как облегчить ее мучения. Ее муж-француз сказал, что, по индейским поверьям, в таких случаях помогают растолченные трещотки, взятые с хвоста гремучей змеи. Среди заготовленных нами зоологических экспонатов было чучело змеи. Я решил попробовать, оторвал несколько чешуек, размельчил их, смешал с теплой водой, дал выпить роженице. И представляете — через полчаса она разрешилась здоровым мальчиком. Может ли один такой случай считаться медицинским открытием? Боюсь, доктор Раш поднимет меня на смех и заявит, что женщина родила просто потому, что пришло время этому младенцу появиться на свет.

— А я верю! — воскликнула Анна. — Мама, когда придет время рожать мне, проследи, чтобы под рукой были трещотки со змеиного хвоста.

— Вспоминаю и другой эпизод, — продолжал Льюис. — Однажды мы обнаружили большую кучу бизоньих костей у подножия крутого скалистого обрыва. Казалось, здесь, по непонятным причинам, погибло целое стадо.

— Может быть, это были просто остатки пира индейцев? — предположила Марта.

— Отнюдь нет. Вождь рассказал нам такую легенду. Будто в недавние времена один хитроумный воин племени мандан заметил, что стадо бизонов, спасаясь бегством, слепо следует за вожаком. Он напялил на себя шкуру и голову бизона, а товарищам велел спугнуть и гнать стадо, пасшееся на лугу этого крутого обрыва. Сам же побежал впереди стада к краю и потом спрыгнул на небольшой помост, заготовленный им заранее. Все бизоны последовали за ним, рухнули вниз и погибли. Опять же, неизвестно — можно ли верить этой истории?

— В вашей экспедиции вы, по сути, оказались в роли Адама, — сказал Джефферсон. — В первозданном раю тому было поручено, как сообщает Книга Бытия, дать имена «всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». А вам, вдобавок, надо было придумывать названия для рек, островов, утесов, растений, цветов. Как бы мне хотелось повторить ваш маршрут и хоть раз искупаться в речушке, которую вы назвали Джефферсон!

— Что меня поразило, — вступила в разговор Анна, — это то, что в таком опасном двухлетнем путешествии вы потеряли всего одного участника из сорока. И то он умер, как я слышала, от какой-то застарелой болезни живота. Не означает ли это, что все сведения о свирепости и кровожадности индейцев сильно преувеличены?

— Многие встреченные нами племена никогда не видели белых. Их любопытство было сильно окрашено опасливостью. Закон кровной мести они соблюдают строго, видимо считали, что и мы будем безжалостно мстить за пролитую кровь. Во время первой зимовки на территории племени мандан,

с которым у нас была дружба и взаимопонимание, группа наших охотников удалилась от лагеря на двадцать пять миль. Вдруг на них напала сотня индейцев сиу. Они легко могли бы перебить всех наших, но ограничились тем, что отняли лошадей, ножи, томагавки. Грабить нас пытались много раз, но только один раз это обернулось кровопролитием.

— Надеюсь, лично вы не запятнали себя убийством индейца?

— Увы, должен сознаться, что и мне выпало принять участие в схватке. Это случилось уже на обратном пути. На стоянке к нам присоединилась группа индейцев из племени блэкфит. Мы провели вечер вокруг костра, курили трубку мира, обсуждали торговлю мехами и металлическими изделиями. Все же я велел часовым сменять друг друга всю ночь каждые два часа и быть настороже. Проснулся на рассвете от криков и шума борьбы. Оказалось, индейцы убегали, похитив несколько наших ружей и лошадей. Мы пустились в погоню, завязалась перестрелка, а потом и рукопашная. В какой-то момент мне не оставалось ничего другого, как выстрелить в индейца, целившегося в меня.

В конце обеда Джефферсон поднял тост:

— Всякий человек открыт соблазнам тщеславия. Не скрою, поддаюсь им и я. Всегда мне хотелось построить прекрасное здание, написать умную книгу, провести в жизнь справедливый закон. Но время разрушит здание (вспомним Парфенон и Колизей), люди забудут книгу, отменят рано или поздно закон. «А есть ли что-нибудь на свете, что не поддается распаду и смерти?» — спросил я себя.

Он обвел взглядом собравшихся, будто давая им шанс предложить свой ответ — не тот, который открылся ему.

— Не поддается смерти, не исчезает только одно: *проложенный путь*. Мы не помним имени человека, который изобрел колесо, но невозможно представить себе, чтобы его изобретение было забыто. Галилей открыл нам движение звезд и планет, Ньютон — земное тяготение, Франклин — электричество, Пристли — кислород. Их и им подобных можно назвать мореплавателями в Океане Творения, пролагателями путей в мире Духа. Но и путешественников, двигавшихся по земле и воде, проникавших за черту известного, за черту горизонта, мы чтим и помним. Так выпьем за то, что к именам Марко Поло, Колумба, Магеллана, Америго Веспучи, капитана Кука прибавилось имя нашего друга и соотечественника, сидящего за этим столом, имя капитана — нет, губернатора! — Меривотера Льюиса. «Он проложил путь к Тихому океану», — скажут потомки и не забудут его никогда.

Марта и Анна пригубили вино, поставили бокалы на стол и начали негромко аплодировать герою.

Смущенный Льюис встал, поклонился дамам и хозяину дома, пригладил волосы. Заговорил прерывисто, будто нащупывал в сутолке мыслей главную, достойную статью ответным тостом.

— Да, Тихий океан... А знаете, у нас с капитаном Кларком язык не поворачивался называть его Тихим. Все дни, что мы прожили на его берегу, он так бушевал, что мы стали просто называть его Западным... Что же касается проложенного пути... Уверен, скоро зазвучат голоса, объявляющие наше путешествие провалом. Ведь мы не сумели отыскать водный путь по рекам, соединяющий два побережья. По всей вероятности, он и не существует. Но я хотел о другом...

Он вдруг повернулся всем корпусом к Анне Рэндолф и заговорил горячо и убежденно, глядя ей в глаза, время от времени проводя пальцем невидимую черту под произносимой фразой.

— Я хотел рассказать вам о вашем гранпа. И именно о том невидимом в нем, что люди не умеют ценить и помнить. Да, будущие поколения, вглядываясь в нашу эпоху, станут изучать победы Наполеона Бонапарта, подсчитывать число убитых с обеих сторон, прокладывая на картах маршруты его походов. Но для меня Бонапарт навсегда останется вожаком стада, влекущим людей в пропасть взаимных убийств.

Он расстегнул пуговицу на вороте мундира, глубоко вздохнул.

— Войну помнить легко, а мир остается невидим. Но как было бы славно, если бы американцы научились ставить памятники победам над Драконом раздора, Драконом войны. Вот здесь мы установим монумент в память об отсечении головы у дракона по имени Война с Испанией. Здесь лежит отсеченная голова дракона Война с Францией. Здесь — все три головы крылатого змея по имени Война с Великобританией. Честь всех этих побед принадлежит хозяину гостеприимного дома Монтиселло, вашему гранпа. Не говоря уже о десятках предотвращенных им схваток с племенами. Индейцы видели, знали, что в далеком Вашингтоне у них есть друг и заступник, и удерживались от того, чтобы ступить на тропу войны.

Наступила тишина. Марта первая смогла преодолеть волнение и сказала:

— Отец, я не раз присутствовала на банкетах в президентском особняке, но не помню, чтобы кто-нибудь из гостей или дипломатов отдал тебе должное так искренне и вдохновенно.

Анна не сводила восхищенного взгляда с лица гостя и время от времени наклоняла голову так низко, что кудрявая прядь выбивалась из прически и падала ей на лоб.

Джефферсон, смущенный и растроганный, обошел стол, обнял Меривотера за плечи.

— Сэр, — сказал тот, — если вы позволите... Находясь в Ричмонде, я отдал переписать наши путевые журналы в двух экземплярах... Один экземпляр — для вас.

Джефферсон взял в руки протянутый ему переплетенный том, погладил кожаную обложку, прижал к груди.

— Поверьте... За много лет... Лучшего подарка вы не могли сделать.

На следующее утро Меривотеру Льюису пора было отправляться в Сент-Луис, чтобы приступить к исполнению обязанностей правителя нового края. По дороге он планировал еще провести день в доме матери, повидать родню в Шарлотсвиле, посидеть у постели прихворнувшего дядюшки Николаса.

За завтраком Джефферсон давал своему бывшему секретарю последние наставления, просил немедленно сообщать ему в Вашингтон о возникающих трудностях, обещал поддерживать все его начинания перед Конгрессом и кабинетом министров. Льюис слушал его с рассеянным видом, потом вдруг спросил:

— А что мисс Рэндолф — она еще долго пробудет в Монтиселло?

— Неделю или две. Потом они с матерью уедут в Эджхилл.

— Догадываюсь, что женихи вокруг такой девушки уже выются толпой.

— Если это так, то меня держат в неведении. Да и не рано ли? Девочке едва исполнилось шестнадцать.

— Вернувшись обратно в цивилизованное общество, я обнаружил, что утратил многие навыки общения. Особенно с женщинами, особенно с мо-

лодыми. Легко впадаю в смущение, боюсь наскучить, показаться банальным и неотесанным.

— Ну, не знаю. Мне показалось, что обе мои дамы были просто очарованы вами.

— Правда? А как вы считаете, удобно будет, если я напишу письмо мисс Рэндолф?

— Уверен, она будет очень рада получить его. И для ее матери, и для меня было бы очень грустно расстаться с ней. Но мы оба понимаем, что рано или поздно это неизбежно. И нам было бы отраднее, если бы ее похитил от нас человек ваших достоинств.

Марта и Анна вышли на крыльцо, чтобы попрощаться с гостем. Он поцеловал руки обеим, обещал прислать семена интересных растений с берегов Миссисипи и Миссури. Анна в ответ извлекла из ридикюля стеклянную баночку с вареньем, вручила ему.

— Этот крыжовник я сама выращивала, сама собирала, сама варила. Пусть он подсластит вам горечь «рэндолфинии», когда вы отыщете ее.

— О, мисс Рэндолф! Я растяну эту амброзию до нашей следующей встречи. Буду принимать ее крошечными порциями, как святое причастие.

Через два дня пришло время и для Джефферсона возвращаться к своим обязанностям в Вашингтон. Утром в день отъезда Салли, преображенная известием о готовящейся женитьбе сына, расхаживала по спальне в одном халате, укладывала в дорожный сундучок выглаженные рубашки, чулки, теплые носки, шейные платки. Потом подошла к Джефферсону, обдала волной французских духов, обняла за шею обеими руками, прижалась к груди.

— Вы, правда, исполните то, что ночью, в пылу, обещали Агари? Нанесете визит Измаилу?

— Конечно, исполню. Я и так собирался навестить кузена Вудсона. Свернуть к его помещью — виток небольшой. Возможно, заночую у него.

— Я тут накопила немного денег, заработала шитьем платьев для дам в Шарлотсвиле. Могу я послать их с вами?

— Лучше оставь себе. Меня в этот раз не будет долго, тебе могут пригодиться. Тому я подарю сто долларов, расспрошу о его нуждах в начале семейной жизни. Потом пошлю тебе из Вашингтона письмо с полным отчетом.

Джон Вудсон, встречая коляску президента, вышел на крыльцо своего дома с видом приветливым и в то же время крайне смущенным. Он обнял гостя, ввел его в гостиную, отдал слуге распоряжения об ужине. Потом усадил в кресло, сам сел напротив и заговорил осторожно, словно нащупывая правильный тон для полившихся признаний.

— Дорогой кузен, вы ведь помните, что пять лет назад, вверяя мальчика Тома моим заботам, вы многократно подчеркнули, что не считаете его своим невольником, что он должен расти таким же свободным, как и мои сыновья. Должен сознаться, что за прошедшие годы я привязался к нему необычайно. Его энергия, его честность, его способность схватывать на лету любую фермерскую премудрость, а потом даже и улучшать те приемы, которым я учил его, давали мне уверенность в том, что он вырастет настоящим крепким хозяином и добьется успеха.

— Но вот прошло время, и ваши надежды?..

— Нет-нет, они оправдались в полной мере! Беда лишь в том, что это произошло слишком рано.

— Что вы имеете в виду?

— Он взрослел слишком быстро. Ему было пятнадцать лет, когда он встретился с Джемаймай. Она принадлежала моим родственникам, живущим на северном берегу Джеймс-ривер. Черная, на семь лет старше него. Их любовь запылала неудержимо. Он не скрывал происходившее от меня, но умолял не сообщать ни вам, ни Салли. Всю жизнь он тяготился тем, что его существование навлекло на вас столько тягостных переживаний. Ему хотелось по возможности оставаться в тени, в стороне. Но, с другой стороны, он очень боялся, что вы и Салли вмешаетесь, попытаете оторвать его от черной возлюбленной.

— Не нам с Салли быть судьями в таких делах. Но возраст, возраст! Сколько опасных глупостей молодые люди успевают совершить в пятнадцать лет и потом горько жалеют. Да и в семнадцать тоже.

— Каюсь, я поддался его мольбам, не известил вас. Думал: как-нибудь уладится само собой, рассосется. Но ошибся. Вскоре Джемайма забеременела, и на свет появился новый человек. Они назвали его Льюис. В честь вашего секретаря, о котором у Тома сохранились самые теплые воспоминания.

— Да, такому повороту событий подходит использованное вами выражение — «быстро взростеть». Возможно, Салли будет обрадована новостью, но я...

— За годы работы у меня Том заработал изрядную сумму денег. Он не только был отличным работником, но организовал на паях со мной небольшой конный завод и выращивал лошадей на продажу. Так что этим летом он смог выкупить Джемайму и их сына у ее хозяев.

— Могу сказать, что страсть к независимости он, возможно, унаследовал от меня. Но мне удалось вырваться из-под материнской опеки лишь в тридцать лет, а он... Судя по тому, что вы рассказали, он вряд ли нуждается в моих наставлениях. Но все же я хотел бы расспросить о его дальнейших планах, может быть, предложить помощь. Когда я могу поговорить с ним?

— Увы, боюсь, что это невозможно.

— Как так? Почему?

— Он уехал. Неделю назад.

— Уехал по торговым делам? Куда? Когда должен вернуться?

— Он забрал Джемайму и сына и уехал насовсем. У него есть связи с торговцами лошадьми в Кентукки и Огайо. Он обещал написать, когда выберет место для фермы и устроится. Но что-то говорит мне, что ждать вестей от него не следует. Порвать с прошлым было его самой сильной мечтой.

«Порвать с прошлым» — эти слова всплыли в памяти Джефферсона, когда его коляска простучала по доскам моста через Потомак в Вашингтоне. Он спросил себя, было ли в его жизни какое-то событие или переживание, которое ему хотелось бы вычеркнуть, забыть, переиграть по-новому. Да, конечно, было много горького, мучительного, даже постыдного. Но забыть? Нет, к шестидесяти пяти годам он научился принимать себя и свою судьбу со смирением и благодарностью. Сколько раз ему доводилось вслепую делать шаг в неведомое — разве тут можно обойтись без ошибок? «Проложенный путь» — разве не сам он недавно объявил, что это и есть нечто неразрушимое в том, что человек оставляет после себя?

Завтра ему предстоят новые встречи, новые решения, новые политические смерчи. Сможет ли он убедить Конгресс не объявлять войну Великобритании, ограничиться торговым эмбарго? Откуда изыскать средства на строительство двух сотен канонерок для обороны Атлантического побережья? До какой степени можно расширить права федеральных судов, которым предстоит проводить в жизнь принятый закон о запрете ввоза в страну новых рабов?

Но было ведь и что-то приятное, что ждало его в президентском особняке, что он обещал себе перед сном? Ах да — почитать путевые заметки Льюиса и Кларка. В какой-то мере он был вправе гордиться этими новыми аргонавтами, он был невидимым, но важным участником их двухлетней эпопеи. Тысячи, сотни тысяч американцев двинутся по проложенному ими пути на запад на поиски Золотого руна. Возможно, будет среди них и его сын Том, и внук Льюис, и другие мужчины и женщины, которых родит ему черная подруга Джемайма.

Наспех поужинав, он удалился в спальню, неся кожаный том под мышкой, велел слуге придвинуть к кровати высокий канделябр с четырьмя свечами, уложил гору подушек под спину, открыл наугад.

«Поднявшись на вершину холма, я услышал оглушительный грохот и увидел прекраснейшее чудо природы — каскад воды высотой в пятьдесят футов, поднимающийся перпендикулярно и простирающийся от одного берега реки до другого, длиной примерно в четверть мили. Как будто гладкое полотно, созданное неизвестным художником, обрушивается на каменное дно внизу, взрывается белопенным облаком вверх и потом, шипя и сверкая, устремляется дальше. Посредине реки находился небольшой остров с высоким тополем посредине, на вершине которого орел свил свое гнездо. Более безопасного места он не мог бы выбрать, ибо ни человек, ни зверь не осмелятся пересечь эти ревущие струи».

Глаза начали слипаться. Джефферсон погасил свечи, подтянул одеяло к подбородку, провалился в освежающий сон. Лишь под утро сновидениям удалось прорваться под опущенные веки и одарить его картиной сияющих парусов над несущимся потоком воды. В нарушение всех ньютоновских законов корабль плыл по отвесной стене водопада не вниз, а вверх.

ЭПИЛОГ

Возможно, российскому читателю будет интересно узнать о дальнейших событиях в судьбе исторических персонажей, с которыми он встретился на страницах этого романа.

Томас Джефферсон (1743–1826), закончив второй президентский срок, удалился в Монтиселло, где и прожил до своей смерти в окружении детей, внуков, правнуков, друзей. Сегодня имя его — одно из самых почитаемых в Пантеоне американской истории, о нем написаны сотни книг, его бюсты и статуи украшают официальные здания и частные дома, его политические идеи изучаются по его трактатам, письмам, речам, прокламациям. Главным его увлечением последних лет было создание Университета штата Вирджиния, который открылся под Шарлотсвилем в 1819 году. Это был первый университет в Америке, в котором кроме медицины, юриспруденции и религии изучались астрономия, архитектура, ботаника, философия и политические теории.

Джон Адамс (1735–1826) тоже жил на своей ферме в Массачусетсе, не принимая активного участия в политической жизни страны. В 1812 году доктору

Рашу удалось помирить его со старым другом, Томасом Джефферсоном, и они возобновили дружескую переписку, которая тоже изучается и переиздается в Америке. По невероятному совпадению (знак судьбы?) оба знаменитых политических деятеля умерли в один день, и этот день пришелся на празднование 50-летия независимости, 4 июля 1826 года.

Отношения Джефферсона с **Абигайль Адамс** (1744–1818) оставались холодными. Только когда от рака груди умерла дочь Адамсов, Нэбби Адамс-Смит (1813), Джефферсон послал выражения соболезнования и получил подробное письмо от Абигайль. В дальнейшем только Джон Адамс в конце своих писем иногда передавал старинному другу приветы от жены.

Огромную роль в истории ранних Соединенных Штатов сыграл сын Адамсов, **Джон Квинси Адамс** (1767–1848). Ему довелось быть послом в таких странах, как Пруссия, Россия, Великобритания, государственным секретарем в кабинете Джеймса Монро (1817–1825), сенатором, конгрессменом и наконец шестым президентом (1825–1829). В своих устремлениях он выделялся горячей поддержкой индустриального прогресса, образования, был страстным противником рабства и предсказывал тяжелые последствия его и даже гражданскую войну.

Аарон Берр (1756–1836) отбилсЯ от обвинения в измене, но вынужден был уехать из Америки, спасаясь от кредиторов. В 1812 году он вернулся в Нью-Йорк, где и возобновил свою адвокатскую практику и занимался ею вплоть до своей смерти. Его дочь Феодосия, по всей вероятности, погибла во время кораблекрушения в 1813 году. Но сын его Джон Пьер Берр, рожденный ему служанкой из Гаити в 1792 году, сделался очень заметным борцом с рабством, помогал деньгами и трудоустройством беглым рабам, организовывал так называемую «подпольную железную дорогу».

Вокруг фигуры **Томаса Вудсона-Хемингса** (1790–1879) споры между историками идут с таким же ожесточением, как вокруг убийства Джона Кеннеди. Многие утверждают, что первый сын, рожденный Салли Хемингс Томасу Джефферсону, умер в двухлетнем возрасте, а десять лет спустя мерзкий журналист Джеймс Кэллендер выдумал факт его существования ради раздувания политического скандала. Кэллендер, конечно, был личностью малоприятной, но профессиональный скандалист не может заработать ни цента на раздувании *вымыслов*. Другие американские журналисты тех лет провели свое расследование и подтвердили существование Салли Хемингс и ее детей под крышей Монтиселло. Сегодня в Америке около сотни черных семей лелеют устную традицию, соединяющую их с Томасом Джефферсоном через Тома Вудсона, который со своей женой Джемаймой (черной рабыней, на которой он женился, выкупив ее из рабства) родил одиннадцать детей. Самый известный их сын, Льюис Вудсон, стал видным деятелем просвещения среди афро-американцев, о нем есть подробные сведения в интернете. Результаты генеалогических исследований потомков Тома Вудсона можно найти на сайте www.woodson.org.

Элайза Гамильтон (1757–1854) пережила мужа на пятьдесят лет и посвятила остаток жизни увековечиванию его памяти. После смерти своего отца она получила наследство, которое позволило ей восстановить финансовое состояние семьи, растить детей и уделять много времени и сил созданию приютов и сиротских домов. Сын, Джон Гамильтон, помогал ей во всех начинаниях и в 1850 году осуществил первое издание трудов своего отца.

Марта Джефферсон Рэндолф (1772–1836) пережила отца на 10 лет. Тяжелый характер мужа и его алкоголизм вынудили ее расстаться с ним, и старший сын, Томас Джефферсон Рэндолф, сделался главной опорой для нее. Им вместе пришлось заниматься продажей плантаций, невольников, особняка Монтиселло, чтобы покрыть долги, оставленные Томасом Джефферсоном. Из рожденных ею двенадцати детей одиннадцать выжили и достигли совершеннолетия. Но и она, и белые внуки третьего президента США делали все возможное, чтобы исключить из рассказов о нем какие бы то ни было упоминания о Салли Хемингс и ее детях.

Вильям Кларк (1770–1838) до конца своей жизни служил при разных президентах губернатором Луизианы и главным представителем американского правительства в отношениях с индейцами к западу от Миссисипи. Опыт, приобретенный им во время экспедиции к Тихому океану, помогал ему находить взаимопонимание с племенами, но также ему приходилось принимать и активное участие в насильственном переселении индейцев в резервации. Его именем названы многие графства в различных штатах, реки, города, военные корабли.

Мария Косвей (1760–1838) обосновалась в Италии, где приняла участие в создании колледжа для девочек при монастыре под Миланом и руководила им до конца жизни. Ее живописные работы и графика хранятся в британских музеях, альбомы с репродукциями ее картин и миниатюр ее мужа, Ричарда Косвей, издаются в Европе и Америке.

Маркиз Лафайет (1757–1834) не нашел для себя возможным сотрудничать с правительством Наполеона и прожил 15 лет в своем поместье незаметно. Но после реставрации Бурбонов в 1815 году он вернулся в политическую жизнь и принимал участие в деятельности оппозиции. Его путешествие в Америку в 1824–1825 годах превратилось в триумфальный проезд по всем 24 штатам длиной в 6000 миль. Он встречался с многими боевыми соратниками, навестил Джона Адамса и Томаса Джефферсона, побывал на могиле Вашингтона в Маунт Верноне. Когда во Франции произошла июльская революция 1830 года, ему предлагали пост диктатора, но он уклонился в пользу Луи-Филиппа. В США имя Лафайета носят многие города, улицы, учебные заведения, мосты, шоссе, шоссейные дороги.

Меривотер Льюис (1774–1809), избегнувший сотен опасностей на пути к Тихому океану и обратно, погиб неожиданно и трагически в возрасте 35 лет. Он направлялся из Луизианы в Вашингтон и заночевал в придорожной гостинице в штате Теннесси. Хозяйка потом говорила, что ночью слышала выстрелы в отведенном ему коттедже. Наутро Льюиса нашли с несколькими огнестрельными ранениями, и он умер шесть часов спустя. Деньги, которые были им одолжены на поездку, не обнаружались. Хозяйка, давая показания, путалась и предлагала то одну версию, то другую. Криминалистика в те дни была не на высоте, никто не провел серьезного расследования случившегося. Хотя трудно себе представить, каким образом можно покончить с собой, нанеся себе несколько огнестрельных ран, многие историки остаются при убеждении, что имело место не вооруженное ограбление путешественника с деньгами, а самоубийство. В наши дни имя Льюиса окружено почетом в анналах американской истории. Если вычертить маршрут его экспедиции на сегодняшней карте США, он пройдет через десять штатов: Миссури, Канзас, Айова, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана, Айдахо, Вашингтон, Орегон.

Джеймс Монро (1758–1831) служил своей стране в роли губернатора штата Вирджиния, посланника при иностранных дворах, военного министра, министра иностранных дел и наконец стал пятым президентом США (1817–1825). При нем Флорида была куплена у Испании, построены первые американские поселения на Тихоокеанском побережье, 48-я параллель превратилась в границу, отделяющую западные штаты Америки от Британских владений в Канаде. Пять новых штатов были приняты при нем в союз: Алабама, Миссисипи, Миссури, Иллинойс, Мэйн.

Джеймс Мэдисон (1751–1836) стал президентом в 1809 году, и это ему досталось вести против Британии войну 1812–1815 годов, которая получила название «Второй войны за независимость». В сущности она явилась отголоском Наполеоновских войн в Западном полушарии. Разделяя с Джефферсоном неприязнь к постоянной армии и финансовым учреждениям, Мэдисон необычайно ослабил армию и флот, закрыл Центральный банк, усугубил разногласия между Новой Англией и остальными штатами. Военные поражения и захват британцами Вашингтона в 1814 году явились тяжелыми уроками, которые не прошли даром. После подписания Гентского мира в 1815 году начинается энергичное строительство военных кораблей, выделение средств на армию, активное военное противостояние индейским племенам на юге и западе, подавление пиратов в Средиземном море. К концу жизни Мэдисона его табачные плантации перестали приносить прежний доход. Он умирал, как и Джефферсон, под бременем долгов. Но его роль в создании и утверждении Американской конституции остается основой его посмертной славы в США.

Долли Мэдисон (1768–1849), часто выполнявшая функции хозяйки президентского особняка при Томасе Джефферсоне, вступила в эту роль официально, когда ее супруг стал президентом в 1809 году. Во время войны с британцами ей выпала горькая судьба видеть горящую столицу, но она перед бегством успела спасти знаменитый портрет Вашингтона кисти Гилберта Стюарта. Вернувшись в свое поместье Монтпелье, супруги Мэдисон постепенно погружались в бедность, пытаясь поддерживать непутевого сына Долли от первого брака. После смерти Джеймса Мэдисона Конгресс выделил 55 тысяч долларов на издание семитомного собрания его сочинений, но этого хватило ненадолго. Долли бедствовала до конца жизни, и только за год до ее смерти Конгресс выделил еще 22 тысячи на покупку у нее оставшихся бумаг покойного мужа.

Доктор **Бенджамин Раш** (1746–1813) при жизни не раз подвергался критике за чрезмерное применение кровопускания и ртутных препаратов. Некоторые даже считали, что обильное кровопускание было причиной преждевременной смерти Франклина и Вашингтона. Тем не менее Раш оставался главным медицинским авторитетом в стране в течение десятилетий. В 1812 году он выпустил большой трактат «О болезнях мозга», в котором излагал свои взгляды на психиатрические проблемы. Среди прочих спорных утверждений в этом труде были разъяснения, представлявшие уголовные преступления — кражи, жульничество, поджоги, насилия — как формы психического заболевания, подлежащие лечению. Собственному сыну он вынес диагноз неизлечимой душевной болезни и поместил в лечебницу до конца жизни. Американская ассоциация психиатров сегодня не разделяет многих взглядов доктора Раша, тем не менее включила его профиль в свою официальную печать.

Индианка **Сакагавеа** (1788—1812) разделила славу Льюиса и Кларка, с которыми она проделала путь к Тихому океану и обратно. О ней было написано несколько книг, ее образ запечатлен в семи фильмах, ее именем названы река в Монтане, озеро в Северной Дакоте, ледник в Вайоминге, горы в Орегоне и Айдахо, несколько кораблей, она изображена на долларовой монете, множество скульптурных памятников ей установлены в различных парках и исторических местах. После ее смерти Вильям Кларк стал опекуном ее сына и дочери.

Батальные картины и портреты многих видных деятелей американской революции, созданные **Джоном Трамбаллом** (1756—1843), украшают лучшие музеи и частные коллекции в Америке. В течение девяти лет он был президентом Американской академии искусств, незадолго до смерти написал и опубликовал обширные мемуары. Его картина «Подписание Декларации независимости» использована на обороте двухдолларовой купюры, в 1968 году Почтовое управление выпустило марку в его честь.

Сын **Анджелики Черч** (1756—1814), Филип, назвал именем своей матери городок, основанный им на земле, выделенной их семье Конгрессом в западной части штата Нью-Йорк за финансовую помощь, оказанную его отцом армии Вашингтона в годы Войны за независимость. Их потомки сохранили письма, полученные Анджеликой от Джефферсона, Гамильтона, Вашингтона, Лафайета и других видных деятелей той эпохи, и в 1996 году продали их Университету Вирджинии за 275 тысяч долларов, так что теперь они сделались доступны историкам.

Судьбе семейства Хемингсов посвящен монументальный труд американского историка Аннет Гордон-Рид, за который она получила Пулитцеровскую премию в 2008 году. Согласно этому исследованию, **Салли Хемингс** (1773—1835) после смерти Джефферсона поселилась со своими младшими сыновьями в доме на Мэйн-стрит в Шарлотсвиле, по соседству со своей сестрой Мэри Хемингс-Белл. В перепись 1830 года семья Салли включена как свободные белые.

Исполняя свое обещание, Джефферсон в 1822 году дал свободу — а вернее, снабдив деньгами, разрешил «убежать» — своему сыну **Беверли Хемингсу** (1798 — после 1822) и дочери **Харриет Хемингс** (1801 — после 1822). Они оба уехали в Вашингтон, где начали жить как свободные белые, сменив имена и порвав все связи с прошлым. Оба вступили в брак с белыми и оставили потомство.

Все, что нам известно об их судьбе после отъезда из Монтиселло, всплыло в воспоминаниях их брата, **Мэдисона Хемингса** (1805—1877), впервые опубликованных в 1873 году. Там, среди прочего, он упоминает, что знает, под каким именем жила его сестра Харриет, но не хочет открывать его журналисту, записывавшему его рассказ. Сам Мэдисон, живя в Монтиселло, овладел профессией плотника и, получив свободу и перебравшись впоследствии с семьей в Огайо, участвовал в строительстве многих крупных зданий, а также принимал участие в торговле недвижимостью. Его бесхитростный рассказ о родителях, подтверждавший связь между Джефферсоном и Салли Хемингс, сделался предметом самого придирчивого разбора со стороны десятков скептически настроенных историков, безуспешно пытавшихся обнаружить в нем серьезные ошибки и противоречия, ставящие под сомнение подлинность рассказанного.

Самый младший ребенок Салли Хемингс, **Истон Томас Хемингс** (1808—1856), не успел появиться на страницах этого романа, ибо в сентябре 1807 года (время действия последней главы) он существовал еще лишь в виде зародыша. Но именно ему суждено было заполнить заголовки американских газет 190 лет спустя.

Согласно исследованию Аннет Гордон-Рид, Истону, как и его брату Мэдисону Хемингсу, свобода была дарована завещанием Томаса Джефферсона. Некоторое время он жил с матерью в Шарлоттсвиле, потом переехал в Огайо, где женился и пустил в дело унаследованную от отца музыкальную одаренность, то есть стал профессиональным музыкантом, создал небольшой ансамбль, игравший на всех праздниках и торжествах в округе.

Однажды четверо белых жителей его городка совершили поездку в Вашингтон, где впервые увидели бюст Джефферсона. Они переглянулись в изумлении — третий президент США был вылитая копия хорошо знакомого им скрипача и гитариста Истона Хемингса. Вернувшись, они спросили музыканта, как понимать это разительное сходство. Истон ответил уклончиво: «Я родился и рос в Монтиселло, а моя мать не была замужем».

И вот в конце XX века техника анализа ДНК достигла такого уровня, что решено было использовать ее для решения давнишнего спора между историками. Так как Джефферсон не имел белых сыновей, кровь на анализ взяли у потомков его дяди, Филда Джефферсона. Ее сравнили с образцами крови, взятыми у потомков Истона Хемингса и Томаса Вудсона-Хемингса. Совпадение хромосом подтвердило: Истон Хемингс и его правнуки принадлежат к фамильному древу Джефферсонов. В отношении Вудсонов результат оказался негативным, но он не поколебал их уверенности в том, что они ведут свой род от автора Декларации независимости.

Видимо, те американцы, которым хотелось бы верить, что их кумир Томас Джефферсон, при всей его хорошо известной влюбчивости, был способен сохранять целомудрие в течение последних тридцати восьми лет своей жизни, тоже сумеют отмахнуться от научных экспериментов, бросающих тень на «светлый образ». Но разве не засвидетельствовал сам хозяин Монтиселло всей своей жизнью и запечатленными на бумаге словами, что в вечном диалоге-споре между сердцем и разумом человека у разума не так уж много шансов на победу?

ИМЕНА РЕАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ

по-русски и по-английски

- Адамс Абигаиль — Abigail Adams (1744–1818)
- Адамс Абигаиль (Нэбби) — Abigail Adams Smith (1765–1813)
- Адамс Джон — John Adams (1735–1826)
- Адамс Джон Квинси — John Quincy Adams (1767–1848)
- Адамс Самюэль — Samuel Adams (1722–1803)
- Альберти — Francis Alberti (?–1785)
- Андре Джон — John Andre (1750–1780)
- Арнольд Бенедикт — Benedict Arnold (1741–1801)
- Арнольд Пегги — Peggy Arnold (1760–1804)

- Барбе-Марбо Франсуа — Francois Barbé-Marbois (1745–1837)
- Барвел Ребекка — Rebecca Burwell (1746–1806)
- Бартон Бенджамин — Benjamin Barton (1766–1815)
- Бейкли Джон — John Beckley (1757–1807)
- Белл Томас — Thomas Bell (?–1800)
- Берк Эдмунд — Edmund Burke (1729–1797)
- Берр Аарон — Aaron Burr (1756–1836)
- Бланчард Жан-Пьер — Jean-Pierre Blanchard (1753–1809)
- Блэнд Ричард — Richard Bland (1710–1776)
- Боккерини Луиджи — Luigi Boccherini (1743–1805)
- Большой Джордж, невольник — Big George

Бонапарт — Napoleon Bonaparte (1769–1821)
Ботетур Беркли — Berkeley Botetourt (1717–1770)
Браун Джон — John Brown (1736–1803)
Браун Мозес — Moses Brown (1738–1836)
Бриллон, мадам де — Anne-Louise de Brillon (1744–1824)
Брэддок Эдвард — Edward Braddock (1695–1755)
Будинот Элиас — Elias Boudinot (1740–1821)
Бургойн Джон — John Burgoyne (1722–1792)
Буше Джонатан — Jonathan Boucher (1738–1804)
Бэнникер Бенджамин — Benjamin Banneker (1731–1806)
Бюффон Жорж Луи — Georges-Louis Leclerk, Comte de Buffon (1707–1788)

Ван Несс Вильям — William Van Ness (1778–1826)
Варик Ричард — Richard Varick (1753–1831)
Вашингтон Джордж — George Washington (1732–1799)
Вашингтон Марта — Martha Custis Washington (1731–1802)
Вест Бенджамин — Benjamin West (1738–1820)
Вивальди Антонио — Antonio Vivaldi (1678–1741)
Вильгельм Завоеватель — William the Conqueror (1027–1087)
Волстонкрафт Мэри — Mary Wollstonecraft (1759–1797)
Вольтер — Voltaire (1694–1778)
Вудсон Джон — John Woodson (?)
Вудсон-Хемингс Томас — Thomas Woodson-Hemings (1790–1879)
Вэйлс Джон — John Wayles (1715–1773)
Вэйн Энтони — Anthony Wayne (1745–1796)

Галлатин Альберт — Albert Gallatin (1761–1849)
Гамильтон Александр — Alexander Hamilton (1755–1804)
Гамильтон Джеймс (отец) — James Hamilton (?)
Гамильтон Филип (сын) — Philip Hamilton (1782–1801)
Гамильтон Элизабет — Elizabeth Schuyler Hamilton (1757–1854)
Гейдж Томас — Thomas Gage (1720–1787)
Гельвециус, мадам де — Madame Helvetius (1722–1800)
Генри Патрик — Patrick Henry (1736–1799)
Георг Третий — George III (1738–1820)
Гиббон Эдвард — Edward Gibbon (1737–1794)
Гилмер Джордж — George Gilmer (1743–1795)
Гоббс Томас — Thomas Hobbes (1588–1679)
Годвин Вильям — William Godwin (1756–1836)
Грант Джеймс — James Grant (1720–1806)
Грасс Франсуа де — Francois de Grasse (1722–1788)
Грин Натаниэль — Nathaniel Greene (1742–1786)
Гудон Жан Антуан — Jean Antoine Houdon (1741–1828)
Гэйтс Горацио — Horatio Gates (1727–1806)

Давид Жак Луи — Jacques Louis David (1748–1825)
Джей Джон — John Jay (1745–1829)
Джеминиани Франческо — Francesco Geminiani (1687–1762)
Джефферсон Джейн Рэндолф — Jane Randolph Jefferson (1721–1776)
Джефферсон Люси — Lucy Jefferson Lewis (1752–1811)
Джефферсон Марта (Вэйлс) — Martha Jefferson Wayles (1748–1782)
Джефферсон Марта Рэндолф — Martha Randolph Jefferson (1772–1836)
Джефферсон Питер — Peter Jefferson (1708–1757)
Джефферсон Томас — Thomas Jefferson (1743–1826)
Джефферсон Элизабет — Elizabeth Jefferson (1744–1774)
Джонс Пол — John Paul Jones (1747–1792)
Джут Джек — Jack Jouett (1754–1822)
Дигби Роберт — Robert Digby (1732–1815)
Дикинсон Джон — John Dickinson (1732–1808)
Дюнмор Джон — John Dunmore (1730–1809)

Жене Шарль — Edmond-Charles Genet (1763–1834)

Калас Жан — Jean Calas (1698–1762)
Калверт Нелли — Eleanor Calvert Custis (1758–1811)

- Карлтон Кристофер — Christopher Carleton (1749–1787)
 Карр Дэбни — Dabney Carr (1743–1773)
 Карр Марта Джефферсон — Martha Carr Jefferson (1746–1811)
 Карр Питер — Peter Carr (1770–1815)
 Кауфман Анджелика — Angelica Kauffmann (1741–1807)
 Квинси Джошиа — Jociah Quincy (1744–1775)
 Кинг Руфус — Rufus King (1755–1827)
 Кларк Вильям — William Clark (1770–1838)
 Кларк Джонас — Jonas Clarke (1730–1805)
 Клинтон Генри — Henry Clinton (1730–1795)
 Клинтон Джордж — George Clinton (1739–1812)
 Клэй Чарльз — Charles Clay (1745–1824)
 Коббетт Вильям — William Cobbett (1763–1835)
 Кондорсе Николас де — Nicolas de Condorset (1743–1794)
 Корелли Архангело — Arcangelo Corelli (1653–1713)
 Корнваллис Чарльз — Charles Cornwallis (1738–1805)
 Косвей Мария — Maria Cosway (1760–1838)
 Косвей Ричард — Richard Cosway (1742–1821)
 Красивое Озеро — Handsome Lake (1735–1815)
 Кромвель Оливер — Oliver Cromwell (1599–1658)
 Купер Майлс — Myles Cooper (1735–1785)
 Кустис Джон (Джеки) — John Parke Custis (1754–1781)
 Кэллендер Джеймс — James Callender (1758–1803)
- Лавуазье Антуан — Antoine de Lavoisier (1743–1794)
 Лафайет Гилберт — Gilbert Lafayette (1757–1834)
 Ленфант Пьер — Pierre Charles L'Enfant (1754–1825)
 Ли Билли — Billy Lee (1750–1828)
 Ли Чарльз — Charles Lee (1732–1782)
 Лианкур Рошфуко — Francois de la Rochefoucauld-Liancourt (1747–1827)
 Ливингстон Вильям — William Livingston (1723–1790)
 Ливингстон Китти — Kitti Livingston (?)
 Ливингстон Роберт — Robert Livingston (1746–1813)
 Линкольн Бенджамин — Benjamin Lincoln (1733–1810)
 Линней Карл — Carl Lennaeus (1707–1778)
 Логан, индеец — Logan
 Локателли Пьетро — Pietro Locatelli (1695–1764)
 Локк Джон — John Locke (1632–1704)
 Лоуренс Генри — Henry Laurens (1724–1792)
 Лоуренс Джон — John Laurens (1754–1782)
 Льюис Меривотер — Meriwether Lewis (1774–1809)
 Льюис Николас — Nicholas Lewis (1734–1808)
 Любомирская Изабелла — Izabela Lubomirski (1736–1816)
 Людовик Четырнадцатый — Louis XIV (1638–1715)
 Людовик Шестнадцатый — Louis XVI (1754–1793)
- Макдугал Александр — Alexander Macdougall (1731–1786)
 Маршалл Джон — John Marshall (1755–1836)
 Медичи Лоренцо — Lorenzo de Medici (1449–1492)
 Месмер Франц Антон — Friedrich Anton Mesmer (1734–1815)
 Мильтон Джон — John Milton (1608–1674)
 Миффлин Томас — Thomas Mifflin (1744–1800)
 Монгольфье Жак-Этьен — Jacques-Etienne Montgolfier (1745–1799)
 Монгольфье Жозеф-Мишель — Joseph-Michel Montgolfier (1740–1810)
 Монро Джеймс — James Monroe (1758–1831)
 Монтгомери Ричард — Richard Montgomery (1743–1775)
 Монтескье Шарль — Charles Montesquieu (1689–1755)
 Моррис Говернер — Gouverneur Morris (1752–1816)
 Мэдисон Джеймс — James Madison (1751–1836)
 Мэдисон Долли — Dolley Madison (1768–1849)
 Мэсон Джордж — George Mason (1725–1792)
 Мюленберг Питер — Peter Muhlenberg (1746–1807)
- Нельсон Горацио — Horatio Nelson (1758–1805)
 Нокс Генри — Henry Knox (1750–1806)

Норт, лорд Фредерик — lord Frederick North (1732–1792)
 Ньютон Исаак — Isaac Newton (1642–1727)

Палладио Андреа — Andrea Palladio (1508–1580)
 Пендельтон Натаниэль — Nathaniel Penlton (1756–1821)
 Пил Чарльз — Charles Willson Peale (1741–1827)
 Питт Младший — William Pitt the Younger (1759–1806)
 Питт Уильям Старший — William Pitt Sr. (1708–1778)
 Превост Феодосия — Theodosia Prevost Burr (1746–1794)
 Пристли Джозеф — Joseph Priestley (1733–1804)
 Путнам Израэль — Israel Putnam (1718–1790)
 Путнам Руфус — Rufus Putnam (1738–1824)
 Пэйн Томас — Thomas Paine (1737–1809)

Рал Готтлиб — Johann Gottlieb Rall (1726–1776)
 Раш Бенджамин — Benjamin Rush (1746–1813)
 Рейнольдс Мария — Maria Reynolds (1768–1832)
 Ривер Пол — Paul Revere (1734–1818)
 Рид Джозеф — Joseph Reed (1741–1785)
 Ридсель Фридрих Адольф — Friedrich Adolf Riedesel baron (1738–1800)
 Робинсон Беверли — Beverly Robinson (1721–1792)
 Рошамбо Жан Батист — Jean Baptiste Rochambeau (1725–1807)
 Рэмсей Дэвид — David Ramsay (1749–1815)
 Рэндолф Джефф — Thomas Jefferson Randolph (1792–1875)
 Рэндолф Джон — John Randolph (1727–1784)
 Рэндолф Пейтон — Peyton Randolph (1721–1775)
 Рэндолф Томас Мэн, мл. — Thomas Mann Randolph (1768–1828)
 Рэндолф Томас Мэн, ст. — Thomas Mann Randolph (1741–1793)
 Рэндолф Эдмунд — Edmund Randolph (1753–1813)

Сакагава, индианка — Sacagavea (1788–1812)
 Салливан Джон — John Sullivan (1740–1795)
 Сансей Леонора — Leonora Sansay (1773-?)
 Саттон Роберт — Robert Sutton
 Сен-Симон Луис де Ровруа — Louis de Rovroy duc de Saint-Simon (1675–1755)
 Сибири Самюэль — Samuel Seabury (1729–1796)
 Скайлер Филип — Philip John Schuyler (1733–1804)
 Скайлер Элайза — см. Элайза Гамильтон
 Склтон Бафурст — Bathurst Skelton (1744–1766)
 Склтон Марта — см. Марта Джефферсон
 Смит Адам — Adam Smith (1723–1790)
 Смит Вильям, муж Нэби Адамс — William Stephen Smith (1755–1816)
 Смит Фрэнсис — Francis Smith (1723–1791)
 Стерн Лоуренс — Laurence Sterne (1713–1768)
 Стивенс Томас — Thomas Stevens (1724-?)
 Стивенс Эдвард — Edward Stevens (1754-?)
 Стюарт Гилберт — Gilbert Stuart (1755–1828)
 Стюарт Джеймс — James Steuart (1713–1780)

Талейран Шарль Морис де — Charles Moris de Talleyrand (1754–1838)
 Тарльтон Банастр — Banastre Tarleton (1754–1833)
 Трамбалл Джон — John Trumbull (1756–1843)
 Труп Роберт — Robert Troup (1756–1832)

Уиф Джордж — George Wythe (1726–1806)
 Уокер Бетси — Elizabeth Walker
 Уокер Джон — John Walker (1744–1809)
 Уокер Томас — Thomas Walker (1715–1794)
 Уоррен Джеймс — James Warren (1726–1808)
 Уоррен Джозеф — Joseph Warren (1741–1775)
 Уоррен Мерси Отис — Mercy Otis Warren (1728–1814)
 Урсула, кормилица — Ursula

Феодосий (император) — Theodosius Magnum (346–395)
 Ферфакс Вильям — George William Fairfax (1729–1787)

Филиппс Вильям — William Phillips (1731–1781)
 Фокс Джордж — George Fox (1624–1691)
 Франклин Бенджамин — Benjamin Franklin (1706–1790)
 Франклин Вильям — William Franklin (1731–1813)
 Френо Филип — Philip Freneau (1752–1832)
 Фрэнкс Дэвид — David Franks (1740–1793)
 Фуке Франсис — Francis Fauquier (1703–1768)

Харкорт Вильям — William Harcourt (1743–1830)
 Хатчинсон Томас — Thomas Hutchinson (1711–1780)
 Хемингс Беверли — Beverly Hemings (1798 — after 1822)
 Хемингс Бетти — Betty Hemings (1735–1807)
 Хемингс Джеймс — James Hemings (1765–1801)
 Хемингс Истон — Easton Thomas Hemings (1808–1857)
 Хемингс Мартин — Martin Hemings (1755–?1795)
 Хемингс Мэдисон — Madison Hemings (1805–1877)
 Хемингс Мэри — Mary Hemings (1753- after 1834)
 Хемингс Питер — Peter Hemings (1770-after 1834)
 Хемингс Роберт — Robert Hemings (1762–1819)
 Хемингс Салли — Sally (Sara) Hemings (1773–1835)
 Хемингс Хариетт — Harriet Hemings (1801 — after 1822)
 Хикс Элиас — Elias Hicks (1748–1830)
 Хобан Джеймс, архитектор — James Hoban (1758–1831)
 Хоу Вильям (генерал) — William Howe (1729–1814)
 Хоу Ричард (адмирал) — Richard Howe (1726–1799)
 Хэнкок Джон — John Hancock (1737–1793)

Чарльз Жак — Jacques Charles (1746–1823)
 Черч Анджелика — Angelica Church (1756–1814)
 Черч Бенджамин — Benjamin Church (1734–1778)
 Черч Джон Баркер — John Barker Church (1748–1818)
 Чэйз Самуил, судья — Samuel Chase (1741–1811)

Шастеллю Франсуа де — Francois de Chastellux (1734–1788)
 Шиппен Пегги — см. Арнольд Пегги
 Шиппен Эдвард — Edward Shippen (1729–1806)
 Шорт Вильям — William Short (1759–1849)
 Штойбен Вильгельм фон — Wilhelm von Steuben (1730–1794)
 Шэйс Даниэль — Daniel Shays (1747–1825)

Экер Джордж — George Eacker (1775–1804)
 Эппс Джек — John Wayles Eppes (1773–1823)
 Эппс Франсис — Francis Eppes (1747–1808)
 Эппс Элизабет — Elizabeth Eppes (1752–1810)

Юм — David Hume (1711–1776)
 Юпитер, слуга — Jupiter (1743–1800)

ВАЛЕРИЙ СКОБЛО

* * *

У меня есть мистический опыт,
У тебя есть мистический опыт,
У него есть мистический опыт...
У кого его нет? — назови!
Это против реальности ропот,
Это шиканье, хлопанье, топот,
Богоборческий, может быть, шепот...
В общем, что-то такое в крови.

Никуда не ведущая дверца,
Заблуждение чистого сердца,
Иногда — это бред иноверца...
В общем, чистый Серен Кьеркегор,
Сведенборг, Сен-Мартен или Бёме
И десяток имен — этих кроме...
Дело, кажется, в некоем надломе,
Ни к чему здесь вопросы в упор.

Есть мистический опыт у двери,
У окна... Дело, право, не в вере,
Не в утрате ее, не в потере...
Дверь потрогай, взгляни за окно.
Как сомнения наши нелепы,
Ведь отлично покрашены склепы,
По ТВ — про духовные скрепы...
Если честно сказать — не смешно.

Валерий Самуилович Скобло (род. в 1947 г.) — поэт, автор книг стихов «Взгляд в темноту» (СПб., 1992) и «Записки вашего современника» (СПб., 2011). Стихи печатались в «Звезде», отечественной и зарубежной (США, Англия, Франция, ФРГ, Израиль, Болгария и т. д.) литературной периодике. Живет в С.-Петербурге.

* * *

Гурджиев... Блаватская... Рерих
(Елена)... Добавить? — К чему?..
О, сколько убогих — измерь их —
Плутали в белесом дыму

Наивных... простых откровений,
Нехитрой их, в сущности, лжи...
Не нужно особых прозрений —
Усвоить хоть что-то... Скажи!

Какие обрушились дали
И что за уроки даны!..

Не знаю, что тут бы сказали
Фонвизины и Щедрины?

По крупному крыли, по малой —
А все продолжается клев...
Ведь тут бы смутился, пожалуй,
Честнейший поручик Ноздрев.

Но здесь отдыхают и Гоголь,
И рациональный Толстой...
И ты лучше тоже не трогай
Иллюзии этой простой.

* * *

В соседней военной части идет поверка.
Похоже на отдаленный собачий лай.
Словно в другой Вселенной приоткрылась дверка
И чужая жизнь перелилась через край.

Это так удивительно, что я, пожалуй,
Не полюбопытствую, что там, за стеной.
Мне выше крыши той информации малой —
О жизни пугающей, настолько иной...

Словно сад, раскинувшийся у нашей дачи,
Станным выглядит ночью при полной луне...
В той Вселенной приказ отдают по-собачьи —
И солдаты его понимают вполне.

* * *

В этой армии, в которой воюю,
Я — полк, и полковник, и рядовой.
Я в ней за лошадь, конскую сбрую,
В этой армии я — единственный «свой».

Я в ней за танк, самолет и ракету,
Я — трибунал и сужу подлеца.
Так и мотаюсь по белу свету
В боях без видимого конца.

Я сам в ней разведка и контрразведка,
И сам в ней лазутчик и часовой.

Если хрустит под ногою ветка,
В себя стреляю без крика «Стой!».

Победы одерживаю с печалью
И поражения славлю в бою...
А приказы, что я получаю,
Сам же себе я и отдаю.

Я в ней пехота, что солнцем палима...
Первый ворвавшийся в город отряд.
Эта армия непобедима...
Но и победы ей не грозят.

ТАТЬЯНА ЖИДКОВА

РАССКАЗ СОСЕДКИ ПО ПАЛАТЕ

Вышли мы с мамой, бабушкой и братом Юрой из финского концлагеря 29 июня 1944 года, когда наши освободили Петрозаводск. А до нашей деревни нужно было плыть по Онежскому озеру. На пристани мама посадила меня на скамейку, а к руке моей привязала чемодан, чтобы его не украли. Да, забыла сказать, что нам дали хлебные карточки по 150 граммов на человека, и мама успела их отоварить. В чемодане и был этот хлеб. И вот они втроем пошли по каким-то делам, а я осталась на пристани одна. И представляете, когда они вернулись, я спала, а чемодана не было: кто-то его срезал. Но ничего, когда мы добрались до своего дома, нам в пекарне дали муки на первое время да соседи принесли кто немного хлеба, кто несколько картофелин.

Когда финны отправили нас в концлагерь в 1941 году, то сами поселились в наших домах. И когда мы вернулись, нашего стола не было. Они, наверно, его в какой-то другой дом перенесли. И мы теперь пристроились есть на чемодане. А брат Юра заметил один хороший стол в финской землянке. В лесу финны вырыли много землянок. Там они, наверно, свое военное имущество держали. Когда их прогнали, наши огородили участки с землянками проволокой и повесили таблички, что за проволоку заходить нельзя, так как землянки могли быть заминированы. Но мальчишки все равно в эти землянки лазили.

И мы с Юрой мечтали о том, как мы съездим на лыжах за этим столом, привезем его и будем все вчетвером сидеть за этим столом и есть горячую картошку.

Мама наша работала в сельской больнице завхозом. И вот как-то она должна была привезти в больницу на санях картошку. Накануне вечером она ушла из дома, а мы должны были на следующий день в 4 часа, уже после школы, с ней встретиться, чтобы помочь довести до больницы сани. И мы решили, что встанем рано, привезем стол и потом побежим в школу. Но надо было уговорить бабушку, чтобы она наспустила. А бабушка, конечно, очень боялась, что мама будет ее ругать: «И не упрашивайте, все равно не пушу. Что я Наташе скажу, как оправдаюсь, если вы опоздаете ее встретить?» Но мы ее так донимали, что она заплакала и рукой махнула: мол, делайте что хотите.

А лыжи у нас были отличные. Финны ведь много лыж бросили, когда уходили. А знаете, почему их прозвали «кукушками»? Потому что могли по многу часов сидеть в своих белых балахонах на дереве, чтобы кого-нибудь подстрелить. Юра сделал заранее отличный ящик, чтобы стол привезти. Мы его к лыжам приделали и покатали. Перелезли через проволоку и спустились по ступенькам в землянку.

Юра был старше меня на год, ему было тринадцать, и он сказал: «До стола не дотрагивайся: он может быть заминирован. Я сам посмотрю». Потом говорит: «Нет, все в порядке. Сейчас пойдем назад. Только я открытки быстренько посмотрю». Там на столе лежали финские открытки. И пока Юра их рассматривал, я смотрела по сторонам и увидела в конце землянки маленькую хорошенькую тумбочку. И мне так захотелось ее тоже забрать к нам домой! А дверца тумбочки была чуть приоткрыта. Я стала ее открывать, и вдруг что-то как будто звякнуло. Я сразу поняла, что это, и закричала: «Юра! Мина!» Юра подскочил ко мне, обнял меня, и тут взрыв раздался. Нас выбросило из землянки метров на пятьдесят.

Когда очнулась, смотрю — а галош-то на ногах нет. А это знаете, галоши, это такая ценность! Я так расстроилась. А потом думаю: а ведь Юру-то убило. Нас же вместе из землянки взрывом выбросило. И вдруг вижу: он из-за угла ко мне идет. Видимо, его как-то за землянку забросило. Я кричу: «Юрочка!» — а сама вижу, что у него глаза чем-то белым залеплены. А он идет ко мне и меня успокаивает: «Не бойся, Фаинка, я не ослеп. Глаза чем-то запорошило, но я свет вижу. Идем скорее домой. Ведь если волки нашу кровь почуют, тут же прибегут». А он весь в крови. Я посмотрела на себя, а у меня вся одежда лоскутьями висит, а под ними тоже кровь. Я у Юры оторвала от рубашки лоскут и ему одну рану перевязала. А он меня торопит идти. Но тут я вдруг почувствовала сильную боль в ногах и в животе. Потом я узнала, что меня ранило дробью. Я говорю:

— Юрочка, давай хоть две минуты посидим: у меня сил нет идти.

— Нет, Фаинка, сейчас волки к нам прибегут. Идем скорее.

Я взяла его за руку, и мы медленно-медленно пошли по дороге домой.

Когда пришли к дому нашему, дверь была открыта, потому что бабушка печку топила.

Она всегда, когда печку топила, дверь открывала, чтобы дым в комнату не шел. А еще чугунок с водой около порога ставила, чтобы вода в нем нагревалась. Юра о чугун споткнулся и упал прямо у порога. Бабушка к нему кинулась, стала ему глаза снегом оттирать. Потом за меня принялась. А соседский мальчишка как раз в это время к нам в дом заглянул. Он всегда за нами заходил, чтобы вместе в школу идти. И как увидел, что Юра на полу лежит, а бабушка с меня кровь смывает, побежал в школу и стал там кричать, что Юрка умер, а Фаинка почему-то вся в крови. Учительница наша позвонила в сельсовет, приехал милиционер на машине и отвез нас в больницу.

Этот милиционер был давно в нашу маму влюблен. И он хотел, чтобы она за него замуж вышла. Только мама наша после смерти папы ни за кого замуж идти не хотела. А он все равно продолжал ее любить. Бабушка волновалась, что ей нужно бежать, чтобы маму встретить. А милиционер сказал, что он все равно в те края едет и что он ее почти до места довезет.

Когда мама увидела бабушку, а не нас, она спросила:

— Почему ты, а не дети?

— Да детей, Наташенька, в школе задержали. У них там какое-то серьезное собрание.

— А, ну раз собрание, значит, что-то важное. Поташим санки вдвоем.

И вот мама санки на лямках тащит, а бабушка сзади изо всех сил толкает.

— Слушай, мама, что-то странное с тобой происходит. Я ведь тяжести почти совсем не чувствую. Откуда у тебя вдруг такие силы взялись?

Да не знаю, — говорит бабушка, — вроде как обычно подталкиваю.

А силы такие у нее, наверно, взялись потому, что она очень боялась ответ перед мамой держать. Добрались они до нашего дома (он по пути к больнице), и мама хотела снять галоши. А бабушка ей говорит:

— Ты что, хочешь галоши снять?

— А что же мне в галошах в дом заходить? Нет, мама, ты какая-то сегодня странная. Говори, что с детьми?

Тут бабушка заплакала и во всем повинилась.

— Ну ладно, я пошла в больницу. Сегодня я тебя казнить не буду, а завтра посмотрим.

Чтобы попасть к больнице, надо было через озеро идти. А уже темнеть стало.

— Я с тобой, — говорит бабушка. — Куда же ты одна? Ведь волки кругом.

— Все, я ушла.

А в больнице нашей была очень хорошая заведующая. Звали ее Евгения Петровна. Она была знающим врачом. Нам сразу сделали обезболивающие уколы, потом обработали раны, а Юрины глаза чем-то промыли и наложили на них повязку. И мы от уколов даже заснули. Но когда услышали мамин голос, сразу проснулись. И Юра пошел на мамин голос. Шел и успокаивал ее: «Мамочка, не бойся, я совсем не ослеп, мне доктор чем-то глаза смазала и повязку надела». Я тоже встала и кричу маме: «Мамочка, видишь, я стою на ногах, и мне совсем не больно». Тут вошла Евгения Петровна и говорит маме:

«Вот что, Наталья, нечего здесь истерику устраивать с детьми. С ними все нормально». И правда, мы потом быстро поправились. А дробинки у меня до сих пор в ногах и в животе. Но мне Евгения Петровна сказала: «Их лучше не трогать. Они вживутся в ткань. Ну раза два повернутся и все». И мне потом один очень хороший хирург говорил, что Евгения Петровна все правильно сказала. Так и было.

— А как к вам финны в лагере относились?

— Неправду говорить не буду. Не обижали. Матери наши ходили в Петро-заводске дома разрушенные восстанавливать, а дети их в лагере дожидались. Кормили нас. Не били никогда. Только когда мальчишки под проволокой прорывали ходы, чтобы в лес сбегать, часовой, если увидит, так плеткой слегка огреет и скажет только: «Иди мама». Родителей больше боялись, что будет взбучка им, если узнают.

А нашу маму чуть не посадили за то, что мы в землянку забрались. В милицию вызывали. Вроде следователь приезжал и обещал на три года ее в лагерь отправить за то, что за детьми не уследила. Но наш милиционер за нее заступился. Он подтвердил, что мамы дома не было, а бабушка старенькая, не смогла детей дома силой удержать. Бабушка, помню, тогда плакала и маме говорила: «Убей меня, убей, это я во всем виновата». Но, в общем, все обошлось, и маму не посадили.

СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН

* * *

Прожектор, белый глаз, завис на центре зала.
Тсс! Занавес пополз, зеленый бархат — и...
Оркестр вздохнул, и — вверх, тревожно и устало —
Под купол перья искр, багровые огни.

Звонок! Прочь из фойе, буфетов в предвкушенье
Просачиваться в зал на теплые места.
Там палантин с плеча скользит — и возбужденье
Гранатов диадем и нотного листа.

Галерка и партер, гирлянды лож барочных,
Гул улья не затих, но гаснет с медью люстр,
Несмелый кашель, хруст секундных стрелок точных.
Взмах! Кресел паралич — злой дирижер Прокруст.

ТЕМНИЦЫ ПИРАНЕЗИ

I

Для видения очи телесные слепы.
Темной стаей ночной мошкары
Набивается свод, и трещат его скрепы
В предвкушении тайной игры.
И летят в чернозем и стеклянную пену
Зерна звезд, обжигая ладонь,
И виденье из плоти выходит на сцену,
Черепной задувая огонь...

Сергей Викторович Слепухин (род. в 1961 г.) — поэт, эссеист, художник. Автор книг стихов: «Слава богу, сегодня пятница!» (Екатеринбург, 2000), «Осенний покров» (СПб., 2003), «Вода и пряжа» (Екатеринбург, 2005), «Прощай, Парезия» (Екатеринбург, 2007), «Задержка дыхания» (Екатеринбург, 2009), «Дотла забывать» (Нью-Йорк, 2011), «Послесвеченье» (Нью-Йорк, 2013), а также книг эссе «Томас Манн и Totentanz» (Нью-Йорк, 2013), «Новые карты Аида» (Вашингтон, 2009), «Перья и крылья» (Вашингтон, 2010) (последние две — совместно с М. Огарковой). Живет в Екатеринбурге.

II

Как много воздуха, порохового дыма,
 Каррарский мрамор, швеллер и бетон,
 Все алогично и непостижимо —
 Сплетенье арок, лестниц и колонн.
 Мощь каменных конструкций нависает
 Бесформенным чудовищем руин.
 Тюремщики ли, узники? —

Кто знает...

Ты в пыточном каприччо не один.
 В пугающих лесах, залитых светом,
 Карнизы, русты, цепи, рычаги.

Куда ты шел? Наверно, за ответом.
 Кричал на дыбе: «Боже, помоги!»
 Но он творит: струит потоки линий,
 Штрихов и петель медленный ручей,
 Чтоб ты терялся в небосводе пиний,
 В трагическом величии вещей.
 Треножник, саркофаг и канделябры,
 Античный фриз, Плутон,
 раскрывший рот...
 Во глубину — мосты абракадабры!
 На сваях удержавшийся полет.

* * *

Анархия и бунт — все в прошлом, жара нету...
 Неровный тусклый свет, слепая мошкара,
 И скоро постучат и призовут к ответу,
 Но разве объяснишь, что замышлял вчера?!
 Никак не догорит сухого спирта пламень,
 Наивный мотылек стучится в стеклецо,
 Он смотрит на тебя, а ты — могильный камень,
 Как станция в степи, пустынное лицо...

* * *

Бескровные рассудочные мысли,
 Плевошки краски: море, кипарисы,
 Киклоп скучает одиноко в тучах,
 И зависает в воздухе свирель.

Любви и смерти достается тело,
 Душа лишь гость, подмена невозможна,

Безветрие и ласковое море
 Иною кистью в путь ее зовут.

О, подлинное, видимое кем-то!
 Не мною, нет! Овидием, быть может.
 Прибежище смирившейся и теплой,
 Которую, увы, легко вспугнуть...

* * *

Выталкивая звук в стальной кулак мороза,
 протянется гудок, чтоб вычертить пунктир,
 останется лишь дым и запах паровоза,
 лишь облачко тоски собой накроет мир.

Как бабочки в аду, взметнутся хлопья саж
 и лягут без стыда на голые леса,
 И ничего в ответ ее глаза не скажут —
 лишь влажный взвизг колес и по щеке слеза.

Сольется с темнотой прощального привета
 застенчивая тень. Знать, вечность без пяти.
 Не стоит горевать о стройности сюжета.
 Что ж, выбыл адресат... Счастливого пути!

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АЛИ ХАШАГУЛЬГОВ

Али Татарович Хашагульгов, выдающийся ингушский поэт и живописец, родился 24 июня 1943 года в селении Яндаре Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. 23 февраля 1944 году восьмимесячным депортирован вместе с родней в Северный Казахстан.

Читать, писать и рисовать научился в раннем детстве. В 1953 году участвовал во Всесоюзном конкурсе детских рисунков газеты «Пионерская правда» и как один из его победителей получил приглашение учиться в детской художественной школе при Институте им. Сурикова в Москве, которое было отменено, когда выяснилось, что он — спецпереселенец. В обычной школе практически не учился.

В 1956 году Али Хашагульгов возвращается в Ингушетию. Овладевает ингушской грамотой. Переводит на родной язык стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина, осетинского поэта Коста Хетагурова. Записывает и изучает ингушский фольклор.

В 1961 году экстерном сдает экзамены за курс средней школы и поступает на историко-филологический факультет Педагогического института в Ростове-на-Дону. Осенью того же года после выступления с авторефератом по национальному вопросу на семинарском занятии попадает в поле зрения КГБ. Весной 1962 года, досрочно сдав летнюю сессию, вынужденно переводится в Чечено-Ингушский пединститут в Грозном.

Арестован 4 июня 1963 года вместе с поэтом Иссой Кодзоевым, вскоре после чтения стихов на институтском вечере. Спустя шесть месяцев осужден по ст. 70 УК РСФСР («анти-советская агитация») на четыре года лагерей. Отбывал наказание в Дубровлаг (Мордовия). Освобожден в 1967 году без права проживать в крупных городах. Был заводским рабочим, сельским учителем, корректором, художником-оформителем. В 1988—1990 годах — литконсультант Союза писателей, преподаватель ингушского языка в пединституте, с 1991 года — редактор детского журнала «Радуга».

Лишь в 1985 году Али Хашагульгову удается выпустить в свет первый сборник «Страна гор» — около сотни стихотворений. К этому времени им уже были написаны несколько десятков поэтических книг. В последующие годы (1987, 1990, 1992) опубликованы еще три небольшие книги — проза и стихи для детей. В середине 1970-х, вновь возвратившись к живописи, участвует в групповых выставках ингушских художников в Назрани (1983) и Грозном (1989). В 1992 году тяжело переживает трагедию 70-тысячного ингушского населения в Пригородном районе Северной Осетии.

С началом чеченской войны 1994 года остался без крова. Под бомбежками российской авиации гибнет живопись и ценная библиотека поэта. Чудом удается спасти часть архива. В 1995 году Владимир Этуш приглашает Али Хашагульгова на работу в Высшее театральное училище им. Щукина преподавателем ингушского языка.

В Москве участвует в различных художественных выставках. В 1998 году — творческий вечер в ЦДРИ, первая персональная выставка в Ингушетии. В 1999 году в Назрани изданы еще две книги стихов — «Отцовы башни, отцовы селения» и «Вера».

Умер 17 ноября 1999 года в Москве после тяжелой болезни. Похоронен на родовом кладбище в высокогорном селении Лейми.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Фамилию, имя, отчество написав,
картонку повесили ему на грудь,
сфотографировали.
— Это свидетельство твоей смерти, — сказали, —
отныне
под грифом «Х. В.», «С. С.»
скроется имя твое,
никто из живущих
не увидит тебя,
не будут знать даже —
был ли ты...
— Это свидетельство моей жизни, — подумал он, —
отныне
мне в будущем жить.

СВЯЗЬ С СОЛНЦЕМ

Привязав за нитку,
камешек клал он в рот
перед тем как заснуть, —
чтобы не заговорить во сне.
Близкие и любимые
могут присниться;
кто знает —
лишнее слово скажешь.
То, которое нельзя говорить,

например — «солнце»...
Услышат
кому не надо.
— Что значит — «солнце»? —
станут допытываться они, —
понятно, — скажут, —
знаем теперь, кто ты.
Признавайся
в своей связи с солнцем...

РЕШЕТКА

С тетрадный лист было окошко,
но ежедневно
распинало оно солнце.

Кровью исходило тело светила —
и на грудь человека
ложился крест.

УЖИН ПРОМЕТЕЯ. НАТЮРМОРТ

Сто граммов черного хлеба,
маленькая алюминиевая кружка
с теплой водой,

окурок на две-три затяжки,
из сортира
пронесенный тайком.

РАССКАЗ ЗЭКА

Мертвецов складывали
рядом с бараками.
Задубевшие трупы,
сложенные штабелями,
напоминали стены домов...
Для новых людей возводились они —
самых счастливых в мире.

В ЗОНЕ

Здесь собраны все племена,
говорят здесь на всех наречиях.
— Откуда ты? — спрашивают меня.
Отвечаю. Они изумляются:
— Ингуши и чеченцы еще существуют?!
В энциклопедиях вас давно нет.

ЭТАП

— Шаг вправо, шаг влево —
побег.
Стреляем без предупреждения! —
Под дулами автоматов, под лай собак
ведут нас прямо
в светлое будущее.

ПРАВДА

Даже умершего страшились — не «освобождали»
несколько дней, держали в морге:
кто знает, что на уме у трупа,
вдруг он — Христос?
Охраняли и опасались...
А он и был для них
и живым и опасным,
ибо правду посмел сказать в свое время.

СЛОВО

За день обыскивали дважды, а то и трижды.
У одного отбирали окурки, у другого — полспички.
Окурки тоже разламывали на всякий случай.
Особенно свирепели, когда находили
в шве рубашки или в ширинке брюк
клочок бумаги или огрызок карандаша.
Слово было грозным свидетельством,
что борьба продолжается —
и приведет к победе.

СТЕНЫ

Серые стены угнетали больше всего:
ничего не способен был ухватить взгляд,
глаза не наполнялись ничем.
Весной на стены садились мухи —
казались шляпками вбитых гвоздей.
Отверстия появлялись в ладонях.

«ДЕТСКИЙ» СРОК

— Радуйся, — говорят мне, —
вон тот получил восемь лет
за антисоветскую улыбку,
этому дали десять
за антисоветское молчание,
а тебе — всего-то четыре года
за антисоветские стихи.
Радуйся!

КАМНИ

Камни, камни, камни...
Много нужно камней, чтоб возвести одну башню.
Чтобы построить много башен — еще больше.
Для грядущего собираю я камни.
Строителей не будет, если не будет камней.
И башен не будет тогда в Ингушетии.
Ингуши не будут ингушами.

ЧЕЛОВЕК

Все живое создано до человека.
Человек — последнее творение Бога.
Он создал его подобным Себе, говорят.
А может быть — вместо Себя? —
ведь после сотворения человека
Он ничего не создал.
Говорят, отдыхает.
Видно, нелегко было создать человека.
— Распят Он, — скажут одни.
— Не умер Он, — скажут другие.
— Воскрес Он, — уверуют третьи.
— Не было Его, — скажут четвертые.
И все будут правы.
А солнце будет светить.

РУКОПИСЬ

Если бы я написал только то, что знаю,
написанное мною не стоило б и читать,
ибо я знаю лишь то, что и все.

Иногда мне самому хочется прочитать
мною написанное —
то, чего я не знал.

АНДРЕЙ БАБИКОВ



«ДАР» ЗА ЧЕРТОЙ СТРАНИЦЫ

1

Действие «Дара», девятого и самого значительного русского романа Набокова, завершается в Берлине в июне 1929 года. Проводив мать и отчима, уехавших на жительство в Копенгаген, Зина Мерц остается наконец с Федором Годуновым-Чердынцевым наедине. Ей — двадцать лет, он — на девять лет старше. Федор мечтает о том, чтобы уехать из Германии, посетить сестру в Париже, Зина — бросить ненавистную службу. Они полны надежд, судьба к ним благоволит. За ужином на террасе ресторана он делится с ней замыслом своей новой книги о тайных методах судьбы и объясняется ей в любви. Она отвечает: «Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но в общем-то мне все равно, иду на это».¹ Роман оканчивается стихами, в которых повествователь прощается с книгой, но не с созданным им миром, чей «продленный призрак <...> синее за чертой страницы <...> и не кончается строка» (с. 411).

Продолжение книги намечается Набоковым всего несколько лет спустя после ее завершения, однако, вопреки взятому в «Даре» благодарному, восхищенному тону, вторая часть романа становится одним из самых мрачных его замыслов. Начатый в Берлине, «Дар» был дописан в начале 1938 года уже во Франции, куда Набоковы переехали с маленьким сыном Дмитрием, спасаясь от нацистского режима. За пять лет, прошедших с начала работы над ним, изменилось многое. Лучшие годы русской эмиграции были позади, надежды на падение Советской власти и возвращение в Россию не оправдались, литературный заработок Набокова оставался скудным, несмотря на известность, а поиски академического места в Англии и Америке были бесплодны². Последние перед

¹ Владимир Набоков. Дар. Второе, испр. изд. Анн Арбор, 1975. С. 409. Далее цитаты из романа приводятся по этому, наиболее точному, изданию с указанием страниц в тексте.

² Свое положение после переезда во Францию Набоков описал в известном письме к однокласснику Розову от 4 сентября 1937 года: «Все эти годы глупейшей заботой моей была житейская борьба с нищетой — а так жизнь шла счастливо. Сейчас живем (я женат, у меня сын прелестный, более чем упитательный) в Каннах. Что дальше будет, совершенно не знаем, во всяком случае, никогда не вернусь в Германию» (В. Набоков. Письмо С. Розову. Вст. заметка, публ. и комм. Ю. Левинга // В. В. Набоков: pro et contra. Сост. Б. Аверин. Т. 2. СПб., 2001. С. 21).

отъездом в Америку годы стали одними из самых трудных для Набокова: вынужденная разлука с семьей, остававшейся в Берлине до мая 1937 года; мысли о самоубийстве в феврале этого года, когда он «неописуемо» страдал от псориаза³; любовная связь с Ириной Гваданини, оборванная летом того же года и едва не приведшая к разрыву с женой; смерть матери в Праге весной 1939 года и — осенью — новая мировая война, от которой можно было спастись лишь на другом континенте.

Продолжение «Дара» переносит героев в схожие сумрачные обстоятельства — в предвоенный эмигрантский Париж и на юг Франции, где Набоковы прожили (в Каннах, Ментоне, Мулине и на Кап д'Антибе) с июля 1937 года по октябрь 1938 года и еще провели лето 1939 года во Фрежюсе. Федор и Зина теперь муж и жена, они бездетны, их отношения не безоблачны. Он — известный писатель, сильно переменившийся «сорокалетний мужчина», она — прежняя, несмотря на прошедшие годы. Щеголев с женой все еще в Копенгагене. Действие начинается летним днем 193... года, вскоре после переезда Федора и Зины из Берлина в Париж, в однокомнатной квартире, которую они могут позволить себе нанимать, как было и в действительности, когда в 1938—1939 годах Набоковы жили в однокомнатной квартире на рю де Сайгон, а затем «приютились втроем в крохотной комнатухе»⁴ дешевого отеля. В конце «Дара» у них остается всего одиннадцать пфеннигов, считая с «приносящей счастье» панельной монеткой; теперь их финансовое положение не лучше: Зина не может одолжить племяннику своего отчима и десяти франков, располагая лишь семью с сантимами. Однако то, что в «Даре» казалось небольшой заботой, почти счастливой бедностью, теперь становится настоящей нуждой, заставляющей Федора вместо сочинения книг встречаться с «мерзкими киноторгашами», чтобы, очевидно, получить заказ на сценарий (как было и в действительности). В пятой главе романа, думая о своей будущей жизни с Зиной, Федор спрашивает себя: «Но нужна ли мне жена вообще? „Убери лиру, мне негде повернуться...“» (с. 365). В самом начале второй части «Дара», придя домой и застав там нежданного гостя — племянника Щеголева Кострицкого, развивающего свои профашистские взгляды, Федор говорит Зине: «...я собирался сесть писать, я мечтал, что сяду писать, а вместо этого нахожу этого сифилитического прохвоста... <...> У нас одна комната, и мне негде спрятаться, но, Зина, я просто уйду, если ты его тотчас не убереешь». Он уходит, а из следующих сцен становится ясно, что они с Зиной уже в разлуке — она на юге Франции, он — в Париже.

Центральная часть набросков продолжения романа посвящена описанию двух свиданий Федора с юной Ивонн — проституткой, дважды в неделю приезжавшей в Париж из пригорода. В финале «Дара», одного из самых целомудренных романов Набокова, возвращаясь вечером домой и думая о недоступной Зине, Федор замечает на углу «кукольный механизм проститутток», не допуская

³ В письме к жене от 15 мая 1937 года Набоков признавался: «...знаешь, могу тебе теперь прямо сказать, что из-за мучений — неописуемых, — которые я до этого лечения, т. е. в феврале, испытывал, я дошел до границы самоубийства» (Letters to Vera Nabokov / NYPL. Berg Collection. Nabokov papers. Далее выдержки из писем Набокова к жене приводятся по этому источнику. В переводе на английский язык письма впервые напечатаны в книге: Vladimir Nabokov. Letters to Vera. Ed. and transl. by Olga Voronina and Brian Boyd. Penguin Books, 2014).

⁴ Письмо Веры Набоковой к Н. Берберовой от 14 февраля 1939 года (Hoover Institution. Nicolaevsky collection. Box 401. Folder. 58). Я сердечно благодарен Манфреду Шруббе, приславшему мне копии писем Набоковых из этого архива.

и мысли об измене. Теперь, поддавшись «игре случая», Федор хотя и отмечает искусственный, даже пародийный характер своих отношений с Ивонн (которой он представляется «Иваном»), он не может их прекратить, и лишь телефонный звонок Зины из ее «лазури», то есть с Лазурного берега, зовущей его приехать, кладет конец этой связи. Свидания с Ивонн и описания соития — впервые столь подробные в прозе Набокова — перемежаются серией свежих образов и редкой силы метафизическими рассуждениями героя, противопоставляющего собственную жизнь «заговорщика и изгнанника» «строю общепринятой жизни», «популярную реальность» или «вторичную жизнь» — «волшебству» и свободе его уникального поэтического мироощущения.

Содержание последних глав, изложенное конспективно и от первого лица, предваряет рабочая заметка: «Встречи с (воображаемым) Фальтером. Почти дознался. Затем:» (Адам Ильич Фальтер — персонаж «Ultima Thule», у которого художник Синеусов старается выведать тайну жизни, случайно тому открывшуюся.) Зина и Федор вновь вместе в Париже. Она расстается с мужем на улице, чтобы пойти к Щеголевым, очевидно, приехавшим из Копенгагена. Федор покупает папиросы и возвращается домой, где его у телефона уже ждет записка: звонили из полиции, просят тотчас прийти. Он приходит и видит мертвую, завернутую в простыню Зину, которая только что по дороге к Щеголевым попала под автомобиль. Подобранная на панели монетка не принесла им счастья, последнее утверждение эпитафии «Дара» получает новое зловещее значение. Благоволящая героям «Дара» судьба оказывается во второй части романа безжалостным Фатумом, прообразом той коварной силы, что будет затем олицетворена в «Лолите», где точно так же погибнет обманутая жена Гумберта.

После смерти жены потрясенный Федор вместе со своей сестрой Таней («старше его на два года», как известно из первой главы «Дара») собирает вещи, после чего, избегая тестя и тещи, ночует у нее «в одной постели» и рано утром, не дожидаясь похорон, уезжает на юг.

Средняя часть последних глав посвящена «трагедии русского писателя» — жизни овдовевшего Федора на Ривьере — по-видимому, с конца осени 1938 года.⁵ Федор медленно приходит в себя. Весной он переживает короткий роман с давней, надо полагать, знакомой («...и стыдно, и все равно вся жизнь к чорту»), затем проводит лето в полном одиночестве в Мулине, где ведет, предположительно, литературные изыскания («муза занималась сыском»). Осенью Годунов-Чердынцев возвращается в уже военный Париж.

Финал второй части романа посвящен беседе Федора с Кончеевым (в манускрипте это имя написано, однако, как Кашеев или Кошеев). После двух воображаемых разговоров Федора с Кончеевым о литературе в «Даре», они

⁵ Для точного определения временных границ повествования в рукописи недостаточно данных; однако то, что Зина и Федор в последних главах находятся в Париже поздней осенью 1938 года и Зина тогда же погибает (а не ранней весной 1939 года, как пишет Долинин: «Зина погибает в 1939 году, ранней весной» — см.: Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 2004. С. 289), следует из описания жизни Федора на юге, датированной очень подробно и последовательно: «дней через пять» после приезда на юг он встречает Музу Благовещенскую, после чего, уже «зимой», у него случается короткий роман с неназванной особой: «что-то быстрое и соблазнительное»; затем наступает «ледяная весна» (очевидно, 1939 года); затем он «все лето совершенно один»; затем прямо указано: «1939. Осенью „грянула война“, он вернулся в Париж» (курсив мой). Таким образом, Федор от отъезда в 1938 году до возвращения в Париж осенью 1939 года проводит около года на юге Франции (в 1939 году Набоковы вернулись с Ривьеры в Париж в начале сентября).

наконец встречаются и беседуют на самом деле. В пятой главе романа Федор задается вопросом: «Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно... — так как подлинная беседа была бы только разочарованием...» (с. 385). Их «подлинная» встреча, встреча двух русских писателей, беседующих на обломках прежнего мира о Пушкине, развеивает эти сомнения. Как и в «Даре», о котором Набоков в предисловии к его английскому переводу (1962) заметил, что героиня в нем не Зина, а русская литература, во второй части романа в «русском слове, соловом слове» герой ищет спасения от «вторичной» реальности его парижских обстоятельств, литературными реминисценциями и поэзией пронизаны сцены свиданий с Ивонн, в которых Набоков цитирует или перефразирует Пушкина, Боратынского, Фета, Ходасевича, Ахматову, а в беседе с Кончеевым/Кашеевым звучат имена Брюсова, Куприна и Ходасевича, к тому времени покойного (он скончался 14 июня 1939 года). Под вой сирен воздушной тревоги Федор читает Кончееву свое окончание пушкинской «Русалки», текст которого записан в рукописи между эпизодом с Кострицким и сценами с Ивонн. Третья беседа Годунова-Чердынцева с Кончеевым, таким образом, возвращает читателя к первой главе «Дара», в которой Кончеев упоминает пушкинскую «Русалку»: «Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? „Русалка“...» Федор строго одергивает воображаемого собеседника: «Не трогайте Пушкина; это золотой фонд нашей литературы» (с. 83). Теперь же, в военном Париже, закончив «Русалку», Федор тем самым *продолжает* пушкинскую линию «Дара», утверждая (вопреки мнению Адамовича и «парижской ноты»), что ввиду грозных событий и «конца всему» этот золотой фонд следует особенно беречь и ценить. Напоследок он задает Кончееву загадочный вопрос, относящийся к сочиненному им пушкинскому финалу: «Как вы думаете, донесем, а?» Кончеев отвечает с усмешкой: «Что ж, все под немцем ходим», — имея в виду и прямое значение переиначенной им поговорки: в небе — немецкие боевые аэропланы. Текст второй части «Дара» оканчивается замечанием рассказчика: «Он не совсем до конца понял то, что я хотел сказать».

Беседа Федора с Кончеевым о Пушкине придает замыслу второй части «Дара» тематическую и композиционную завершенность. Начатая сценой с пошляком Кострицким, рукопись завершается разговором с его антиподом, поэтом Кончеевым, и завершается в то самое время, когда восхвалявшийся Кострицким германский режим добрался до Парижа, чтобы уничтожить тот мир, в котором чудесным образом сложились условия для расцвета русской эмигрантской литературы и появления набоковского «Дара».

2

История рукописи второй части «Дара», известной как «розовая тетрадь», не менее загадочна, чем ее окончание, и восстанавливается лишь отчасти на основании письменных свидетельств (корреспонденций, дневниковых записей, публикаций), охватывающих несколько лиц и отрезков в четверть века — от марта 1939 года до ноября 1964 года. Исследование чрезвычайно важной для последующих сочинений Набокова группы текстов («Solus Rex», «Ultima Thule», вторая часть «Дара», заключительная сцена «Русалки», «Второе приложение к „Дару“») затруднено тем, что создавались они в переломные для Набокова

годы, когда из-за его переезда в Америку и начавшейся войны часть архива писателя была утрачена в Париже⁶, оборвались многие связи, приостановилась его переписка с другими авторами и издателями, которая могла бы пролить свет на его литературные занятия, прекратился выпуск газет и журналов. Сведения об этой сложной и особенно насыщенной писательскими планами поре его жизни (1939—1941) приходится собирать по крупицам. Со всем тем привлечение новых источников и новый анализ рукописей и напечатанных текстов позволяют внести существенные уточнения в принятую до сих пор среди исследователей датировку продолжения «Дара» и в определение того места, которое этот замысел занимал среди других проектов Набокова, относящихся к концу 1930-х — началу 1940-х годов.

Впервые содержание «розовой тетради» изложил Брайан Бойд в первом томе фундаментальной биографии Набокова (1990). По упоминанию Фрежюса и начавшейся войны Бойд отнес эти наброски ко времени возвращения Набокова в Париж с юга Франции, «не раньше сентября 1939 года», и предположил, что «Набоков тут же прервал эту работу, вдохновившись замыслом „Волшебника“, а к концу ноября обнаружил, что идея изобразить „душекружение“ [неологизм Набокова из «Ultima Thule»] мужа, который не может примириться с бессмысленностью смерти своей жены, уже зажила своей собственной жизнью, не уместяющейся в рамках „Дара“. Теперь эта идея, — продолжает Бойд, — начинает переходить в замысел совершенно нового романа — „Solus Rex“».⁷ Ко второй половине 1939 года относит рукопись продолжения романа и Джейн Грейсон в известной статье, посвященной этому замыслу Набокова.⁸ Небольшое уточнение внес Александр Долинин в содержательной работе «Загадка недописанного романа», в которой он предпринял попытку расставить все точки над *i* в последнем русском замысле Набокова. Он заметил, что поскольку разговор Годунова-Чердынцева с Кончеевым происходит во время воздушной тревоги в Париже, причем оба героя относятся к звукам «сирен как к вполне привычному, обыденному явлению <...> этот фрагмент мог быть написан Набоковым, самое раннее, в конце осени или, что более вероятно, зимой 1939—1940 года, когда воздушные тревоги стали проводиться в Париже более или менее регулярно».⁹ Далее Долинин, развивая догадку Бойда о том, что продолжение «Дара» связано с замыслом романа «Solus Rex», заключает, что «Набоков начал работу над „Solus Rex“ не позднее июля—августа 1939 года <...> заметки ко второй части „Дара“ (или, по крайней мере, конспект ее последней главы¹⁰) делались одновременно с подготовкой к печати нового романа <...> По-видимому, „Solus Rex“ был задуман и отчасти написан, как продолжение „Дара“ или <...> вторая часть

⁶ Весной 1940 года, перед отъездом в Америку, Набоков оставил часть своих книг и бумаг вместе с коллекцией бабочек в доме Фондаминского. «В июне, когда немцы вошли в Париж, вещи Фондаминского были разграблены, коллекция бабочек уничтожена, а бумаги выброшены на улицу. Племяннице Фондаминского удалось подобрать большую часть бумаг, и долгие годы они пролежали в угольном погребке, пока в 1950 году не попали к Набоковым в Америку» (Брайан Бойд. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. М.—СПб., 2001. С. 604).

⁷ Брайан Бойд. Указ. соч. С. 598.

⁸ Джейн Грейсон. Метаморфозы «Дара» // В. В. Набоков: pro et contra. Сост. Б. Аверин, М. Маликова, А. Долинин. [Т. 1]. СПб., 1997. С. 592.

⁹ Александр Долинин. Указ. соч. С. 284. Впрочем, воздушная тревога в Париже была проведена уже 11 сентября 1939 года, о чем написали все газеты. «Chicago Tribune» в номере от 18 октября 1939 года (р. 4) сообщает о пяти воздушных тревогах в Париже только «за первый месяц войны».

¹⁰ Долинин имеет в виду конспект «последних глав», см. прим. 124 к тексту рукописи.

„Дара“ — это и есть „Solus Rex“, а „Solus Rex“ — это и есть вторая часть „Дара“». ¹¹ В другом месте Долинин связывает наброски второй части романа с повестью Набокова «Волшебник» и как установленный факт относит их ко времени ее сочинения (ноябрь 1939 года): «Сходную задачу Набоков решал и в написанных одновременно с „Волшебником“ черновых набросках ко второй части „Дара“, где творческое сознание Федора Годунова-Чердынцева одновременно фиксирует и „олитературирует“ вполне заурядный телесный опыт — два свидания с парижской проституткой, во время которых у него рождается множество поэтических ассоциаций». ¹²

Однако сам текст второй части «Дара» побуждает к большей осторожности в выводах относительно времени его создания. В первой сцене (визит Кострицкого) повествователь так описывает Зину: «Простите, пожалуйста, — обратилась она к Кострицкому, — и той же скользящей, голенастой походкой, которая у нее была пятнадцать лет тому назад, и так же сгибаемая узкую спину, пошла к мужу...» Здесь очевидно соотнесение этого описания с портретом Зины в третьей главе «Дара» («...тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного стана...» — с. 200), но расчет прошедшего с тех пор времени («пятнадцать лет тому назад») нарушает хронологию романа. В предисловии к английскому переводу «спутника» «Дара» рассказу «Круг» Набоков указывает, что «...действие „Дара“ начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929 года (охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева)». ¹³ Таким образом, даже если к начальной дате (а Федор знакомится с Зиной позднее) прибавить пятнадцать лет, время действия первой сцены продолжения романа должно относиться к 1941 году. В той же начальной сцене содержится и другой анахронизм: Набоков описывает Федора как «сорокалетнего мужчину». Из первой главы «Дара» мы знаем, что Федор родился 12 июля 1900 года (с. 19), а значит, своего сорокалетия он достигает только летом 1940 года, в то время как начало второй части романа не может происходить позднее лета 1938 года («летний день вечерел», — сказано в первой сцене), а скорее всего, действие начинается годом раньше (поскольку в рукописи сказано, что после свиданий с Ивонн «прошло около года» — до осени 1938 года), и, стало быть, Федору еще нет сорока, а после окончания «Дара» проходят только восемь или девять лет. Трудно себе представить, что Набоков в конце 1939 года мог запомнить хронологию недавно завершеного романа, текст первого книжного издания которого он как раз в это время подготовил для издательства «Петрополис». Долинин оставляет эти важные хронологические вешки в рукописи без внимания (Грейсон же, не замечая явного противоречия, пишет, что время действия первой сцены продолжения романа — «пятнадцать лет спустя после окончания действия в „Даре“» ¹⁴); между тем эти несообразности (которые Набоков исправил бы в случае завершения

¹¹ Александр Долинин. Указ. соч. С. 285.

¹² Там же. С. 157—158. Так же решительно он датирует рукопись продолжения «Дара» в примечаниях к «Solus Rex»: «В архиве писателя сохранились наброски нескольких глав второй части „Дара“, написанные в конце 1939 — начале 1940 г., то есть тогда же, когда он готовил к печати начало „Solus Rex“» (А. Долинин. Примечания // Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. В 5 т. Сост. Н. И. Артеменко-Толстой. СПб., 2000. Т. 5. С. 660).

¹³ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. Издание второе. Сост., прим. А. Бабилова. СПб., 2014. С. 705—706.

¹⁴ Джейн Грейсон. Указ. соч. С. 593.

работы над продолжением книги) могут указывать не на время действия второй части романа, а на время ее сочинения, отнесенного для удобства к авторскому настоящему. Иными словами, пятнадцать лет после 1926—1929 годов проходит не для героев, а для автора, который в начале 1940-х годов и есть — живущий в Америке сорокалетний писатель.

Другое подтверждение своей гипотезе об одновременности сочинения второй части «Дара» и неоконченного романа «Solus Rex» Долинин находит в поздней заметке Набокова к английскому переводу двух глав этого романа (под названием «Ultima Thule» и «Solus Rex») для сборника рассказов «A Russian Beauty and Other Stories» (1973), в которой писатель излагает замысел «Solus Rex»: «Зима 1939—40 годов оказалась последней для моей русской прозы. Весной я уехал в Америку, где мне предстояло двадцать лет кряду сочинять исключительно по-английски. Среди написанного в эти прощальные парижские месяцы был роман, который я не успел завершить до отъезда и к которому уже не возвращался. За вычетом двух глав и нескольких заметок, эту неоконченную штуку я уничтожил».¹⁵ Упоминание Набокова о сохраненных заметках Долинин рассматривает как «приглашение к архивным изысканиям, обращенное к будущим исследователям. Однако изучение набоковского архива показывает, что писатель не оставил нам не только никаких записей, связанных <x> с известным нам фрагментом романа „Solus Rex“, но и вообще никаких предварительных заметок, набросков, планов, относящихся к какому-либо его русскому тексту. Единственное исключение из этого неукоснительно соблюдавшегося правила составляет школьная тетрадка в розовой обложке — „розовая тетрадь“, как называет ее Джейн Грейсон, подробно описавшая содержащиеся в ней уникальные материалы. Они полностью подпадают под набоковское определение „a few notes“, ибо это действительно несколько заметок, которые относятся примерно к тому же времени, что и „Solus Rex“».¹⁶

Итак, согласно Долинину, наброски ко второй части «Дара» были написаны Набоковым «одновременно» с «Волшебником» и приблизительно в то же время, что и «Solus Rex», с которым они составляют одно целое, будучи замыслом одной книги. При всей кажущейся убедительности этой версии, ее нельзя считать состоятельной. Прежде всего «розовая тетрадь» не является «единственным исключением»: в архивах Набокова хранятся рабочие материалы к нескольким его русским произведениям, к примеру, план раннего варианта «Трагедии господина Морна» (1924) и подробное описание ее персонажей (в Вашингтонской Библиотеке Конгресса США)¹⁷; наброски к русскому переводу «Гамлета» или заметки к рассказу «Круг» (1934), относящиеся к тому этапу работы над ним, когда он назывался «Деталь орнамента» (в коллекции Бергов в Публичной библиотеке Нью-Йорка). Кроме того, содержимое «розовой тетради» значительно превосходит то, что можно было бы назвать «несколькими заметками», поскольку она вмещает полный текст последней сцены «Русалки», впоследствии опубликованной Набоковым как самостоятельное произведение, более или менее законченный эпизод с Кострицким, подробное изложение свиданий Федора с Ивонн и по своему характеру является (за исключением

¹⁵ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 710.

¹⁶ Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 281.

¹⁷ Эти тексты опубликованы нами в издании: Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. Сост., прим. А. Бабилова. СПб., 2008. С. 305—312.

конспекта последних глав) не заметками к роману, а начальным черновиком нескольких глав романа с точно намеченной композицией целого произведения, в то время как две опубликованные главы романа «Solus Rex» представляют собой законченные и отделанные тексты, написанные в иной стилистической манере, отвечающей фантастическому сюжету о вымышленном островном королевстве. Мы не можем утверждать и того, что заметки к «Solus Rex» были переданы Набоковым в архив на хранение, а не остались в его бумагах в Монтрё (если все же не были уничтожены после 1973 года) среди других рукописей. Наконец, если принять объяснение Долинина, разумно было бы ожидать, что «несколько заметок» к «Solus Rex», к тому же содержащиеся в отдельной тетради, имели бы помету, указывающую на их принадлежность, однако нигде в «розовой тетради» название «Solus Rex» (или «Ultima Thule») не встречается, и сама она озаглавлена: «Дарь. II часть» (весь текст продолжения романа написан, разумеется, по дореформенному правописанию). С другой стороны, в том же предисловии к английскому переводу двух глав из «Solus Rex» Набоков, подробно излагая замысел этого романа, ни словом не обмолвился о его связи с «Даром», хотя говорит о других своих книгах — романах «Под знаком незаконнорожденных» (1947) и «Бледном огне» (1962). Единственное, что связывает «розовую тетрадь» с «Solus Rex», — это место действия реального плана повествования (Ривьера, отчасти Париж) и Фальтер, у которого Федор, подобно художнику Синеусову из «Ultima Thule», пытается выведать некую тайну, что следует из рабочей заметки.¹⁸ На этих сюжетных соотнесениях мы остановимся отдельно, теперь же обратимся к письменным источникам, освещающим замыслы последних русских книг Набокова.

3

«Дар» печатался выпусками в лучшем парижском журнале русской эмиграции «Современные Записки» в 1937—1938 годах. Последняя, пятая глава романа была опубликована в 67-м номере журнала, вышедшем в октябре 1938 года, однако четвертая глава, сочиненное Федором Годуновым-Чердынцевым «Жизнеописание Н. Г. Чернышевского», из-за несогласия редакторов журнала с оценкой Чернышевского была отклонена и увидела свет лишь в 1952 году, когда роман был выпущен отдельной книгой в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова». Изъятие в журнальной публикации романа ключевой четвертой главы побуждало Набокова к скорейшему поиску издателя, который бы

¹⁸ «В черновом конспекте заключительной главы второй части „Дара“, — пишет Долинин, — Фальтер, таинственный персонаж „Ultima Thule“ <...> упоминается дважды: сначала в заметке, предваряющей рассказ о гибели Зины <...>, а затем в самом рассказе: „За эти десять минут она успела сойти с автобуса прямо под автомобиль. Тут же малознакомая дама, случайно бывшая на том автобусе. Теперь в вульгарной роли утешительницы. Отделался от нее на углу. Ходил, сидел в скверах. „Фальтер распался“ (подчеркнуто Набоковым)» (А. Долинин. Примечания // Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 664—665). Однако в «самом рассказе» Фальтер, на наш взгляд, не упоминается. В рукописи это место написано иначе (и весьма отчетливо): «Ходил, сидел в скверах<.> Пошел к одним, там нич<ег>о не знали. Посидел. Пошел к Ө, посидел; когда оказалось, что уже знают, ушел». Как можно видеть, здесь (и далее) следует последовательное перечисление действий Федора. На правом поле рукописи, против слов «сидел в скверах» есть заметка, заключенная в квадратные скобки (не в кавычки) и не имеющая отношения к блужданиям Федора по Парижу: [Фальтер распался]. На той же странице есть еще две рабочие записки на правом поле: «(навеяны встречей с Б., говоривше<й?> о jogger'e <.>)» и: «Последние главы». В какой момент «распался» Фальтер и что именно под этим подразумевается, определенно сказать нельзя.

напечатал книгу целиком («Мне не терпится выпустить „Дар“ в неискаленном виде...») — писал Набоков к редактору «Современных Записок» Рудневу 31 мая 1938 года¹⁹). Он предложил роман издательству «Русские Записки», о чем его глава М. Н. Павловский написал Рудневу: «Зато — великолепен „Дар“. Вот уж действительно самое выдающееся произведение нашей эмигрантской литературы. Если памятником ее останется только „Дар“, то этого будет достаточно. <...> В. Сирин предложил мне издать всю книгу, включая 4-ую часть [т. е. главу]. Не издать такой книги прямо невозможно (когда *до сих пор* продолжает выходить отдельными книгами всякая ерунда). Но что делать с 4-ой частью (которую я сам даже еще не читал, но которой меня пугают решительно со всех сторон)?»²⁰

Набоков также обратился в издательство «Петрополис» к А. С. Кагану, который взялся издать роман двумя частями: «Относительно раздела „Дара“ можно договориться, — писал Каган Набокову. — На полуслове нельзя, конечно, обрывать, но можно выбрать и середину главы. Главное, чтобы обе части вышли почти одновременно. Соображение<, > почему я хочу раздробить роман на две части<, > только порядка целесообразности. <...> Может<, > мы сделаем с вами один том длиннее другого».²¹ В этом письме Каган ничего не говорит о приложениях к тексту романа, обсуждая раздел по томам все тех же пяти глав. Долинин утверждает, что ради соразмерности томов во второй том Набоков решил поместить помимо четвертой и пятой глав «два приложения: опубликованный в „Последних новостях“ в 1934 г. рассказ, впоследствии получивший заглавие „Круг“, и так называемое „Второе добавление к „Дару“»²² (то есть новый текст о бабочках, детстве Федора, научных трудах и антидарвиновской теории его отца). Однако собственные пометки Набокова на рукописи «Второго добавления», или, точнее, «Второго приложения», противоречат этой версии. На первой странице рукописи он сделал следующую запись: «[первое: рассказ „Круг“, „Посл.<едние> Новости“, 1934 г.? Это заглавие опустить и прямо назвать: „Первое добавление“]». Машинописный правленный текст этого произведения (сохранилось пять напечатанных страниц, остальное — рукопись) Набоков от руки озаглавил иначе: «Второе приложение к „Дару“» (подчеркнуто Набоковым). На правом поле без труда можно разобрать вычеркнутое пояснение: «[в конце первого тома после 5-той главы]»; чуть ниже — другой, уточняющий место текста в книге окончательный вариант: «[после „первого приложения“ в том же пятиглавном Даре]».²³ Пропустив в первой пометке «Первое приложение», Набоков вычеркивает ее и уточняет, что «Второе приложение» следует не «после 5-той главы», а после «Первого приложения» — очевидно, в первом томе романа.

Мы не можем сказать, когда именно Набоков сделал эти пометки — во время работы над текстом второго приложения или уже после того; однако мы вправе теперь утверждать, что во время их написания Набоков намеревался поместить *оба приложения в первый том*, а не дополнить ими том второй.²⁴ Что же должно

¹⁹ «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 4. М., 2014. С. 324.

²⁰ «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Т. 1. М., 2011. С. 878.

²¹ Цит. по: А. Долинин. «Дар»: добавления к комментариям // NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. I / 2007. <http://www.nabokovonline.com/volume-1.html>.

²² Там же.

²³ Papers of Vladimir Nabokov / Manuscript Division. Library of Congress. Box 6. Folder 8.

²⁴ К тому же мнению пришел Бойд, пишущий о «приложении к роману, которое, как нам доподлинно известно, он в какой-то момент намеревался добавить к первому его тому...» (Брайан Бойд. Указ. соч. С. 584).

было составлять этот второй том? Если продолжение романа, посвященное жизни Федора и Зины в Париже, то эти пометки, как следует из приводимых нами доказательства, должны относиться к замыслу, работа над которым шла в 1941 году. В письме к Алданову от 20 октября 1941 года Набоков сообщил, что пишет «работу по мимикрии (с яростным опровержением „natural selection“ и „struggle for life“»)». ²⁵ Теме мимикрии («комедии мимикрии»), опровержению «пресловутой „борьбы за существование“» и несогласию с дарвиновской идеей «естественного подбора» ²⁶ посвящено как раз «Второе приложение», которое Бойд, а за ним и Долинин, датирует лишь предположительно — весной 1939 года. ²⁷ О своей «амбициозной работе, посвященной явлению мимикрии», Набоков упоминает и в письме к Вильсону от 18 сентября 1941 года ²⁸ (Вильсон пришел от нее в восторг и посоветовал Набокову напечатать ее в «The Yale Review» — литературном, а не специальном научном журнале); однако она не была опубликована и никаких следов ее отыскать не удалось. В этом письме к Вильсону Набоков приводит тот же двуязычный каламбур «„поварь вашъ Илья на боку“ = „pauvres vaches, il y en à beaucoup“», русская половина которого появляется в «Ultima Thule», посланном в журнал Алданова в ответ на его письмо от 22 октября 1941 года, что согласуется со временем проверки и ремингтонирования Набоковым рукописи этой главы «Solus Rex»: «Простите, что задержал; — писал Набоков Алданову в сопроводительном письме, — я добыл машинку только в субботу» ²⁹ (в октябре 1941 года последняя суббота приходилась на 25-е число). В письме к Вильсону от 20 декабря 1940 года Набоков использует латинское выражение *ad usum Delphini*, крайне редкое у него, в том же контексте (говоря об источниках сведений), что и во «Втором приложении». ³⁰

Мы беремся предположить, что «Второе приложение» Набоков написал после или одновременно с английской статьей по мимикрии, используя ее для этого своеобразного сочинения в трудноопределимом жанре. Не странно ли, что во «Втором приложении» мы находим множество выражений, имен и названий, написанных прямо по-английски? В самом тексте это объясняется источником Федора — английским переводом в журнале феноменального отцовского «Приложения» к его труду о бабочках, которому он вынужден дать обратный перевод на русский; но не может ли это быть следствием того, что Набоков попросту использовал готовый английский материал? В письмах Набокова за 1939 год нам не удалось найти ни слова о работе, подобной «Второму приложению», или о каких-либо планах Набокова по расширению «Дара», хотя именно в апреле и июне этого года Набоков пишет много подробных писем к жене из Лондона (точнее, *тридцать одно письмо*) с детальным описанием своих литературных и энтомологических занятий. Зато в письмах к жене, относящихся к осени 1942 года, он сообщает, как в колледже Атланты дважды «рассказывал о мимикрии»: «Кроме того я побывал в биологическом классе, рассказывал о мимикрии, а третьего дня

²⁵ «Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова. Публ., прим. А. Чернышева // Октябрь. 1996. № 1. С. 129.

²⁶ Владимир Набоков. Второе добавление к «Дару». Публ. и комм. А. Долинина // Звезда. 2001. № 1. С. 101, 102. Поскольку более поздний машинописный текст озаглавлен Набоковым «Второе приложение к „Дару“», мы используем это название.

²⁷ Брайан Бойд. Указ. соч. С. 584.

²⁸ Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov — Wilson Letters, 1940—1971. Rev. and expanded edition. Ed., annot. by Simon Karlinsky. University of California Press, 2001. P. 54.

²⁹ «Как редко теперь пишу по-русски...». С. 129.

³⁰ См.: Владимир Набоков. Второе добавление к «Дару». С. 90.

поехал с профессоршей и группой очень черных, очень интенсивно жующих мятную резинку барышень <...> собирать насекомых миль за двадцать отсюда» (письмо от 11 октября). К этому времени его работа по мимикрии давно закончена и он использует ее для своих выступлений: в письме Глэдис МакКош к Набокову от 20 апреля 1942 года упоминается его английская лекция «Теория и практика мимикрии»³¹. Есть немало гомологичных мест во «Втором приложении» и в энтомологических статьях Набокова начала 1940-х годов; Грейсон приводит тому несколько убедительных примеров³², причем последняя научная статья Набокова о бабочках до этого времени была напечатана лишь в 1931 году. Нам остается только предложить гипотезу, что неопубликованная и бесследно пропавшая³³ (что в высшей степени странно, учитывая важность ее для Набокова, намеревавшегося впоследствии написать целую книгу о мимикрии³⁴) «амбициозная работа» о мимикрии потеряла свою ценность для Набокова оттого, что полностью была поглощена «Вторым приложением», написанным для его проекта издания расширенного «Дара», которым (согласно авторской помете на рукописи) должен был завершаться *первый том* этого двухтомного издания.

В «Петрополисе» роман так и не был издан. Последнее (недатированное) письмо от Кагана Набоков получил уже после начала войны: «Я не отказался от мысли издать Ваш роман „Дар“. Война меня, прав<да, выбила из> колеи, но я не прервал своей издательской деятельности и Ваша книга у меня на очереди. Давайте <sic!> еще только немного придти в себя. Рукопись Ваша у меня в полной сохранности».³⁵

В то же время, пока Набоков искал издателя для «Дара», он уже был увлечен работой над новым русским романом. В январе 1939 года в Париже он закончил свой первый английский роман «Истинная жизнь Севастьяна Найта»³⁶, а в июне этого года он пишет жене из Лондона о новом романе: «Безумно хочется заняться новой книгой»; и позднее: «И новую книгу пора начать» (письма от 3 и 10 июня). Судя по тому, что ни названия, ни темы этой новой книги Набоков не называет, его жене должно быть ясно, о чем идет речь, а значит, замысел нового романа был ей к июню 1939 года известен. Еще раньше о новой работе Набокова упоминает Берберова в письме к Бунину (от 30 марта 1939 года): «Видаюсь с Сириным и его сыном (и женой). <...> Живется им трудно и как-то отчаянно. Пишет он „роман призрака“ (так он мне сказал). Что-то будет!»³⁷

³¹ Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings. Ed. by B. Boyd and R. M. Pyle. Boston: Beacon Press, 2000. P. 265.

³² Джейн Грейсон. Указ. соч. С. 629. Вместе с тем Грейсон полагает, что «Второе приложение» могло быть написано даже раньше 1939 года (там же. С. 625). Не исключено, конечно, что для «Второго приложения» Набоков использовал свои более ранние заметки, в том числе материалы ко второй главе «Дара».

³³ См.: Брайан Бойд. Владимир Набоков. Американские годы. М.—СПб., 2004. С. 48. Я обратился за справкой к моему доброму другу профессору Блэквеллу, автору книги о научных занятиях и интересах Набокова (Stephen H. Blackwell. The Quill and the Scalpel. Nabokov's Art and the Worlds of Science. Columbus: The Ohio State University Press, 2009), который сообщил мне, что предпринимал отчаянные попытки разыскать этот текст — безуспешно.

³⁴ См. письмо Веры Набоковой к Розалинде Вильсон от 24 июля 1952 года (Vladimir Nabokov. Selected Letters, 1940—1977. Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 134—135).

³⁵ Цит. по: А. Долинин. «Дар»: добавления к комментариям // NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal. Vol. I. 2007.

³⁶ Именно так, Севастьяном, Набоков несколько раз по-русски называет своего героя и — сокращенно — книгу в письмах к жене.

³⁷ Переписка И. А. Бунина и Н. Н. Берберовой (1927—1946). Публ. М. Шраера, Я. Клоца и Р. Дэвиса // Иван Бунин. Новые материалы. Выпуск II. Сост. О. Коростелев и Р. Дэвис. М., 2010. С. 53.

Последняя документально подтвержденная встреча Набоковых с Берберовой перед этой датой состоялась в середине февраля 1939 года, что следует из приведенного письма Веры Набоковой к Берберовой от 14 февраля этого года с предложением встретиться в ближайшие дни: «Если Вам удобно в пятницу, напр<имер> в Café „Les Fontaines“, что на St. Blond, часа в 4 ½, то не отвечайте, а просто приходите»; однако их разговор о «романе призрака» мог происходить и в марте, поскольку в Париже они видались более или менее часто, что следует в том числе из последней сохранившейся в том же архиве записки Набокова к Берберовой от 11 сентября 1939 года (день, когда в Париже была проведена воздушная тревога): «Бываете ли вы в Париже? „Черкните“ словечко. Поговорим о словесности, несмотря на всю грусть и ужас».

«Роман призрака», о котором Набоков рассказал Берберовой, не может быть «Истинной жизнью Севастьяна Найта», к тому времени оконченной, и, следовательно, речь идет о новой, находящейся в работе вещи, по-видимому, той же самой, о которой Набоков писал жене из Лондона. По всей вероятности, Набоков обмолвился Берберовой о замысле «Solus Rex». При известном угле зрения в предисловии Набокова к его английскому переводу можно усмотреть указание на то, что действиями героев руководит «призрак» — покойная жена Синеусова: «Быть может, закончи я мой роман, читателям не пришлось бы ломать голову над несколькими загадками: был ли Фальтер шарлатаном? Истинный ли он провидец? А может быть, он медиум, через которого покойная жена рассказчика, как знать, передала смутное содержание фразы, то ли узнанной, то ли не узнанной ее мужем? Как бы там ни было, кое-что ясно вполне. По мере развертывания воображаемой страны (что на первых порах лишь отвлекало его от несчастья, но потом превратилось в безраздельное творческое наваждение) вдовец так глубоко уходит в этот Предел мира, что он начинает обретать свою собственную реальность. В первой главе Синеусов говорит, что он переезжает с Ривьеры в свою старую парижскую квартиру; на самом же деле, он перебирается в угрюмый дворец на далеком северном острове. Его искусство помогает ему воскресить жену в облике королевы Белинды — безнадежное свершение, не дающее ему восторжествовать над смертью даже в мире свободного вымысла. В третьей главе ей предстояло вновь умереть — от бомбы, предназначенной для ее мужа, на новом мосту через Эгель, всего несколько минут спустя после его возвращения с Ривьеры».³⁸

Как было замечено исследователями, Фальтер действительно передает «смутное содержание фразы» жены Синеусова, которую она написала перед смертью на грифельной дощечке, о том, что больше всего в жизни она любит «стихи, полевые цветы и иностранные деньги».³⁹ Обнаруживая тайную связь с миром иным, Фальтер между прочим говорит герою: «Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег...», и тем самым окольным путем сообщает

³⁸ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 711.

³⁹ Это важное наблюдение встречается уже в книге Фильда «Nabokov: His Life in Art» (Boston: Little, Brown and Company, 1967. P. 308); затем — в известной работе Джонсона, вышедшей в «Ардисе» в 1985 году; см. ее русский перевод: Д. Б. Джонсон. Миры и антимиры Владимира Набокова. СПб., 2011. С. 277—280. Андрей Арьев, развивший это наблюдение, обратил внимание на то, что «первый же абзац „Solus Rex“ содержит упоминание „грифельной дощечки с паролем“. Королевский код передан через нее. Следом оглашен и пароль — в „Ultima Thule“. Чем, кстати, подтверждается принадлежность обоих текстов единому замыслу» (А. Арьев. Вести из вечности // В. В. Набоков. Pro et contra. Т. 2. С. 190. См. также: А. Арьев. Отражение в аспидной доске. О рассказах *Solus Rex* и *Ultima Thule* Вл. Набокова // Revue des etudes slaves. LXXII / 3—4, 2000. P. 353—370).

ему (не заметившему этого и оттого напрасно сожалеющему в конце: «Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений») куда более значительную тайну, чем та, что он желал у него выведать. Безусловно, этот замысел лучше других отвечает определению «роман призрака». Вероятно, Набоков в разговоре с Берберовой дал своей новой книге не сюжетную, а жанровую характеристику, поскольку «роман призрака» — это, конечно, русский вариант для английского понятия «ghost story», под которое совершенно точно подпадает история с воскрешением покойницы на далеком северном острове в «Solus Rex». ⁴⁰

Никакими другими упоминаниями новой книги Набокова в промежутке между июнем 1939 года (письма к жене) и публикацией первой порции «Solus Rex» в последнем номере «Современных Записок», который вышел в апреле 1940 года (с указанием: «Роман» и «Продолжение следует», но без деления текста на главы), мы не располагаем. Последнее письмо Набокова к редактору «Современных Записок» в сохранившемся архиве редакции журнала написано 30 сентября 1939 года, и в нем Набоков не говорит о новом романе. ⁴¹

4

Следующая часть письменных свидетельств относится к весне 1941 года, когда Набоковы уже обосновались в Нью-Йорке. В марте 1941 года Набоков читал лекционный курс в колледже Уэльсли, откуда 18 марта написал жене следующее: «Утром проснулся в насквозь мокрой пижаме идеально здоровый, с давно неиспытанной легкостью в желудке, которая продолжается до сих пор. В чем дело? Мне кажется, что это был настоящий кризис, ибо контраст между ночью и утром был совершенно потрясающий, — настолько потрясающий, что я из него вывел довольно замечательную штуку, которая пойдет на удобрение одного места в новом „Даре“». Кончается письмо завуалированным указанием на «Дар»: «Целую тебя, моя дорогая любовь, будь здоровенькой, как писал мой изгой» (ссылочный Чернышевский свои письма к жене иногда завершал словами «будь здоровенькая»). Из этого письма Набокова следует, что «новый „Дар“» весной 1941 года еще только находился в процессе сочинения, поскольку процесс обдумывания общего замысла, по-видимому, к этому времени завершен и Набоков уже занят частностями. Здесь же впервые в доступных нам источ-

⁴⁰ На замысел «Solus Rex» некоторое влияние, по-видимому, оказала трилогия Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1914). Ее главный герой Георгий Триродов владеет искусством воскрешения мертвых и в конце становится королем Георгием I в вымышленном островном королевстве, куда переносится действие второй ее части («Королева Ортруда»). Общие черты заметны вплоть до сходства имен: юный король Арнульф Второй у Сологуба — молодой принц Адальф у Набокова. Другой вероятный источник — стихотворение Брюсова «Ultima Thule» (1915), в котором подчеркивается одиночество лирического героя: «Остров, где нет ничего и где все только было, / Краем желанным ты кажешься мне потому ли? / Властно к тебе я влеком неизведанной силой, / Ultima Thule». Брюсов же, по-видимому, напомнил Набокову о короле из «Фауста», бросившем в море кубок, подаренный ему умершей женой (песня Маргариты «Жил в Фуле король»): «И, как король, что в бессмертной балладе помянут, / Брошу свой кубок с утеса, в добычу акуле! / Канет он в бездне, и с ним все желания канут...»; ср. в «Solus Rex»: «... первые языческие короли <...> тот, который бросил кубок в море <...> принц цитировал балладу Уперхульма» (Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 534).

⁴¹ «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Т. 4. С. 339—340.

никах возникает понятие «нового „Дара“», в то время как до этого речь шла о публикации старого пятиглавого «Дара», а также о безымянной «новой книге» и «романе призрака».

О новом «Даре» вскоре напишет Набокову Марк Алданов, подбиравший материалы для первого номера русского повременного издания, каковым станет основанный им в Нью-Йорке «Новый Журнал»: «Не забудьте, что Вы твердо обещали нам новый роман — продолжение „Дара“» (письмо от 14 апреля 1941 года).⁴² Вместо нового романа Набоков посылает Алданову в ответ на другое его письмо (от 22 октября 1941 года) второй отрывок из «Solus Rex», озаглавленный им «Ultima Thule». В сопроводительном недатированном письме Набокова ни слова нет о «Даре» или о связи этого отрывка с «Даром»:

«Дорогой Марк Александрович,
 посылаю Вам „статью“, как говорил некто Арбатов, который все называл статьей, будь то рассказ или кусок романа, или даже стихи. Простите, что задержал, — я добыл машинку только в субботу.

Я не поместил на манускрипте, но хорошо бы сделать *сноску*, как бывало:

Отрывок из романа „Solus Rex“, начало которого см. в (последнем, — каком именно?) № „Современных Записок“. <...> Кажется, эта вещичка самая отталкивающая из всего, что я до сих пор печатал, правда?»⁴³

Замечание Набокова о «вещичке» относится, по-видимому, ко всему роману, в первом (по времени публикации) отрывке которого редакторы «Современных Записок» изъяли два фрагмента по соображениям пристойности⁴⁴, заменив их рядами отточий, о чем Алданову, конечно, было известно. Долинин обратил внимание на то, что «Ultima Thule» «была напечатана в первом номере „Нового Журнала“, вышедшем в свет в январе 1942 года <...> без сноски, первоначально предложенной Набоковым. Из этого факта можно заключить, что в период между концом октября 1941 года и началом января 1942 года Набоков принял решение не продолжать работу над романом. Не упомянул о романе Набоков и при повторной публикации начала „Ultima Thule“ [?], которое он включил как самостоятельный рассказ в сборник „Весна в Фиальте“ (1956)».⁴⁵ С выводом Долинина о прекращении работы над «Solus Rex» нельзя не согласиться. Отсутствие же примечания к «Ultima Thule» в сборнике рассказов 1956 года (в котором нет вообще никаких примечаний или пояснений автора или издателя) кажется нам менее важным, чем другое обстоятельство, а именно, что «Ultima Thule» в нем датировано: «Париж, 1939 г.»!⁴⁶ Эта дата полностью согласуется с хронологией публикации двух отрывков романа (которую Долинин рассматривает как «намеренную мистификацию» Набокова, с неясными, впрочем, мотивами), изложенной в том же предисловии Набокова к их английскому переводу: «Первая глава под названием „Ultima Thule“ была напечатана в 1942 году („Новый Журнал“, № 1, Нью-Йорк); глава вторая, „Solus Rex“, вышла ранее, в начале 1940 года („Современные Записки“, № 70, Париж)».⁴⁷ В приведенном письме к Алданову Набоков, впрочем, называет «началом» романа ту часть, которая

⁴² «Как редко теперь пишу по-русски...» С. 128.

⁴³ Там же. С. 129.

⁴⁴ Эти фрагменты восстановлены нами по рукописным вставкам Набокова на страницах журнала, см.: Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 541, 542.

⁴⁵ Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 279—280.

⁴⁶ Владимир Набоков. Весна в Фиальте и другие рассказы. Нью-Йорк, 1956. С. 313.

⁴⁷ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 710.

была напечатана в «Современных Записках», что может объясняться тем, что композиция романа к тому времени еще не была определена окончательно⁴⁸. Нарушение порядка публикации глав в двух различных журналах могло быть следствием того, что вторая глава ко времени сбора материала для последнего номера «Современных Записок» была готова к публикации, а первая — «Ultima Thule» — нет. Набоков знал, какой ценой и в каких условиях Руднев подготавливал этот номер журнала (о встрече с ним незадолго до своего отъезда в США Набоков рассказал в интервью нью-йоркской газете «Новое русское слово» 23 июня 1940 года) и понимал, что 70-й номер может стать последним и что готовую часть романа в скором времени напечатать не удастся даже при благоприятном развитии событий (так и случилось).

Подтверждением этому может служить схожая ситуация с публикацией в «Современных Записках» «Дара», когда Набоков вместо второй главы прислал Рудневу четвертую, поскольку вторая нуждалась в доработке: «Вместо обещанного продолжения романа, начатого в прошлой книжке, — писал Руднев Набокову, — Вы прислали главу *из конца*, и предлагаете печатать главы в таком изумительном порядке: 1-ая, 4-ая, — 2, 3-ья, 5... Да разве это возможно?»⁴⁹ Эти наши соображения подтверждаются, кроме того, тем же интервью «Новому русскому слову», в котором сообщается, что Набоков в Нью-Йорке «по-русски заканчивает „Солус Рекс“»⁵⁰, а также письмом Набокова к Эдмунду Вильсону от 29 апреля 1941 года, в котором он пишет, что «...покинул Европу *на середине* обширного русского романа, который скоро начнет сочиться из какой-нибудь части моего тела, если буду продолжать держать его внутри»⁵¹ (курсив мой. — А. Б.). Два опубликованных отрывка романа «Solus Rex» можно считать если не половиной, то, во всяком случае, значительной частью новой книги, которая, очевидно, с лета 1940 года, когда Набоков еще был убежден в ее скором завершении (о чем он сказал репортеру газеты), и до весны 1941 года, когда он, по-видимому, вернулся к этой вещи, чтобы использовать ее для «нового „Дара“», была отложена из-за необходимости срочной работы над лекциями в Уэльсли.

Отголоски замысла «Solus Rex» встречаются в бумагах Набокова до конца 1950-х годов и нигде не связываются с «Даром» или его героями. Отказавшись от мысли закончить «Solus Rex», Набоков в первой половине 1941 года (время работы над «новым „Даром“»), когда он писал английские лекции о драме и читал американские учебники по драматургии, подумывал о том, чтобы «написать свою собственную пьесу о Фальтере»⁵², то есть использовать материал «Ultima Thule» для другого произведения. Так же, очевидно, было и с «розовой тетрадью», в которой встречи Федора с Фальтером не описываются, а лишь упоминаются в пометках к основному тексту повествования, поскольку они уже были изложены в «Ultima Thule» (при этом следует отметить несколько важных

⁴⁸ Те же временные рамки и тот же порядок глав, что и в предисловии Набокова, указывает Вера Набокова в письме к Стюарту Смитю от 25 февраля 1972 года: «Русский роман <...> был начат в 1939 году и отложен в мае 1940 года, когда мы уехали в США. Две главы — „Solus Rex“ и „Ultima Thule“ — все, что сохранил мой муж, уничтоживший остальные материалы. <...> „Ultima Thule“, первая глава неоконченного романа, вышла в 1942 году <...>, „Solus Rex“, глава вторая, вышла в начале 1940 года» (Vladimir Nabokov. Selected Letters. P. 498).

⁴⁹ «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции. Т. 4. С. 310.

⁵⁰ Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 645.

⁵¹ Цит. по: Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 737.

⁵² Брайан Бойд. Владимир Набоков. Американские годы. С. 31.

отличий, возможно, кардинально менявших более ранний замысел: в «Solus Rex» Синеусов допытывает Фальтера после смерти своей беременной жены от горловой чахотки; во второй части «Дара» Федор встречается с ним *до того*, как Зина погибает под автомобилем, и Фальтер, то есть его образ, «распадается», судя по всему, после этого, в каком именно эпизоде — неизвестно; в «Solus Rex» Фальтер — реальная фигура, старый знакомый Синеусова, а в продолжении «Дара» его воображает Федор, как до того он воображал Кончеева, причем последний воплощается в реальную фигуру, по-видимому, после «распада» эфемерного Фальтера). Звучное название «Solus Rex» Набоков примеривал для других своих книг: сначала, в июне 1946 года, под этим, некогда сирийским названием он послал издательству «Doubleday» роман, вскоре озаглавленный иначе: «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»)⁵³, затем, в сентябре того же года, предложил в «Doubleday» и в «Holt» свой новый роман-автобиографию («последовательный ряд коротких отрывков, напоминающих эссе, которые вдруг набирают движущую силу и складываются во что-то весьма странное и динамичное»)⁵⁴. В «Бледном огне» Кинбот предложил «отличное название» «Solus Rex» Шейду для его поэмы. Сам же замысел «Solus Rex» «просочится» в три английских романа Набокова: «Под знаком незаконнорожденных», «Пнин» и «Бледный огонь», причем во всех трех будет использован тот же рекурсивный повествовательный прием *mise en abyme*, что и в «Solus Rex».

Отказавшись от продолжения «Solus Rex», в конце 1941 — начале 1942 года Набоков отказывается и от продолжения «Дара». В апреле 1942 года он печатает в «Новом Журнале» — с некоторыми изменениями — важнейшую для композиции и тематического ряда второй части романа заключительную сцену к пушкинской «Русалке». Как и в случае публикации «Ultima Thule», какие бы то ни было примечания о принадлежности или генезисе этого сочинения отсутствовали. Таким образом, можно заключить, что «твердое обещание» Алданову дать новый роман — продолжение «Дара» — Набоков не исполнил, ограничившись публикацией двух отрывков из двух незавершенных больших произведений. Тематические соотношения (смерть жены, одиночество художника), последующая судьба отрывков, упоминание Фальтера в «розовой тетради», место действия побуждают сделать простой вывод о том, что «Solus Rex» и «Дар. II часть» — это один и тот же «обширный» русский роман, реальный план повествования которого изложен в «розовой тетради», а фантастический — в «Solus Rex», причем последний мог бы стать, подобно «Жизнеописанию Н. Г. Чернышевского», вставным произведением Федора. Этой удобной версии противоречат, однако, не только приведенные нами многочисленные свидетельства, говорящие о самостоятельности «Solus Rex», с одной стороны (и сама его публикация в «Современных Записках» как нового романа В. Сирина), и разнопланового продолжения «Дара» — с другой, не только анахронизмы «розовой тетради», указывающие на 1941 год, не только письмо Набокова к жене от 18 марта 1941 года, не только тот факт, что Набоков впоследствии, используя в других своих романах «островную» линию «Solus Rex», не связывал ее с реальным планом второй части «Дара», из которой взял для начала «Лолиты» сцены свиданий Федора с Ивонн и сюжетный ход с погибшей под колесами автомобиля женой героя, но также еще одно чрезвычайно важное позднее свидетельство Набокова.

⁵³ См.: Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov — Wilson Letters. P. 194.

⁵⁴ Vladimir Nabokov. Selected Letters. P. 69—71. Перевод мой.

В конце 1964 года Набоков некоторое время был увлечен «экспериментом со временем», предполагающим различное течение времени в реальности и во снах. Сразу по пробуждении он записывал сновидения с тем, чтобы впоследствии провести своего рода ретроградный анализ и сопоставить увиденное во сне с событиями повседневной жизни, предугаданными или ретроспективно преломленными в нем. Приведем запись от 11 ноября 1964 года в нашем переводе:

«Проснулся рано, решил записать сон, хотя был очень сонный. Я как-то подумал, что — странное дело — в своих „профессиональных“ снах я так редко что-либо сочиняю. Но этой ночью, перед пробуждением, мне был подарен очень милый образчик. Я лежу на диване и диктую В<ере>. По-видимому, я читал написанное на карточках, которые держал в руках, но следующее я сочинил прямо во время диктовки. Это относится к новому, расширенному „Дару“. Мой молодой герой Ф<едор> говорит о своей судьбе, уже определившейся, и о смутном, но неизменном сознании того, что она будет великой. Произношу это медленно, по-русски: „О чем бы я ни думал, от каждой мысли откидывалось, как тень, простираясь внутрь меня, мое великое будущее“.⁵⁵ Я диктую эти слова очень медленно, особенно выделяя „внутри меня“, взвешивая каждое слово, обдумывая, не лучше ли сказать „великолепное“ вместо „великое“, спрашивая самого себя, не слишком ли долгую и широкую, обращенную внутрь тень отбрасывает слово „великое“, и в конце концов оставляя этот эпитет. Одновременно я несколько самодовольно думаю о том, что никто лучше меня не изложил тему ностальгии и что я тонко ввел (в полностью выдуманном пассаже русского „Дара“) определенную тайную ноту: *прежде чем* некто действительно навсегда покинет эти аллеи и поля, чувство того, что никогда не вернешься, уже оказывается в них запечатленным. Я кроме того сознаю, пока медленно, слово за словом, диктую фразу „Федора“, что она обрадует и удивит В<еру>, поскольку обычно мне не удается устно выразить что-либо неординарное, если только я не запишу этого, и сверх того я вполне отдаю себе отчет в том, что эта метафорическая тень будущего, накрывающая каждую мысль Ф<едора> в его юности, простирается вспять в его душу (вместо того, чтобы лежать впереди, как это обычно свойственно будущему).

Следует пояснить, что около 25 лет тому назад, в Нью-Йорке, я обдумывал идею продолжения моего „Дара“, т. е. описание жизни Ф<едора> и З<ины> в Париже».⁵⁶

Набоков говорит здесь, во-первых, о «расширенном» «Даре», что соответствует его пометке на рукописи «Второго приложения», согласно которой в первый том помимо пяти глав романа должны были войти два приложения, и, во-вторых, о *продолжении романа* — описании жизни Федора и Зины в Париже, то есть именно о том, что составляет содержание нашей «розовой тетради» и что должно было, очевидно, составить второй том двухтомного «Дара». Он никоим образом не связывает этот замысел с «Solus Rex» или со своими парижскими сочинениями 1939—1940 годов. Поскольку до 1952 года «Дар» так

⁵⁵ Это предложение в оригинале написано по-русски.

⁵⁶ Vladimir Nabokov. Textures of time. A dream experiment. Publication, notes by G. Barabtarlo // Times Literary Supplement. October, 31, 2014. P. 14.

и не был издан отдельной книгой, Набоков, как мы беремся предположить, вынашивал мысль выпустить его в расширенном составе — вместе со второй частью и с двумя дополнениями к первой, второе из которых, о трудах отца и мимикрии, создавалось, возможно, в то время, когда он, вскоре по приезде в Америку, в продолжение осени и зимы 1940 года изучал бабочек в энтомологическом отделе Музея естественной истории, а затем — с сентября 1941 года — служил в Гарвардском музее сравнительной зоологии.⁵⁷ Бойд сообщает, что «Набоков никогда прежде не занимался сатиридами — семейством, к которому принадлежала пойманная им в июне 1941 года в Гранд-Каньоне редкая бабочка; ему пришлось засесть в лаборатории <Гарвардского музея> и пересмотреть их классификацию»⁵⁸. Случайно ли в тексте «Второго приложения» он описывает именно сатириду под ярким светом лампы: «...черные сатириды вдруг при ударе света заливаются блеском зеленых чернил...»⁵⁹?

Цельность набоковского замысла проявляется в результате реконструкции композиции двухчастного «Дара», в которой особенно важными представляются два обстоятельства: новое обращение Федора во «Втором приложении» к ученым трудам своего отца, книгу о котором он задумал (во второй главе романа), но так и не написал, и обрамляющая тексты пушкинская кода во «Втором приложении» и в «розовой тетради». Пушкинская тема в «Даре» крепко связана с фигурой Годунова-Чердынцева-старшего («С голосом Пушкина сливался голос отца» — с. 111). «Второе приложение», как и «розовая тетрадь» (и собственно «Дар»), заканчивается на пушкинской ноте и даже сходным с «розовой тетрадь» образом: звучит в темноте *голос отца*, обсуждающего с неведомым собеседником стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...». Таким образом, первый том должен был завершаться разговором о Пушкине отца героя с неизвестным гостем, а второй том — беседой о Пушкине самого героя с Кончеевым. В первом случае отец героя не соглашался с поэтом, а во втором Федор дописывает финал пушкинской «Русалки» и спрашивает своего собеседника: «Как вы думаете, *донесем, а?*»

Глубокий смысл этого вопроса раскрывается в рамках набоковского манифеста, выраженного самим продолжением пушкинской «Русалки»: сумеют ли немногие оставшиеся русские писатели сохранить преемственность с лучшими традициями русской литературы и донести «соловое русское слово» до будущих поколений?⁶⁰ В эссе «Определения» Набоков, говоря об эмигрантской литературе, как будто сам себе отвечает на него: «...чистотой своих замыслов, взыскательностью к себе, аскетической, жилистой силой она, несмотря на немно-

⁵⁷ См.: Брайан Бойд. Владимир Набоков. Американские годы. С. 32; 48, а также письмо Набокова к Вильсону от 16 июня 1942 года.

⁵⁸ Там же. С. 49.

⁵⁹ Владимир Набоков. Второе добавление к «Дару». С. 92. Еще один американский след: на с. 22 рукописи «Второго приложения» Набоков сначала написал «...с язвительными комментариями заслуженного биолога в американском „Zoological Review“», затем вычеркнул слово «американском» (Papers of Vladimir Nabokov / Manuscript Division. Library of Congress. Box 6. Folder 8).

⁶⁰ Сергей Давыдов, нисколько не преувеличивая, заметил, что «Возможно, никто другой, ни на родине, ни в эмиграции, так преданно не утверждал значение Пушкина, как Владимир Набоков» (S. Davydov. Nabokov and Pushkin // Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York: Garland, 1995. P. 482). Другим истинным «потомком Пушкина» был, конечно, Ходасевич. О литературной позиции Набокова как продолжателя пушкинской традиции и соратника Ходасевича см. нашу статью: Продолжение следует. Неизвестные стихи Набокова под маркой «Василий Шишковъ» // Звезда. 2012. № 7. С. 198—223.

численность первоклассных талантов <...> достойна своего прошлого». ⁶¹ Многозначительный вопрос Федора в художественной реальности романа обращен к Пушкину, а в собственной писательской реальности Набокова — к стихам «Вечер на пустыре» (1932), написанным на годовщину смерти отца (смерть отца и заочный диалог с ним — одна из нескольких главных тематических линий «Дара»), застреленного в Берлине 28 марта 1922 года. Следующие строки в нем, о поэтическом вдохновении («*Донести* тебя (курсив мой. — А. Б.), чуть запотелое / и такое трепетное, в целости / никогда так не хотелось мне...»), восходят к пушкинскому «Акафисту Екатерине Николаевне Карамзиной» (1827): «Земли достигнув наконец, / От бурь спасенный провиденьем, / Святой владычице пловец / Свой дар несет с благоговеньем». ⁶² Слова Пушкина о поэтическом даре противоречат его же стихам о случайности дара жизни «Дар напрасный, дар случайный...» (1828), с их разочарованным финалом: «Цели нет передо мною: / Сердце пусто, празден ум...», которые оспаривает Годунов-Чердынцев-старший в конце «Второго приложения», приводя знаменитый ответ митрополита Филарета: «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана...». Он говорит: «„Да, конечно, напрасно сказал: *случайный* и случайно сказал: *напрасный*, я тут заодно с духовенством, тем более что для всех растений и животных, с которыми мне приходилось сталкиваться, это безусловный и настоящий...“ Ожидаемого удара не последовало, голос, смеясь, ушел в темноту, но теперь я вдруг вспомнил заглавие книги». ⁶³

Последние слова «Второго приложения», как и пушкинский подтекст в вопросе Федора, возвращают читателя к «Дару»: перед тем как услышать отцовское замечание, Федор, юноша «лет четырнадцати», сидит на веранде «с какой-то книгой, — которую я, верно, тоже вспомню сейчас, когда все попадет в фокус» (повествование ведется от первого лица, как и в конспекте последних глав второй части романа). Он плохо понимает читаемое, «ибо книга была трудной и странной, и страницы казались перепутанными». ⁶⁴ Подобно сновидческой фразе о «великом будущем», отбрасывающем свет в прошлое героя, что Набоков записал четверть века спустя по завершению книги, в обратной временной перспективе романа эта концовка вновь вызывает в памяти слова Федора в третьей главе: «Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу» (с. 218).

Теперь все попадает в фокус, перепутанные страницы находят свой верный порядок: пушкинская линия и судьба Годунова-Чердынцева-старшего; трагическая смерть отца в жизни автора и в жизни его героя; поэтический отклик Набокова на это событие и пушкинский «Акафист»; вымышленная киргизская

⁶¹ Владимир Набоков. Воззвание о помощи. Определения. Публ., прим. А. Бабилова // Звезда. 2013. № 9. С. 119.

⁶² Долинин, отметивший пушкинский источник в вопросе Федора, полагает, что Кончеев не заметил его (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 288); на наш взгляд Кончеев, в образе которого немало черт пушкиниста Ходасевича, как раз обратил внимание на пушкинский подтекст, ведь Набоков не пишет, что он не понял вопроса, а что «он не совсем до конца понял» его. Ответ Кончеева/Кошчеева «Что ж. Все под немцем ходим» намекает на «конец всему» русскому в прямом смысле (в России «немец» долгое время было синонимом вообще «иностранца») — на возможную утрату природной русской речи будущими авторами, которым нечего будет нести «с благоговеньем», и в этом смысле попадает в точку.

⁶³ Владимир Набоков. Второе добавление к «Дару». С. 108.

⁶⁴ Там же. С. 107.

сказка о «сыне великого хана» (читай: князе) и «девушке в платье из рыбьей чешуи» (читай: русалке), которую рассказывал Федору отец (глава вторая), и сочиненное овдовевшим Федором окончание пушкинской «Русалки»; вновь обращенный к Пушкину замысел книги об отце, к которой герой оказался не готов во второй главе романа, и яркий очерк о нем и его трудах в позднем «Приложении»; искусство и естествознание во взаимных отражениях⁶⁵; еще только зреющее в будущем авторе выдающееся произведение в концовке первого тома и его полное и безупречное воплощение в уже прочитанной книге, заглавие которой возникает из пушкинской строки; точно определенный конец эпохи и надежда на сохранение и продолжение лучших традиций русской культуры в пушкинском финале второго тома.

6

После «Истинной жизни Севастьяна Найта» Набоков еще оставался русским писателем Сириным, пишущим невиданный новый «роман призрака», отложенный или вовсе отставленный с отъездом из Европы ради продолжения «Дара», однако в Новом Свете две эти неоконченные русские книги показались ему неосуществимыми. В письме к Вильсону от 29 апреля 1941 года он признался: «По-настоящему меня тревожит лишь одно: что кроме нескольких вороватых свиданий у меня не было регулярных сношений с моей русской музой, а я слишком стар, чтобы меняться конрадикально...»⁶⁶ Год спустя он написал Джеймсу Лафлину, что ему «предстоит работать над несколькими произведениями одновременно: новым английским романом, двумя рассказами, переводами для лекций, кое-какими русскими вещами и огромной научной

⁶⁵ В рукописи «Второго приложения» Пушкин оказывается связующим звеном между энтомологией и литературой в довольно неожиданном преломлении. На пятой странице сверху нам удалось разобрать нереализованную пометку Набокова: «NB найти пушкинскую рецензию на С<h>arl. Nodier». Речь идет, разумеется, о французском писателе, блестящем стилисте, филологе и ученом Шарле Нодье (1780—1844). Долгое время (с легкой руки Лернера) считалось, что Пушкину принадлежит напечатанная в 1830 году в «Литературной газете» Дельвига неподписанная рецензия на роман Нодье «История о Богемском короле и о семи его замках». Задумавшись о значении этой пометки для «Второго приложения» и для «Дара» в целом, я пришел к выводу, что она не могла быть ограничена лишь пушкинскими мотивами романа. Действительно, Нодье, как известно, был не только выдающимся писателем, но и значительным энтомологом, автором «Рассуждения о назначении усиков у насекомых и об их органе слуха» (1798) и «Энтомологической библиографии» (1801). Упоминание «пушкинской рецензии» показывает, что Набокову было важно связать писателя-энтомолога с именем Пушкина и подчеркнуть, что Нодье был в *одно и то же время прекрасным ученым и замечательным писателем*, что следует из текста второй части рецензии (которую Томашевский атрибутировал как принадлежащую О. М. Сомову), написанной в форме диалога: «...зачем он [Нодье] так часто приискивал по сотням эпитетов к одному слову <...>. Зачем он наполнил сряду девять страниц именами насекомых, как, напр., phalenes, noctues, bombyces, pyrales, zugenies [следует еще полдюжины названий бабочек, молей и других крылатых насекомых] и пр. и пр.». В конце концов собеседники, ломающие головы над загадками романа Нодье (в котором одно из имен рассказчика — *Теодор*), приходят к следующему:

«— Нам трудно будет согласиться.

— И мне так кажется. Со всем тем мы согласны уже в одном.

— В чем же?

— В необыкновенном таланте автора» (Цит. по: Н. О. Лернер. Из литературного наследия Пушкина. Новооткрытая статья // Русская старина. 1913. Т. 156. № 12. С. 540, 542).

⁶⁶ Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov — Wilson Letters. P. 50—51. Каламбур с именем Юзефа Теодора Конрада Коженёвского, родившегося в Российской империи поляка, ставшего известным английским писателем Джозефом Конрадом. Впоследствии Набоков не терпел сравнения с Конрадом, подчеркивая, что в отличие от него, писавшего только по-английски, он стал известен в равной мере и как русский и как англоязычный писатель.

статьей о бабочках...»⁶⁷ Под этими «несколькими вороватыми свиданиями» и «русскими вещами» он мог иметь в виду продолжение «Дара» и «Второе приложение» к нему. Его решение окончательно перейти на английский язык, то есть все же измениться «конрадикально», положило конец и более раннему замыслу «Solus Rex» и более позднему продолжению «Дара».

Итак, приведенные доводы и свидетельства дают нам веские основания полагать, что вторая часть «Дара» сочинялась Набоковым не зимой 1939—1940 годов в Париже, а в Америке, в промежутке с начала 1941 года (письмо к жене от 18 марта 1941 года; письмо Алданова от 14 апреля 1941 года, анахронизмы «розовой тетради», дневниковая запись Набокова от 11 ноября 1964 года) и, по-видимому, до осени 1941 года (по типично набоковскому неслучайному совпадению — ровно сто лет спустя после того, как Гоголь сочинял второй том «Мертвых душ»), когда он в конце октября сообщил Алданову: пишу «одновременно работу по мимикрии... и новый роман по-английски» и признался: «Со всем этим томит и терзает меня разлука с русским языком и по ночам — отрывка от англо-саксонской чечевицы».⁶⁸ Упоминание Фальтера на полях «розовой тетради» говорит о том, что ко времени создания этого текста Набоков уже оставил мысль закончить «Solus Rex» и решил использовать историю с Фальтером (который еще не был известен читателю, поскольку «Ultima Thule» не была напечатана до января 1942 года) для нового произведения — продолжения «Дара». Набоков отсылает «Ultima Thule» Алданову в самом конце октября или в ноябре 1941 года не в ответ на его письмо от 14 апреля этого года с напоминанием о данном обещании послать продолжение «Дара», а в ответ на его письмо, *написанное полгода спустя*, 22 октября 1941 года, в котором Алданов теперь просит Набокова прислать для журнала любое его прозаическое сочинение⁶⁹ — после чего Набоков и шлет ему все, что имеет завершленное из русских вещей — «Ultima Thule». Таким образом, самым верным оказывается предположение Брайана Бойда *о преемственности, а не единстве замыслов продолжения «Дара» и романа «Solus Rex»*, с тем существенным отличием, что не вторая часть «Дара» перешла в замысел «Solus Rex», а наоборот — история с Фальтером и смертью жены героя (писателя в «Даре», художника в «Solus Rex») была использована для набросков к продолжению романа. Должна ли была, по замыслу Набокова, войти в него также «островная» линия первого произведения, или же вторая часть романа должна была оставаться в реалистичном плане первой — «Дара», неизвестно. Одно несомненно, что вторая часть романа, при всем ее мрачном колорите настоящей трагедии, подхватывала и развивала темы и линии первой части, и не могла «решительно отличаться от всей <...> русской прозы» Набокова, как он писал о замысле «Solus Rex», «сожалея о незавершенности этого романа».⁷⁰

Вторая часть «Дара» — не единственный американский текст Набокова, посвященный последним парижским годам его жизни. Еще три его сочинения,

⁶⁷ Vladimir Nabokov. Selected Letters. P. 40.

⁶⁸ «Как редко теперь пишу по-русски...». С. 129. Не противоречит нашей гипотезе и техническая сторона работы Набокова в это время: Бойд указывает, что роман «Под знаком незаконнорожденных», начатый в 1941 году, Набоков писал тем же старым способом, последовательно, чернилами на отдельных листах бумаги или в тетрадях, и лишь значительно позднее перешел на библиотечные карточки и карандаш (см.: В. Boyd. Manuscripts // Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 342).

⁶⁹ «...Алданов 22 октября обращается к Набокову с просьбой: для русскоязычного журнала, издание которого в Америке можно считать делом решенным, очень нужна проза Набокова!» («Как редко теперь пишу по-русски...» С. 129).

⁷⁰ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 712.

не попадавшие до сих пор в поле зрения исследователей в связи с «розовой тетрадью», все в разных жанрах, касаются тех же тем, развивают те же образы. Первое — русское эссе «Определения» (подписанное: «В. Набоков-Сириин. Нью-Йорк, июнь 1940»), в котором он как бы отвечает людям «вроде Кострицкого»⁷¹, кратко и точно определяя сущность гитлеровского режима, затем обращается к теме эмигрантской литературы и к образу истинного писателя, а в начале описывает военный Париж («Машинально обкладывались бока памятников мешками с песком, машинально фонари превращались в синие ночники, машинально рабочие рыли убежище в сквере, где машинальный инвалид по-прежнему следил за тем, чтобы дети не делали ямок на дорожках»⁷²). Второе — английский рассказ «Что как-то раз в Алеппо...» (май 1943 года), в котором много общего с «розовой тетрадью» — и «затемненный» военный Париж (с «сухопарыми арками бульвара» и «альпийским журчаньем безлюдных писсуаров»)⁷³, и декорации Лазурного берега, куда переносится действие, и утрата жены, и тема измены, а главное, новое обращение к Пушкину, чьей судьбе герой-поэт невольно стремится подражать. Наконец, третье — одно из самых его значительных стихотворных произведений — «Парижская поэма» (1943), в которой мы находим многие мотивы и некоторые черты второй части «Дара» и входившей в ее состав «Русалки»: «князя», героя-писателя, одиночества («Не любил он ходить к человеку...»), парижских «блудниц», русский Парнас, «счастье черной воды» и «мертвый в омуте месяц» (в «Русалке»: «Скрылся месяц — все сокрылось, / Сестры, чу, река бурлит»; в поэме: «Чу! Под сводами черных аркад...»), ту же деталь парижских улиц: «писсуары за щитами своими журчат» в поэме и «барабаны / твоих уборных угловых» в стихах Федора в сценах свиданий с Ивонн, и даже, быть может, прозрачное указание на собственно «Дар»: «И распутать себя осторожно, как подарок, как чудо...» Претерпев сложную метаморфозу, парижское продолжение последнего русского романа Набокова отчасти нашло свое воплощение в его последней русской поэме.

7

Подобно тому как в «Даре» автор и его герой ведут заочный диалог с отцом, Набоков — с застреленным черносотенцами либералом и общественным деятелем, Федор — с пропавшим без вести ученым и путешественником, во второй части романа Набоков обращается к своему другу и единомышленнику Ходасевичу, вновь вовлекая в разговор своего литературного «отца» — Пушкина. Незадолго до смерти в июне 1939 года Ходасевич несколько раз отозвался в печати на публикацию глав «Дара», пронизательно заметив, что в нем «судя

⁷¹ Прототипом Кострицкого был, по-видимому, кембрижский приятель Набокова Михаил Калашников (см. также прим. 2 к тексту рукописи), с которым Набоков видался в Париже во второй половине 1930-х годов и которого в письме к Вильсону назвал «типичным русским фашистом», «черносотенцем и дураком» (письмо от 25 января 1947 года); вместе с тем этот персонаж представляет собой, очевидно, собирательный образ русского эмигранта профашистского толка, таких фигур как, например, идеолог русского фашизма в эмиграции Спасовский (Михаил Михайлович, как и Кострицкий), редактор нацистской газеты «Новое слово» В. Деспотули, презрительно отзывавшийся о Набокове, или А. Гарф, отчитавший Набокова за «антигерманскую пропаганду» в «Даре» и назвавший «„случай Сирина“ наиболее типичным и неприглядным», а литературные круги Парижа — «зловонным болотом» (А. Гарф. Литературные пленки // Новое слово. Берлин. 20 марта 1938).

⁷² Владимир Набоков. Воззвание о помощи. Определения. С. 118.

⁷³ Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. С. 603.

по всему, наиболее примечательна окажется композиция и <...> смысл можно будет уяснить не иначе как в связи с этой композицией».⁷⁴ Вскоре после переезда в Америку Набоков перевел на английский язык несколько стихотворений Ходасевича⁷⁵, — возможно, в то самое время, когда обдумывал продолжение «Дара». Завершением пушкинской «Русалки» Набоков отдает должное старшему поэту, названному им в эссе «О Ходасевиче», написанном на его смерть, «крупнейшим поэтом нашего времени, литературным потомком Пушкина»⁷⁶, поскольку именно Ходасевичу принадлежало завершение пушкинского наброска «В голубом эфира поле...» («Романс», 1924), о котором Кончеев и Федор вспоминают в конспекте последних глав второй части «Дара», и именно он много занимался пушкинским замыслом «Русалки» и обдумывал возможные варианты ее завершения. В 1924 году он напечатал в «Современных Записках» большую работу под названием «Русалка. Предположения и факты». В ней поэт и пушкинист задается вопросом: «Драма механически обрывается на первом моменте встречи с русалочкой. Каково должно быть дальнейшее течение событий?» — и в ходе разностороннего исследования, рассмотрев обстоятельства самого Пушкина и его сочинения, приходит к выводу, что «„Русалка“ должна была стать трагедией *возобновившейся любви к мертвой*...».⁷⁷ Далее, проведя параллели с «Янышем королевичем» из «Песен западных славян», Ходасевич заключает: «У русалки <...> есть готовый план мести. Каков он в точности, мы не знаем <...> Но несомненно, что дальнейшее течение драмы должно было содержать осуществление этого плана <...> Как именно развернулся бы далее сюжет „Русалки“ и чем бы закончился — сказать нельзя. Ясно одно: эта любовь к мстящему призраку, к „холодной и могучей“ русалке должна была привести князя к гибели».⁷⁸

Набоков в точности следует этому сценарию Ходасевича. Князь, встретив свою дочь, посланную завлечь его в Днепр, желает встречи с речной «царицей», и хотя в последнюю минуту, испугавшись, убегает, из заключительной песни русалок становится ясно, что он кончает с собой («тень качается в петле»), а значит, грозной Русалке удастся ее план мести. В опубликованном позднее варианте князь не убегает, а «исчезает в Днепре», и русалки поют о «туманном женихе», к которому склоняется «царица-Русалка / в своем терему».⁷⁹ Мы не можем, в свою очередь, сказать, должна ли была, по замыслу Набокова, смерть Зины возобновить любовь Федора к ней и привести его к такой потусторонней встрече, какая происходит в «Solus Rex» у Синеусова с женой в образе королевы Белинды (об этом ничего не сказано в «розовой тетради»), но несомненно, что написанное Федором окончание «Русалки» имело отношение к его собственной трагедии.

Намного менее очевиден и ожидаем другой важный источник продолжения «Дара», на этот раз из произведения литературного недруга Набокова Георгия Иванова. В пятой главе «Дара» повествователь так «по старинке» обращается к читателю: «Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес. Смотри: сначала сквозистые места...» (с. 370) Это обращение в романе, где главная героиня — русская литература, вызывает в памяти начало одного из рассказов «Записок

⁷⁴ В. Ходасевич. Книги и люди: «Современные Записки», кн. 64-ая // Возрождение. 1937. 15 октября. С. 9.

⁷⁵ New Directions in Prose and Poetry. Ed. by J. Laughlin. Norfolk, Conn., 1941. P. 569—600.

⁷⁶ Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 587.

⁷⁷ В. Ходасевич. «Русалка». Предположения и факты // Современные Записки. 1924. № XX. С. 345.

⁷⁸ Там же. С. 348.

⁷⁹ Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 443.

охотника» Тургенева, приглашающего полюбоваться окрестным пейзажем: «Дайте мне руку, любезный читатель, и поедemте вместе со мной». В своем завершении «Русалки» Набоков несколько иначе повторяет это обращение устами дочери, которая старается завлечь князя в реку: «Дай руку. Подойдем поближе. Видишь, / Играет рябь, нагнись, смотри на дно». Однако на этот раз обращение отсылает уже не к Тургеневу, а к «лирической поэме в прозе» (по определению Ходасевича⁸⁰) Иванова «Распад атома», в которой рассказчик, в финале кончающий с собой, то есть «распадающийся» подобно Фальтеру, схожим образом увлекает читателя в темный и жестокий мир всевозможных уродств и страданий: «Мы скользим пока по поверхности жизни <...> Видимость гармонии и порядка. Грязь, нежность, грусть. Сейчас мы нырнем. Дайте руку, неизвестный друг».⁸¹ Не мог Набоков не отметить впоследствии и другое совпадение: у Иванова герой вспоминает комнату, в которой он жил со своей возлюбленной, и лежащее на стуле «синее платье». В той же пятой главе «Дара» Федор вспоминает свое первое посещение квартиры Щеголевых, в которой он решил снять комнату лишь потому, что заметил в «комнате дочки» «голубоватое платье на стуле» (с. 408).

Небольшая книжка Георгия Иванова вышла в свет до публикации пятой главы «Дара», в самом начале 1938 года (окончена, по указанию автора, в феврале 1937 года), вызвав ряд резко отрицательных отзывов и обвинений в непристойности (что затем будет ожидать и набоковскую «Лолиту»), среди которых было и краткое резюме Набокова, данное им в 1940 году в рецензии на сборник статей «Литературный смотр»: «...эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха».⁸²

Однако, как бы ни была плоха, на взгляд Набокова, лирическая инвектива Иванова, сам ее разочарованный тон, отношение рассказчика, потерявшего жену или возлюбленную, к парижской действительности, натуралистические подробности, апеллирование к Пушкину (чьи строки о шумящей Арагве герой Иванова вспоминает, слушая шум парижских писсуаров), насыщенность литературными реминисценциями, а также некоторые образы оказались странно близки второй части «Дара».⁸³ Описание встречи с парижской проституткой у Иванова («Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги»⁸⁴) почти текстуально совпадает с эпизодами свиданий с Ивонн у Набокова. Переживая иллюзию близости с Ивонн, Федор спрашивает себя: «Как бы умножить ее? Отраженьями, переходами. Длить и откладывать», — а у Иванова схожим образом герой, описав «нежную детскую пятку» и «запрокинутый в подушках» «птичий профиль» своей уличной «Психеи», спрашивает: «Как еще глубже проникнуть в свое торжество, в суть вещей, чем еще ее ковырнуть, зацепить, расщепить?»⁸⁵ Само отрицание Федором в этих сценах с Ивонн

⁸⁰ Владислав Ходасевич. Собрание сочинений. В 4 т. М., Т. 2. 1996. С. 416.

⁸¹ Георгий Иванов. Распад атома. Париж, 1938. С. 19. Примечательно, что в «Распаде атома» Тургенев как будто неслучайно помянут в связи с этой протянутой писателем рукой: «Дантес убьет Пушкина, а Иван Сергеевич Тургенев вежливо пожмет руку Дантесу, и ничего, не отсохнет его рука» (с. 31).

⁸² Владимир Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 593.

⁸³ О возможном влиянии «Распада атома» на Набокова см. также: Андрей Арьев. Виссон. Георгий Иванов и Владимир Сирин: стихосфера // Звезда. 2006. № 2. С. 201—202.

⁸⁴ Георгий Иванов. Распад атома. С. 77.

⁸⁵ Там же. С. 80.

парижской действительности как низкопробной или вторичной, которой он противопоставляет свою свободу и волшебство случая, почерпнуто, как кажется, в «книжице» Иванова. «Яркий свет и толкотня кафэ, — пишет Иванов, — дают на минуту иллюзию свободы: ты увернулся, ты выскочил, гибель проплыла мимо. Не пожалев двадцати франков, можно пойти с бледной хорошенькой девчонкой, которая медленно проходит по тротуару и останавливается, встретив мужской взгляд. Если сейчас ей кивнуть — иллюзия уплотнится, окрепнет, порозовеет налетом жизни».⁸⁶ Так и Федор отмечает «призрачную бутафорскую „панель большого города“», отказывается видеть в Ивонн обычную «шуструю шлюшку» и, даже вступая с ней в связь, остается по ту сторону «общепринятой жизни». Как и герою «Распада атома», ему нужно «увернуться», «выскочить» из того набора заданных обстоятельств, который он называет «серией», но первому это не удастся, и он кончает с собой, а Федор, также потерявший родину и жену, также в чужом городе стоящий перед угрозой «конца всему», находит свое спасение в русской словесности: «Русская словесность, о русская словесность, ты опять спасаешь меня. Я отвел наваждение лубочной жизни посредством благородной пародии слова». Этим восклицанием о русской словесности, как и заключительным пушкинским вопросом к Кончееву, Набоков отвечает «потерянному человеку» Иванова, которого «захлестывает пустота», которому кажется, что его, по словам Ходасевича, «обмануло искусство»⁸⁷, кто недоволен Пушкиным («„Красуйся, град Петров, и стой“, — задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин, и в донжуанском списке кого только нет»⁸⁸) и кто, одиноко блуждая по Парижу, «бормочет про себя — Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?»⁸⁹ Разочарованию, распаду и «концу всего» Набоков противопоставляет свой дар, спасительное «русское слово» и продолжение пушкинской традиции на этих и других берегах.

Незадолго до смерти Набоков начал свою последнюю английскую книгу, о Лауре, недавно напечатанные наброски нескольких глав которой, случайно или нет, начинаются тем же образом, что и вторая часть его последнего незавершенного русского романа — с ответа героини на вопрос собеседника (причем в обоих случаях — русского) о роде занятий мужа — писателя в «Даре», ученого в «Лауре»:

«О, нет, — ответила Зина. — Книги, романы»;

«Ее муж, отвечала она, тоже в некотором роде писатель».⁹⁰

Во втором приложении к «Дару», как будто имея в виду свой последний русский роман и предвидя судьбу последнего английского, Набоков заметил: «Горечь прерванной жизни ничто перед горечью прерванной работы: вероятность загробного продления первой кажется бесконечной по сравнению с безнадежной недоконченностью второй. Там, быть может, она покажется вздором, но здесь она все-таки недописана; и что бы ни сулилось душе и как бы полно земные недоразумения ни были разъяснены, должно остаться легкое, смутное, как звездная пыль, зудение, даже если причина его исчезнет вместе с Землей».⁹¹

⁸⁶ Там же. С. 34.

⁸⁷ Владислав Ходасевич. Собрание сочинений. Т. 2. С. 417.

⁸⁸ Георгий Иванов. Распад атома. С. 75.

⁸⁹ Там же. С. 82.

⁹⁰ Владимир Набоков. Лаура и ее оригинал. Пер. Г. Барабтарло. Изд. 2-е. СПб., 2014. С. 33.

⁹¹ Владимир Набоков. Второе добавление к «Дару». С. 107.

Обе книги, русская и английская, остались «безнадёжно недоконченными», и этого уже никогда не изменить, но все его другие, счастливо завершённые сочинения на двух языках несут тот же общий узор, что и ранние его вещи и страницы его последних рукописей, и хотя бы отчасти дают возможность восполнить эти пробелы за чертой страницы и восстановить рисунок.

Текст продолжения «Дара» хранится в архиве Набокова в Вашингтоне (Nabokov Papers / Library of Congress. Writings, 1918—1964. Box 2. Folder 6). Краткое изложение содержания рукописи впервые появилось на страницах первого тома биографии Набокова, написанной Б. Бойдом (Brian Boyd. Vladimir Nabokov. The Russian Years, Princeton, N. J., 1990. P. 516—517; Брайан Бойд. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. М., СПб., 2001. С. 597—598). Несколько фрагментов рукописи были опубликованы в работе Дж. Грейсон (J. Grayson. Washington's Gift: Materials Pertaining to Nabokov's 'Gift' in the Library of Congress // Nabokov Studies. 1994. Vol. 1. P. 21—68; Дж. Грейсон. Метаморфозы «Дара» // Набоков: pro et contra. [Т. 1]. СПб., 1997. С. 590—635), затем в статье А. Долинина «Загадка недописанного романа» // Звезда. 1997. № 12. С. 215—224; вошла в книгу: Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 2004. С. 282—288.

Текст второй части «Дара» (37 страниц черновика без пагинации, считая с первой стороной обложки, линованная тетрадь, чернила) публикуется по нормам современного правописания с сохранением некоторых особенностей авторской манеры. Лакуны немногочисленны, конъектуры даны в угловых скобках. Восстановлена большая часть вычеркнутых фрагментов текста; имеющие смысловое или стилистическое значение варианты и отвергнутые фрагменты приводятся в подстрочных примечаниях.

Разрешению исследовать рукописи Набокова в американских архивах, доступ в которые в то время (десять лет тому назад) был строго ограничен, я обязан покойному Дмитрию Владимировичу Набокову, охотно и вдумчиво обсуждавшему со мной и сами тексты, и возможную будущую публикацию второй части «Дара». К великому сожалению, работа по подготовке типоскрипта «розовой тетради» была мною окончена уже после его смерти.

Я благодарен Джеймсу Пуллену, представляющему интересы «The Wylie Agency» за его любезное разрешение опубликовать этот архивный текст Набокова, и выражаю сердечную признательность Брайану Бойду и Стивену Блэквеллу за их замечания и помощь по прочтению в рукописи французских фраз и терминов.

ERRATUM

В № 1/2015 в статье Андрея Бабикова «Лица и маски в романе Набокова „Взгляни на арлекинов!“» на с.211, стр. 8—9 следует читать: «Роман „Взгляни на арлекинов!“ представляет собой зеркально, или, точнее, призматически преобразённые мемуары Набокова (его литературную биографию)...» — и далее по печатному тексту.

ДАР. II ЧАСТЬ¹

[1]

«О, нет, — ответила Зина. — Книги, романы».

Кострицкий² или вроде Кострицкого ухмыльнулся, показав розовую дыру вместо резца:

«Видите ли, жизнь у нашего брата так складывается, что русская книжка, как таковая, попадает не часто. Имя, конечно, слышал, но...»

Тут, разведя руками, он заодно потянулся к пепельнице³; основательно, аккурратно, даже с каким-то черным шиком обкусанные ногти говорили о долгих часах⁴ ужасного досуга.

«А дяде Борису я писал, и неоднократно.⁵ Между прочим, вот умница! Я всегда поражался, сколько этот человек знает, и как интересно, как внушительно... С вашей мамой зато я, к сожалению, не встречался.⁶ Да и вообще, все это было весьма и весьма давно. Работа у вас есть?»

«Какую же вы ищете работу?»⁷ — спросила Зина, усиленно стараясь побороть безразличие и заставить себя предложить ему чаю.⁸

¹ Рукопись на обложке тетради озаглавлена автором. Более поздняя карандашная приписка: «и Русалка».

² Этот персонаж (Михаил Михайлович) назван по имени русского писателя Михаила Дмитриевича Кострицкого (1887—после окт. 1941), путешественника, автора исторических и приключенческих книг. Известно, что в 1939 году Кострицкий жил в Фергане, в 1941 году был осужден Военным трибуналом войск НКВД (Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. Под ред. П. А. Николаева. Т. 3. М., 1994. С. 106). Совпадение имени и фамилии едва ли может быть случайным, поскольку избранный Кострицким псевдоним, М. Д. Ордынцев-Кострицкий, под которым он приобрел известность до революции, сближается с фамилией Федора Годунова-Чердынцева.

³ Вычеркнуто: «отряхнул папиросу».

⁴ Было: «годах».

⁵ Далее следовало: «Очень приятно будет, если переселится в Париж».

⁶ Вычеркнуты другие варианты: «с вашей матушкой, ее-то я вовсе не знаю или, может быть, мельком видел в детстве»; «Вот с вашей матушкой... позвольте, нет, кажется, ни разу не довелось встретиться, если мне память не изменяет, что к сожаленью [...]».

⁷ Вычеркнуто: «Вы давно безработный?»; «Так вы безработный <?>».

⁸ Вычеркнуто продолжение: «но таких встречаешь, должно быть, в часы мужского приема в желтом <кресле?> [...]». Далее Федор назовет его «сифилитическим прохвостом».

Он вдохнул последнюю порцию дыма и, испустив его, занялся истреблением окурка, причем все черты его страшно худого испитого лица⁹ исказились бессмысленным минутным напряжением.

«Всякую и всяческую, — сказал он. — Но это не важно. Есть у меня одна страсть и даже, если хотите, профессия. Это — политика. Кое-что я уже наладил, имеются у меня даже... ну не последователи, а, скажем скромно, единомышленники... Но увы, нет ни органа, ни помещенья, ни средств. Я дяде Борису писал об этом в Копенгаген, но — увы, оттуда ни ответа, ни привета, а чем это объяснить? В первую голову: халатность<ью>, жеманфишизмом¹⁰ русского человека, не понимающего, что без стальной поруки, без огня и меча (Кострицкий поднял кулак), мы в данную эпоху обречены на скотскую смерть. И вместе с тем, ведь — это парадоксально, но это так — ведь я знаю, что дядя Борис, будучи умным человеком, не может не понимать положения».

«Я хочу вас предупредить, — сказала Зина с той грозной веселостью, которая в таких случаях разыгрывалась в ней, — что я с моим вотчимом в прескверных отношениях и совершенно не выношу его идей и речей».

«Ах, да? — сказал Кострицкий. — Ну, знаете, это ваше частное дело. Я сам вот сколько уже лет с ним не видался, допускаю, что он мог очень измениться и перемениться за эти годы. Но меня огорчает, что, по вашим словам, ваш муж так далек от политики. Не представляю, как это возможно в наши дни».

Он замолчал и раза два птичьим тиком (у кого это было так?) натянул жилу на тощей шее, странно кривя рот. Темно-голубая, с зыпом¹¹, рубашка казалась ему широка, черный костюм лоснился, башмаки были в трещинках, но здорово вычищены.¹²

«Слушайте, хотите чаю?» — скороговоркой спросила Зина, уперев<шись> руками в диван, на котором сидела.

«Нет, не хочется.¹³ Но вот я спрошу вас. Вы недавно приехали из Германии. Вы наблюдали тамошний режим. Хорошо. Объясните мне, почему государственный строй самого чистого, я бы сказал идеального вида, т. <о> е. <сть> построенный на горячей любви к родине, на силе духа, на благополучии народа, вызывает в множестве русских, видящих и у себя дома и здесь во Франции лишь развал всего, индиф<ф>ерентизм, жульничество, социальную несправедливость, почему он, этот именно режим, вызывает в них дикую, животную ненависть? Почему это так? Нет, постойте. Не будем сейчас говорить таких страшных слов, как диктатура или антисемитизм — —»

«Но, кстати сказать, мой отец был еврей»¹⁴, — звонко вставила Зина.

«Тем более. Оставим все это в стороне. Я сейчас не хочу вдаваться ни в какие оценки, мне просто интересно выяснить, почему так происходит, что мы вечно склон<ны> силе предпочесть любую размазную, а патриотизму — любые интернациональные¹⁵ бредни?»

⁹ Вычеркнуто продолжение: «в серых симметричных пятнах — брился таким он, видимо [...]».

¹⁰ Наплевательство, равнодушие (от *фр.* je m'en-fichisme). Ср. у А. Белого: «...он любил шансонетку, вино и хорошеньких дам и плевал на все прочее; в „жеманфишизм“ вложил пузо, как в кресло...» («Между двух революций», 1934).

¹¹ Застежка-молния (от *анг.* zip). Зачеркнуто: «с молнией».

¹² Вычеркнуто продолжение: «ничем, кроме быть может широкой переносицы да формой глаз он не был <похож на Шеголева?>».

¹³ Ранние, зачеркнутые варианты этого места: «Слушайте, хотите чаю? — Спасибо, не откажусь. Если только вас не затруднит... что ж, пожалуй, чашечку выпью, хотя, честно говоря, я предпочел бы просто стакан воды или вина или чего-нибудь такого. — Погодите, у меня там чайник кипит».

¹⁴ Было: «я еврейка».

¹⁵ Было: «масонские».

«Слушайте, — крикнула Зина, — ведь это сплошной вздор. Как можно на это ответить?»

«А я вот сейчас отвечу — —»

«Но вы исходите из того — —»

«Нет, позвольте, отвечу. Отвечу так. Хорош ли сам фюрер или не хорош, совершенно не важно: решит история; важно, и весьма даже важно то, что мы, по врожденной интеллигентской трусости и критиканству, физически не можем переварить какой бы то ни было конкретный строй, основанный на силе и чести. Мы боимся силы, какую бы она ни была. Добрая или злая. И моя политическая мечта — это заставить людей через огонь и меч переродиться, закалиться, так сказать, и увидеть в силе друга, а не врага».

«Боже, какая чушь», — повторила Зина.

«Докажите», — сказал Кострицкий и закачал ногой.

Она застонала, выбирая какое-нибудь слово побольнее да попроще, но он уже продолжал.

«Вы меня все-таки¹⁶ не возненавидьте, Зинаида... Марковна...¹⁷ Я частной ненависти не хочу. Пришел тип с улицы, назвался свожком и стал говорить страшные вещи. Понимаю. Но я-то сам, видите ли, слабый, очень больной. У кого это, вот вы литературная дам<a>, у Чехова, что ли, написано: „У меня внутри перламутровое чувство“? Переливается и мутит. Словом, язвочка желудка.¹⁸ И масса личных огорчений! Ну да все равно. Вы сколько платите за эту квартиру¹⁹?»

«Недорого, около тысячи», — ответила Зина и вздохнула.

«Мебель — ваша», — определил он и вздохнул тоже.

Донесся знакомый раздраженный звук туговатого ключика. Зина, сидящая почти против растворенной двери, слегка наклонила голову на сторону, чтобы лучше увидеть через этот проем крошечную прихожую. Дверь на лестницу и мокрый макинтош мужа.

«У нас гость», — крикнула она с напускной оживленностью.

«Ага», — не сра<зу> откликнулся князь²⁰ из прихожей, и по его тону и по тому, как он, как бы заслонясь²¹ собственной спиной, медлительно и злобно казнил повешеньем артачливое пальто, Зина поняла, что он пришел домой в одном из тех настроений, когда он мог нагрубить.

Он²² вошел, щурясь и приподымая плечи и уже полезая за папиросницей. Каков бы он ни был в молодые годы²³, это был теперь крупный, чуть что не дородный, сорокалетний мужчина с густыми, жесткими, коротко остриженными волосами и шероховатой розовостью на шее и на щеках. Тяжелый, рассеянный,

¹⁶ Вычеркнуто каламбурно-фамильярное: «кузиночка».

¹⁷ Ошибка Кострицкого: имя ее отца, как известно из третьей главы «Дара», Оскар Григорьевич Мерц (умер в Берлине от грудной жабы, когда Зине было пятнадцать лет, за четыре года до ее знакомства с Федором Годуновым-Чердынцевым). Это отчество в романе носит другой персонаж, Любовь Марковна, одинокая пожилая дама в пенсне, частая посетительница литературных салонов.

¹⁸ Вычеркнуто: «А когда так мутит, это значит рак? Уже два раза меня резали».

¹⁹ Было: «эти две комнаты».

²⁰ Зачеркнуто: «Годунов-Чер<дынцев>» и «муж», над которым написано «князь». Грейсон полагает, что слово «князь» вычеркнуто, однако так может показаться оттого, что оно написано поверх другого слова («ответил?»).

²¹ Было: «довольно долго».

²² Вычеркнуто: «Годунов-Чердынцев», «Князь».

²³ Долинин выбрал предыдущий, исправленный Набоковым вариант: «в молодости» (Александр Долинин. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. С. 282).

по-волчьему переливчатый и уклончивый блеск в темных глазах, странно натянутая кожа лба, диковатая белизна зубов и горб тонкокрылого носа, а, главное, общее выражение усиления, надменности и какой-то насмешливой печали, — обыкновенно производили впечатление почти отталкивающее на свежего человека и особенно почему-то на таких, кто был без ума от его книг, от его дара.²⁴ В его облике находили что-то старомодное, крамольно-боярское в грубом забытом смысле²⁵, и в совмещении с силой его движений, с писательской сутуловатостью, с неряшливостью одежды, с легкой поступью, которую можно было бы назвать спортивной, если бы это слово не спорило с угрюмой русскостью его лица, эта его осанка была тоже с первого взгляда неприятна и даже несносна.

«...Что-то вроде моего кузена, — пояснила Зина. — Племянник Бориса Ивановича. Простите, я не совсем поняла вашу фамилию. Кострицкий?»

«Так точно, — сказал Кострицкий. — Михал Михалыч».

Пожав гостю руку, Федор Константинович сел, закурил, искоса взглянул на полурастворенное окно, за которым летний²⁶ день вечерел и растворялся в дождь и облака²⁷, а ветер возился с резиновой зеленью кленов.

«Господин Кострицкий думал, что ты пишешь политические статьи во французских газетах», — сказала Зина.

«Да, я уже слышал эту легенду», — медленно и без улыбки проговорил Федор Константинович.

«У нас был сильно-политический разговор», — добавила она.

«Позвольте-ка все-таки раз~~обратиться?~~», — обратился Федор Константинович к Кострицкому. — Ведь я вас где-то видел. На каком-то собрании. И слышал».

«Возможно, я последнее время выступал довольно часто. Может быть, у „Независимых“?»²⁸

«Не знаю. Вы говорили громко. Это все, что помню».²⁹

«Но вы не совсем справедливы, Зинаида Марковна. Напротив, я очень осторожен. Я подчеркивал, видите ли, что никаких оценок не делаю. Мой тезис

²⁴ Было: «демонского дара».

²⁵ В. В. Виноградов отмечает, что уже «в 30-е годы XIX в. слово *крамола* воспринимается как архаизм. Но в начале XIX в. *крамола*, *крамольный*, *крамольник* еще довольно широко употреблялись в стилях стихотворного языка и в исторической беллетристике» (История слов. М., 1999. С. 253). Говоря о «крамольно-боярском» облике Федора (уже названного князем), Набоков, конечно, подразумевает историко-литературные коннотации его фамилии и проводит линию от своего героя к Пушкину, вложившему в уста Царя в «Борисе Годунове» (сын Годунова — царевич *Феодор*) такие слова: «Противен мне род Пушкиных мятежный...» Грубый забытый смысл определения раскрывается в пушкинских выражениях «упрямства дух» и «крови спесь» («Моя родословная»), сказанных им в адрес предков, которым пришлось «смирить крамолу и коварство». Далее, в сценах с Ивонн, это определение Федора получает развитие и отчасти объяснение в его самохарактеристике как «изгнанника и заговорщика» в «популярной» или «вторичной» реальности.

²⁶ Зачеркнуто: «август~~овский~~», «сентябрьский».

²⁷ Возможно, параллель к концовке «Дара»: «завтрашние облака».

²⁸ Вероятно, имеется в виду основанная А. Н. Барановым «Свободная трибуна в эмиграции» — популярные в Париже в 1935—1939 годах собрания под лозунгом «за веру, царя и отечество», на которых обсуждались политические и общественные темы (например: «Еврейский вопрос (Евреи в дореволюционной России; в период революции; в СССР и в эмиграции)», 13 февраля 1938 года; «Беженские вожди», 3 марта 1939 года и т. п.). Газета «Возрождение» печатала анонсы и отчеты этих собраний.

²⁹ Нельзя сказать с уверенностью, что следующая после слова «Независимых» реплика не вычеркнута. Далее вычеркнуто продолжение: «Мысли у него тоже довольно громкие, — просто сердито [sic!] сказала Зина. — По крайней мере, для моего слуха». Сейчас он нес страшную дичь. Михал Михалыч считает, сказала Зина, что в Германии [...]. О том, что у Гитлера рай, идеальный режим».

прост: прежде всего для правильного подхода к пониманию современных эволюций власти человеку русскому, рыхлому, мечтательному, интеллигенту, надо переключиться, отказаться совершенно от всех предпосылок его закоснелых симпатий и антипатий, и тогда, только тогда спросить себя, нет ли в том³⁰ выражении народной и индивидуальной силы, которую он априори так презирал, нечто [sic!] благотворное, нечто истинное и тем самым спасительное в отношении к русскому делу, единственное, может быть, спасение из хаоса коммунизма, социализма и парламентаризма».

«Спасайся кто может, — небрежно проговорил Федор Константинович. — Скажи-ка, Зина, на кухне есть молоко³¹?»

«Да, кажется»,³² — ответила она испуганно.

Он встал и ушел на кухню. Через минуту:

«Зина, — позвал он. — Иди-ка сюда».

«Простите, пожалуйста», — обратилась она к Кострицкому, и той же скользкой, голенастой походкой, которая у нее была пятнадцать лет тому назад, и так же сгибаемая узкую спину³³, пошла к мужу: «Что тебе?»

Он стоял с расстегнутым воротом, комкая галстук в руке, у кухонного стола³⁴:

«Я прихожу домой, — сказал он вполголоса, — после мерзкого дня у мерзких кино-торгашей³⁵, я собирался сесть писать, я мечтал, что сяду писать, а вместо этого нахожу этого сифилитического прохвоста³⁶, которого ленивый³⁷ с лестницы не шугал³⁸».

«Федя, что с тобой, успокойся, — зашептала она. — Он сам скоро уйдет».

«Не скоро, а сию минуту. У нас одна комната, и мне негде спрятаться, но, Зина, я просто уйду, если ты его тотчас не уберешь».

«Но я же не могу прогнать человека. Перестань, Федя. Возьми себя в руки. И вообще это не моя вина, я ни при чем, скажи ему сам. Я даже очень прошу тебя. Потому что я вовсе не хочу сидеть и выслушивать его пошлей<шие> гадости, хотя он страшно жалкий и совершенно ме<р>твый. Послушай, Федя...»

Он опять застегнул воротник и, сильно двигая плеча<ми>, ушел в прихожую. Затем хлопнула дверь.

³⁰ Было: «фашизме».

³¹ Было: «простокваша».

³² Было: «Я принесу. Может быть, и вы [...]».

³³ Отсылка к третьей главе «Дара»: «Ее бледные волосы, светло и незаметно переходившие в солнечный воздух вокруг головы, голубая жилка на виске, другая, — на длинной и нежной шее, тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного станна...» (Владимир Набоков. Дар. Анн Арбор, 1975. С. 200. Далее цитаты из романа приводятся по этому изданию).

³⁴ Вычеркнуты варианты продолжения: «и лицо его выражало мальчишеская [sic] было ужасно» (вероятно, изначально было: «его мальчишеское лицо выражало», затем: «его лицо было ужасно»).

³⁵ Написано над невычеркнутым словом «кинематографистов». В письме к жене из Парижа (почтовый штамп 13 февраля 1936 года) Набоков сообщал: «Пишу *четыре*, нет, даже *пять* сценариев для Шифр.<ина> — причем мы с Дастакианом на днях пойдем регистрировать их — против кражи» (цит. по: А. Бабиков. Примечания // Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008. С. 547). В 1936—1937 годах Набоков написал в Париже несколько сценариев для кино (упомянутый в письме Семен Шифрин был известным кинопродюсером Парижа), ни один из которых не был воплощен, и встречался в Лондоне с актером и режиссером Фрицем Кортнером, намеревавшимся экранизировать «Камеру обскуру».

³⁶ Вычеркнуто продолжение: «стоеросого [sic!] пошляка».

³⁷ Можно разобрать вычеркнутые варианты имен: «Тосеин», «Терентьев» и слова: «от которого воняет», «который, который... И...».

³⁸ Зачеркнуто: «Чтоб духа его не было».

Она вернулась к гостю, все более сердясь на Федора и с ужасом воображая, что какое-нибудь слово могло допрыгнуть, но тот, стоя у окна, с непритворным вниманием просматривал газету, оставленную Федором Константиновичем³⁹.

«У мужа голова разболелась, — сказала она, улыбаясь. — Он пошел в аптеку».

«А я у вас засиделся, — сказал Кострицкий. — Вот один из моих любимых каторжников, — добавил он, указывая на славное лицо какого-то министра или депутата и складывая опять газету. — Слушайте, у меня к вам маленькая просьба. Так сказать, по семейному праву. (Опять сбоку мелькнула затянута прозрачной пленкой слюны⁴⁰ розовая дыра.) Хочу вас, кузина, подковать на десять франчей — с обязательной отдачей послезавтра».

«У меня только семь с сантимами, — сказала она, быстро порывшись в сумке. — Хватит?»⁴¹

«Мерси, — сказал Кострицкий. — Шляпы, кажется, не было. Был портфель. Вот он. Я как-нибудь вечером приглашу вас с мужем в кафе, и мы потолкуем по-настоящему».

[2]

<Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»>⁴²

Князь

Откуда ты, прекрасное дитя?⁴³

Дочь

Из терема.

Князь

Где ж терем твой, беглянка?

³⁹ Последние три слова были вычеркнуты, затем возвращены путем подчеркивания волнистой линией.

⁴⁰ У Набокова: «слуни».

⁴¹ Вычеркнуто продолжение: «Нет, одну секунду... ведь завтра нужно... Погодите... Ах, все равно, еще есть у меня автобусные шесть с полтиной... Ах, знаете что, можете все взять, у мужа есть, я завтра утром достану». Здесь важная пророческая деталь (как затем о шоферах, играющих в кости) — о деньгах на автобус, имеющая отношение к смерти Зины, которая погибла под колесами автомобиля, сойдя с автобуса.

⁴² Сохранился черновик первой редакции этой сцены на отдельных листах (Papers of Vladimir Nabokov / Manuscript Division. Library of Congress. Box. 13. Folder 29), на котором Набоков попытался воспроизвести пушкинский росчерк. В нем намечены два финала: по одному князь убегает, по другому «бросается в Днепр». В измененном виде и с другой развязкой (князь «исчезает в Днепре») заключительная сцена к пушкинской «Русалке» была опубликована Набоковым в «Новом журнале» (1942. № 2. С. 181—184). Этот текст завершается шутиливой ремаркой: «Пушкин пожимает плечами».

⁴³ Слова из монолога Князя, на которых обрывается пушкинский текст. Приведем его заключительную часть:

Печальные, печальные мечты
 Вчерашняя мне встреча оживила.
 Отец несчастный! как ужасен он!
 Авось опять его сегодня встречу,
 И согласится он оставить лес
 И к нам переселиться...

Русалочка выходит на берег.

Что я вижу!
 Откуда ты, прекрасное дитя?

Дочь

Где ж быть ему?
На дне речном, конечно.

Князь

Вот так мы в детстве тщимся бытие
Сравнять мечтой с каким-то миром тайным.
Как звать тебя?

Дочь

Русалочкой зови.

Князь

В причудливом ты, вижу, мастерица.
На, поиграй деньгою золотой.

Дочь

Я деду отнесу.

Князь

А кто ж твой дед?

Дочь

Кто? Ворон.

Князь

Будет лепетать... Ступай.
Да что ж ты смотришь на меня так кротко?
Нет, опусти глаза! Не может быть.
Должно быть, я обманут тенью листьев,
Игрой луны прозрачной; мать твоя
В сосновой роще ягоду собирала
И к ночи заблудилась. Я прошу,
Признайся мне... Ты дочка рыбака,
Должно быть, — да,
Он заждался, тебя он, верно, кличет.
Поди к нему...

Дочь

Вот я пришла, отец.

Князь

Ты наважденье...

Дочь

Полно, ты не бойся.
Потешь меня. Мне говорила мать,
Что ты прекрасен, ласков и отважен.
Восьмой уж год скучаю без отца,
А наши дни вместительнее ваших
И медленнее кровь у нас течет.

В младенчестве я все на дне сидела,
И вокруг остановившиеся рыбки
Дышали и глядели. А теперь
Я часто выхожу на этот берег
И рву цветы ночные
Для матери: она у нас царица,
«Но, говорит, в русалку обратись,
Я все люблю его, все улыбаюсь⁴⁴,
Как в оны дни, когда на св<иста зов?>⁴⁵,
К нему, закутавшись в платок, спешила
За мельницу...»

Князь

Да, этот голос милый
Мне памятен, и вздох ее, и ночь...

Дочь

Отец, не хмурься, расскажи мне сказку.
Земных забав хочу я⁴⁶. Научи
Свивать венки, а я зато... Ах, знаю, —
Дай руку. Подойдем поближе. Видишь,
Играет рябь, нагнись, смотри на дно.

Князь

Ее глаза сквозь воду тихо светят,
Дрожащие ко мне струятся руки.⁴⁷
Веди меня в свой терем, дочь моя.
(<Шагнул?> к реке.)
О, смерть моя!⁴⁸ Сгинь, страшная малютка!
(Убегает)

Русалки

Любо нам порой nocturno
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Вись речную разрезать.⁴⁹

Одна

Между месяцем и нами
Кто там ходит по земле?

Другая

Нет, под темными ветвями
Тень качается в петле.⁵⁰

⁴⁴ Было: «трепещу». Развитие пушкинского текста: «Русалка. И если спросит он, / Забыла ль его иль нет, скажи, / Что все его я помню и люблю / И жду к себе».

⁴⁵ Вычеркнуто: «земною девой». Ср. в «Русалке» Пушкина: «Им вольно бедных девушек учить, / С полуночи на свист их подниматься...»

⁴⁶ Было: «О, будь со мною нежен!»

⁴⁷ Вычеркнута реплика: «Дочь. Иди же к ней, отец».

⁴⁸ Было: «Чур, чур меня...»

⁴⁹ Песня русалок у Пушкина, отсутствующая у Набокова в опубликованном тексте.

⁵⁰ У Пушкина: «Одна. Тише, тише! под кустами / Что-то кроется во мгле. Другая. Между месяцем и нами / Кто-то ходит по земле».

Третья

Кушаком да сапогами
 Это ветер шевелит,
 Скрылся месяц — все сокрылось,
 Сестры, чу, река бурлит.

Все

Это гневная царица,
 Не дождавшись мертвеца,
 Лютой мукой дочку мучит,
 Упустившую отца.

[3]

Какая она изящная, жалкая, и что у нее один любовник за другим, и все бедняки.⁵¹

[...]

«Ах ты, Боже мой, Феденька, не нужно, — говорила она тихо и с какой-то рассеянной [машинальной, увещательной]⁵² <интонацией>, как бы думая о чем-то другом, но тоже незначительном, — ну, право же».

*Встречи с Колет<т>*⁵³

Все в ней — ударило, рвануло,
 До самой глубины прожгло,

⁵¹ Эта запись относится, очевидно, к Ивонн. На полях чуть ниже написано и подчеркнуто: «Таня». Имя указывает на живущую в Париже сестру Федора Годунова-Чердынцева, о которой известно из пятой главы «Дара», что у нее есть дочь («Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя». С. 391); она также является героиней рассказа «Круг» (1934).

⁵² Квадратные скобки принадлежат Набокову.

⁵³ Грейсон прочитала эти слова в рукописи как «Встреча и Полёт», приняв «сь» за союз «и»; Долинин исправил ошибку, пояснив, что таким у Набокова первоначально было имя проститутки Ивонн (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 287). Действительно, далее в двух местах рукописи можно разобрать перечеркнутые «Colette» и «Колеть», над которыми написано «Ivonne» и «Ивонн» — имя, возникшее после того как Набоков придумал созвучие «Ивонн — Иван» (в более поздней вставке). Вероятно, Грейсон ввело в заблуждение, что второе слово ясно читается с начальной «П» и одним «т» на конце: «Полеть» (Набоков писал букву «ё» без умлаута), тогда как имя Colette в русской транскрипции пишется с двумя «т», как его пишет и сам Набоков в «Других берегах» (в этом автобиографическом романе его носит французская девочка, в которую юный Набоков влюбился на пляже Биаррица). Однако поскольку в рукописи Набоков иногда писал «к» как «п» и поскольку нигде третье имя для этого персонажа не указывается, мы полагаем, что здесь у него описка и это слово следует читать: «Колет<т>».

(По мнению редакции, замена в тексте Набокова «П» на «К» в имени «Полет» — непозволительная вольность. «Paulette» по-французски означает «маленькая», «крошка», что вполне подходит к характеристике намеченного автором персонажа. Если оно позже изменено на «Колет», то это все, что в данном случае нужно сказать. *Ред.*)

Все по пути перевернуло⁵⁴,
Еще глагольное на гла⁵⁵,
На гладком и прямоугольном,
На чем? На фоне мглы моей.

Он обернулся и она обернулась.⁵⁶ Он сделал шесть шагов к ней, она три шага, такой танец, и оба остановились. Молчание.

Прямой и прозрачный уровень ее глаз приходился ему по узел галстука.

«Сколько же?» — спросил Федор Константинович.

Она ответила коротко и бойко⁵⁷, и, слушая эхо цифры, он успел подумать: сто⁵⁸ франков — игра слов, увлекается⁵⁹ — и рифма на копые под окном королевы. И я ответил: «многовато», хоть дал бы арматы золота, хоть знал, что жизнью заплачу, коль надобно, — а получу.⁶⁰ Уже отворачиваясь — только угол глаза, сейчас, и он <она?> уйдет, ясно произнесла: «Eh, bien, tant pis!»⁶¹ — так учительница музыки заставляла ударить пальчиком-молоточком, когда я клавишамкал.

Как только уступил, она двинулась, быстро и тесно перебирая каблучками, и панель сразу стала страшно узкой и неудобной, и потом, тронув Федора Константиновича за локоть, она повела его наискось через улицу, — поводыренки и громадный, угрюмый, ликующий, грозный слепец. Удобства жизни: прямо с улицы дверь, желтенькая прихожая с загородкой, кивнула служащему, номер двенадцать, — и под завет<н>ый звук длинного звонка

[...]⁶²

Поднялась по крутой лестнице⁶³, вертя узким, проворным, откровенным задком.

⁵⁴ Вычеркнут другой вариант строки: «<влетело?> и выбило стекло».

⁵⁵ Схожий ряд глаголов в той же грамматической форме и со схожим ритмическим рисунком находим в четвертой части цикла Ходасевича «У моря» (из сборника «Европейская ночь», 1927), ср.: «Вот тогда-то и подхватило, / Одурманило, понесло, / Затуманило, закрутило, / Перекинуло, подняло...» Описанию неожиданного поэтического порыва, которым посвящены эти строки Ходасевича (как и его «Баллада», 1921), отвечает в «Даре» эпизод (глава первая), в котором Федор на вечерней улице сочиняет «Благодарю тебя, отчизна...», причем в романе используется схожий глагольный ряд: «столкнуло», «прокатилось», «полетело». К этим же стихам Ходасевича Набоков, по-видимому, обращается также в конце наброска сцены с Ивонн в стихах «И мимо столиков железных...».

⁵⁶ Вычеркнуто другое начало: «Он обернулся, <она> совсем повернулась, обернулась, полувернулась».

⁵⁷ Вычеркнуто после этого: «Сто монет».

⁵⁸ Нельзя сказать, оставлено это слово («сто» по-французски «cent») или вычеркнуто. В «Лолите»: «Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица — сушая птица!): „Cent“» (I, 6). Описания свиданий Годунова-Чердынцева с Ивонн в измененном виде, но с сохранением многих деталей (вплоть до тех же французских фраз с той же интонацией), вошли в первую часть «Лолиты», где Гумберт Гумберт рассказывает о своих свиданиях с молодой французской проституткой Моникой в Париже (в «Лолите» также речь идет о «Париже тридцатых годов», I, 5). Долинин, однако, считает, что «в русской версии „Лолиты“ нарративная часть эпизода почти полностью лишена стилистических и лексических совпадений с черновыми набросками „Встреч с Колет“» (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 293).

⁵⁹ Вычеркнуто: «„Закусил удила“ по-французски».

⁶⁰ Ср. в «Волшебнике»: «И за все это, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно...» (В. Набоков. Собрание сочинений русского периода. Т. 5. С. 51).

⁶¹ Ну ладно, ничего не поделаешь! (*фр.*)

⁶² На странице оставлено место для одной-двух строк.

⁶³ Возможно, это предложение, написанное отдельно внизу страницы, — альтернативный вариант, так как до этого сказано, что дверь в комнату вела прямо с улицы. Ср. в «Лолите»: «Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице...» (I, 6).

«La vie parisienne», но без шляпной картонки.⁶⁴

Честно обменялись именами: «Ivonne. Et toi?»⁶⁵ — «Иван».⁶⁶

Такая комната. Видавшее виды зеркало и несвежая, но прилежно выглаженная простыня — все как следует — и рукомойник с волоском и монументальный подмывальник.

Пародия горничной получила за номер да на чай, и, переходя к ней, деньги обращались тоже в подделку, в жетоны домашних игр, в шоколадные монеты. Enfin seuls.⁶⁷

Легкая, маленькая, с блестящей черной головой, прелестные зеленоватые глаза, ямки, грязные ногти — это дикое везенье, это совершенное счастье, не могу, я буду рыдать.

«Ты прав, — сказала она. — Я неряшлива».⁶⁸

И принялась, напевая, мыть руки. Напевая и кланяясь, взяла ассигнацию.

И так хотелось жить, чтоб звука не роняя...⁶⁹

Все-таки осторожно: как писал смуглый подросток, г. Брокгауз, он же пятнадцатилетний Эфрон⁷⁰, — на коленях, в углу кабинета.

Перехитрить или все равно?⁷¹

«Ты молода и будешь молода...»⁷²

Замечая, предвидя, уваживая и уважая его нежность, она спросила, снять ли краску с губ?⁷³ Впрочем, это случилось при втором свидании. В первый раз было не до того.

«Какая же ты хорошенькая!»⁷⁴

Серьезно и вежливо поблагодарила за предисловие, загибая, завертывая книзу, к щиколоткам, паутину чулок.⁷⁵ Ее тоненькая спина и мутный курсив, раздираемый чернью, отразились в зеркале.

Невероятность того, что это громадное, плотное, слепое — не знаю, как назвать, — счастье, мука, аллея в далекой юности, — может втесниться в этом маленьком теле. Я сейчас умру. Выжил — но с каким стоном!⁷⁶

Пауза. Комментируя деталь происшедшего, она сказала со смешком:

«Ну и смышлен (malin) был тот, кто изобрел этот фокус (ce truc-là)».⁷⁷

⁶⁴ «Парижская жизнь» (1866) — оперетта Жака Оффенбаха, сюжет которой строится на обмане богатой шведской четы, приехавшей в Париж.

⁶⁵ Ивонн. А ты? (фр.)

⁶⁶ Эта строка написана на другой странице, но знаком перенесена в это место.

⁶⁷ Наконец одни (фр.) Ниже на полях: «восемнадцать лет?»

⁶⁸ В «Лолите»: «Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь, „Oui, ce n'est pas bien“, и пошла было к рукомойнику...» (I, 6) Эта деталь — грязные ногти, повторенная в «Лолите», может указывать на помощь Ивонн отцу-садовнику, упомянутому во второй части «Дара», но не в «Лолите».

⁶⁹ Из стихотворения Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» (1877).

⁷⁰ В 1889 году И. А. Ефрон основал акционерное издательское общество «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон», выпускавшее крупные русскоязычные энциклопедии.

⁷¹ Вычеркнуто после этого: «Все равно».

⁷² Из «Каменного гостя» Пушкина.

⁷³ В «Лолите»: «...захотела узнать, не стереть ли ей <...> слой краски с губ...» (I, 6)

⁷⁴ В «Лолите»: «Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая...» (I, 6)

⁷⁵ Далее следовало вычеркнутое продолжение: «Чтобы не изодрались. Объяснила, что так делает после того, как гип изодрал сапогами — ненужный образ».

⁷⁶ В этом месте можно разобрать несколько густо вымаранных фраз к другим вариантам: «Смерть последовала от разрыва сердца»; «я сейчас умру от разрыва сердца!»; «и в общем несуществующая подушка»; «подушка опять вошла в фокус».

⁷⁷ В «Лолите»: «Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là» («Хитер был тот, кто изобрел этот фокус». I, 6).

Она не спешила одеться, и, слушая ручную музыку, поднимавшуюся с улицы⁷⁸, стояла голая между стеклом и вялой, грязной кисейной занавеской, ступня на ступне, сквозя в желто-серой кисее.⁷⁹

Für die Reine alles is<t> Rein.⁸⁰

Между тем, он присел на непочатый край обманутой постели и стал надевать удобные родные башмаки: на левом шнурки не были развязаны.

Когда вышли и расстались, сразу повернула в магазин. Весело: «Je vais m'acheter des bas!»⁸¹ — которое произнесла почти как «бо» — из-за аппетитного предвкушения.

[Второе свидание. Приезжала дважды в неделю из Медона.⁸² Отец садовник. Потом условились о третьем. «Я никогда не подкладываю кролика».⁸³ Но пришлось уехать <—> и больше *никогда*.]⁸⁴

[4]

В чем, собственно, дело? Почему он стоял на углу и ждал, надеясь на случай (только то, что в <слово нрзб> и там же — но ведь прошло около года), когда мог условиться о встрече — адрес был записан, он знал его наизусть. И кто она? Девочка в кавычках, средней стоимости, для него, вероятно, с надбавкой, потому что он грустен и пристален, а, главное, явно одержим воображением (которым можно воспользоваться). Но письмо, тупая точность письма, невыносимое усилие отправки, штемпель той вторичной жизни, которая для других — настоящая жизнь, — все это установило бы сознательную связь между вольным волшебством случая и той популярной реальностью. Всякая такая связь нарушила бы и волшебство и свободу — так что мысль

⁷⁸ Вычеркнуто добавление в скобках: «Тургенев определил бы,< что именно». Это ироничное замечание призвано было, очевидно, направить читателя к двум местам «Дара»: к первой главе: «В стук выколачиваемых ковров иногда вмешивалась шарманка, коричневая на бедных тележковых колесах, с круглым рисунком на стенке, изображавшим идиллический ручей, и<,> вращая то правой, то левой рукой, зоркий шарманщик выкачивал густое „O sole mio“» (с. 69); и к четвертой: «...Тургенев, с его чересчур стройными видениями и злоупотреблением Италией...» (с. 267).

⁷⁹ Ср. в «Лолите»: «Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе» (I, 6).

⁸⁰ Для чистого все чисто (*искаж. нем.* «Dem Reinen ist alles rein»). Подразумевается новозаветная максима: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (К Титу, 1:15). Набоков мог иметь в виду эти слова в интерпретации Ницше в «Так говорил Заратустра»: «Для чистого все чисто — так говорит народ. Но я говорю вам: для свиней все превращается в свинью!» («О старых и новых скрижалях», 14. Пер. Ю. Антокольского), а также подразумевать риторические обороты расовой доктрины нацистской пропаганды, широко использовавшей высказывания Ницше и понятия «чистой расы» или «крови» (тема, связанная с образом Кострицкого).

⁸¹ Куплю себе чулки! (*фр.*) В «Лолите» приводится эта же французская фраза, после чего следует: «...и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове „bas“, произнесенном ею так сочно, что „a“ чуть не превратилось в краткое бойкое „o“» (I, 6).

⁸² Мёдон (Meudon), юго-западный пригород Парижа.

⁸³ Имеется в виду разговорное выражение «poser un lapin», французский эквивалент русского «подложить свинью».

⁸⁴ Эта рабочая запись в квадратных скобках, как будет видно далее, — краткий глан развития всей сцены. После нее оставлено место, а ниже — перечеркнутая рабочая запись для начала следующего эпизода: «Всякая сознательная связь с жизнью портила волшебство случая. Поэтому не списался с ней, хотя был адрес. И ждал на углу, только зная день, когда приезжает (дважды в неделю) из-под Парижа».

о включении случая в строй общепринятой жизни была невыносимо ужасна: повторенное молвой тайное прозвание⁸⁵. Он прозвал жизнь по-своему, и малейшая уступка общему миру обратила бы в очевидную пошлость тайную его собственность.

Волшебство чистого случая, иначе говоря, его комбинационное начало, было тем признаком, по которому он, изгнанник и заговорщик, узнавал родственный строй явлений, живших в популярном мире заговорщиками и изгнанниками. По законам *этого* ритма прелесть ее прозрачных стрельчатых глаз, звонких ударений среди воркующей речи, прелесть плеч, локтей и пальцев маленьких ног, шевелящихся и подгибающихся в потемневшем носке подтягиваемого чулка, а, главное, прелесть ее полного незнания своей истинной прелести, было единственно важным, и обращали так называемые реальные подробности ее бытия (трупное уныние той комнаты, процедура платы, ее рассказ о типе, который на той неделе пожелал, чтобы гнилая⁸⁶ горничная стояла и смотрела⁸⁷) в беллетристические подробности⁸⁸ более или менее ценные, но никак не могущие возбудить то нравственное отвращение, которое они бы возбуждали, попади они обратно в строй общепринятой жизни, породившей их. Безумие нежности, восторг преобразования, благодарность блаженному случаю — да, все это и еще то, что в плане сознательном эта игра — ибо игра случая значит < что > случай играет, как говорят «море играет» или «играет зной», — эта игра служила для него единственным способом злорадно примириться с тем, что называлось грязью жизни, с тем, что волшебно перестало быть пыткой, как только начиналась игра. И потому, что он не мог ей написать, и потому, что он не мог забыть ее прелесть, совершенную предупредительность ее равнодушия и совершенное воплощение собственных чувств⁸⁹, мощь, как бы осязаемую толщину счастья, его тяжесть, неуклюжее сиротство (по сравнению с ее малостью и простотой) и затем такое его кипучее и полное освобождение⁹⁰, — по этим никому не объяснимым причинам и причинам причин он продолжал ходить и ждать ее появления на том углу⁹¹, где он однажды встретил ее.

И самое замечательное (вдруг почувствовался), что и теперь он форсирует случай, вовлекает его в *серию*, то есть обратно в «реальную» жизнь, что, в сущности, это только меньшая степень того же ограждения и опошления, как если бы он писал ей, устанавливал бы что-то, подписывал как-то письмо и т. д. — и потому если бы она сейчас появилась, то сама попала бы в серию, и он (так далеко ушед в воспоминании и воображении от всего того, что могли бы видеть в ней другие) увидел бы с той трезвой пошлостью, которой отмечены такие «прозревания», «разочарования», «возвращения на землю» (на какую, на вашу, скоты и тени, на эту призрачную бутафорскую «панель большого города»? — Вот это «действительность»? Это общее место — *мне* место?), которой, да-с,

⁸⁵ Набоков имеет в виду «своенравное прозвание» из стихотворения Боратынского «Своенравное прозвание дал я милой в ласку ей...» (1832?).

⁸⁶ Было: «желтоволосая».

⁸⁷ Вычеркнут другой вариант: «который раз в месяц делал с ней то-то и то-то».

⁸⁸ Можно разобрать вариант к этому месту: «пять<десять> пят<ь>» описаний тогда бы проникли в роман».

⁸⁹ Приписка на полях к этому месту: «рассмотреть во втором свидании».

⁹⁰ Далее вычеркнуто: «дважды, а кажется, что он видался с ней долго и много раз».

⁹¹ Над этим словом Набоков поставил знак вопроса.

так-с, говорим мы, они отмечены и хорошо отмечены в популярной жизни и популярной литературе, и принужден был бы, как под рукой сапожника складчатая голова шенка, во сто крат более породистого, чем его хозяин, нагнуться к собственной кашке и увидеть в Ивонн⁹² шуструю шлюшку⁹³, досуха высосанную червем-сутенером⁹⁴, захватанную немывтыми руками пожилых парижан, обработанную мохнатыми ногами торопливых забавников между пятью и шестью часами вечера, с заразой снутри сургучной губы и с тленом в резиновом лоне.

Русская словесность, о русская словесность, ты опять спасаешь меня. Я от-вел наважденье лубочной жизни⁹⁵ посредством благородной пародии слова. Она будет максимально горькой в книжке⁹⁶, если придет, но она не придет. Она⁹⁷ не придет не из-за этого «будет», а из-за моего «была». О, русское слово, о соловое слово, о западные⁹⁸ импрессионисты!

И мимо столиков железны<х>, все пьющих рюмочками губ сок завсегдагаев полезных⁹⁹, — за светлым труп<ом> темный труп.¹⁰⁰
И мимо палевых бананов¹⁰¹, рекламных около живых, и многоногих барабанов твоих уборных угловых, Париж! я ухожу без гнева с небывшего свиданья¹⁰² в мир, где дева не ложится слева...¹⁰³ —

⁹² Зачеркнуто: «Колеть».

⁹³ После этого вычеркнуто: «позор цивилизации», «резиновое тело».

⁹⁴ У Набокова: «сутенером», как если бы он соединил «сутенера» с «тенором».

⁹⁵ Вместо «наважденье лубочной жизни» было: «шутовские притязания вашего мира».

⁹⁶ Вместо вписанного сверху «максимально горькой» (с очевидным намеком) были эпитеты: «другой», «страшной».

⁹⁷ Зачеркнуто другое начало предложения: «Проституточка моя [...]».

⁹⁸ Вместо «западные» было: «мелкие немецкие».

⁹⁹ Было: «холодный сок людей безд. <ушных?>».

¹⁰⁰ Было: «За трупом оставляя труп».

¹⁰¹ Затем следовало вычеркнутое: «фруктовых лавок мимо».

¹⁰² Цитата из концовки стихотворения Ахматовой «На шее мелких четок ряд...» (1913): «А бледный рот слегка разжат, / Неровно трудное дыханье, / И на груди моей дрожат / Цветы небывшего свиданья».

¹⁰³ Вычеркнутый вариант последней строки: «где следа, дева, королева...» К этим стихотворным строкам на полях рукописи Набоков сделал две приписки: «Тут стихи постепенно переходят в прозу. Ф.<едор> К.<онстантинович> возвращается домой», и (против стихов): «в строчку» (то есть записать стихи в строчку — прием, не раз использованный в «Даре»). Рифмы и тематика стихотворения напоминают строки из четвертой части цикла Ходасевича «У моря» («Европейская ночь», 1927), к которым они, вероятно, и обращены. Ср.: «Опрокинул столики железный, / Опрокинул пиво свое. / Бесплезное — бесполезно: / Продолжается бытие». «Рюмочки губ» (по отмеченному у Далия значению: «рюмкою» — «воронкою», «раструбом») указывают на стихотворение Мандельштама «Ламарк» (1932), ср.: «Мы прошли разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз». После его публикации в «Новом мире», «Ламарк» обсуждался в эмиграции и, по-видимому, своим содержанием запомнился энтомологу Набокову. Н. Оцуп писал о нем: «Глубочайшая тема мандельштамовской лирики слышится мне в одном из последних его стихотворений „Ламарк“ <...>», из которого он привел несколько строф, в том числе с этими строками (Н. Оцуп. О поэзии и поэтах в СССР // Числа. Париж. 1933. № 7—8. С. 239). Любопытно, что именно в 1941 году, когда Набоков работал над продолжением «Дара», в письме к Лафлину (от 10 февраля) относительно состава переводов русских поэтов для сборника «New Directions in Prose and Poetry», в котором он участвовал с переводами

Разумной рифмы не оказалось при переключке, и собрание было распущено, а сколько раз он давал себе зарок не соблазняться возможностью слұчай<ного> сброда образов, когда вдохновенье только рябь¹⁰⁴ на поверхности, а внутри не тем занят, совсем не тем.

Гнев был — и потому, может быть, рифма не вышла. Он возвращался домой и не знал на кого сердиться за то, что она не пришла. На случай, который иначе не был бы случаем? На себя, который иначе не был бы собой? На нее? Но¹⁰⁵

[...] ¹⁰⁶

«Ладно, столько же, но я буду *trebovatelney*¹⁰⁷».

«*Tout ce que tu veux*», — ответила она ловко и спокойно, *posément*¹⁰⁸.

«*Tiens!*¹⁰⁹ — воскликнула она очень довольная. — Тот же двенадцатый номер!» Гнилая горничиха.¹¹⁰

Ходасевича, Набоков упомянул «несколько стихотворений Мандельштама» для возможного перевода (Vladimir Nabokov. Selected Letters. P. 37). Кроме того, рекламы и уборные отсылают к собственному стихотворению Набокова «Поэты» (1939), напечатанному под псевдонимом «Василий Шишков» и также обращенному к Ходасевичу: «детей малолетних, играющих в прятки вокруг и внутри уборной...»; «рыданья рекламы на том берегу» (подробнее см. нашу статью «Продолжение следует. Неизвестные стихи Набокова под маркой „Василий Шишков“» // Звезда. 2012. № 7. С. 198—223). В рецензии на сборник «Литературный смотр» (1940) Набоков, уничижительно отзываясь на «Распад атома» Иванова, отметил в нем как раз «банальные описания писсуаров». Примечательно, что парижские уличные писсуары часто появляются после этого у самого Набокова в текстах, имеющих отношение к предвоенному Парижу. Кроме «Поэтов» эта деталь также возникает в «Парижской поэме» 1943 года («писсуары / за щитами своими журчат») и в «Воззвании о помощи» 1940 года («...в парижской комнате с видом на милое мутное небо, на бедную роскошь каштана, на черную веспазянку [то есть будку писсуара — по имени императора Веспасиана, впервые введшего их в обиход в Древнем Риме], оклеенную сине-красным сензано...» / Владимир Набоков. Воззвание о помощи. Определения // Звезда. 2013. № 9. С. 117).

¹⁰⁴ Важно, что эта «рябь на поверхности» соотнесена со словами дочери из окончания «Русалки»: «Дай руку. Подойдем поближе. Видишь, / Играет рябь, нагнись, смотри на дно», а эти слова дочери в свою очередь отсылают к главе пятой «Дара»: «Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес. Смотри: сначала — сквозистые места...» (С. 370). Кроме того, сравнение отсылает к пятой главе романа, к тому месту, где Федор схожим образом обдумывает сочиняемые им стихи, как здесь, соблазнившись «случайным сбродом образов»: «...и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой... — а так как это было ужасно, то побежала дальше рябь рифмы...» (с. 395). Долинин, приняв «ерь» за «ер», это слово ошибочно интерпретировал как «раб» (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 288).

¹⁰⁵ Этот абзац остался недописанным: Набоков оставил место для его продолжения.

¹⁰⁶ Ближе к середине страницы проведена отделительная черта, под которой записан вычеркнутый набросок описания соития из следующего далее эпизода:

«До этого. Относится ко второму свиданию.

Не зная, что придумать, чтобы продлить это состояние, он ладонью низко пригнул ее маленькую голову с зрямы рассеянными глазами и врос в ее липкие уста, раскрывающиеся нарочно неохотно, но и это было не то, ибо слишком неудержимо начиналось брожение, а хотелось еще пожить<, > и он перешел к другому<, > и сзади у нее был желтоватый синяк и слишком быстро опять подступило. Он вернулся к прошлому. Глядя в небо потолка и тихо почил его по воле. <Очевидно, «почил по его воле», то есть по воле неба.> Я обожаю тебя, сказал он безнадежно и, повернув ее к себе, поцеловал ее в сладкие, еще горячие губы. *Mais aussi tu <ami?> très gentil* — снисходительно-дружески (и, вероятно, думает который час — но в этом-то безнадежном отсутствии — вся [sic!] смысл [было: „сила“] моего блаженства)..Она захлопотала [...].

¹⁰⁷ Текст от слов «ладно» до «горничиха» — рабочая запись на верхнем поле. Возможно, Набоков хотел подобрать к русскому слову «требовательней» подходящее французское слово и, чтобы не забыть об этом, написал его в латинской транскрипции.

¹⁰⁸ Все, что пожелаешь... степенно (*фр.*).

¹⁰⁹ Вот те на! (*фр.*)

¹¹⁰ К этой рабочей записи приписка на полях: «Относится ко второму свиданию».

Как бы умножить ее? Отраженьями, переходами.¹¹¹ Длитель и откладывать.¹¹² «Торопит миг...» — тем торопит, что — пятистопная среди александрийских.¹¹³ Предоставив хлопотам ее холодных пальчиков свое время, свое сиротство, он почувствовал, что это опасно, сейчас все потеряет, и молча перешел к другому. Там у нее был небольшой желтоватый синяк, и сызнова подступило... Призма, призма, умножь! Не зная, как быть, ладонью низко пригнул ее маленькую голову со щелочками в мочках невинных ушей и серьезными, с рассеянными [sic!] глазами, вручил то, что было сейчас жизнью, искусным¹¹⁴ устам, раскрывавшимся с задержкой, но опять забродило и пришлось прервать.

«Я обожаю тебя», — произнес он вслух, безнадежно.

Медленно поцеловал ее в нагретые губы.

«Mais toi aussi <mon ami?>, je te trouve très gentil»,¹¹⁵ — снисходительно-дружески¹¹⁶ (и, вероятно, думает, который час или перестал ли дождь, — и в этом-то ее безнадежном отсутствии весь смысл моего блаженства). Медлить у двер<и> и чувствовать, что *она* там. Мое невероятное совершенство — стучаться и наконец войти — и, конечно, — магический обман, — мгновенно оказываешь<ся> опять снаружи. Все равно. Переступлю.

«J'aime l'épée¹¹⁷ qui brille, le poisson qui frétille et le petit ventre de ma gentille»¹¹⁸ (Откуда? Сережа Боткин¹¹⁹ любил повторять).

¹¹¹ Далее в рукописи вычеркнуты следующие строки: «Наверстать потерянное в прошлом, обмануть будущее. Удесятить ее образ, пока она здесь, живая».

¹¹² Вычеркнуто: «Перекладывать и опять удалить».

¹¹³ Из стихотворения Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» (1830?): «Порывом пылких ласк и язвою лобзаний / Она торопит миг последних содроганий!» Это стихотворение написано александрийским стихом (шестистопный ямб с цезурой после третьей стопы). Вместо «александрийских» было: «шестистопных». Вычеркнуто другое начало предложения: «Кем это сказано? <«Торопит миг...»> У него сказано к жене [...]». По-видимому, Набоков имел в виду, что у Пушкина в первой части стихотворения речь идет о блуднице («вакханка молодая»), а во второй — о жене («О, как милее ты, смиренница моя!»), о которой он говорит в конце: «И оживляешься потом все боле, боле — / И делишь наконец мой пламень поневоле!» К этому месту, возможно, должна была относиться не получившая развитие пушкинская тема различия между близостью с проституткой и с женой, набросанная в рабочей записи, предвещающей встречу с Ивонн: «Какая она изящная, жалкая, и что у нее один любовник за другим...»; и следом — стыдливое увещание Зины (по-видимому, в момент близости): «Ах, Боже мой, Феденька, не нужно, — говорила она тихо и с какой-то рассеянной [машинальной, увещательной] <интонацией>, как бы думая о чем-то другом, но тоже незначительном, — ну, право же». В последнем завершено романе Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974) такова же вторая жена повествователя Аннетта, носящая имя пушкинских возлюбленных: «...теперь я рад тому, что никогда не был настолько глуп и низок, чтобы не заметить восхитительного контраста между ее воспаленной стыдливостью и теми редкими моментами сладостной неги, в которые на ее лице появлялось выражение детской сосредоточенности, торжествующего наслаждения, а кромки моего недостойного сознания начинали достигать ее слабые стоны» (Владимир Набоков. Взгляни на арлекинов! Пер., прим. А. Бабилова. Изд. 2-е. СПб., 2014. С. 128).

¹¹⁴ Было: «мягким».

¹¹⁵ В этой исправленной Набоковым фразе, по-видимому, пропущено одно или два слова после «aussi»: «А ты тоже <дружок?>, я тебя нахожу очень милым» (фр.). Начальный вариант был такой: «Mais toi aussi très gentil» («А ты тоже очень милый»).

¹¹⁶ На полях: «Дружба — рифма, любовь — ассонанс [sic] (альбомная эпиграмм<м>a)».

¹¹⁷ Вместо этого слова было: «la mort» (смерть).

¹¹⁸ «Я люблю меч, что сверкает, рыбу, что трепещет, и животик моей милой». (Эта французская фраза не раз была исправлена и переписана в рукописи, и за справедливость ее интерпретации ругаться не могу. — А. Б.)

¹¹⁹ В «Бледном огне» есть намек на то, что Кинбот на самом деле является русским профессором Боткиным, фамилия которого дает анаграмму «Кинбот».

«В среду, там же».

«Oui, si tu veux, ça me va...»¹²⁰

«Но ты *наверное* придешь?»

Она ответила, что никогда не подкладывает никаких кроликов, а на другой день, страшно рано, Зина из своей лазури¹²¹ позвонила по телефону, что завтра едет такой-то в Ниццу на автомобиле, и чтобы он приехал вместе, и он приехал вместе, и <два слова нрзб> между Rieux и Voujou¹²² думал, что вот она пришла, и ждет — и не заразился ли¹²³.

[6]¹²⁴

Встречи с (воображаемым) Фальтером. Почти дознался. Затем:

Вышел вместе с Зиной, расстался с ней на углу (шла к родителям), зашел купить папиросы (русские шоферы играют, стоя у прилавка, в поставляемые кабаком кости), вернулся домой, увидел спину жилицы, уходящей по улице, у телефона нашел записку: только что звонили из полиции (на такой-то улице), просят немедленно явиться¹²⁵, вспомнил драку на улице (с пьяным литератором) на прошлой неделе и немедленно пошел. Там на кожаном диване, завернутая в простыню (откуда у них простыня?) лежала мертвая Зина. За эти десять минут она успела сойти¹²⁶ с автобуса прямо под автомобиль. Тут же малознакомая дама, случайно бывшая на том автобусе. Теперь в вульгарной роли утешительницы. Отделался от нее на углу. Ходил, сидел в скверах.¹²⁷ Пошел к одним, там нич<ег>о не знали. Посидел. Пошел к Θ¹²⁸, посидел; когда оказалось, что уже знают, ушел. Пошел домой к сестре, не застал, встретил ее потом внизу. Пошел с ней домой за вещами (главным образом хотел избежать тещи и тещу). Поехал к ней, у нее ночевал в одной постели. (Чепуха с деньгами.) Рано утром уехал на юг. Ее нет, ничего не хочу знать, никаких похорон, некого хоронить, ее нет.

¹²⁰ Хорошо, если хочешь, мне подходит... (фр.)

¹²¹ То есть с Лазурного берега (Côte D'Azur).

¹²² Зачеркнуто: «в Лионе».

¹²³ На полях: «Между первым и вторым свиданиями выяснил, что дело не вышло, и написал об этом жене». О каком деле идет речь — неизвестно.

¹²⁴ Вверху на полях две записи: (1) «(навеяны встречей с Б., говоривше<й?> о „jogger'e“».) Можно предположить, что это нотабене для эпизода с упоминаемой ниже Музой Благовещенской (или Благово), которую Федор встретил на Лазурном берегу и которая, судя по всему, была в романе его парижской знакомой; что же имеется в виду под «jogger» определенно сказать нельзя: у этого слова множество значений — от бегуна трусцой до карманного справочника. (2) зачеркнуто: «Конец» и под этим словом: «Последние главы» (у Грейсон и Долинина ошибочно: «Последняя глава», однако, в рукописи читается: «Последняя главы»).

¹²⁵ Схожим образом в «Лолите» Гумберт по телефону узнает о смерти Шарлоты под колесами автомобиля.

¹²⁶ Было: «соскочить».

¹²⁷ На правом поле: [Фальтер распался]. См. нашу статью «„Дар“ за чертой страницы».

¹²⁸ Здесь у Набокова четко написана буква, напоминающая русскую фиту, но не с волнистой, как должно быть, а с прямой чертой внутри (такая буква существует в ряде кириллических алфавитов неславянских языков). Нельзя сказать, что этим инициалом Набоков обозначил «Фальтера»: фита использовалась в русской письменности по этимологическому принципу — только в словах, заимствованных из греческого языка и только на месте греческой «теты», «Фальтер» же взят Набоковым из немецкого языка (мотылек, бабочка). Возможно, он намеревался написать иное имя, начинающееся на «о», и просто перечеркнул его.

В St.¹²⁹ (придумать. Смесь Gréjus и Cannes. Или просто Mentone¹³⁰)<.> Бродил и томился. Как-то (дней через пять) встретил Музу Благовещенскую (или Благово?¹³¹). Зимой что-то быстрое и соблазнительное — но ничего особенного — минутное обаяние — ни в чем не откажет — было ясно. Тут сидела в пляжном полу-платье с другими в кафе. Сразу оставила их — и к нему. Долго не говорила, что знает (из газеты), а он гадал, знает ли<?> Сонно, мерзко.

«У меня в пансионе есть свободная комната».

Потом лежали на солнце. Отвращение и нежность. Ледяная весна, мимозы. Потом стало вдруг тепло (сколько — неделю <—> длилась эта связь — и стыдно, и все равно вся жизнь к чорту), случайно в роще увидел С.<allophrys> avis¹³², о которой так в детстве мечтал. Страстный наплыв.¹³³ Все лето, совершенно один (муза занимала<сь> сыском¹³⁴), провел в Moulinet¹³⁵. 1939. Осенью «грязнула война», он вернулся в Париж. Конец всему, «трагедия русского писателя». А погода...

Последние страницы: к нему зашел Кашеев¹³⁶ (тот, с которым все не мог поговорить в «Даре» — два воображенных разговора, теперь третий — реальный). Между тем, завывли сирены, мифологические звуки. Говорили, и мало обратили внимания.

Г.<одунов-Чердынцев>: «Меня всегда мучил оборванный хвост¹³⁷ „Русалки“, это повисшее в воздухе опереточное восклицание: „Откуда ты, прекрасное дитя<?>“ [„А-а! Что я вижу...“ — как ласково и похабно тянул Х¹³⁸, вполпьяна,

¹²⁹ Сокращение от Saint в топонимических названиях, например Сен-Тропе на Лазурном берегу.

¹³⁰ Города Лазурного берега: Фрежюс, Канн, Ментона.

¹³¹ Эту фамилию, которая, должно быть, привлекла внимание Набокова из-за возможности ее реверсивного прочтения: «во благо», носит (как отметила Грейсон) вторая жена героя последнего законченного романа Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974). Любопытно, что она появляется в жизни Вадима Вадимовича сходным образом — после того, как судьба отняла у него его первую жену Айрис Блэк, погибшую на парижской улице от рук Владимира *Благидзе*.

¹³² Дневная бабочка из семейства голубянок, знатоком которых был Набоков. Здесь намечена тематическая связь со «Вторым приложением» к «Дару»: «Вот она, вот, эта картинная галерея гениальной русской природы — великолепная синева черного „кавалера“, вместе с тигром дающего тропический привкус дальневосточной фауне; оранжевые кончики, почти по моде африканских пьерид, опрятной и стройной „пиротой“ [то есть бабочки из семейства пьерид *Zegris pyrothoe* (Eversmann, 1832)], красы весенних степей <...> небесно-наивные волжские голубянки...» (Papers of Vladimir Nabokov / Manuscript Division. Library of Congress. Box 6. Folder 8). Далее во «Втором приложении» «авис» будет упомянут отдельно.

¹³³ Далее следовало вычеркнутое начало следующего предложения: «Достал сачок».

¹³⁴ У Набокова — «ссыском», как если бы он хотел сперва написать «ссылка». Нельзя исключить, что слово «муза» ошибочно написано со строчной, а на деле это — упомянутая ранее дама (Муза Благовещенская), чей образ, может быть, призван напомнить стихи Фета «Музе» (1882): «Пришла и села. Счастлив и тревожен, / Ласкательный твой повторяю стих; / И если дар мой пред тобой ничтожен, / То ревностью не ниже я других».

¹³⁵ Деревня в горах, недалеко от Ментоны, где Набоковы провели начало лета 1938 года и где ему посчастливилось поймать редкий экземпляр бабочки-голубянки (Мулине упоминается во «Втором приложении к „Дару“»).

¹³⁶ Или Кошеев, с фольклорными ассоциациями, призванными, может быть, поддержать сказочную тему «Русалки» или указать на смещение реального плана повествования после смерти Зины (и смерти самого прототипа Кончеева в «Даре» — Ходасевича, умершего 14 июня 1939 года, тогда как действие этих «последних страниц» отнесено к осени 1939 года). Долинин прочитал это имя как «Кончеев» (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 283), однако буква «н» во всех словах разборчиво написанного конспекта финала читается ясно (и очень четко — например, выше в слове «Конец» или в слове «конца» в последней фразе), здесь же она отсутствует.

¹³⁷ Было: «кончик».

¹³⁸ «Х» — не инициал Ходасевича, как предположила Грейсон (Метаморфозы «Дара». С. 611), а латинская «икс».

завидя хорошенькую.]¹³⁹ Я продолжил и закончил, чтобы отделаться от этого раздражения».

К.<ашеев>: «Брюсов и Ходасевич тоже. Куприн обозвал В.<ладислава> Ф.<елициановича> нахальным мальчишкой — за двойное отрицание».¹⁴⁰

Г.<одунов-Чердынцев> читает свой конец.

К.<ашеев>: «Мне только не нравится насчет рыб. Оперетка у вас перешла в аквариум. Это наблюдательность двадцат<о>го века».¹⁴¹

Отпускные сирены завывли ровно.

К.<ашеев> потянулся: «Пора домой».

Г.<одунов-Чердынцев>, держа для него пальто¹⁴²: «Как вы думаете, *доне-сем, а?*»¹⁴³

К.<ашеев>, напряженным русским подбородком прижимая шарф, исподлобья усмехнулся:

«Что ж. Все под немцем ходим».

(Он не совсем до конца понял то, что я хотел сказать.)

Всё.

¹³⁹ Квадратные скобки принадлежат Набокову.

¹⁴⁰ Имеется в виду «Романс» (1924) Ходасевича, в котором он развил пушкинский набросок «В голубом эфире поле...». «Двойное отрицание» находим в следующих строках Ходасевича: «Дога-ресса молодая / На супруга не глядит, / Белой грудью не вздыхая, / Ничего не говорит». Подробнее об этом см.: А. Блюмбаум. Маргиналия к «Дару»: прокурор Щеголев // НОЖ / NOJ: Nabokov online journal / Vol. II. 2008. Попытка «обработки и окончания» В. Брюсовым пушкинских «Египетских ночей» вызвала отрицательный прием у критиков.

¹⁴¹ Имеются в виду строки «В младенчестве я все на дне сидела, / И вокруг остановившиеся рыбки / Дышали и глядели», отсутствующие в опубликованном тексте. Замечание Кончеева вновь отсылает к Ходасевичу, к его стихотворению «Берлинское» («Европейская ночь», 1927): «А там, за толстым и огромным, / Отполированным стеклом, / Как бы в аквариуме темном, / В аквариуме голубом — / Многоочитые трамваи / Плывут между подводных лип, / Как электрические стаи / Светящихся ленивых рыб» (Подробнее об истории продолжения «Русалки» и набоковских вариантах см.: А. Бабинов. Примечания // Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. С. 625—630).

¹⁴² Эта деталь напоминает эпизод в «Других берегах» Набокова, где он описывает свою беседу с Буниным в парижском ресторане: «Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собирался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекошилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто» (гл. 13. 3).

¹⁴³ См. нашу статью «„Дар“ за чертой страницы».

ДМИТРИЙ ТРАВИН



РОССИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ФОНЕ: ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ

12. Как Сталин переменял нам веки

Русская революция, как отмечалось в предыдущей статье, сама по себе не представляла явления необычного, явления, обрекающего страну на катастрофу. Революция — тяжелое, но в то же время нормальное испытание для общества, идущего по пути модернизации, пронизанного насквозь комплексом острых противоречий. Однако последствия подобных испытаний могут быть совершенно различны в зависимости от того, какие силы выходят победителями из борьбы, ставшей естественным следствием разрушения старого режима. И в этом смысле итогом русской революции оказалась столь радикальная смена социального строя, что наша страна на несколько десятилетий вновь угодила в ловушку модернизации (о ловушках см. в: «Звезда», 2013, № 5; 2014, № 3).

Напряженность революционного противостояния не всегда напрямую связана с напряженностью постреволюционных последствий. То, во что превращается страна после революции, может зависеть как от остроты противоречий, пронизывающих общество, так и от комплекса внешних обстоятельств. Например, от «великих идей», которые влияют на сознание широких масс населения в тот момент, когда осуществляется революция.

В частности, революции, прокатившиеся по Европе в 1848 г., были для некоторых стран (особенно для империи Габсбургов) чрезвычайно серьезным испытанием. Европейские государства проходили тогда трудный этап модернизации, когда общество быстро трансформировалось и противоречия резко обострялись. Однако вне зависимости от того, чем конкретно закончилась революция в той или иной стране, постреволюционное развитие было практически всюду продолжением предреволюционного. Даже во Франции, где июльскую монархию Луи Филиппа сменила сначала непрочная республика, а затем империя Луи

Бонапарта, имело место углубление модернизации. Во многом это определялось тем, что середина 40-х гг. XIX века была эпохой расцвета либерализма и фритредерства. Господствующие в обществе идеи, по сути дела, предлагали людям еще активнее осуществлять те изменения в политике и экономике, которые уже наметились раньше. Революции 1848 г. ломали и доламывали старые режимы. Их философия не предполагала новых крутых поворотов.

Совсем иным образом обстоит дело ровно через сто лет после этих событий. В 1948 г. ряд стран Центральной и Восточной Европы резко повернул на социалистический путь. Если события, происходившие в этих странах, в какой-то мере являлись революциями, то следует, наверное, признать, что были они не слишком масштабными. По сути дела, революцией в чистом виде, наверное, можно считать лишь то, что происходило в Югославии на протяжении Второй мировой войны, тогда как, скажем, события 1948 г. в Польше, Венгрии или Чехословакии больше напоминали левый государственный переворот, осуществленный при определяющей поддержке сталинского Советского Союза. Тем не менее события эти обусловили радикальную трансформацию политических и экономических систем восточноевропейских стран. Всюду сформировались тоталитарные режимы, ориентированные на построение социалистической экономики. В том числе в Югославии, на которую Сталин не мог оказать силовое воздействие. И это не удивительно, поскольку середина XX века была эпохой триумфального шествия по Европе социалистических идей, настраивавших общество на коренное переустройство политических и экономических систем. Значительная часть чехов, словаков, венгров, поляков и южнославянских народов склонялась к социализму, хотя, конечно, не слишком симпатизировала тоталитарной политической организации.

В общем, сильные предреволюционные противоречия могут порой сочетаться со слабой постреволюционной трансформацией режима, а слабые предреволюционные противоречия не исключают того, что постреволюционные изменения могут быть радикальными. В этом смысле надо сказать, возвращаясь к русской революции 1917 г., что напряженность противоречий, страшный и кровавый характер Гражданской войны не предопределяли жестко попадания в ту ловушку модернизации, в которую мы угодили. Разразись русская революция в иную эпоху, когда влияние социалистических идей было не столь значительным, крови и жертв могло бы быть столько же, но последствия для модернизации страны наверняка оказались бы совершенно иными.

РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ПРОСТАЯ, А ПЕРМАНЕНТНАЯ

Чрезвычайно важным для понимания воздействия, оказанного русской революцией на модернизацию страны, является характер марксистских представлений о том, как в принципе может совершаться социалистическая революция.

Утвердившаяся в марксизме теория диалектики производительных сил и производственных отношений предполагала, что развитие капиталистической экономики на определенном этапе вступает в непримиримое противоречие с буржуазным государством и с самой системой буржуазной эксплуатации человека человеком. Согласно этой теории, в широких слоях рабочего класса растет понимание того, что капиталист присваивает часть продукта, созданного трудящимися, и это является вопиющей несправедливостью. По мере роста своего классового

сознания рабочие стремятся коренным образом изменить ситуацию. Для этого пролетариат осуществляет революцию, в результате которой ликвидируется система частнособственнического предпринимательства. Капиталист исчезает, а весь произведенный рабочими продукт поступает в распоряжение общества.

Согласно марксистской теории, подобная революция может произойти не в любой момент и не в любой стране, а только там и тогда, где и когда рабочий класс достаточно силен и сознателен. А это означает, что революция возможна лишь в по-настоящему развитых странах с высокой степенью индустриализации и урбанизации, где численность крестьянства резко сократилась, а численность рабочего класса возросла, где появились многонаселенные мегаполисы, в которых и разразятся революционные бои.

Более того, поскольку (как показал опыт некоторых революций) терпящий поражение старый режим может получить военную поддержку со стороны соседних государств, необходимо международное объединение сил рабочих. Революция способна победить лишь в том случае, если она произойдет одновременно в ряде высокоразвитых государств, и, следовательно, буржуазия одних стран, поглощенная собственными заботами, не сможет оказать помощь буржуазии других стран. В качестве практического вывода из марксистской теории возник тезис о необходимости мировой революции (хотя на практике, конечно, предполагалось, что для победы рабочего класса достаточно достижения одновременного успеха не по всему свету, а лишь в нескольких крупных европейских государствах).

Итак, выходит, согласно ортодоксальному марксизму, что социалистическая революция в России никак не могла победить. Во-первых, потому, что наша страна была преимущественно крестьянской с не слишком развитыми городами и с малой численностью рабочего класса. А во-вторых, потому, что победа революции в одной стране в принципе исключена.

Однако Ленин и Троцкий трансформировали марксистскую теорию. Они повернули ее так, чтобы обосновать возможность осуществления радикальных преобразований именно в России. Согласно этой реформированной теории, социалистическая революция начинается не обязательно там, где высокоразвитые производительные силы вступают в противоречие с отсталыми (капиталистическими) производственными отношениями, а там, где в силу определенных частных причин возникла революционная ситуация. Где комплекс противоречий, разрывающих страну на части, обострился выше обычного. Где низы уже не хотят жить по-старому, а верхи не могут ими по-старому управлять.

Корректировки, внесенные Лениным и Троцким в марксизм, были столь радикальны, что фактически ничего не оставляли от теории как таковой. Однако надо признать, что именно Ленин с Троцким, а не старые теоретики марксизма, лучше понимали, как на практике разрушаются режимы. То есть какое значение для революции имеет комплекс накопившихся в обществе противоречий, в том числе тех, которые не имеют непосредственного отношения к классовой борьбе рабочих с буржуазией. Русская революция подтвердила правоту Ленина и Троцкого. Падение старого режима произошло там, где сплелись десятки неразрешимых проблем, а вовсе не там, где производительные силы достигли самого высокого уровня развития (например, в Англии).

При этом партия Ленина строилась как марксистская, и влияние марксизма на умы многих российских интеллектуалов было в ту эпоху чрезвычайно

сильным. Поэтому старую теорию никто не мог просто отбросить — как не соответствующую практике. Любые корректировки, вносимые в марксизм, должны были каким-то образом состыковываться с его основами. Поэтому Ленин с Троцким не отказались от концепции мировой революции, а лишь сформулировали так называемую концепцию «слабого звена». Она утверждала, что революция поначалу должна совершиться в стране, являющейся слабым звеном в цепи капиталистических (империалистических) государств, но затем обязательно распространиться повсюду, где производительные силы переросли буржуазные производственные отношения.

Россия в представлении Ленина и Троцкого являлась как раз таким слабым звеном. Но для того чтобы социалистическая революция победила, процесс, начавшийся в России, должен был обязательно получить развитие в других европейских государствах. На практике это означало, что революция из нашей страны должна быть перенесена как минимум в Германию — государство высокоразвитое, урбанизированное, промышленное, обладающее сильным, многочисленным пролетариатом и при этом территориально расположенное неподалеку от России (в отличие, скажем, от Англии).

Четко и лаконично эта идея выражена в работе Л. Троцкого «Перманентная революция». «Сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, — писал он, — хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза. Однако при изолированной пролетарской диктатуре противоречия, внешние и внутренние, растут неизбежно вместе с успехами. Оставаясь и далее изолированным, пролетарское государство в конце концов должно было бы пасть жертвой этих противоречий. Выход для него только в победе пролетариата передовых стран».

А вот тот же взгляд, но со стороны противника. Жесткий оппонент Ленина Александр Кизеветтер сразу после смерти вождя образно, кратко и до предела цинично выразил суть его концепции: «Умерший на днях в Москве дурак с самого начала своего эксперимента так и заявлял в печатной брошюре, что коммунизм в России невозможен, но Россия есть та охапка сухого сена, которую всего легче подпалить для начатия мирового социального пожара. Россия при этом сгорит; ну и черт с ней, зато мир вступит в рай коммунизма».

Таким образом, специфической особенностью русской революции были отнюдь не особая разрушительность, особая жестокость или особая неприимиримость сторон. Разного рода революционные ужасы в достаточной мере испытали многие страны. Специфической особенностью нашей истории после победы большевиков стало формирование в новых коммунистических элитах представления о том, что революция не может остановиться, что она должна стать перманентной, что мы находимся лишь на первой ее стадии и должны обязательно готовиться к продолжению. Причем продолжения этого нельзя избежать, поскольку оно предопределено историческими законами, открытыми Марксом, Энгельсом, Лениным.

Вообще-то обычная революция (как показывал европейский опыт) рано или поздно кончается, а революционные власти трансформируются, бронзовеют и начинают стремиться не к мифическим идеалам, а к конкретным земным благам. Это понимали многие русские люди в начале 1920-х гг. Соответственно, известной частью интеллектуальной элиты последствия нашей революции не воспринимались трагически. В частности, авторы эмигрантского сборника

«Смена вех», вышедшего в июле 1921 г., полагали, что победившие в России большевики могут стать нормальными правителями. Сменовеховство было естественной, рациональной реакцией образованных людей на свершившиеся события. Исторический опыт революций показывал, что это, бесспорно, ужас, но отнюдь не ужас без конца.

«Невозможно, чтобы за одним Лениным, — писал сменовеховец Ю. Ключников, — последовали другие. Нет, отныне надолго или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким большевизмом и в „широком“ и в „узком“ смысле. За отсутствием почвы для него. За ненадобностью. Завершился длинейший революционный период русской истории. В дальнейшем открывается период быстрого и мощного эволюционного прогресса».

Вывод Ключникова был понятен и логичен, причем другие сменовеховцы подтверждали его сравнением с Великой французской революцией. А. Бобринцев-Пушкин полагал, что «мы уже подходим к директории», а Н. Устрялов даже приводил мнение Наполеона, считавшего Робеспьера способным изменить весь свой образ действий в случае, если бы ему удалось удержать власть.

В свете подобного подхода Ленин представлялся эдаким переродившимся Робеспьером. К мысли о том, что конец революции налицо, вела, в частности, ленинская новая экономическая политика (НЭП), принятая за четыре месяца до выхода в свет «Смены вех». Согласно НЭПу, большевики отходили от коммунистических методов в экономике, заменяли продразверстку продналогом и допускали в ограниченных масштабах свободное предпринимательство. «Повинуясь голосу жизни, — отмечал Н. Устрялов, — советская власть, по видимому, решается на радикальный тактический поворот в направлении отказа от правоверных коммунистических позиций. Во имя самосохранения, во имя воссоздания „плацдарма мировой революции“ она принимает целый ряд мер к раскрепощению задавленных химерой производительных сил страны».

Казалось, что если в экономике Россия возвращается к рынку, то так ли уж важно сохранение авторитарной политической системы? Тем более если за поворотом курса стоит желание широких масс.

О том, что поворот не является случайностью, не является сиюминутным капризом Ленина, писал сменовеховец С. Лукьянов: «так называемая „эволюция большевиков“ <...> объясняется просто тем, что аналогичная эволюция происходит в массах <...>. Пролетариат понял, что как интеллигенция, так и буржуазия не только не страшны для народа-победителя, но и должны быть и могут быть использованы в интересах самого народа».

Увы, сменовеховские интеллектуалы не принимали во внимание того, что для коммунистических интеллектуалов революция отнюдь не завершилась. Революция, конечно, — это не ужас без конца, однако конец еще очень далек, и, ради того, чтобы к нему прийти, следует совершить немало разного рода «ужасов».

Одним из элементов политики большевиков было стремление стимулировать развитие революции в Германии, а по возможности и в других странах — Чехословакии, Венгрии, Румынии, даже в Италии, не говоря уж о Польше. Этим, в частности, определялось движение войск Михаила Тухачевского на Польшу в 1920 г. Приказ, отданный им перед началом наступления, не оставлял сомнений в целях операции: «Бойцы рабочей революции. Устремите свои взоры на запад. На западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой

Польша лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад! К решительным битвам, к громозвучным победам!»

Для Тухачевского, как сам он писал затем в своей книге, польская кампания являлась «связующим звеном между революцией Октябрьской и революцией западноевропейской». Добейся он успеха, пройди со своими войсками от Вислы до Одера — и германских рабочих можно было бы поддержать непосредственно красноармейскими штыками. Однако штыки эти не смогли довести советскую власть даже до Вислы. Поляки, разгромившие Тухачевского и свершившие так называемое «чудо на Висле», предотвратили непосредственное слияние российских и германских революционных элементов.

Тем не менее в дальнейшем советские власти пытались решить те же самые задачи иными методами. Деятельность Коминтерна должна была способствовать усилению революционных сил в различных странах мира. СССР готов был использовать свои внутренние ресурсы для того, чтобы зарубежные коммунисты получили возможность совершать социалистические революции. С наших сегодняшних позиций подобная растрата ресурсов в бедной стране, едва вышедшей из ужасов Гражданской войны и гиперинфляции, представляется каким-то безумием. Или уж во всяком случае действием иррациональным, противоречащим здравому смыслу. Но для советской элиты, насквозь пропитанной марксизмом, деятельность Коминтерна представлялась чрезвычайно важной, поскольку без нее невозможно было довести до конца главное дело их жизни. Собственно говоря, без этого невозможно было даже выжить во враждебном окружении.

Правовверные коммунисты бредили мировой революцией и готовы были принять в ней самое экзотическое участие. Известный российский историк В. Булдаков приводит целый ряд примеров революционного психоза.

Вениамин Израилев двадцати четырех лет из Орла написал письмо Сталину: «Буржуазия Европы в предсмертных судорогах. <...> Пошлите меня в Лондон и дайте мне эскадрон всадников Чичен (так в тексте; имелась в виду чеченцы. — В. Б.). Дайте мне шпагу, сделанную из тульской стали и напишите на ней: „Коммунизм или смерть“. В Лондоне я буду говорить с раввином на древнееврейском языке, спрошу, отдадут ли иуды фабрики, заводы рабочим или нет, то я буду делать то, что делал тов. Петерс в Ленинграде в 1919 году — террор, красный террор».

Красный командир Александров из Москвы тоже предлагал Сталину сформировать полк из кавказцев, но направить его хотел в Польшу или Румынию.

Старый большевик Райдук выбрал иные направления для развития мировой революции: «Я прошу разрешения партии отправиться для совершения террористического акта в одну из двух стран — Китай или Болгарию».

Коммунист Грицкий из Грозного четко представлял себе цели задуманной им операции: «Создайте ударную группу по обезглавливанию империализма. Пустите меня в Германию, и я обезглавлю Каутского».

Курсант из Ленинграда намечал себе более реалистичные цели: «Если бы в Эстонии разгорелось восстание, то я бы уже шагал по полям Эстонии».

Наконец, красный поп Ярчуков готов был освятить всю эту деятельность в духе известной блоковской поэмы: «Я призываю весь народ Украины и Московии на смертный бой (войну) с англичанами и <, > благословит дело войны с ними Христос».

Понятно, что все эти порывы находятся «на грани клиники», но психоз верных бойцов мировой революции есть не что иное, как отражение настроений широких масс населения. В. Булдаков приводит данные обследования школьников, которое показало, что в 1928 г. 77,5% считало отношения СССР с буржуазными странами враждебными. И эта их оценка положения дел вполне объяснима.

Если довести до логического конца представления о перманентной революции, то надо будет признать неизбежным стремление западных империалистов задавить силой молодую советскую республику. В ортодоксальном марксистском сознании того времени господствовало представление, будто борьба мира капитала с миром труда идет не на жизнь, а на смерть. Поскольку восстание рабочего класса развитых стран, по Марксу, объективно обусловлено развитием производительных сил и поскольку советская Россия по Ленину является своеобразной базой, обеспечивающей это восстание, то империализм в целях самосохранения должен рано или поздно осуществить интервенцию против молодой социалистической республики. Они же там не дураки, чтобы сидеть и ждать, пока мускулистая рука пролетариата поднимется по всему миру и ярмо деспотизма разлетится в прах.

На самом деле политические лидеры европейских капиталистических стран совсем не обязаны были думать о будущем в марксистских категориях. И, соответственно, не обязаны были так уж сильно страшиться перманентной революции. Они были поглощены своими собственными проблемами. В частности, повышением эффективности экономики, которая после Первой мировой войны толком не хотела приходить в порядок. Однако для понимания того курса, который взят был на вооружение в СССР, важно не то, что думали западные лидеры, а то, как складывалось представление о мотивах их деятельности в головах лидеров советских.

Эти головы не могли допустить представления о мирном сосуществовании двух социальных систем. Подобное представление утвердилось лишь в брежневскую эпоху, когда перевелись искренне верующие марксисты. А до тех пор пока таковые доминировали в советской элите, господствовало представление: либо мы их, либо они нас. Война должна была обязательно начаться в обозримой перспективе, поскольку отсутствие войны противоречило марксистско-ленинской теории. А истинность этой теории коммунистами не оспаривалась.

НЭП ВО ВРАЖДЕБНОМ ОКРУЖЕНИИ

Советской России требовалось превратиться в огромный военный лагерь. С точки зрения коммунистических вождей, это был не вопрос выбора стратегии. Это был вопрос элементарного выживания в капиталистическом окружении. Либо ты спровоцируешь мировую революцию, либо ты подвергнешься интервенции. В любом случае надо иметь сильную армию и мощную военную индустрию, способную обеспечить красноармейцев вооружением. Соответственно, вслед за вопросом о противостоянии мира труда и мира капитала объективно вставал вопрос об индустриализации, о коренном преобразовании экономики. О преобразовании, осуществляемом не для того, чтобы насытить рынок предметами потребления и соорудить коммунизм в отдельно взятой стране (подобные представления противоречили марксистско-ленинской теории), а для того, что-

бы насытить армию оружием и соорудить коммунизм на всем том пространстве, до которого дотянутся штыки этой армии.

Невозможно рассматривать экономические проблемы советской России и, в частности, экономические дискуссии 1920-х гг. в отрыве от проблематики мировой революции. Вряд ли удастся понять, как мы попали в ловушку модернизации, если полагать, будто об экономике того времени коммунистическая элита думала лишь как о базе для удовлетворения потребностей общества. Советская индустриализация становилась не фундаментом роста благосостояния, а элементом непримиримой борьбы мира труда с миром капитала. И ей должны были быть подчинены все имеющиеся в стране ресурсы.

Индустриализация в СССР, таким образом, сразу же превращалась в нечто принципиально иное, чем индустриализация, совершавшаяся раньше в капиталистических странах. Формирование промышленности в рыночных условиях неизменно должно быть подчинено задаче удовлетворения спроса населения. Без этого промышленность вообще не сможет возникнуть. И даже если государство стремится в ходе индустриализации сделать сильный уклон в сторону милитаризации (как это было, скажем, в кайзеровской Германии или в дореволюционной России), оно может себе позволить подобный маневр лишь в той мере, в какой рынок предоставляет для этого ресурсы.

В СССР милитаризация стала, по сути дела, самоцелью. Естественно, индустриализация с военным уклоном не могла обойтись только производством оружия. Требовалось создавать для нее ресурсную базу — сырьевую и энергетическую. Поэтому в годы первых пятилеток большое внимание уделялось, в частности, металлургии и электроэнергетике. Но в целом вся работа ориентировалась на то, что «Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин И первый маршал в бой нас поведет».

Правда, тут возникал естественный вопрос: откуда взять ресурсы для индустриализации? Теоретически на него могло существовать два ответа. Столкновение этих двух взглядов представляло собой, наверное, главную дискуссию 1920-х гг.

С одной стороны, большевики имели возможность пойти традиционным путем. Провозглашение НЭПа означало, что рынок у нас допускается, причем, поскольку Советский Союз в те годы был крестьянской страной, товарно-денежные отношения фактически должны были охватить большую часть экономики. Крестьяне растили хлеб, продавали его, выручали деньги, платили налог государству, и на эти средства советская власть могла осуществлять индустриализацию. Такая модель была ясной, понятной, проверенной на практике в иных странах, то есть абсолютно работоспособной. Однако у нее был и существенный недостаток. Темпы индустриализации полностью определялись объемом тех ресурсов, которые государство могло собрать с помощью фискальной деятельности. В случае возникновения серьезного экономического кризиса или при неспособности государства собрать налоги в большом объеме, строительство военных объектов неизбежно должно было замедляться.

Готовность страны к обороне детерминировалась ее готовностью к труду. Но «если завтра война, если завтра в поход»? Получалось, что судьбоносное противостояние мира труда с миром капитала, а по сути дела, счастье всего человечества определялось тем, сможет ли убогий российский мужичок продать хлеб и заплатить государству налоги?

С другой стороны, можно было пренебречь рыночными отношениями и попытаться изъять у деревни в пользу города дополнительный объем ресурсов. Изъять насильственным образом, или, как деликатно предпочитали выражаться ученые, внеэкономическим путем. При таком подходе проводить индустриализацию можно было значительно быстрее. Можно было рассчитать, какой объем вооружений требовалось получить стране в кратчайшие сроки, спланировать строительство необходимых предприятий, определить соответственно этому потребность в деньгах и, наконец, понять, сколько зерна, проданного на рынке, способно принести государству нужную сумму. А затем изъять тем или иным образом у крестьянства данную сумму — вне зависимости от того, хочет ли мужичок ее отдавать.

Движение в данном направлении больше отвечало приоритетным задачам советской власти, готовившейся к противостоянию мира труда и мира капитала. Однако проблема имелась и здесь. Страна только что прошла через годы военного коммунизма, когда ради победы в Гражданской войне большевики с помощью продразверстки изымали у крестьян хлеб, не думая ни о каких рыночных принципах. Военный коммунизм привел к значительному сокращению производства сельхозпродукции и к тому, что имеющиеся запасы зерна всячески укрывались от продотрядов. Коммунистическая элита не могла не понимать опасности подобного подхода. Недаром она приняла ленинскую политику НЭПа, хотя допускать рыночный маневр на пути к мировой революции ей, наверное, очень не хотелось.

Таким образом, выбор стратегии индустриализации был неочевиден.

Первый подход отстаивал крупнейший теоретик партии большевиков и сравнительно компетентный экономист Николай Бухарин. Еще недавно он считался наиболее яркой фигурой среди так называемых левых коммунистов. Невозможно было усомниться в его верности марксистско-ленинской теории, в его стремлении к мировой революции, а значит, к той милитаризации, которая для этого требовалась. И то, что Бухарин попытался вписать рынок в процесс индустриализации, то, что он готов был сказать кулакам: «Обогащайтесь!», определялось умением достигать временных компромиссов на пути к стратегическим целям. Великим мастером компромиссов был Ленин, и неудивительно то, что именно его любимец Бухарин оказался в 1920-е гг. наибольшим прагматиком. Он стремился проплыть узким проливом между Сциллой экономического развала и Харибдой империалистической интервенции.

Второй подход отстаивал на «теоретическом фронте» троцкист Евгений Преображенский. Он собирался изымать у крестьян ресурсы не только налогами, но также с помощью монопольно высоких цен промышленности. Однако позиции Преображенского в дискуссии были явно слабее. Во-первых, он не имел такого веса, как Бухарин, в коммунистическом руководстве. Во-вторых, как раз в то время, когда стране надо было определяться со стратегией индустриализации, большевистские вожди боролись за власть с Львом Троцким и, естественно, не слишком стремились поддерживать экономические воззрения троцкизма. В-третьих, приняв НЭП в 1921 г., трудно было сразу же разворачивать страну в противоположном направлении без по-настоящему серьезных оснований. Поэтому победить Бухарина на «теоретическом фронте» Преображенский никак не мог, хотя полностью проигравшим, как мы увидим дальше, его тоже нельзя было бы считать.

В первой половине 1920-х гг. развитие событий шло фактически по Бухарину. Однако вскоре выявилась серьезная проблема. Хотя крестьянство вставало на ноги и нормально кормило народ, индустриализация фактически не осуществлялась. В стране с нормальной капиталистической экономикой разбогатевший нэпман или кулак начали бы инвестировать в промышленность. Но в стране с рынком, допущенным лишь в рамках НЭПа, уповать приходилось в основном на государственные инвестиции. Постепенно выяснилось, что, если к бизнесу относиться лишь как к дойной корове, он не станет «нагуливать вес». Ведь рано или поздно такую корову пустят на мясо. Так не лучше ли прокутить доходы или припрятать?

С нэпманов в СССР брали высокие налоги. Их покрывали общественным презрением, высмеивали в прессе. Грозил вот-вот ликвидировать как класс, а временами отдельных лиц отправляли за решетку. Чтоб сохранить свободу и деньги, бизнес вынужден был идти на взятки чекистам, а также подкармливать ответственных советских работников и партийную элиту. Наконец, детям нэпманов было намного сложнее получить образование, чем детям рабочих.

В общем, с миллионерами, способными развивать промышленность, дело в СССР не задалось. Они активно «переквалифицировались в управдомы». Это предопределило поворот всей экономической стратегии. К середине 1920-х гг. стало ясно, что речь уже не идет о выборе между двумя путями строительства социализма (по Бухарину или по Преображенскому). Выбирать приходилось между тремя потенциальными возможностями. Либо мы возвращаем капитализм в полной мере и тогда имеем шанс на ускорение роста экономики, либо сохраняем НЭП и надолго расстанемся с планами индустриализации, либо усиливаем государственное вмешательство в экономику и получаем средства для укрепления обороноспособности страны.

Первый путь, экономически наиболее разумный, был совершенно исключен для страны, которая только что с огромными жертвами победила капитализм.

Второй путь был хорош лишь тем, что оставлял со временем шанс для ползучего возвращения капитализма. Страна была бы сыта и медленно со сменой поколений могла бы налаживать условия для нормального функционирования экономики. В глазах сменевеховцев подобный путь, наверное, выглядел приемлемым, но в глазах коммунистов, сформировавшихся на теории мировой революции, он представлялся утопичным. Эти люди, во-первых, не желали возврата капитализма ни в близкой, ни в далекой перспективе, а во-вторых, полагали, что во враждебном империалистическом окружении никакой далекой перспективы у страны Советов просто не будет при отсутствии мощной военной индустрии.

На протяжении 1920-х гг. ощущение, будто мы находимся во враждебном окружении, постоянно подпитывалось со всех сторон, и в итоге марксистская схема начинала выглядеть все более убедительной в глазах самых широких масс населения — начиная с необразованных крестьян и заканчивая партийной элитой.

Во-первых, о всевозможных заговорах врагов, о вредителях, о поддержании бдительности и тому подобных вещах непрерывно говорили чекисты. Значение их ведомства напрямую зависело от того, насколько советское руководство чувствует опасность для своего положения. Чем больше обнаруживалось проблем в сфере безопасности, тем больше становилось влияние чекистов на положение дел в стране, тем больше были их штаты, зарплаты и полномочия. Неудиви-

тельно, что с такой «информационной подпиткой» начинали нервничать даже те, кто не слишком большое внимание уделял марксистским представлениям о страстном желании мировой буржуазии задавить молодую Советскую страну.

Во-вторых, фрустрированное постреволюционными трудностями население само начинало искать виновников многочисленных неудач. Рабочий класс обнаружил, что капиталистическая эксплуатация исчезла, а жизнь не наладилась. Кто был ничем, так, собственно говоря, ничем и остался, хотя слова коммунистического гимна «Интернационал» обещали ему, что он «станет всем» после того, как будет разрушен мир насилия. Обвинять в этом коммунистических вождей было чревато неприятностями. А вот удовлетворяться тем, будто враги по-прежнему сильны и строят нам всевозможные козни, никто не мешал. Чекистская информация о недобитых белогвардейцах, являющихся передовым отрядом будущих интервентов, ложилась на фрустрированное сознание масс и порождала постоянный страх. Обыватель ждал агрессии со стороны Англии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии, Эстонии, Болгарии, Японии и прочих стран, где буржуазия спит и видит, как бы насолить Советскому Союзу.

В-третьих, поиск врагов был в известной мере обусловлен личной выгодой тех, кто таковых обезвреживал. Молодой коммунист обнаруживал врага в лице коммуниста старого и тут же получал его должность с окладом. Труженики завода разоблачали старого спеца, занимавшего пост директора, и какой-нибудь спец по обнаружению заговоров садился на его место. При подобном подходе идея разоблачения заговоров овладевала массами, и вскоре советские вожди, плохо понимавшие, что же действительно происходит внизу, сами проникались страхами относительно всесилия шпионов, саботажников, диверсантов и прочей публики, имеющей, естественно, связь с коварной границей.

Как отмечает В. Булдаков, «к концу 1920-х гг. коммунистам мерещилась крамола едва ли не во всяком кружке кройки и шитья, не говоря уж об офицерских кассах вспомоществования». Могли ли они в такой ситуации спокойно допускать сохранение НЭПа и откладывать индустриализацию с оборонным уклоном на неопределенное будущее? Конечно, нет. Идея индустриализации могла лишь сосуществовать с НЭПом на его раннем этапе. Но по мере того как выяснялось, что рынок в советских условиях 1920-х гг. не обеспечивает накопления и не гарантирует достаточного объема инвестиций, естественным образом нарастало желание усилить государственное вмешательство в экономику и вытащить из частного сектора (особенно из многомиллионной российской деревни) ресурсы, необходимые для милитаризации страны.

В итоге вышло так, что объективными обстоятельствами оказалось обусловлено движение вперед по пути, обоснованному Преображенским. И это нисколько не противоречило тому, что троцкизм как политическое течение был разгромлен, а сам Преображенский в 1930-х гг. репрессирован. Борьба за власть привела к поражению троцкизма, против которого объединились различные политические силы от Сталина до Бухарина. А борьба за социализм обусловила победу троцкистских взглядов, поскольку они последовательно исходили из концепции мировой революции.

События, происходившие во второй половине 1920-х гг. и приведшие к катастрофическим для нашей страны последствиям, оказались следствием той зависимости от исторического пути, которая определяет конкретный ход развития. И дело было не в революции как таковой, а в той характерной для

начала XX века идеологии, которую взяла на вооружение победившая партия. Исходившие из идеи мировой революции большевики не могли не готовиться к боям с империалистами, а следовательно, непременно должны были в кратчайшие сроки провести индустриализацию с милитаристским уклоном.

Распространенные порой у нас представления, будто коммунисты 1920-х гг. могли выбрать НЭП, рынок, сытость и мирное сосуществование двух систем, представляют собой типичный анахронизм. Они исходят из мировоззрения совсем иной эпохи. Они игнорируют постреволюционные реалии и те ключевые проблемы, которые волновали людей того времени.

В декабре 1925 г. Бухарин, по сути дела, вынужден был признать, что в свете предлагавшейся им концепции мы будем плестись к социализму черепашим шагом. Николая Ивановича это вроде бы не сильно смущало. Он оставался оптимистом. Но глава правительства Алексей Рыков, бухаринец по взглядам на НЭП, уже отмечал в то время, что без капиталовложений страна дальше жить не может. Как практик он готов был корректировать старую линию.

На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. был взят курс на индустриализацию, однако в течение следующих полутора лет на практике кардинального перелома не происходило. Коммунисты по возможности пытались впрягать в одну «социалистическую телегу» и «мощного коня» государственной индустриализации, и «трепетную лань» частнособственнического хозяйствования. Однако как только вопрос о выборе курса встал ребром, началось жесткое давление на крестьянство с целью изъятия у него средств внеэкономическим путем. Переломным оказался 1927 г.

С одной стороны, это был год так называемой «военной тревоги». Англия разорвала дипломатические сношения с СССР. Вряд ли «мировой империализм» тогда готов был на нас напасть, но Москва, существовавшая в атмосфере страхов, связанных с враждебным окружением, не могла не отнестись к потенциальной угрозе серьезно. Возникло ощущение, будто враг у ворот, а мы к войне совершенно не готовы. Неустойчивое политическое равновесие между «голубыми» и «ястребами» должно было сместиться в сторону последних.

С другой стороны, именно осенью 1927 г. впервые в полный рост встал вопрос о неспособности государства приобрести у крестьян достаточное количество зерна без эскалации насилия. Хлебозаготовки были провалены. Объяснялось это двумя основными причинами. Во-первых, деревня совсем не горела желанием сдавать урожай государству по сравнительно низким закупочным ценам. Во-вторых, на рынке не хватало товаров ширпотреба, которые мог бы купить крестьянин на свои заработки. Приобретать нужные ему промышленные изделия приходилось по высоким ценам и, соответственно, продавать хлеб тоже хотелось не за бесценок. В итоге значительная часть урожая шла к частным торговцам, а государство оставалось с носом.

Нельзя было начинать индустриализацию в такой обстановке. Государству требовалось прокормить рабочих, создающих промышленные гиганты, а также экспортировать зерно за рубеж для того, чтобы на вырученную валюту покупать передовую технику и нанимать западных инженеров. В итоге давление на крестьян усилилось. Местные власти, чтобы обеспечить заготовку зерна, стали применять насильственные методы, далеко выходящие за рамки теории Е. Преображенского. Над простыми крестьянами откровенно издевались, кулаки попадали в руки ОГПУ.

Результат, как и следовало ожидать, был двойственным. С одной стороны, насилие помогло залатать дыры в системе государственных закупок. С другой — стало ясно, что, как в годы военного коммунизма, крестьянин теперь начнет прятать хлеб и сворачивать производственную активность.

Казалось бы, советская власть второй раз наступила на те же самые грабли. Но на дворе был уже не 1921 г. Государство окрепло, подавило крупнейшие очаги крестьянского бунта и оказалось готово к тому, чтобы применять качественно новые методы насилия. Те, которые на исходе Гражданской войны были ему не по силам.

Так мы вплотную подошли к коллективизации. Лишив крестьянина возможности самостоятельно выращивать хлеб, сделав его всего лишь работником колхоза и сосредоточив контроль над зерном в руках государственной бюрократии, советская власть получала ресурсы для индустриализации с милитаристским уклоном. Теперь можно было в большом количестве изготавливать вооружения и средства производства, необходимые для милитаризации. При этом не требовалось выпускать ширпотреб. Крестьянин сдавал зерно, почти ничего не получая взамен.

После коллективизации государству удавалось изымать у крестьян 30—40 % валового сбора зерновых в тех районах страны, где земли были наиболее плодородны — на Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье. Экспорт хлеба за рубеж резко увеличился уже в 1930 г. Это было как раз то, что требовалось для индустриализации и милитаризации.

Поскольку экономические механизмы распределения ресурсов между потреблением и накоплением больше не работали, а административных механизмов еще не было выработано, возникла опасность того, что советская бюрократия расшибет лоб, молясь на индустриализацию, то есть будет изымать зерно по максимуму. Скорее всего, именно это обусловило трагический голодомор на Украине 1932—1933 гг. и страшные лишения, испытанные крестьянством в других частях страны. На Дону казаки грустно шутили: «Рожь и пшеница — все за границу. Колючка и кукуруза — все Советскому Союзу».

С экономической точки зрения массовая коллективизация, начатая осенью 1929 г., была губительной мерой, разрушившей и без того малоэффективное сельское хозяйство. Но в плане противостояния мировому империализму иного решения у советской власти не имелось. Сворачивание НЭПа представляло собой вполне рациональный выбор. Перед лицом растущей внешней угрозы страну превращали в единый военный лагерь.

Это была новая ловушка модернизации, по сути своей очень похожая на ту, которая в свое время обусловила формирование поместно-крепостнической системы ради поддержания боеспособной армии. Теперь ради укрепления обороноспособности крестьян вновь закрепощали, но не потому, что надо было содержать поместное войско, а потому, что требовалось изъять ресурсы на переоснащение армии — на создание танков, самолетов, транспортных средств. Без этого нельзя было воевать, а потому индустриализация в сочетании с коллективизацией представляла собой не проявление безумия вождя, а вполне рациональное решение стоящих перед страной проблем. Другое дело, что проблемы эти были естественны в рамках параноидальной логики марксистско-ленинской теории.

После того как в революции победу одержала партия, противопоставившая себя всему миру, избежать попадания в такую ловушку было чрезвычайно тяжело. И несмотря на все благие намерения, связанные с НЭПом, мы в эту ловушку действительно угодили. Как справедливо отмечал Егор Гайдар, «в результате революции и Гражданской войны путь России к динамичному капиталистическому росту, предполагающему высокую активность частнопредпринимательского сектора, значительные частные сбережения и инвестиции, оказался закрыт».

Административная хозяйственная система, которую Сталин начал выстраивать с 1930-х гг., была оптимально адаптирована к существованию в ловушке. Милитаризация стала целью существования всей экономики, тогда как работу «второстепенных» отраслей пытались оптимизировать лишь исходя из требования максимального перекачивания ресурсов в военно-промышленный комплекс. Неудивительно, что шестьдесят лет функционирования экономики в подобном режиме создали для реформаторов 1990-х гг. серьезные проблемы.

Продолжение следует

ВОЙНА И ВРЕМЯ

ВЛАДИМИР ЖЕНКО

ЛЕНФРОНТ. ВЕСНА 1943-го

От ранения до ранения

Мы не ходили в атаку, не стреляли из пушек по вражеским танкам, не сбивали фашистские самолеты, а просто выполняли необходимую для обороны работу. Оборона Ленинграда — это в первую очередь колоссальный труд сотен тысяч людей в военной форме и в гражданской одежде. Труд, который не имел конца, непрерывный, длившийся почти девятьсот дней. Он не прекращался ни днем ни ночью зимой и летом, в любую погоду. О маленьком подразделении тружеников войны мне и хочется рассказать современной молодежи.

Мы были молоды — по восемнадцать-двадцать лет. Все очень хотели жить. Хорошо, что человеку не дано наперед знать свою судьбу, а на войне никто не мог предугадать, что произойдет через день, через час, а то и через минуту. Мы понимали, что пережить войну очень сложно — а в 1943 году конца ее не было и видно, — но каждый в душе надеялся, более того — был уверен, что после победы вернется домой.

Говорят, что солдат видит войну через прорезь прицела своей винтовки. Мы видели гораздо больше. Линия обороны Ленинградского фронта от Стрельны до Шлиссельбурга была протяженностью около ста семидесяти километров. Наша 46-я стрелковая дивизия была на левом фланге фронта, участок ее обороны был длиною двенадцать-четырнадцать километров, примерно четырнадцатая часть всего фронта. Не так уж и мало. Весь этот участок мы изучили до мельчайших подробностей, находясь каждую ночь в нейтральной зоне между своими и немецкими траншеями. Как тогда говорили, на ничейной земле.

Владимир Митрофанович Женко (род. в 1924 г.). В 1940 г. поступил в калужский техникум путей сообщения. В 1942 г. окончил полковую школу во Владимире и 15 декабря попал на Ленинградский фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в боях по освобождению города от блокады. Воевал в войсках 2-го Белорусского фронта. Демобилизовался в мае 1947 г. и стал работать учителем в средней школе № 3 г. Узловая (в поселке Дубовка) Тульской области, затем директором школы № 18 в том же поселке. Его педагогические статьи публиковались в журналах «Народное образование» и «Школа и производство». Живет в поселке Дубовка Тульской области.

Прошло семьдесят лет после 9 мая 1945 года, но память с фотографической точностью воспроизводит события, участником которых мне пришлось быть. Поэтому в моем рассказе нет ничего придуманного, приукрашенного. Я помню леса и болота, низины и высоты той местности. А полотно железной дороги Москва—Ленинград, наверное, хранит остатки наших землянок. Я упоминаю настоящие фамилии моих товарищей и командиров. Жаль, что не всех.

КАК МЕНЯ ЛЕЧИЛИ

В медсанбат № 36, который находится где-то в районе Ижоры, меня, оглушенного и по пояс мокрого, привез шофер машины ЗИС-5. Парень, видать, был крепкий. Он подхватил меня на руки, словно ребенка, и внес в приемный покой. Попросил раненых потесниться и усадил меня возле печки, сделанной из металлической бочки. Подобрал он меня на дороге, на которую я набрел в темноте, выходя с переднего края, успев по пояс окунуться в ледяную воду придорожной канавы. Перевязала раненую голову случайно встретившаяся медсестра, она же нахлобучила сверху окровавленную шапку.

Приемный покой медсанбата — очень большая часть громадной землянки, вторая половина ее — операционная.

В марте 1943 года бои в районе Красного Бора были жестокие, поэтому раненых в приемном покое было много, все безропотно ждали своей очереди в операционную. Сидеть там мне не один бы час, но произошло нечто необычное.

Медсестра принесла мне кружку горячего кофе, конечно, ненатурального. Я согрелся возле горячей печки и задремал, голова склонилась к раскаленной трубе, шапка вспыхнула, санитары бросились ко мне на помощь, шапку потушили, а меня как пострадавшего отвели в операционную вне очереди. Там рядами стояли столы, над каждым — яркие лампы освещения.

На один из этих столов положили и меня. Сняли только шинель. Хирургом оказалась женщина. Пока сестры готовили меня к операции, она жадно затягивалась махорочной самокруткой, выпуская дым через нос, — короткий отдых-перекур, пока одного пациента меняют на другого.

Медсестра поднесла ко рту мензурку с жидкостью и заставила выпить. Спирт обжег горло и перехватил дыхание. Наркоза тогда либо не было вообще, либо не было времени его применять. Вот и давали раненым спирт, чтобы притуплялась боль во время операции. Когда извлекали из раны осколок, сильной боли я не почувствовал, но, когда стали копаться, обрабатывая рану, сознание помутилось. Пока бинтовали голову, врач протянула мне осколок — зазубренный кусочек крупновского железа величиной с две фаланги указательного пальца. Не было бы на голове каски, лежал бы я рядом со своими товарищами, убитыми этим же снарядом: осколок ударил с такой силой, что пробил каску, застрял в мягких тканях головы. Я потерял слух, и у меня нарушилась речь.

Утром я уже был в Ленинграде в эвакуогоспитале № 1011, помещавшемся в четырехэтажном здании школы недалеко от Финляндского вокзала. Помню блаженство, которое я испытал в приемном покое. Две милovidные сестрички стащили с меня задубелую гимнастерку, еще не просохшие ватные штаны и белье, прочистили уши, обрезали ногти на руках и ногах и передали меня в руки банщика — пожилого ефрейтора с буденовскими усами. Он очень сноровисто меня мылил, тер мочалкой, обливал горячей водой, не умолкая что-то

рассказывал. Я ничего не слышал, по телу разливалось чувство успокоения и радости — я живой!

Позднее я узнал, что этот усатый ефрейтор участвовал в Гражданской войне, одно время был банщиком и мыл самого Фрунзе, чем очень гордился и рассказывал эту историю всем раненым, прибывавшим в госпиталь.

Распаренного, вымытого, одетого в чистое белье, меня поместили в палату. Это была небольшая комната, в которой стояли всего три кровати с прикроватными тумбочками. Посредине — стол, три стула. На столе графин с водой и стакан. Я стал третьим жильцом этой палаты. Один был сильно контужен, ничего не слышал, но хорошо говорил. Второй сильно заикался, но хорошо слышал. У обоих ранение головы. Чтобы общаться, мы положили на стол бумагу и карандаш. Разговаривали в письменном виде.

Всего за какие-то пять часов я из крошечного ада попал в рай. Говорят, что в раю все разгуливают по райскому саду в белых одеждах. Так же и в госпитале: врачи и медсестры в белых халатах. А ранбольные, как нас тогда называли, ходили в нижнем белье. Ни о каких больничных халатах тогда речи быть не могло. Это только в кинофильмах раненые ходят в халатах, которые им раздают режиссеры. Чистые простыни, электрическое освещение — чем не рай! Много позже я понял, что это было только на Ленинградском фронте. От передовой до госпиталя — рукой подать. Порядок в госпитале был идеальный. Утром — врачебный обход. Врач приходит в сопровождении двух медсестер: одна, если нужно, снимает повязку, вторая записывает назначения лечащего врача. Температура измеряется утром и вечером. График температур висит на спинке кровати.

Теперешним врачам не мешало бы вспомнить медицинский порядок тех лет.

Рана не беспокоила, но во время перевязок присохший бинт безжалостно отрывали от раны, причиняя короткую, но очень сильную боль. В госпитале сохранилась школьная библиотека. Пожилая библиотекарша и выжила в блокаду только благодаря своей работе в ней. Я стал запоем читать, наверстывая упущенное время, когда не до чтения было. Да и общаться с товарищами по палате было трудно. Не лежать же глядя в потолок. В школьном актовом зале ежедневно проводились всякие мероприятия: крутили кинофильмы, читали лекции, были всякие беседы и обязательно последние сообщения о положении на фронте. Я на эти мероприятия не ходил. Зачем? Ведь все равно ничего не слышу.

Но однажды приехали артисты фронтовой эстрады, и товарищи по палате почти силой затащили меня на концерт. Я сидел во втором ряду и пялил глаза на сцену. Там что-то читали, рассказывали, играли на баяне. Я собрался уходить, но мое внимание привлекла вышедшая на сцену молодая женщина в синем вечернем платье с блестками. Она была прекрасна! Мне так захотелось услышать ее голос. И я услышал: «Приходи, милый, в вечерний час птицей чернокрылой ночь сойдет на нас!» Ее голос ворвался в мое сознание так неожиданно и с такой силой, что я потерял сознание. Очнулся в палате. Медсестра колдовала надо мной. Я стал слышать! Почувствовал себя совершенно счастливым. Много позже, после войны, я пытался узнать название этой песни и имя ее исполнительницы, писал в ленинградскую эстраду, в адрес редакции концертов по заявкам, обращался в местную музыкальную школу, но никто не знал этой песни. И только теперь я рассказал внуку эту историю. Он покопался в Интернете,

и я, спустя семьдесят лет, снова услышал эту песню. Она называется «Песня о неизвестном любимом».

Все хожу, вздыхаю, ночи я не сплю,
Я его не знаю, но уже люблю.

Приходи, милый, в вечерний час
Птицей чернокрылой ночь сойдет на нас.
Приходи, милый, покажись хоть раз!

Первой исполнительницей этой песни была Эдит Утесова. Может, это она весной 1943-го своим голосом и обаянием вернула мне слух.

Чтобы не тревожить маму, я написал ей в письме с новым адресом, что нахожусь на отдыхе, но материнское сердце не обманешь. Я получил от нее письмо, в котором она спрашивала, куда я ранен и как себя чувствую. Я ее успокоил, сообщив, что со мной все в порядке.

Медицинские сестрички наговорили начальнику госпиталя, что я, нарушая правила внутреннего распорядка, читаю до позднего вечера, включаю свет, когда положено спать. Поэтому меня выписали досрочно с еще не зажившей раной. 15 апреля меня с забинтованной головой и приступами головной боли, но с хорошим слухом и нормальной речью госпитальный старшина привел в батальон выздоравливающих. Жизнь там была тягучая, нудная. Чтобы еще не окрепшие после ранений солдаты не валялись на койках, их снова заставляли изучать стрелковое оружие, противогаз и гранаты. В первый же день я показал командиру роты, что все это достаточно хорошо знаю, и он оставил меня в покое. Ротный был очень добрым человеком с тихим, совсем не командирским голосом. Видимо, был призванным из запаса учителем или скромным служащим. Он не приказывал, а просил: «Сделай, пожалуйста!» Чувствовалось, что служба в этом батальоне его тяготила. В батальоне выздоравливающих был только командир роты, а командиров взводов не было.

Как-то перед ужином нам сообщили, что приехали гости из Узбекистана. Все привели себя в порядок: побрились и подшили чистые подворотнички. В столовой сидели два аксакала с седыми бородами и две девушки с множеством косичек на голове. Все в полосатых халатах и тюбетейках. Командир батальона — майор — представил нам гостей и предложил им выступить. Один из аксакалов очень эмоционально заговорил на узбекском языке, размахивал руками, гладил бороду. Второй на сносном русском языке перевел речь своего товарища: «Весь солнечный Узбекистан восхищен мужеством защитников Ленинграда, и мы желаем всем скорейшего выздоровления и успехов в боевых делах!» Мы похлопали в ладоши.

Девушки показали нам свой национальный танец, а затем всем раздали подарки. Мне достался темно-бордовый шелковый кисет с золотой вышивкой. В нем — очень ароматный легкий табак. Этот кисет я хранил всю войну, а потерял в 1945-м где-то на Одере. Каждому досталось по кулечку кураги и изюма. У меня начался приступ головной боли. Ужинать я не стал, положил в карман кусочек хлеба и ушел в свою комнату. Надо сказать, что кормили нас в этом батальоне скверно — по второй категории, поэтому мы берегли каждый кусочек хлеба. В своей комнате я разделся, лег и накрыл голову подушкой. Боль утихла, и я незаметно уснул. Ночью сквозь сон слышал какую-то возню, шорох и писк,

но не придал этому значения. А утром обнаружил, что вся моя одежда порвана, из дыр в ватных брюках торчали клоки ваты, вместо карманов — огромные дыры, да и у гимнастерки не оказалось воротника. Тогда я догадался, что ночью шумели и пищали крысы, терзая мою одежду.

На утренней поверке командир роты попросил меня выйти из строя, я сделал как положено: два шага вперед, повернулся лицом к строю. Строй взорвался хохотом. Смеялись все, и командир роты, и старшина. Старшина подыскал в своей каптерке сносную одежду, и из чучела я снова стал солдатом. Но многие друзья по роте, встречая меня, посмеивались еще несколько дней.

СНОВА В СТРОЮ

Примерно 26 апреля всем молодым солдатам, которые считались уже здоровыми, выдали новое обмундирование: гимнастерки со стоячим воротником, брюки несколько иного покроя и более темного цвета. Сказали, что эти молодые ребята примут участие в каком-то торжестве. Среди них был и я. Но 28 апреля все отменили и нас отправили на распредпункт.

Знаменитый распредпункт на Фонтанке, 90 знали, наверное, все солдаты Ленфронта! Для прибывших из госпиталей проводилась медицинская комиссия. Врач меня спросил: «На что жалуетесь?» Хоть я и потерял слух на правое ухо, ответил, что жалоб не имею. Стоило бы только мне признаться в своей глухоте, вполне возможно, признали бы меня годным к нестроевой службе. А ее мы характеризовали так: семеро наваливай, один — тащи. Да и паек по второй категории, значит, хлеба будешь получать не килограмм в день, а всего шестьсот граммов. А убивают на войне и строевых и нестроевых солдат одинаково.

В многочисленных комнатах распредпункта были трехъярусные нары. На них валяются солдаты и сержанты, дожидаясь «покупателей» — представителей от частей, прибывших за пополнением. Поэтому долго там никто не задерживался, всего дня два-три. Я забрался на верхние нары под самый потолок. Лежу и думаю: «Куда занесет меня судьба?» Признаться, снова в пекло ожесточенных боев ввязываться не хотелось бы, но война есть война. И чем я лучше других? Они воюют, и мне положено воевать. А от фронта до города рукой подать, пару часов — и там.

В комнату входят «покупатели» и отбирают нужных им специалистов. Почему-то в первую очередь всем нужны повара, затем шоферы и трактористы, словно только на них война держится. Или их убивают чаще других? Кто знает?

Лежал я тогда на нарах, свесив голову вниз, и наблюдал за происходящим. 30 апреля мне повезло. Вошел в комнату капитан: «Чертежники, знающие топографию, есть?» Я прыгнул с верхотуры. Меня призвали в армию из железнодорожного техникума, где черчение и топография были в числе главных предметов. Подтянутый капитан — сразу было видно, что кадровый офицер, — дал мне задание: я должен набрать тридцать столяров, плотников и печников и привести их к воротам, где капитан нас и встретит. Все тридцать оказались пожилыми людьми и с охотой записались в мою группу. Оформление документов заняло не более получаса. Мы расселись в кузове грузовика ЗИС-5 и поехали. Я уже заметил, что на Ленинградском фронте длинных дорог не было, поэтому через час машина остановилась возле каких-то сооружений. Солдат-строителей куда-то увели, а меня капитан пригласил в штаб. Там меня познакомил с командиром

батальона, тоже капитаном. Очень довольные офицеры, как я понял, распорядились подать закуску. Разлили по кружкам водку и выпили за успешный день и за мое новое место службы. Капитан, который меня привез, оказался начальником штаба 40-го инженерно-саперного батальона 46-й стрелковой дивизии.

Командиры обратили внимание на мою новую армейскую форму, поговорили о преимуществах стоячего воротничка — удобнее подшивать подворотничок. Наступила ночь, старшина отвел меня на ночлег в одну из печей для обжига кирпича. Оказывается, батальон дислоцировался на Ижорском кирпичном заводе. Я снял новую гимнастерку, положил под голову вещмешок, накрылся шинелью и под хмельком незаметно уснул сном праведника.

В тот вечер я выпил водку второй раз в жизни. Впервые — в декабре 1942 года в Кобоне на берегу Ладожского озера. Наверное, поэтому я так быстро и спокойно уснул.

СТРАННЫЙ, СТРАННЫЙ ДЕНЬ

Утром проснулся, вспомнил, что сегодня 1 мая. Удивился, что никто меня не будил, не звал, ничего не приказывал. Вышел из темной печи, солнечное утро встретило меня легким теплым ветерком. Огляделся: большой зеленый луг, узенькая речка с заросшими берегами, через нее перекинут пешеходный мостик, на противоположном берегу небольшой домик и длинный навес. Понял — это летняя столовая. Скинул нижнюю рубашку, умылся прохладной водой до пояса. Жизнь прекрасна! Услышал звонкий женский голос: «Ты прибыл вчера с пополнением? Иди завтракать, я давно тебя жду». Сказка, словно я не на войне, а в доме отдыха «Ясная Поляна», в котором я побывал после окончания седьмого класса. Хозяйка домика накормила меня рисовой кашей с кусочком американской колбасы, которую солдаты называли «второй фронт». По ленд-лизу американцы поставляли нам рис и консервированную колбасу, которая была совершенно безвкусной. Оказывается, они уже тогда кормились соевыми продуктами. За годы войны я съел, наверное, целый вагон риса, поэтому до сих пор его не люблю. Зато чай у молодой хозяйки был отменный: пахучий, горячий и сладкий. Таня — повар-ефрейтор, уже более года служила в этом батальоне, поэтому и выжила в блокадную зиму, — поинтересовалась, кто я и откуда, похвалила новую солдатскую форму, особенно гимнастерку со стоячим воротником.

И снова за мной никто не пришел и никуда меня не позвали. По принципу «от службы не отказывайся, на службу не навязывайся», которым руководствовался Гринев из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, я решил осмотреть окрестности: раз не зовут, значит, пока не нужен.

Несколько печей для обжига кирпича стояли на открытом лугу, рядом — небольшое строение, видимо штаб, в котором я был вчера ночью. Дальше — какие-то дома сельского типа. Пошел по берегу речки. Мое внимание привлекла группа солдат, сидящих на траве вокруг лейтенанта, который им что-то объяснял. Подошел ближе. Лейтенант показывал солдатам устройство пехотных и противотанковых мин. Мин я еще не видел ни противотанковых, ни пехотных, поэтому заинтересовался и стал внимательно слушать. Познакомив солдат с устройством противопехотной мины, он показал, как ее заряжать и обезвреживать, и предложил желающим повторить его действия, предупредив, что мина боевая! Я удивился: как можно учить на mine, которая может в не-

умелых руках взорваться? Но все обошлось благополучно, несколько человек отважились зарядить и разрядить мину. Затем лейтенант перешел к объяснению устройства стальной противотанковой мины ТМ-35. Эта круглая, похожая на тарелку мина устанавливается против танков и может применяться против пехоты. Показывая, как ее заряжать, лейтенант заставил слушателей расширить круг. Все быстренько передвинулись подальше от опасной зоны. Когда дошла очередь до установки противопехотной мины, никто не согласился попробовать. И тут меня словно черт дернул за язык:

— Разрешите мне, товарищ лейтенант.

— Ну что ж, иди.

Я шагнул в круг, присел и зарядил эту железную тарелку.

— Молодец, — похвалил меня командир.

— Не боишься?

— Нет, вы же рядом, не дадите взорваться.

Лейтенант внимательно посмотрел на меня и спросил, кто я и откуда взялся. Мне пришлось все объяснить. В это время началась артиллерийская стрельба. Рядом били тяжелые орудия.

— Говоров стреляет, — одобрительно сказал лейтенант.

— Какой Говоров? — заинтересовался я.

— Сын командующего фронтом лейтенант Говоров, командир взвода 122-миллиметровых пушек.

Я попрощался с лейтенантом и пошел посмотреть на командира огневого взвода лейтенанта Говорова. Пока шел, прогремел еще один залп. На войне все закапывалось в землю: для солдат — окоп, для танков — капонир, для пушек — артиллерийский дворик, над поверхностью земли виден только ствол орудия. Я услышал команду:

— Отбой! Расчеты в укрытие! — И все солдаты, словно сквозь землю провалились, исчезли в блиндаже. Тут лейтенант с погонами артиллериста заметил меня — «не своего».

— А вам что здесь нужно? — спросил он.

Молодой человек крепкого телосложения произвел на меня хорошее впечатление.

— Хочу посмотреть на сына командующего фронтом, — ответил я и добавил: — Ведь они не часто встречаются.

Лейтенант, видимо, не ожидал такого откровенного ответа. Минуту помолчав, совсем некомандирским тоном сказал:

— Можете быть свободны, идите.

Я козырнул и удалился.

Много лет спустя командующий Московским военным округом генерал-полковник Говоров Владимир Леонидович приехал на избирательный участок к нам в поселковую школу в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. Сопровождавший его секретарь Узловского горкома КПСС В. И. Осадчий хотел нас познакомить, но я сказал, что мы уже встречались 1 мая 1943 года, и напомнил Говорову, как это произошло. Для меня это было событие, а для него — мелкий эпизод, который он, конечно, забыл через несколько минут. Но тот огневой взвод и печи в районе Усть-Ижоры помнил и шутя поинтересовался, сильно ли изменился с тех пор. Разговор принял непринужденный, доверительный характер, вместе погоревали о наступающей старости и посмеялись над седыми волосами. Мы были ровесниками. Я рассказал генерал-полковнику

о школе, о том, что все юноши, оканчивающие школу, получают удостоверения водителей автомобиля категории «С» и служат в армии шоферами. Прощаясь, Владимир Леонидович спросил:

— А почему вы у меня ничего не просите?

— Разве надо что-то просить?

— Все, к кому я приезжаю, что-нибудь у меня просят.

— Ну, если так, подарите школе автомобиль ГАЗ-53, а то мы учим вождению на устаревших ГАЗ-51.

— Запишите просьбу директора школы и об исполнении доложите, — приказал он полковнику-адъютанту.

В мае мы получили ГАЗ-53, не новую, но вполне приличную машину.

День 1 мая 1943 года уже перевалил за половину. Я решил, что пора обедать, и направился к домику Тани. Под навесом за длинными столами сидели солдаты, которых учил минному делу лейтенант. Таня мне приветливо улыбнулась, как старому знакомому, и я подсел к солдатам. Дежурный подал обед. Снова рисовый суп и рисовая каша — союзники не скупилась на заморское продовольствие. А солдатское дело такое: ешь что дают.

Наконец, обо мне вспомнили: вчерашний старшина рукой машет, дескать, иди сюда.

— Пойдем, я выдам тебе оружие, потом получишь продукты на три дня для себя и лейтенанта Шакирова. Не забудь захватить его допцак.

Я получил карабин, два подсумка с патронами, противогаз и две гранаты Ф-1 — лимонки. На продскладе мне выдали концентраты, полусухую колбасу — нашу, не американскую! — сахар, сухари, махорку и лейтенантский допцак: банку рыбных консервов, двухсотграммовую пачку печенья и пять пачек папирос «Беломорканал». Возле штаба меня ждал уже знакомый лейтенант.

— Давай знакомиться. Лейтенант Шакиров, командир саперного взвода. Пойдем на передний край, по дороге все расскажу.

Я ничего у него не спрашивал, назвал себя и ждал дальнейших объяснений.

В ИНЖЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКЕ

Лейтенант открыл новую пачку «Беломорканала», угостил меня папиросой и стал рассказывать. Я узнал, что 40-му инженерно-саперному батальону приказано заменить белые зимние противопехотные мины на летние зеленые по всей полосе обороны 46-й стрелковой дивизии — это около четырнадцати километров. Мы шли разведать местность, где будет новое минное поле, наметить его направление — стало быть, являемся разведчиками минных полей. Я удивился:

— Какой из меня разведчик, я же в минных полях ничего не понимаю!

— Ты умеешь читать топографическую карту, тебе придется на ней обозначать трассу минных полей и составлять на них паспорта, конечно, вместе со мной. Мне вчера сообщили в штабе, что прибыл человек, знающий топографию.

Признаться, я тогда не до конца разобрался в своих обязанностях, но понял, для чего я был нужен начальнику штаба. Все сомнения рассеялись. Мы долго шли по пыльной грунтовой дороге мимо каких-то развалин. Пересекли Октябрьскую железную дорогу, вступили в болотистый лес. По обеим сторонам дороги стали попадаться артиллерийские и минометные позиции, землянки и блиндажи. Всюду что-то делали солдаты. Раздавались стук топоров, громкие

команды, ржание лошадей. Дорога свернула вправо, а мы пошли по тропинке, которая вилась между кустов. Стали слышны характерные звуки переднего края обороны: одиночные выстрелы, короткая пулеметная очередь немецкого МГ, стали посвистывать над головой пули. Попадая в ствол дерева, некоторые взрывались, создавая впечатление, что стреляют спереди и сзади, — это фрицы стреляли разрывными пулями. Изредка где-то «чвакали» мины. Появилось желание пригнуться, но глядя на лейтенанта, я старался сохранить спокойствие. Хотя всем известно, что после госпитальной палаты снова попадать под огонь противника непросто.

Кончился лес, мы вышли на открытое место. На бугорке стоял подбитый немецкий танк с опущенной почти до земли пушкой. Возле него была настелена гать через болотистый ручей, текущий со стороны противника, который давно пристрелял это место, подкарауливая медлительных. Броском мы преодолели ручей, запоздало просвистели пули пулеметной очереди. За ручьем начинались траншеи 176-го стрелкового полка. Это был правый фланг обороны 46-й стрелковой дивизии. Отсюда и должно начинаться минирование. Ориентируясь словно у себя дома, лейтенант привел меня на командный пункт первого батальона. Нас радушно встретил комбат капитан Шкурпела. Удивительно, что эту фамилию я запомнил на всю жизнь. Скорее всего, из-за необычного звучания. В стрелковых подразделениях любили саперов: они усиливали оборону инженерными сооружениями, минными полями и проволочными заграждениями. Я понял, что Шакиров давно знал комбата. Тот сразу же что-то сказал ординарцу, и на столе вмиг появились хлеб и рисовая каша. Мы достали свою колбасу и банку рыбных консервов. Из алюминиевой фляжки капитан разлил по кружкам водку. Мы выпили за победу. Хозяин добавил: «Будем живы!»

В том, что придет победа, никто не сомневался — дело только во времени. Но знали и другое, что доживут до этого дня не все, поэтому и появилось такое добавление «Будем живы!». В душе каждый хотел дожить, хотя до победы было так далеко. Враг еще стоял у стен Ленинграда.

Второй раз мне пришлось пить водку с офицерами, что было совсем непривычно, да и пил я ее всего третий раз. До войны парни моего возраста спиртным не увлекались, других дел было много. Поэтому даже с пары глотков я опять захмелел и прилег на топчан. Офицеры долго еще о чем-то разговаривали. Сквозь сон слышал стрельбу, взрывы, но проснуться не было сил.

Под Ленинградом май — начало белых ночей, явление для жителей средней полосы России удивительное. Вечером солнце зайдет за горизонт, на землю спустится сумрак; все краски поблекнут, но темноты нет, кругом все видно, словно смотришь черно-белый фильм. Пройдет часа два-три, солнце снова выкатится из-за горизонта — и снова трава зеленая, глина желтая, и первые весенние цветы засияют разноцветной акварелью. Природе на войну наплевать: в свое время и цветы цветут, и птицы поют — лишь бы все огнем не спалило.

Утром наскоро умылись холодной болотной водицей. Поели каши — опять рисовой — и направились к передней траншее. Нам нужно было определить, на каком расстоянии от нее находятся зимние белые мины, а для этого нужно вылезти из траншеи в нейтральную зону.

Нейтральная зона — ничейная земля между передним краем обороны противника и нашим. Эта полоса земли завалена ветками и стволами упавших деревьев, остатками искореженного военного снаряжения, тряпьем и всяким мусо-

ром. В этом месте бои шли с переменным успехом: то наши отгонят фрицев, то фрицы заставят наших попятиться. Вся земля перепахана снарядами и бомбами. Ширина нейтралки, как ее называли на войне, колебалась в широких пределах: от пятисот метров до нескольких километров, в зависимости от местности. Обе противоборствующие стороны круглосуточно ведут наблюдение за противной стороной. Особенно зорко следят снайперы. Поэтому в нейтральную зону лезть не очень хочется. Но надо. И я, конечно, пригнувшись и ползком, добрался до этих белых ящиков-мин. Зимой их раскладывали рядами, но прилетевший снаряд и минометные мины их расшвыривали, присыпали землей. Найти эти бывшие ряды не так-то просто. Наконец я убедился, что от траншеи до белых мин около пятидесяти метров. Следовательно, новая трасса должна проходить на таком же расстоянии, чуть ближе к траншее. У лейтенанта, оказывается, в полевой сумке были куски старой белой ткани. Мелким полосками тряпки я и обозначал новую линию минного поля.

Пройдем метров сто по траншее, я вылезу, привяжу белую тряпочку — и снова в траншею. Лейтенант мне сказал, что я должен идти по трассе впереди всех минеров и маячки-тряпочки оставить у себя. И я старался запоминать малейшие подробности будущего маршрута. Для нашей охраны капитан Шкурпела выделил автоматчика, который давно изучил повадки немцев. Сопровождая нас, он предупреждал, где находится наиболее опасное место, — там приходилось ползать.

В полдень Шакиров решил сделать перерыв и, минуя ходы сообщения, припустился на КП батальона, я — за ним. Сзади раздался выстрел, лейтенант покатился по земле. Думаю: «Снайпер!» — и тут же сам упал, зацепившись за что-то ногами. Оказалось, что лейтенант жив и здоров. Просто он запутался в кольцах тонкой стальной проволоки МЗП — малозаметного препятствия. Оно устанавливается в густой траве, в мелком кустарнике. Кольца стальной проволоки запутывают так, что сам не выберешься. Падая, я сильно ушибся, да еще и карабин, висевший за спиной, ударил по затылку. Лежу — не могу отдышаться. Лейтенант ругается на чем свет стоит:

— Позор, сапер МЗП не заметил!

А дальше — непечатные выражения. Между прочим, мат на войне был самым понятным выражением мыслей. Отличался только интонацией голоса. Звучал то яростно, то строго в приказной форме, то миролюбиво, спокойно, словно голубинное воркование.

Лежу, оглядываюсь, в метрах в десяти котелок валяется алюминиевый с крышкой. Мечта солдата! Суп — в котелок, кашу — в крышку. Очень удобно. Наконец кое-как распутались. Надо было идти дальше. Котелок я, конечно же, подобрал.

За три дня мы прошли по переднему краю обороны 176-го и 314-го стрелковых полков дивизии. Погода стояла прекрасная, под снайперский огонь мы не попали. Лишь иногда над нашими головами пролетала пулеметная очередь. К вечеру третьего дня вернулись к началу маршрута — к подбитому танку. Там нас ожидали солдаты саперного взвода Шакирова: все в маскирующих халатах с разводами и пришитыми пучками зеленого мочала, словно трава растет на теле сапера. Привел их младший сержант Астахов — старый сапер, человек неторопливый, осторожный и очень исполнительный. Ребята принесли по ящику мин. Взрыватели лежали в сумке у ефрейтора Стенина, тоже старого сапера. Пошел

мелкий нудный дождь, небо закрыли низкие облака, белая ночь потемнела — очень благоприятная погода для работы в нейтральной зоне.

Я родился в дождливый день, и мама всегда говорила, что это счастливое для меня время. В ту памятную ночь я вспомнил ее слова и порадовался.

МЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Командир взвода объяснял нам порядок работы по установке минного поля. Впереди всех идет направляющий — выходит, это я; за ним — саперы-укладчики мин, которые им приносят саперы-подносчики; завершают работу саперы-заряжающие: они заряжают мины и маскируют их.

Двигаться надо уступами: впереди — укладчики первого от противника ряда, в двух-трех шагах позади — укладчики второго ряда, затем, третьего и четвертого. Это нужно для того, чтобы в экстренном случае каждый мог перебежать в траншею, минуя свои мины. Между минами в ряду должно быть полтора метра, столько же и между рядами. Шакиров добавил, что могут встретиться зимние мины, присыпанные землей, поэтому ходить надо очень осторожно, пользуясь щупом. Он еще раз показал, как в мину надо вставлять взрыватель с детонатором, как ее закрывать, придерживая правой рукой чеку взрывателя, как маскировать. Затем он распределил обязанности. Заряжать мины поручил младшему сержанту Астахову и ефрейтору Стенину, а за двумя молодыми солдатами решил приглядывать сам.

Я нашел первый ориентир, от которого должно начинаться минное заграждение, и пошел, проверяя каждый метр щупом, параллельно траншее по разведанному маршруту. Все остальные потянулись за мной, соблюдая установленный порядок. В эту ночь мы работали с минами ПМД-6 (противопехотная мина деревянная с цилиндрической 75-граммовой толовой шашкой). Если случайно наступишь на нее ногой — оторвет ступню, если взорвется в руках — оторвет руку и выбьет глаза. Устройство ее очень простое: фанерный ящичек с крышкой, в передней стенке — круглое отверстие, в него вставляется взрыватель с детонатором. Крышка ящичка опирается на предохранительную чеку взрывателя. Нажатие на нее выдавливает чеку и — взрыв! Ящички зеленого цвета.левой рукой приподнял пучок мха, подсунул ящичек правой рукой под мох — и все.

В первую ночь наша группа поставила около тысячи мин, всего четыреста — четыреста пятьдесят метров минного поля. Грязные, мокрые, но счастливые, мы добрались до танка. Дождь закончился, можно спокойно перекурить. Все возбуждены, каждый старается что-то рассказать, ночные страхи позади. С той первой памятной ночи место возле подбитого немецкого Т-IV стало постоянным местом перекура, отдыха и встреч.

НАШ ДОМ

Больше на кирпичном заводе я не был никогда. За те три дня нашего отсутствия штаб батальона и наша саперная рота переселились в землянки, вырытые, как ласточкины гнезда, в насыпи Октябрьской железной дороги. Говоря на военном языке, новое место дислокации было гораздо ближе к переднему краю обороны дивизии, а следовательно, удобнее для оперативной работы. Меня пригласили в свою землянку Астахов и Стенин, нас стало семеро.

Для перекрытия землянки, то есть для наката, использовались шпалы, поэтому размеры ее были ограничены — более семи человек не помещалось. Накатов в землянке было три, это считалось прочным перекрытием. Дверь была сбита из старых досок и висела на петлях от брезентового ремня, снаружи к ручке привязали длинную веревку. Внутри справа — печь, сделанная из большой металлической банки из-под американской колбасы, труба была выведена через перекрытие наружу. Возле печки всегда стоял чурбак для дежурного истопника, рядом — горка дровишек и топор. Напротив двери — лежак, покрытый еловыми лапами. На нем вплотную друг к другу укладывались семь человек. Под голову клали вещмешки. Над лежаком висела полка для котелков. Пол был устелен старыми досками. В землянке всегда было холодно и сыро, печь топили поочередно ежедневно.

Придя утром домой — так мы стали называть этот маленький поселок из землянок, их вместе со штабом и кухней было штук семь, — мы приводили себя в порядок: умывались, вешали на просушку мокрую одежду, обязательно разувались — солдат должен ноги беречь пуще глаза. Передохнув, завтракали. Кашу приносил один из нас. Бывало, посидим, покурим и ложимся отдыхать. Солдат на войне не спит — он отдыхает. Тогда говорили: «Спать будете дома после войны». Вопреки всему мы спали. Спать хотелось всегда, как только появлялась свободная минутка. И каждый, как у Твардовского, «спать за прошлое привык, спать в запас научен». Подъем нам устраивали в четыре часа дня. Мы готовились к ночной работе, обедали или ужинали — называй как хочешь. Затем командиры ставили нам задачу. Мы получали необходимое снаряжение, ящики с минами (по пятьдесят штук в каждом) и шли на передний край.

От моста, что под Красным Бором, в сторону Колпино на протяжении километров трех-четырех растянулся этот городок из землянок. Противник это отлично знал и с Пулковских высот систематически обстреливал его из орудий, но я не помню, чтобы было прямое попадание в какую-то землянку. Кроме нас здесь обитали еще десятки разных подразделений, в том числе батальон связи, 49-я отдельная разведрота, минометчики и прачечное хозяйство. И никто на обстрел не обращал внимания, а снаряды рвались с интервалом минут в сорок. Привыкли. Хотя опасность, конечно, была.

СТРАШНО ИЛИ НЕ СТРАШНО

Странное существо — человек. Привыкает к самым, казалось бы, невероятным условиям существования. Теперь меня часто спрашивают: «Страшно ли было на войне?» Всегда отвечаю: «Конечно же, страшно. В любую минуту могут ранить или убить, а помирать никому не хочется!» Но если «страшная обстановка» повторяется многократно — привыкаешь.

Простой пример. На передний край мы каждый вечер ходили через болотистый лес, где тропинка бежит между деревьев и кустов. Ближе к передовой над ней пролетают пули, то ближе, то дальше взрываются минометные мины, оставляя в кустах сизое облачко сгоревшего тола, застрявшее в ветвях. Противник, безусловно, знал, что здесь передвигаются в сторону передовой и обратно различные военнослужащие. И мы знали их пути и дороги в тылах — на то и разведка! Сначала нас пугали пролетающие над головой пули и взрывающиеся невдалеке мины, но через три-четыре дня мы привыкли и никак не реагировали.

Раза два мне приходилось сопровождать ребят из дивизионной разведки, идущих на передний край. Смелые, натренированные солдаты, побывавшие в различных переделках, пригибались и даже падали на этой тропе. Их командир объяснил: профессиональное чувство самосохранения, мгновенная реакция на любую опасность, но не чувство страха. Это тоже привычка. Все знали, что «свою» пулю не услышишь и не услышишь мину, которая летит к тебе.

Мы привыкли ходить и ползать по болоту. Вода в нем всегда ледяная. И пить ее привыкли. Цветом она похожа на чай и очень вкусная. И с минами мы привыкли быть на «ты», хотя игрушка эта очень опасная. Однако после госпиталя или другого перерыва к фокусам войны привыкать приходилось заново.

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

Три ночи прошли благополучно. Возвращались с переднего края усталые, но довольные. Задание выполнено и потерь нет. Каждое утро я с удовольствием отмечал на штабной карте новый отрезок минного поля. На каждый участок минных заграждений перед обороной стрелкового батальона составлялся паспорт, который подписывали три человека: комбат, командир взвода и я, непосредственный исполнитель работ. На войне была строгая ответственность за порученное дело вообще, а за правильную документацию по минным заграждениям — особенно. Кончится война, не будет ни немецкого, ни нашего переднего края, и кому-то придется очищать землю от смертельных ловушек, вот наши документы и помогут им.

На фронте люди передвигаются гуськом, след в след. В таком же порядке мы подходили к своей землянке. В непосредственной близости от городка протекал болотистый ручей, заросший какой-то травой. Перед нашей землянкой через него был перекинут кусок автомобильного борта. Все останавливались за ручьем, а один из нас переходил ручей и за веревку, привязанную к двери, резко ее распахивал. Каждое утро из землянки выскакивали крысы — одна, две, а то и сразу три. Кто-то из стоящих за ручьем должен был навскидку стрелять из карабина в этих больших серых тварей. Успевали убить только одну, остальные удирали. Мы так и не смогли понять, зачем они лезли в землянку. Ничего для них съедобного там не было. Стрельба по крысам была одним из наших увлечений. А этих гадин на фронте было видимо-невидимо, размером чуть ли не с кошку. Они жрали падаль, окровавленные бинты, старую обувь и одежду, грызли оболочку телефонного провода.

На четвертую ночь случилось несчастье. Подносчик мин случайно наступил на старую мину, присыпанную землей, хотя несколько человек прошли до него благополучно. Я услышал за спиной взрыв. Обернувшись, увидел лежащего на земле солдата в облачке сизого дыма от сгоревшего тола, заметил, что ему оторвало ступню. В таких случаях боли пострадавший не чувствует, только сильный удар — и все. Кровь сразу также не течет, все ткани обожжены. Несмотря ни на что, все должны продолжать работу. Оказывают помощь те, кто остался в траншее. Пострадавшего выносят из нейтральной зоны, бинтуют и оставляют ждать, пока все не закончат работу.

Домой возвращались подавленные. Раненого донесли до полкового перевязочного пункта, оттуда его направят в медсанбат. После завтрака командир роты старший лейтенант Васильев снова призывал нас к осторожности и внимательности. Но это не помогло.

На следующую ночь одному оторвало руку и выбило глаз: мина взорвалась в руке при зарядке. Затем снова солдату оторвало ногу. И так пять дней, вернее ночей, мы теряли по одному товарищу. Нервы были на пределе. Все замкнулись, исчезли шутки и подначки, которые так любят солдаты. Мне снились кошмары: взрыв — и мне оторвало ногу. Просыпаюсь — ногу просто отлежал. Затем долго не мог уснуть.

ТРЕВОЖНЫЕ СЛУХИ

Весна 1943 года на Ленинградском фронте была тревожная и напряженная. Все понимали, что противник попытается взять реванш за прорыв блокады, за Сталинград. Только было не ясно, где он готовится нанести удар. Во всяком случае, этого не знали мы — обычные солдаты и офицеры, находящиеся на передовой. Мы видели и чувствовали, что фашисты, находящиеся в обороне против нашей дивизии, ничего не замышляют, но война есть война. Она держится на тайных и секретных замыслах. Тем более поползли слухи, что наша разведка обнаружила у немцев появление химического оружия — снарядов с отравляющими веществами. Нам выдали противогазы и противоипритные пакеты и приказали круглосуточно иметь их при себе, хотя во время минирования они здорово мешали. Начальник химической службы, лейтенант, которого звали просто «начхим», наконец-то нашел себе работу. По его приказанию мы должны были во время отдыха надевать противогазную маску, тренируя свое дыхание. Через противогазную коробку дышать тяжело, под маской лицо потеет, кожу щиплет. Однако он ходил и проверял исполнение его приказа. Но голь на выдумки хитра! Мы стали отвинчивать трубку от коробки. Некоторое время лейтенант этого не замечал, потом догадался и стал ладонью зажимать отверстие трубки. При этом мгновенно наступает удушье и просыпаешься в страхе. Так мучил он нас несколько дней, пока кто-то не пожаловался комбату: тот отменил это издевательство.

Однажды вечером, когда мы шли на передний край, над нами разорвался странный снаряд: взрыв негромкий и какой-то глухой. Решили, что это и есть химснаряд. Второй разорвался ближе, глядим — в воздухе разноцветные бумажки порхают, спускаются прямо на нас. Сейчас стараются всех убедить, что на войне СМЕРШ строго наказывал тех, кто читал немецкие листовки. Чепуха это. Мы подобрали несколько штук, сами читали и лейтенанту дали. В тех листовках фашисты призывали сдаваться в плен, как это сделал сын Сталина Яков. На оборотной стороне фотография: Яков сидит за столом с офицерами вермахта, на столе вино и закуска. Мы этому просто не поверили, тем более что сына Сталина Якова никто никогда не видел даже на фотографии. Очередная геббельсовская пропаганда — брехня. Лейтенант прочел листовку, скомкал и бросил, ничего не объясняя. Бумажки эти были никому не нужны, они не годились даже на самокрутку. И еще долго они попадались нам под ноги.

УЖАСНАЯ НОЧЬ

Ночи две прошли без потерь, и мы стали успокаиваться. Снова стали шутить и подначивать друг друга, особенно доставалось молодым ребятам, которые пришли к нам с пополнением. Нас снова стало тридцать. В одну из ночей, как

всегда, разложили мины, а заряжающие обнаружили, что взрывателей не хватает и штук пятнадцать коробочек осталось. Решили, что завтра зарядим. На другой вечер лейтенант приказал ефрейтору Стенину вместе с двумя другими солдатами зарядить оставшиеся с прошлой ночи мины. Тем временем я снаряжал взрыватели, ввинчивая в них детонаторы. Остальные сидели в траншее и курили, ожидая команды к началу работы.

Вдруг в той стороне, куда ушли заряжающие, раздались характерные взрывы. Сначала два вместе, затем еще один. По звуку мы сразу догадались — взорвались наши мины. Шакиров послал меня узнать, что там случилось. Я вылез из траншеи, прошел метров двадцать, а навстречу, словно краб, боком на двух руках и на одной ноге ползет солдат, задрав вторую ногу вверх. Второго я увидел у ствола дерева с ладонями, прижатыми к лицу. Метрах в десяти от него лежал Стенин. Кого спасти? Стенина я один не подниму. Повел солдата с разбитым лицом к траншее. Доложил лейтенанту, что нужно выносить Стенина. Он дал мне в помощь двух бойцов.

Подойдя к лежащему товарищу, я понял, что он коленом надавил на мину. Взрывом его отбросило назад. Солдат хотел его поддержать, но не успел. Стенин плечом упал на вторую мину, ему оторвало руку вместе с лопаткой, а солдату разбило взрывом лицо. Стенин еще дышал, хотя был без ноги и руки. Я велел двум солдатам поднять раненого за голову и второе плечо, а сам нагнулся, чтобы ухватиться за ногу. Снова взрыв, и взрывная волна ударила мне в лицо, отбросив назад. Хорошо, что сзади был куст, и я не упал. Схватился руками за лицо, оно все в земле. Протер глаза — вижу! Значит, легко отделался. Одному из моих помощников оторвало руку. Видимо, поднимая Стенина, он рукой надавил на мину. Волной от ее взрыва и ударило мне в лицо. Лейтенант послал мне в помощь Астахова и еще одного солдата. Снова попытались поднять Стенина, и снова взрыв — и солдат без ноги! Что происходило дальше на этом пятачке, я уже не помню: просто одурел от этих взрывов, выводя к траншее безногих и безруких. Кроме Стенина на этом месте подорвались еще одиннадцать человек. Восемнадцать оставшихся не смогли доставить пострадавших в медсанроту. Командир стрелкового батальона послал нам в помощь своих санитаров. Они ужаснулись, увидев такое количество инвалидов.

Домой вернулись оглушенные и совсем раздавленные случившимся. Шакиров просто почернел. Никто не мог уснуть. Ложились, вставали курить, снова ложились. Долго обсуждали эту страшную трагедию. Астахов глубокомысленно заявил:

- Теперь нашему лейтенанту здорово попадет.
- За что? Он тут при чем? — посыпались вопросы.
- Начальство вину найдет, и Шакирова не пожалеют. Шутка ли — двенадцать саперов на своих минах подорвались за одну ночь!

Разговор затих.

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Так и получилось. ЧП — чрезвычайное происшествие — в 40-м инженерно-саперном батальоне облетело всю дивизию. Люди пострадали не от огня противника, а покалечились на своих же минах — это из ряда вон выходящее событие! Была создана комиссия во главе с военным прокурором. Меня с Аста-

ховым заставили ее сопровождать на место происшествия. Сначала нас послали проверить, нет ли там еще спрятанных мин. Только потом офицеры вылезли из траншеи. Место трагедии было все перепахано взрывами. Сделали выводы, что немецкая разведка случайно обнаружила работающих в нейтральной зоне саперов. Когда они ушли, заминировали этот участок нашими же минами без всякой системы, лишь бы напихать их как можно больше, благо вокруг можно было набрать сколько угодно старых зимних мин. А наблюдатели наших стрелковых подразделений не заметили противника. До траншеи от этого места метров пятьдесят и вокруг кусты.

Лейтенанта Шакирова судил трибунал по законам военного времени. Меня и Астахова неоднократно допрашивали о событиях той ночи.

— Почему Шакиров сам не пошел к месту происшествия?

— Он послал меня, своего помощника, а сам остался принимать пострадавших, — отвечал Астахов.

— Вот вам и надо было заботиться о раненых, а лейтенанту надо было быть там, где подрывались его подчиненные, лично оценить обстановку.

Я подумал, что подорвавшимся ребятам уже не поможешь, а лейтенанта надо спасать, и привел неоспоримые доказательства его невиновности.

— Подрываются по неосторожности, надо сначала прощупать место, а потом наступать ногой, на то и шуп. Я с Астаховым остались целы, хотя были там с самого начала и до конца.

— Это не меняет дела, командир должен был вылезти из траншеи, а он спокойно в ней просидел.

Я понял намек, дескать, Шакиров струсил.

— Лейтенант не боялся быть в нейтральной зоне, я уже пятнадцать дней с ним на передовой.

— Достаточно! Все ясно!

Долго зачитывали описание вины лейтенанта Шакирова, командира взвода саперов 40-го ИСБ. Затем последовал приговор: «Разжаловать в рядовые, направить для продолжения службы в штрафной батальон».

Мы ожидали худшего — военный трибунал безжалостен. Нам разрешили попрощаться со своим командиром, и его увели два автоматчика. Штрафной батальон не курорт, это мы знали и поняли, что Шакирова больше не увидим. Но каких только чудес на войне не бывает!

В первых числах июня меня послали на армейский склад за минами. Полуторка въезжала в ворота склада. А навстречу шел лейтенант, пригляделся и не поверил своим глазам. Да это же Шакиров! Выпрыгнул из кузова прямо ему под ноги. Обрадовались друг другу, даже обнялись в нарушение устава. Но обнимал он меня левой рукой.

ШТРАФНИК ШАКИРОВ

Штрафную роту, в которой служил рядовой Шакиров, послали в разведку боем. Без артиллерийской подготовки ночью рота молча подобралась к переднему краю немецкой обороны и броском ворвалась в траншею. Шакиров заскочил в землянку, кого-то ударил прикладом автомата, схватил лежащий на столе портфель, споткнулся о лежащего на полу человека, которого он только что ударил. Да это офицер! Выволок его в траншею, а рота уже отходит. Пробе-

гавший мимо солдат помог ему взвалить офицера на плечо, и Шакиров бросился за отходящими. Фрицы опомнились, подняли стрельбу.

Шакиров миновал уже колючую проволоку, когда шальная пуля догнала его и ударила в правую руку чуть выше локтя. Он почувствовал удар, но ношу не бросил. Так и свалился вместе с пленным в свою траншею. Фашистский офицер оказался каким-то проверяющим из какого-то штаба. В портфеле нашли важные документы. Ранение оказалось легким, в мягкие ткани. Шакирова восстановили в звании. Теперь он командир саперного взвода в отдельном армейском инженерно-саперном батальоне. Старшина, с которым я приехал, подивился судьбе лейтенанта, но задерживаться больше не мог. Мы попрощались теперь уже с хорошим настроением. Я порадовался за своего командира.

За те три дня, проведенные на переднем крае в инженерной разведке, мы с ним успели подружиться. Он рассказал мне о дивизии, в которой я теперь служил. 46-я стрелковая дивизия трижды заново формировалась из разных частей. В последний раз — из 1-й стрелковой дивизии НКВД 9 августа 1942 года, но 40-й инженерно-саперный батальон существует с первого дня формирования дивизии, с 1921 года. Летом 1943 года дивизией командовал генерал-майор Е. В. Козик.

МЫСЛИ О МАМЕ

На следующую после суда ночь на задание нас повел командир роты, старший лейтенант Васильев. Он отдавал четкие распоряжения официальным тоном, называл нас по уставу на «вы» с подчеркнутым уважением к личности, но из траншеи в нейтральную зону не вылезал всю ночь. То ли боялся, то ли не хотел вмешиваться в тот порядок работы, который установил Шакиров. Перед выходом на передний край, вечером, я получил от мамы первое письмо на новом месте службы. Попав в госпиталь, я написал ей, что нахожусь на отдыхе, но материнское сердце не обманешь. Она догадалась, что я ранен и нахожусь в госпитале, и прислала полный тревоги ответ. В своем письме я ее успокоил, сообщив, что ничего страшного со мной не произошло, и предупредил о скорой смене адреса, так как скоро перехожу на новое место службы. И вот держу в руках ее письмо, присланное по новому адресу. Она никогда не присылала мне треугольнички — письма военных лет, — а всегда присылала письма в настоящем конверте. Смотрю на конверт и раздумываю: сейчас прочесть мамино послание или после возвращения с задания, утром, в спокойной обстановке. И спрятал письмо в карман до утра. Ночь прошла спокойно. Все вернулись домой живыми и здоровыми. После завтрака примостился на травке возле землянки и принялся за чтение. Мама писала: «...сын, береги себя, не мочи ноги, а то простудишься...» — и дальше в том же духе. Не сговариваясь, мы никогда не писали о плохом. Письма на фронт должны быть бодрыми и ласковыми, а с фронта не только бодрыми, но и веселыми. Пусть там дома родные думают, что мы живем — не тужим. Я представил, что мама, придя из школы домой, в первую очередь садится проверять детские тетради, а затем пишет мне письмо, стараясь вложить в него свою любовь и заботу.

«Милая мама, — думал я, — если бы ты знала, что твой сын каждую ночь мочит не только ноги, но и тело, ползая по болоту, в котором вода всегда леденящая». И так мне стало грустно, так захотелось хоть одним глазком поглядеть

на маму, услышать ее голос! Когда я уходил из дома в военкомат для отправки в воинскую часть, обещал ей обязательно вернуться с войны. Она, как я понимал, и живет надеждой. Я для нее свет в окошке, одного сына она уже потеряла на войне год назад. А конца войны и не видно. Мне понятна ее тревога. Успокаиваю ее в своих письмах как могу.

НОВЫЙ КОМАНДИР ВЗВОДА

После той трагической ночи нас осталось всего восемнадцать человек. Какой это взвод, так, горстка саперов. Поэтому все обрадовались, когда пришло к нам новое пополнение. Все ребята молодые, но уже обстрелянные, не новички на фронте. Однако ни одного сапера среди них не оказалось. Значит, нам придется учить их новой профессии уже следующей ночью. Время не ждет. Среди молодых ребят выделялся коренастый солдат лет тридцати пяти. Я пригласил его в свою землянку на место погибшего ефрейтора Стенина. Оказалось, что он родом из Диканьки Полтавской области. Тут же вспомнился Н. В. Гоголь и его «Вий», «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я постарался завязать с ним дружбу. Коротич — такой была его фамилия, — узнав мою фамилию, решил, будто я тоже с Украины и охотно пошел мне навстречу. С того дня мы всегда были рядом.

Вскоре к нам пришел новый командир взвода. Вернувшись с задания, я грелся на солнышке возле землянки и увидел шедшего в мою сторону человека. Наша землянка была в ряду землянок крайняя справа. Человек подошел ко мне.

— Это саперный батальон? — спросил он.

Смотрю, на погонах две звездочки, значит, лейтенант, но вид совсем не командирский: шинель мятая, ремень не затянут, пилотка надета поперек головы, сапоги пыльные.

— Так точно, — отвечаю, — саперный.

— Подскажите, как мне попасть в штаб.

— Через две землянки, рядом — походная кухня, — показал я рукой, поднявшись.

Кто-то из наших вышел из землянки, глядя лейтенанту вслед спросил:

— Кто это?

— Какой-то лейтенант спрашивал, где штаб.

— Может это наш новый командир взвода?

Я пожал плечами и ничего не ответил. Мне лейтенант не понравился, был он какой-то неухоженный.

Мы все легли на свои места, дежурный сидел у печки. Дверь отворилась, и вошел этот лейтенант.

— Лейтенант Иванов, назначен командиром вашего взвода, — представился он. — Жить буду в вашей землянке.

— У нас места нет, всего семеро помещается, — заявил младший сержант Астахов, — наш командир взвода жил в офицерской землянке, она рядом со штабом.

— Ничего, я вас не стесню. Я на пеньке возле печки сидеть буду.

Что мы можем поделаться — живи. Он снял свой вещмешок, разделся, предложил дневальному освободить место возле печки и сел на чурбак, подложил в топку щепок. Огонь загудел, землянка наполнилась теплом, комары исчезли, и мы уснули.

Нас не тревожил обстрел, который систематически вел противник по насыпи железнодорожного полотна, — привыкли. Он всегда начинался утром и продолжался до вечера.

Услышав первые взрывы, новый лейтенант разбудил нас и поинтересовался, сколько накатов имеет наша землянка, кто-то из солдат буркнул:

— От прямого попадания не спасут и пять накатов, а у нас всего три!

Лучше бы он этого не говорил. Иванов после каждого взрыва стал посылать кого-либо из нас посмотреть, как далеко от нас взорвался снаряд. Так и тревожил он нас весь день, не давая спать. Мы, конечно, поняли, что лейтенант трусит, боится за свою жизнь. Таких на фронте не любят и не жалеют. Каждый из нас ежедневно рискует жизнью, но вида не подает. Чем же он лучше?

Вечером, невыспавшиеся, мы молча встретили лейтенанта, пришедшего из штаба, где он получил задание на ночные работы. Объяснил, что приказано продолжать минирование, достал карту и попросил показать маршрут, по которому мы всегда ходили на передовую. Я показал нашу проторенную тропу. Взвалили ящики с минами на плечи и пошли проверенной дорогой. Но лейтенант нас остановил и, словно молодой Ленин, сказал: «Мы пойдем другим путем!» Достал компас, потоптался, огляделся и пошел вперед, махнув нам рукой. Мы — за ним. Он водил нас всю ночь по тылам дивизии. На нас с удивлением смотрели конюхи, повозочные: бродят какие-то солдаты в маскхалатах с ящиками на плечах. На их вопросы мы не отвечали. Наконец командир взвода завел нас в какое-то болото. Мы сразу же промочили ноги в холодном сфагнуме, но молчали и покорно шли дальше. Только к утру взвод добрался до командного пункта одного из стрелковых батальонов 176-го полка. Работать было поздно. Свалили мины под куст возле этого КП и пошли назад своей старой дорогой; возле танка посидели, покурили и объяснили лейтенанту, что это место нашего постоянного отдыха. Домой вернулись, когда вовсю светило солнце. Что докладывал Иванов в штабе батальона, мы не узнали. Укладываясь отдыхать, мы просили его нас по пустякам не тревожить. Он приказал Ахметжанову — был у нас такой шустрый солдатик-татарчонок — наколоть дров, а сам принялся растапливать печурку. Ахметжанов подбросил свеженаколотых дровишек. То ли случайно, то ли он нарочно это сделал, но в печку попал винтовочный патрон и бабахнул. Лейтенант от испуга чуть не свалился со своего чурбака.

— Вы хотите, чтобы мне глаза выбило? Зачем в печку патрон бросили?

— Я не кидал патрон в печку, — оправдывался солдат.

Этот случай понравился нашим ребятам, и каждый норовил подбросить в печку патрон. Лейтенант запретил нам приближаться к печке, и дрова подбрасывал в огонь сам. Тогда солдаты стали вбивать патроны в поленья. Командир догадался и сам начал заготавливать дрова. Забавлялись мы несколько дней, потом надоело.

СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

В батальон поступил срочный приказ: снять полевые мины заграждения (ПОМЗ) в полосе обороны 314-го полка на участке в пятьсот метров. Готовилась разведка боем, нужен был проход в минном поле. Мы этих мин еще не видели и не знали, как их обезвреживать, поэтому утром нас стали знакомить с ПОМЗом. Корпус мины чугунный, рифленый, как граната Ф-1, цилиндрической

формы. Внутри закладывается 75-граммовая толовая шашка. В верхний торец мины вставляется взрыватель с детонатором. Мина нижним торцом надевается на кол высотой пятьдесят-шестьдесят сантиметров, к предохранительной чеке взрывателя прикрепляется тонкая стальная проволока в виде растяжки, идущей к чеке другой мины, и так далее. Расстояние между минами десять метров. В высокой траве, в кустарнике эти растяжки незаметны. Зацепил проволоку — взрыв! Осколки летят до пятидесяти метров.

Для работы отобрали пять пар — десять человек. Конечно, с собой я взял Коротича. Порядок работы отрепетировали дома. Самое трудное — это найти линию установленных мин. Затем один держит пальцами чеку взрывателя, второй перезаряжает проволоку возле чеки. Вывертывается из мины взрыватель. Мину вместе с колом — под куст. Детонатор вывертывается из взрывателя и выбрасывается в сторону противника, корпус взрывателя кладется в сумку для отчета. На участке в пятьсот метров должно стоять пятьдесят мин — по десять штук на каждую пару саперов.

В ту ночь низкие тучи закрыли небо, сильный ветер хлестал в лицо мелким дождем. Белая ночь потемнела. Заданный участок обороны в еловом лесу, но новогодних елок там не найти. Все деревья побиты осколками снарядов, посечены пулями, под ногами сучья, поваленные стволы, бурелом. Как говорят, черт ногу сломит. Командир взвода, не вылезая из траншеи, расставил нас на расстоянии ста метров друг от друга и приказал начать работу. Мы с Коротичем оказались на левом фланге крайними. В такие ненастные ночи противник нервничает. Одна за другой над его передним краем вспыхивают осветительные ракеты. Они и нам немного подсвечивают местность. Сравнительно легко мы обнаружили линию ПОМЗов. Отдышались и приступили к работе. Коротич резал ножницами проволоку, я обезвреживал мину. Едва успели снять пару мин, как справа послышались какие-то крики, прогремело несколько взрывов, несколько коротких автоматных очередей, и все стихло. Только ветер шумел в еловых ветвях. Немного постояли, послушали и снова принялись за дело. Сняли последнюю мину и решили пройти по трассе дальше. На соседнем участке сняты были только две мины. Нашли следующую. Невольно возник вопрос: что произошло, куда делись товарищи? Двоим в нейтральной зоне неудобно. Противник всего в километре, осветительные ракеты пускает, своя траншея в семидесяти метрах. Посоветовались и решили идти вперед и сделать работу своих ребят. Так и прошли все пятьсот метров и сняли сорок одну мину. Стали выходить к своей траншее, а навстречу автоматная очередь и окрик:

— Стой! Кто идет?

— Свои, свои! — орем во все горло, чтобы заглушить шум ветра.

— Ложись! — снова окрик, но голос другой. Коротич ответил сочным матом с украинским акцентом. Легли, ждем. Через несколько минут слышим уже спокойный голос:

— Встать, оружие оставить, идите сюда!

Подходим, нас встречают лейтенант и два автоматчика. Объясняем, что мы саперы, выполняли задание, нас должны ждать наши товарищи и лейтенант.

— Саперы давно ушли, их увел лейтенант часа три назад.

— Почему ушли, что случилось?

Лейтенант этого не знал. Коротич вернулся за карабинами, и мы пошли разбираться к командиру стрелкового батальона. Тот послушал наши объяснения, потрепал нас по плечам, похвалил и отпустил. Дошли до танка — никого.

Домой пришли мокрые, грязные и злые. Проходим мимо кухни, повар кричит:

— Вы откуда такие грязные?

Не успели дойти до своей землянки, повар орет:

— Срочно в штаб, комбат вызывает!

Капитан задал один вопрос:

— Вы где были, почему отстали от взвода?

Пришлось подробно рассказывать о событиях этой ночи. Доложили, что разрядили сорок одну мину. Комбат повеселел, поблагодарил за службу; но взрыватели пересчитал.

— Особенно об этой ночи не распространяйтесь, — напутствовал он нас и отпустил.

Первым в землянку вошел Коротич. Лейтенант вскочил со своего чурбака. Что сказал ему Коротич, я не слышал, но увидел, как он влепил лейтенанту пощечину.

— Что ты делаешь? — заорал я. — Под трибунал хочешь?

— Пусть знает! — И выругался.

Ребята лежали и ничего не заметили. Умывшись, мы пошли на кухню. Еда у повара еще осталась. Вернулись в землянку. Лейтенант сидел согнувшись и на нас не взглянул. Никто нас ни о чем больше не спрашивал. Ребята чувствовали свою вину, что бросили нас на нейтралке.

Начальник штаба доложил в дивизию, что задание выполнено. А кому нужны подробности? Мои опасения за судьбу Коротича развеялись. Лейтенант жаловаться не посмел.

Сейчас, вспоминая ту ночь, я подумал: случись это хотя бы в 1944 году, когда на всех фронтах шло наше наступление, наш поступок оценили бы медалью «За отвагу». Но в обороне награждали крайне редко. Какие могут быть награды, когда противник у стен Ленинграда.

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЕРЖАНТ

Младшего сержанта Астахова перевели в строительную роту. Он в батальоне служил с 1942 года — ветеран. Видимо, начальство решило отстранить его от опасной работы. Мы не обиделись. Астахову было около сорока лет, для нас он старик. Хватит ему со смертью в руках ползать по ничейной земле. Даже порадовались за него.

Его место в землянке занял молодой сержант. Крепкий, здоровый и, видать, из блатных. На ногах — кирзовые сапоги, на поясе — ремень офицерский, на голове — пилотка набок. Откуда он пришел к нам, я не помню, но точно знаю, что не из саперной части, так как никаких мин он никогда не видел. Поэтому в первую же ночь лейтенант заставил его подносить мины из траншеи к укладчикам. Он рад стараться, по два мешка таскал. Кроме того, ему поручили поглядывать за противником. По правилам стрелковый батальон должен обеспечить охрану саперов, работающих на его участке. Это правило, как и множество других, на войне не выполнялось: командир взвода поставит в известность комбата, что в его батальоне будут работать саперы, тот поручит ротному установить наблюдение за противником, а саперы пусть сами себя охраняют. Ахметжанов, заряжая мины, бывало, твердил:

— Мина — смотри, товарищ — смотри, немец — смотри, а у меня глаз — два!

Мы шутили:

— Затылком смотри!

В первую же ночь новый сержант резво взялся за работу, мешки с минами укладчикам доставлял бегом. Всем это понравилось: работающий, не филон. Только всех донял вопросами: что будет, если на мину наступить носком сапога, а если пяткой? В шутку ему посоветовали:

— А ты попробуй!

— Что я, дурак?

— Зачем тогда спрашивать?

— Интересно.

— Поработаешь — узнаешь, что интересно, а что нет.

Как-то утром вызывает к себе комбат.

— Вы минировали в полосе первого батальона 176-го полка?

— Да, в первую ночь с лейтенантом Шакировым.

— Сумеете проделать там проход?

— Постараюсь, если нужно, — ответил я, а про себя думаю: для чего нужен этот проход?

— Сегодня вечером должны прибыть туда, напарника назначит командир взвода, — последовал приказ.

— Слушаюсь!

Вечером на заданном участке обороны собрались офицеры: командир батальона, начальник штаба и дивизионный инженер. Туда же солдаты прикатили большую катушку детонирующего шнура (теперь электрики и связисты на такие катушки наматывают кабели и провода).

Инженер объяснил задачу: сначала я должен был проделать в своем минном поле проход, затем добраться до проволочного ограждения противника и повесить на него фугас — заряд тола весом десять килограммов. Проход я проделал быстро, сняв шесть мин, и обозначил его двумя флажками. Фугас мне надели на плечи, словно вещмешок, к нему привязали конец детонирующего шнура с детонатором, шнур закрепили на поясном ремне, чтобы его легче было тащить через всю нейтральную зону. Задание опасное. Чтобы уменьшить риск, мне к поясу привязали тонкую веревку, за которую меня можно было бы вытащить, если ранят или убьют. В напарники лейтенант послал нового сержанта. Парень здоровый — вытащит! Карабин мне заменили на автомат ППШ, дали две гранаты-лимонки.

Я начал движение. За мной тянулся желтый шнур, который начальник штаба сматывал с барабана. Сержант на расстоянии метров в пятнадцать помогал тянуть шнур. Около двухсот метров мы преодолели пригнувшись. Затем сержант подергал веревку — сигнал опасности! Что он увидел или услышал, я не знал. Дальше пришлось ползти. Шнур цеплялся за всякий хлам, валяющийся на земле, с каждым метром тащить его становилось все тяжелее. И только тогда я осознал, насколько опасно это задание не только для меня, но и для офицеров, стоящих возле катушки: бикфордов шнур — пороховой, он горит со скоростью сантиметр в секунду, а детонирующий — толовый, взрывается со скоростью километр в секунду! Зацепится детонатор, прикрепленный за моей спиной, за что-нибудь или пуля с осколком попадут в него — взрыв! Если десять килограммов тола взорвутся, от меня даже молекулы не останется. И вытаскивать за веревку будет некого. Вместе с этим и катушка с детонирующим шнуром на

другом конце бабахнет в несколько раз сильнее, не оставив и следа от стоящих рядом. От этих мыслей я сразу же весь взмок.

А шнур уже тащить стало невозможно. Подергал за веревку, чтобы сержант посильнее помог. Считаю: если один метр шнура весит сто граммов, то сто метров весят десять килограммов, а мы уже метров триста пятьдесят продвинулись. Не выдержит шнур, лопнет! Так и случилось: сержант поднатужился и шнур оборвался. Сразу так легко ползти стало!

Подполз сержант. Посоветовавшись, решили возвращаться. Докладываю обстановку и свои расчеты привел в доказательство, а затем и про возможный взрыв сказал. Переглянулись комбат с дивизионным инженером и ничего мне не сказали.

Тут сержанта словно кто-то за язык потянул:

— Мы большой ящик, опутанный проводами, встретили.

— Где? Какой? Принести!

Приказ есть приказ. Пока до этого ящика добирались, я сержанта всякими словами обзывал за его язык. Дело-то уже к утру подходит, да и охота ли второй раз на нейтралку лезть! Сержант запомнил, где видел ящик, и без задержки меня к нему привел. Я сразу понял, что проводами его опутали, чтобы легче было по земле тащить. Размотали провода, открыли ящик, а там мины от батальонного миномета лежат, даже смазка цела. И две ручки у ящика есть для переноса.

Командир батальона приказал зарядный ящик доставить на КП стрелкового батальона. Так я встретился снова с капитаном Шкурпелой. Он узнал меня, спросил про Шакирова. Я все объяснил. Погоревали. Минам комбат обрадовался. На все боеприпасы лимит, а тут целых двенадцать новеньких мин, в пергаментную бумагу обернуты. В благодарность он нас водкой угостил и кашей на закуску накормил.

Вспоминал я это задание с фугасом не раз и всегда удивлялся: как могли знающие подрывное дело офицеры придумать такую совершенно нереальную операцию?! Зимой 1944 года наши саперы 325-го отдельного армейского инженерно-саперного батальона, навешивая на рогатки противника фугасы, взрыватели использовали уже электрические и протягивали к ним тонкие провода. Взрывали же эти фугасы подрывной электромашиной из своей траншеи.

В следующую ночь наш новый сержант (фамилию его я забыл) надавил на мину щупом. Мы все уже закончили работу и собирались уходить домой, когда услышали взрыв. Я выскочил из траншеи и побежал выяснять, что произошло. Смотрю, стоит сержант, прислонившись спиной к дереву, и рассматривает палку от щупа, а у него над головой стальной штырь в стволе дерева торчит. Засел так крепко, что вытащить его мы не смогли. Пролети он чуть ниже — и пригвоздил бы сержанта к дереву, как бабочку в коллекции булавкой. Спросили у сержанта, как все произошло, а он что-то непонятное проговорил. Мы подумали — от испуга. Через день ему оторвало пальцы на ступне: он наступил на мину, которую заряжающий только что замаскировал.

Зачем он туда пошел, было непонятно. Доставили его в медсанроту, а там врачи удивились: в первый раз у сапера всего лишь пальцы на ноге оторвало, обычно — всю ступню. У нас было заведено относить раненым его личные вещи и одежду. Вещмешок сержанта оказался чем-то набит под завязку. Открыли, а там две пары детских валенок, набор ложек, вилок и ножей, какие-то женские тряпки. Доложили командиру роты старшему лейтенанту Васильеву,

тот — дивизионному прокурору. А в медсанбате установили, что сержант умышленно надавил на мину самым носком сапога, поэтому и оторвало ему только пальцы. Решили — членовредительство, захотел домой живым вернуться, хоть и покалеченным. В подарок родным и близким барахло заранее приготовил. Мы знали, что его сначала будут лечить, а потом состоится военно-полевой суд — трибунал, который таких не милует. Отменить своим приказом решение суда мог только командир дивизии, если найдет смягчающие обстоятельства. Но это редкий случай. Каждый бы так покалечил сам себя — и домой. Сержанта мы не пожалели, но очень переживали, что сразу его не раскусили. Вот к чему привело его любопытство. Особенно почему-то нас детские валеночки возмутили.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ С ЛЕЙТЕНАНТОМ ИВАНОВЫМ

В полосе обороны 314-го полка было торфяное болото, никакие траншеи копать нельзя. Для защиты переднего края строили забор: два ряда обыкновенного плетня, между которыми насыпалась торфяная земля. Ширина этого устройства составляла около полутора метров, высота — чуть больше. Нейтральная зона — более километра. Такой же забор и на переднем крае немцев. Пространство открытое, лишь посередине протянулась полоса кустарника. Наблюдение на таких участках с обеих сторон усиленное. Зимой здесь не минировали, поэтому старых мин на этом участке не имелось, и работать саперам было проще. Но на открытой местности передвигаться надо только ползком.

Лейтенант объяснил задачу, распределил обязанности. Минировали пехотными минами в пять рядов. Подносчики мин сначала доставляли их ползком, но затем потеряли бдительность и стали бегать пригнувшись. Конечно, немцы обнаружили нашу суету и открыли отсекающий минометный огонь, чтобы всех уничтожить в нейтральной зоне и не дать никому добежать до укрытия. Лейтенант заорал: «Все назад!» Откуда только такой громкий голос взялся! Подносчики мин и заряжающие бросились бегом к забору, возник момент паники. Немцы усилили огонь. Пятерых ребят, которые раскладывали мины ближе к противнику, я увел в кусты. Немцы перенесли огонь по нашему забору. Больше никто не бежал, не перелезал через забор, и противник успокоился. Некоторое время спустя мы ползком добрались до забора и все одновременно стали через него перелезать. Снова противник открыл огонь. Пришлось лечь уже с нашей стороны забора.

Когда строили забор, торфяную землю брали тут же, поэтому осталось много наполненных водой мелких ямок. Лежать в воде неприятно, и я плюхнулся на бугорок возле дерева; кто-то упал сзади и уперся головой в мои ступни. Мины рвутся вокруг, обдавая нас торфяной жижей. Вдруг что-то сильно ударило по ступне: осколок, решил я.

Обстрел кончился. Я поднялся, наступать на левую ногу больно. Товарищи осмотрели ногу — никакой раны нет. Приспособился наступать на пятку.

Солдаты-наблюдатели из стрелковой роты сказали, что лейтенант куда-то увел саперов. Мы решили, что нас будут ждать возле танка. Захватили с собой мешки с минами, брошенные подносчиками, и направились домой. Но у танка нас никто не ждал. Добрались до своих землянок. Я пошел к санинструктору, а моих товарищей позвали в штаб. Там начальник штаба расспросил их о событиях этой ночи. Нашего лейтенанта Иванова мы больше не видели. Солдат

из взвода управления взял в нашей землянке его вещи и куда-то унес. Мы от Иванова устали, нам надоели его постоянные страхи, он ни разу не вылез из траншеи, да и по ней ходил пригнувшись, пряча свою драгоценную голову.

Санинструктор, осмотрев мою ногу, сделал вывод, что это сильный ушиб. Намазал ступню сверху йодом, забинтовал и дал освобождение от работ на три дня, вернее ночи.

СМЕРТЬ МЕНЯ ПОДОЖДЕТ

Днем меня разбудил посыльный из штаба.

— Срочно к комбату! — приказным тоном произнес он и стал дожидаться, пока я окончательно проснусь и смогу идти. С его помощью, хромя на левую ногу, я дошел до штаба.

Капитан объяснил, что из второго батальона 176-го полка ночью к немцам перешли два человека, два ротных старшины. Надо было найти проход в минном поле, по которому они прошли, снова его закрыть, и это место отметить на карте для уполномоченного СМЕРШ.

— У меня освобождение на три дня, — доложил я, — ночью сильно ушиб ногу.

— Потерпи, ведь этот участок никто, кроме тебя, не знает, — в виде просьбы сказал капитан и добавил: — Командиру стрелкового батальона доложи, что прибыл в его распоряжение от меня, будто не знаешь задания.

— Разрешите взять с собой Коротича, без него я не дойду.

— Конечно, бери. И отправляйтесь прямо сейчас.

С Коротичем мы успели сдружиться, хотя он был в два раза старше меня. На него можно положиться, он не подведет — в этом я убедился, когда мы с ним снимали ПОМЗы. К распоряжению комбата Коротич отнесся сдержанно, но было заметно, что он недоволен. Однако собрался быстро, подхватив мешок мин. Не мне же хромоту их тащить. Нога немного размялась, и ступать стало не очень больно.

Часа в два мы доложили комбату о прибытии в его распоряжение. Он разъяснил задачу: надо найти и закрыть проход в минном поле, по которому к немцам перешли два солдата — казахи по национальности. С нами послал лейтенанта, молоденького командира взвода. Для охраны выделил автоматчика.

Участок обороны второго батальона включал в себя кусок искалеченного войной леса, протяженностью более километра. В нейтральной зоне черт ногу сломит! Помню, что от траншеи до минного поля метров шестьдесят. Вот и попробуй найти место, где прошли эти предатели! Начали с левого фланга. Днем по нейтралке не очень-то нагуляешься — снайперы не дремлют. Поэтому из траншеи вылезаем через каждые 10—15 метров, высматривая пустые коробочки от мин. Не с собой же перебежчики их унесли. Коротич с мешком мин идет по траншее впереди, я, прихрамывая, — за ним, лейтенант и автоматчик — за мной. Стрельбы нет. Солнце светит. Тепло. Полежать бы сейчас где-нибудь на травке, а не выскакивать из траншеи ежеминутно. Лейтенант каждый раз, когда я возвращаюсь в траншею, задает один и тот же вопрос:

— Ну как? Ничего не нашел?

Сначала я ему отвечал, а потом просто рукой махал. Уже дважды посидели, покурили, благо добрый лейтенант «Беломором» угощал, а никаких следов

перехода через минное поле не обнаружили. Коротич вдруг остановился, что-то высматривая вперед.

— Гляди, воронка свежая, вокруг глина рассыпана, — обернулся он ко мне.

— Вы посидите здесь, а я пойду проверю, что-то не помню я эту воронку.

Вылез из траншеи, иду к этой воронке. Она большая, метров восемь в диаметре, и глубокая. На дне — вода. «Нет, не было этой воронки, когда мы тут минировали», — сделал я вывод! И вернулся в траншею.

— Откуда взялась эта воронка? — спрашиваю у лейтенанта. — Когда она появилась?

Лейтенант смотрит на своего солдата, тот — на лейтенанта. Оба думают.

— А помните, товарищ лейтенант, самолет немецкий низко, чуть не по макушкам деревьев, пролетел, а потом что-то ахнуло!

— Точно! Может он бомбу сбросил? — вспомнил лейтенант. — Дней пять назад это было.

Я снова отправился к воронке, спустился в нее. С левой стороны по краю воронки на глине увидел отпечатки сапог. Шли след в след. Сапоги с подковками, у солдат — ботинки и никаких подковок не бывает. Я прошел до противоположного края воронки, прилег на скат, пытаюсь увидеть разбросанные взрывом мины, подтянулся на самый край воронки, оперся о край руками и хотел еще дальше продвинуться. Скосил глаза, а под грудью лежит мина, присыпанная глиняной крошкой! Вот она меня и поджидала: придавил бы телом — грудь в ключья! И ахнуть бы не успел. Сразу взмок от напряжения. Спустился вниз, лежу на глине, никак в себя прийти не могу. Коротич ждал меня, ждал и решил сам ко мне пожаловать. Толкает меня, за ногу дергает, а я ничего ему сказать не могу, только на мину показал.

Лишь в траншее я сумел рассказать, что произошло. Вспомнил, как в медсанбат привезли раненого, у которого мина от немецкого ротного миномета под лопаткой торчала. Все от него в стороны шарахались, а санитар, говорят, глаза закрыл, мину за хвост дернул и в дверь на улицу вышвырнул. Там она и бабахнула. А раненый поседел, ожидая взрыва, пока его до медсанбата везли.

— Я не седой? — спрашиваю у товарищей.

— Ты весь мокрый, — ответили.

Когда пришел в себя, поставили по внешнему краю воронки свежие мины. На карте лейтенанта я отметил это место и попросил его доложить своему комбату, что мы выполнили задание, а сами пошли домой. У нашего танка полежали на травке, покурили. Смотрю, а по серому северному небу облака на юг плывут. Может их путь над моим домом пройдет? Мама на них посмотрит и обо мне с тревогой подумает.

Помирать совсем неохота, пусть смерть меня подождет!

Я НЕ СНАЙПЕР, НО СТРЕЛЯТЬ УМЕЮ

Отдыхать мне не дали. Правда, первую ночь мы с Коротичем спали вдвоем в пустой землянке. Днем меня послали на армейский склад за минами, где я встретил Шакирова. Вторую ночь проспал спокойно, зато весь день возился с паспортами минных полей в штабе. Иванов так и не удосужился их оформить. А вечером, хромя, я потащился со всеми на передний край. Вел нас ротный. На место работы пришли рано, еще солнышко за горизонт не спряталось. Поль-

зуюсь свободным временем, я пошел знакомиться с бытом солдат на переднем крае. Раньше об этом не думал.

В траншее оказалось пусто, только наблюдатели дежурят в определенных местах, а свободные от дежурства солдаты либо отдыхают в землянках, либо ходы сообщения подправляют; некоторые пишут письма или дивизионную газету вслух читают товарищам.

На переднем крае затишье: немцы молчат и наши не стреляют. Хотя нет-нет, а где-то пулеметная очередь прострочит да шальная мина взорвется. Иногда фрицы забавляются.

Была на переднем крае высотка, она всего на десяток метров возвышалась над болотистой равниной. В оперативных документах именовалась «Огурец». Два года за эту высотку шла борьба: то наши ее займут, то фашисты нас потеснят. В июне 1943 года ею владели немцы. От высотки к нашей траншее был проложен ход сообщения. Видимо, такой же ход был проделан и в немецкую траншею. С нашей стороны его не засыпали, а чтобы противник не воспользовался им, стоял фугас — мина большой мощности. У начала хода сообщения располагался наш наблюдательный пункт. Там находился солдат со стереотрубой, которую я к тому времени еще никогда не видел.

— Что там видишь? — спросил у наблюдателя.

— Фриц на бруствере сидит и курит.

— Дай поглядеть.

— Смотри, не жалко.

Я приник к окулярам и вижу: на бруствере сидит немец, привалившись спиной к толстому стволу куста с развилкой. Сидит, гад, спокойно, словно и не на войне, а в санатории, и дым колечками пускает. Поглядел без трубы. Куст вижу и развилку вижу, а немца — нет. Снова поглядел в трубу — сидит.

— Ты смотри, — говорю солдату, — а я его сейчас проучу. — И передернул затвор карабина.

— Да брось ты, далеко, все равно не попадешь.

— Попаду, — хвалюсь я.

Прицелился под развилку, словно в тире, задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Выстрел какой-то тихий прозвучал.

— Упал! — орет солдат и от возбуждения даже приплясывать стал.

Посмотрел я в трубу: лежит фриц, и каска с головы соскочила. Присмотрелся, а его уже кто-то в траншею тянет за ноги.

Сначала по нашей траншее хлестнула длинная пулеметная очередь, затем завизжали мины. Немцы решили отомстить за погибшего солдата огнем налетом. На минометный обстрел наши минометчики ответили огнем, ударила артиллерия среднего калибра фашистов, заговорили наши пушки. Огневой бой длился около часа, затем стал постепенно утихать, и вновь установилась тишина. Никаких разрушений и жертв немецкий огневой налет не принес. Немцы успокоились. Послышалась мелодия песенки «Лили Марлен» на губной гармошке, «Розамунда» и «Белла Мари».

Противник постоянно, скорее от скуки, чем по необходимости, постреливал из пулемета и посылал несколько мин на наш передний край то в одном, то в другом месте. Наши не всегда отвечали на их огонь — сэкономили боеприпасы. Поэтому огневой бой возникал нечасто. И мы, работая в нейтральной зоне, почти не реагировали на пролетающие над головой пули и мины. Притихнем на несколько минут, приляжем на матушку-землю, передохнем и снова работаем.

Кстати сказать, в 314-м полку был пулеметчик, который на своем станковом пулемете умел выбивать мелодию «Катюши». Иногда на вечерней заре немцы кричали: «Рус, Катюша!» Наш пулеметчик-музыкант старался, а фашисты молчали. В вечернем воздухе пулеметная очередь слышна далеко...

Я не садист, не убийца, но получал какое-то удовлетворение от уничтожения фашиста. На войне никакой жалости к противнику не было. Недаром везде висели плакаты: «Хочешь жить — убей немца!» У нас и мыслей тогда не было, что гитлеровцы — люди и тоже хотят жить и что их силой послали на войну. Для нас они были зверями, насильниками и убийцами. От них все наши несчастья. Поэтому их надо бить, бить и бить, пока ни одного не останется на нашей земле. Тогда я был доволен, что на одного фашиста стало меньше. Такое жестокое было время. Никто не обратил особого внимания на мой выстрел, а огневой налет фашистов восприняли как вполне естественное явление на войне. В ту ночь мы спокойно продолжили делать свою работу.

Продолжение этой истории я узнал позднее в госпитале. Меня поселили в двухместную палатку полевого госпиталя № 2583. Моим соседом оказался сержант Борис (фамилию его я не помню). Как водится, стали знакомиться. Борис рассказал, что осколок мины снес ему всю мягкую ткань пятки левой ноги, поскольку он не успел вскочить в землянку, когда начался огневой налет противника, вызванный выстрелом нашего сапера, подстрелившего немца на высоте «Огурец». Пришлось признаться. Борис ничуть не обиделся. Мы вместе подивились такому совпадению.

ЕГО ЗВАЛИ НИКОЛАЙ

К нам во взвод прибыл новый солдат из стрелковой части. Он всем сразу чем-то понравился, и мы пригласили его в свою землянку. Коренной ленинградец. На фронт ушел добровольцем со 2-й дивизией народного ополчения. В этой дивизии были научные работники, учителя, инженеры, артисты, писатели и художники, причем разных возрастов; совсем юные и пожилые, которых не призвали по мобилизации в первые дни войны. Когда всеми имеющимися под Ленинградом силами остановили врага и заставили его перейти к обороне, из дивизий народного ополчения сформировали строевые части, а нужных городу специалистов вернули на гражданскую службу. Николай, так звали этого солдата, был инженером-строителем, но воевал в качестве рядового. Был дважды ранен. На распределпункте после второго ранения комиссия выяснила, что он инженер с высшим образованием, и направила его в наш инженерно-саперный батальон до решения аттестационной комиссии, которая должна была присвоить ему офицерское звание.

Мы этого не знали, и Николай работал с нами как рядовой солдат. В свободное время он рассказывал много интересного о Ленинграде, об его истории, о достопримечательностях, музеях, мостах, памятниках. Знал он много, говорил красочно, понятно. Слушали его затаив дыхание, забывая о войне. Николай нас приглашал в гости после победы, обещая показать этот прекрасный город — Ленинград.

Я заметил, что для каждого солдата то место, где он жил, было лучшим местом в мире. До войны каждый учился или работал на своей родине и редко кто уезжал куда-то в другое место. На фронте не принято было говорить о войне,

о смерти, о ранениях. В минуты отдыха говорили о доме, о родных, а поскольку во взводе были молодые солдаты, говорили о знакомых девушках, показывали их фотографии и даже читали вслух их письма. Каких только красок не жалели, расписывая свои родные места, и каждый приглашал после войны к себе в гости: «Я вам такое покажу!» Смысл этих приглашений был понятен: каждый надеялся дожить до победы, уцелеть в этой кровопролитной войне и вернуться в родные места. Так, слушая рассказы своих товарищей, мы путешествовали по стране, удивлялись богатству природы и красоте разных городов.

Однажды Николай сказал нам, что завтра должен предстать перед аттестационной комиссией, которая присвоит ему офицерское звание. Мы размечтались: Николай будет командиром нашего взвода. Ведь после лейтенанта Иванова еще никого не прислали, и на задания нас водил ротный. Вечером Николай стоял вместе со всеми в строю, готовый отправиться на передний край. Командир роты посоветовал ему остаться дома, отдохнуть перед комиссией. Николай отказался. Мы все принялись его отговаривать, мол, и без него справимся с работой, особенно старался я. В землянке мы спали рядом.

Но Николай был непреклонен. В ту памятную ночь мы должны были заминировать сухой возвышенный участок, тянувшийся через нейтральную зону от немецких позиций к нашим. Начальство решило, что это танкоопасный участок, следовательно, надо установить противотанковые мины ЯМ-5. Разведка донесла, что на той стороне прослушивалась работа танковых двигателей. Командир роты объяснил нам устройство ЯМ-5, показал, как надо ее заряжать и устанавливать. Нагрузившись этими минами, мы тронулись в путь. На открытом возвышенном участке кое-где росли кусты, так что передвигаться нам пришлось осторожно, чаще всего ползком. Как обычно, командир роты показал место работы, распределил обязанности, не вылезая из траншеи. Устанавливать мины предстояло в три ряда на расстоянии в пять метров мина от мины и ряд от ряда. Я шел направляющим и указывал место установки мин — по две в одну лунку. На этом участке раньше мы уже установили пехотные мины, поэтому сначала сделали проход в этом минном поле, а потом начали устанавливать ЯМ-5.

Николай был заряжающим первого ряда. Двигаясь вперед, я то и дело оглядывался на него, словно чувствуя что-то нехорошее. В какой-то момент я увидел, как он опустил в ямку одну мину и почему-то медлил со второй. Решил помочь и пополз к нему. Страшный взрыв отбросил меня назад. Там, где был Николай, повисло сизое облачко дыма от сгоревшего тола.

Немцы почувствовали что-то подозрительное, и обстреляли это место из пулемета, недалеко шлепнулось несколько мин. Когда все стихло, старший лейтенант приполз к месту взрыва. Мы обыскали каждый сантиметр земли вокруг воронки. Нашли затыльник от приклада карабина, каблук от сапога и кисет с махоркой. Он почему-то раздулся и был влажным. И больше ничего, никаких следов от человека не осталось. Был Николай, и все его тело с одеждой и обувью разлетелось на молекулы. Мы лежали вокруг воронки и молчали. За полтора месяца мы привыкли ко всему: вытаскивали с нейтралки искалеченных товарищей, принесли убитого Стенина, похоронив его недалеко от своих землянок, но гибель Николая нас потрясла — был человек и исчез!

— Вот это да! — сказал кто-то хриплым голосом.

— Затыльник цел, а куда же делся ствол от карабина?

— Почему кисет раздулся?

Все эти вопросы не нашли ответа. Но больше всего нас беспокоил вопрос: что случилось, почему произошел взрыв? На заряженной мине ЯМ-5 можно плясать, чтобы произошел взрыв, нужно надавить на нее весом не менее пяти-сот килограммов. Меня не покидала мысль, что я еще дома заметил какое-то странное состояние Николая. Тогда такое состояние человека представлялось мне естественным волнением перед аттестацией. А что если он предчувствовал свою гибель?

Задание, однако, надо выполнять, и мы принялись за работу. Наши переживания в эту ночь не закончились: дошли до своего танка, а его нет! Поняли, что его эвакуировали на металлолом, о чем говорила широкая полоса вспаханной земли, уходящая в тыл.

Понимали, металл нужен, но стало как-то пусто, словно лишились родного дома. На войне все меняется очень быстро. Утешились тем, что в 176-й полк мы больше не пойдем. В 314-й полк вела другая дорога.

Дома ребята взяли кое-что из вещей Николая на память. Я принципиально никаких чужих вещей не брал. Зачем они? Друзья должны оставаться в памяти.

ПРЕДЧУВСТВИЯ

В полосе обороны 314-го полка болотистый лес переходил в сплошное сфагновое торфяное болото. Сфагнум — белый мох, имеющий в листьях и стеблях воздушные мешки, которые и придают ему белесый цвет. Он растет на одном месте сотни лет. Верхушка нарастает, а стебель уходит в глубину болота, превращаясь в торф. Болото это не топкое, но при ходьбе выступает очень холодная вода. Белесая поверхность никогда не прогревается солнцем. Ползать по такому болоту очень неприятно — одежда сразу же пропитывается ледяной водой. До войны здесь начались торфоразработки, сохранились осушительные канавы и вывороченные пни от спиленных когда-то громадных сосен. Словно сказочные многорукие чудовища, лежали они на белесой поверхности земли. Картина была довольно неприглядная.

Нейтральная зона достигала порой нескольких километров. Передний край противника, при этом, таял где-то в голубой дымке. Воздух в этом месте насыщен влагой. На нашем переднем крае обороны видны сооружения из бревен, сверху покрытых землей и мхом для маскировки. Все минометные и орудийные позиции также оборудованы защитой из бревен. Конюшни, склады, укрытия для людей возвышаются над поверхностью земли. Копать нельзя — всюду вода. На расстоянии пятисот метров от переднего края обороны оборудованы позиции боевого охранения. Позиция боевого охранения также сложена из бревен наподобие трех стенок колодца. Спереди и с боков — заграждения из колючей проволоки, на которой подвешены консервные банки для подачи звукового сигнала, если кто-то попытается резать колючку.

Боевое охранение состояло из двух солдат и сержанта. У них кроме автоматов были еще ручной или станковый пулемет и запас гранат. Перед боевыми охранениями на расстоянии пятидесяти метров мы устанавливали противопехотное минное поле. Мины ставили в шесть рядов. Никаких зимних мин там никто не ставил, поэтому работать было безопасно и споро: приподнял пук мха, сунул под него мину — через минуту сам не найдешь. Между постами боевого охранения — метров двести-триста. Так и двигались мы от одного поста к другому.

Через день мне чем-то не понравился вид нашего любимца Ахметжанова. А ночью у него в руках взорвался детонатор. Ему оторвало два пальца на правой руке — большой и указательный, а корпусом взрывателя рассекло правую бровь. Кровь залила лицо. Подбежал я к нему, а он сидит и смотрит на почерневшую кисть, словно ничего понять не может. Перевязали руку, вытерли с лица кровь, наложили повязку и успокаиваем его: «Ты теперь воевать не годен, поедешь к своей Фариде, она тебя и без пальцев с радостью встретит!» — знали, что в деревне под Казанью ждет его девушка Фарида. Он, бывало, получит от нее весточку, сядет возле землянки, письмо читает и на фотографию девушки поглядывает. А потом такую унылую песню на своем языке затянет — голос молодой, звонкий. На фотографии — красивая девушка, совсем на татарку не похожая, на шею монисто из монет.

Мы пообещали после войны всем взводом к нему в гости приехать. Приобрелся парень, повеселел. А у меня мысль: «Я же чувствовал, что с ним что-то случится». Хорошо, что только пальцами отделался, могло быть хуже. И эти предчувствия стали меня волновать. Каждый вечер я стал всматриваться в лица своих товарищей, но на себя в зеркало смотреть перестал. Но никому ничего о своем состоянии не сказал. На войне вызвать панику легко.

НАДО СПАСАТЬ НЕМЦА

Утром снова вызов к комбату.

— Командир 314-го полка просит срочно прислать саперов. Там что-то случилось. Пойдешь ты с Коротичем. Отправляйтесь прямо сейчас. Захватите с собой десятка два мин.

Мы только что пришли из 314-го полка, а расстояние не близкое. Наша 46-я стрелковая дивизия занимала оборону почти от Красного Бора до Невы — это около четырнадцати километров. Мы уже заминировали более половины этого расстояния, удаляясь от своих землянок все дальше и дальше. И времени на ходьбу стали затрачивать больше. Выходим на задание раньше, а приходим домой позднее. А тут снова идти, не отдохнув. Но приказ — закон для подчиненных. Так говорится в уставе. Наскоро съели завтрак, захватили мины и пошли назад в 314-й полк. Коротич, конечно, недоволен, но молчит. Только к обеду добрались до штаба полка. День солнечный, ветра нет, жарко. Июнь — начало лета.

Оказалось, что ночью перед одним постом боевого охранения немецкая разведка нарвалась на минное поле. Два солдата подорвались и остались лежать, остальных фашистов отогнали пулеметчики. Этих двух фрицев мы и должны вынести с минного поля и доставить в штаб. В помощь нам дали санинструктора и двух солдат с носилками. Кроме саперов, никто это сделать не сможет. Все солдаты и офицеры всех родов войск смертельно боятся мин: и своих и чужих. И на минное поле их под страхом смерти не загонишь!

Метрах в пятидесяти от боевого охранения на минном поле лежали два немца. Один мертвый, его убили пулеметчики, второй живой, с оторванной ступней. Раненый немец не потерял присутствия духа: сам себе наложил жгут из ремня и забинтовал культю. Он еле шевелил губами, попросил воды.

Раненого положили на носилки, и солдаты потащили его в тыл, а мы остались восстанавливать брешь в минном поле. Решили, что фашисты обязательно

ночью вернуться спасать своих товарищей, поэтому решили приготовить для них сюрприз. Я попросил у пулеметчиков пару гранат-лимонок, шнурком от ботинок соединил предохранительное кольцо гранаты с рукой и ногой убитого немца. Дескать, станут его поднимать — гранаты взорвутся. Конечно, грешно издеваться над покойником, но это война. Уходя, предупредили пулеметчиков, чтобы они заранее немцев не пугали, пусть своего солдата вытаскивают.

Пришли в штаб полка, а спасенный немец уже на скамье сидит и кашу ест. Ему объяснили, что с минного поля мы его вынесли. Несколько раз повторил: «Данке шён, данке шён», — поблагодарил, значит.

Начальник штаба полка велел передать нашему комбату, чтобы он объявил нам благодарность. Домой мы не пошли. На кухне нас накормили кашей, мы легли под кустик и заснули.

Наверное, от переутомления и постоянного нервного напряжения солдат на войне мог заснуть в любое время суток, в любом месте и в любом положении. При длительных переходах ухитрялись спать даже на ходу, а если находилось место, где прилечь, — засыпали мгновенно. Иной раз и грохот пушек не разбудит солдата, а тихий голос командира будил мгновенно. За всю войну я не слышал, чтобы кто-либо жаловался на бессонницу.

На следующую ночь немцы действительно пришли за своими солдатами. На минах не подорвались, видимо, с ними был сапер. Но от взрыва гранат был убит еще один. Солдаты охраны не стали ждать дальнейших действий фашистов, пугнули их пулеметным огнем. Об этом нам рассказал лейтенант, который нас ожидал на выходе из нейтральной зоны.

— Вытащите трупы с минного поля, — попросил он. — Жара, они начнут разлагаться. А вообще-то их надо закопать.

Мы согласились, все равно по пути мимо пройдем.

И СНОВА ХИМЗАЩИТА

Однажды утром нас встретил лейтенант, начальник химической службы батальона, или просто начхим. Обычно он находился при штабе, выполняя разные мелкие поручения начальства, либо занимался какими-то делами в саперных ротах, которые строили блиндажи дороги и мосты. Все офицеры и солдаты батальона считали, что делать ему было нечего, и считали начхима бездельником. Его имущество хранилось где-то на складе у старшины. Мы же его не видели с тех пор, как комбат отменил тренировки с противогазами. Не дав передохнуть, лейтенант приказал нам построиться с противогазами. Противогазные сумки многие приспособили для переноски взрывателей, а сами противогазы лежали где-то рядом с вещевым мешком. Наконец разобрались и построились.

— Достать противоипритные пакеты, — приказал начхим.

Были у нас такие пакеты с жидкостью и тампонами для смывания с кожи капель иприта — отравляющего вещества. Хранились они в особом кармане противогазной сумки. Никто эти пакеты всерьез не воспринимал: у многих они потерялись, некоторые их просто выкинули.

— Сегодня вы пакеты потеряли, завтра — оружие, чем защищаться будете? — начал свою речь лейтенант.

После долгой нотации мы наконец поняли что где-то в штрафной роте, прибывшей на передний край, солдаты выпили эту жидкость. Двадцать семь

ослепло, одиннадцать — умерло. Чтобы этого не случилось у нас, он решил противоипритные пакеты отобрать и сдать на хранение на свой склад.

— А если немцы применяют иприт? — спросил кто-то.

— Заткнись, — высказался другой.

Мы с удовольствием отдали эти пакеты — меньше заботы. Это была моя последняя встреча с начхимом.

ПРО ПОГОДУ, МИНЫ И РАКЕТЫ

Про погоду в Ленинградское области все, конечно, слышали: зимой — слякоть, летом — туманы, сырость, серое небо закрыто облаками, которые опускаются чуть ли не до земли. Совсем по-иному вела себя погода во время войны, она словно щадила защитников Ленинграда. Зимы были морозные, почти без оттепелей, а лето 1943-го выдалось вообще прекрасное: ночи теплые, днем небо ясное, жгучее солнце, словно на юге, дожди редкие, кратковременные. Солдаты ухитрялись даже загорать, лежа возле своих землянок. Конечно, когда была свободная минутка.

Где-то гремели бои, а в полосе обороны 46-й стрелковой дивизии было относительно спокойно. В стрелковых батальонах потерь почти не было. При огневых налетах противника солдаты прятались в блиндажах, землянках, отсиживались в траншеях. Только мы, минеры, рисковали жизнью каждую ночь, теряли товарищей от своих же мин. Ведь недаром говорят, что сапер ошибается один раз. Количество возможных ошибок сапера никто не подсчитывал. К тому же мы не были застрахованы от встречи в нейтральной зоне с разведкой противника. Наше присутствие на ничейной земле в любой момент мог обнаружить враг — тогда мало не покажется. Мы торжествовали, когда над немецким передним краем появлялись наши ночные бомбардировщики — маленькие У-2. Немцы их называли «рус-фанер» и страшно боялись: штурманы этих самолетов сбрасывали бомбы точно в цель. Поэтому фашисты прекращали всякую стрельбу и прятались. А мы злорадствовали: «Что, фриц, струсил?!»

Вообще, немцы очень внимательно следили за состоянием нейтральной зоны. Ночами над их передним краем постоянно взлетали осветительные ракеты. Они нам очень мешали, но зато мы знали, что в данном месте нет немецкой разведки. Не будут же они своей разведке мешать! А когда прилетали наши У-2, над передним краем фашистов никакие ракеты не светили.

Что видел человек, впервые попавший на передний край, — это ракеты над немецкой обороной. И на всю жизнь любой фронтовик запомнил именно осветительные ракеты противника. У нас они также были, но использовали их только в исключительных случаях.

Начальство решило, что в сплошных торфяниках устанавливать противопехотные мины ПМД-6 и ПМД-7 нецелесообразно, вполне достаточно мин с меньшим толовым зарядом ППМС. Противопехотная мина стальная — это жестяная коробочка, точная копия коробочки для гуталина. Наверное, и те и другие штамповали на одной фабрике, только в коробочке для мины сбоку есть круглое отверстие для детонатора, который очень похож на патрон мелкокалиберной винтовки. Внутри коробочки закладывалась лепешка тола весом в пятьдесят граммов. Крышка коробочки при нажатии на нее своим краем давит на детонатор — и происходит взрыв. Если наступишь на такую мину, раздробит ступню, но не оторвет, ее потом в госпитале ампутируют.

Сто таких мин упаковывают в реечный ящик, который сапер несет на своих плечах на передний край. Наставление по минному делу требует, чтобы минер вставлял в мину детонатор при установке мины на месте. Но это очень неудобно: детонатор очень маленький, из рук вываливается, да и вставлять его в отверстие мины неудобно. Поэтому взрыватели вставляют дома перед выходом на передний край. Это очень опасно. Стоит попасть в ящик пуле или осколку либо уронить ящик, сразу произойдет взрыв. Пять килограммов тола разнесут человека в клочья! Еще и окружающим достанется. Но это редкий случай и его игнорируют.

Вот мы и начали в полосе 314-го полка минировать этими минами в шесть рядов. На передний край ходили гуськом с интервалом не менее пяти метров. В первую ночь поставили три тысячи мин. Это совсем неплохо. И времени затратили меньше, чем обычно. Но как они надоели, эти мины! Мы все обтрепались, стали похожи не на зеленых медведей, а на облезлых котов. Каждый день маскхалаты ремонтировали. В ночь на 30 июня нам предстояло минировать на стыке 314-го и 340-го полков. Командир стрелкового батальона 314-го полка должен был предупредить своего соседа из 340-го полка, что в нейтральной зоне будут работать саперы и выходить будут к нему.

Второй день с нами был новый командир взвода, лейтенант. Мы с ним еще не успели познакомиться, но он нам понравился. От взвода ни на шаг и в нейтральной зоне рядом. А на душе у меня как-то тревожно. Мы одни на огромном торфяном болоте, не считая редкие боевые охранения. Огромные пни с разлапистыми корнями словно подкарауливают нас. Неприятная картина. Закончили работу, поставили вехи, обозначив конец минного поля, и пошли к выходу. Прошли метров пятьсот, пулеметная очередь над головой и окрик «Ложись!». Лейтенант матом, мол, одурели вы все что ли, это саперы идут! И пошла перебранка. Двинемся немного вперед — снова пулеметная очередь, трассирующие пули цветным веером разлетаются над головой. Вся эта заваруха по утренней заре на километры слышна.

Все же заставили нас лечь, а лейтенант вынужден был с поднятыми руками к пулеметчикам идти. Пока нашли дежурного офицера, пока разобрались, что никто никого о работающих саперах не предупредил, солнышко-то из-за горизонта и вылезло. Домой пришли голодные и злые. Долго лежали, курили, каждый думал о чем-то своем.

А меня терзали нехорошие предчувствия. Перед глазами — трассирующие пули над головой.

ПУЛЯ — ДУРА

Вечером начальник штаба нам объявил, что виновные в ночном происшествии наказаны и впредь такое не повторится. Но нам от этого легче не стало. К выходу готовились вяло. Лейтенант нас не торопил, сам помогал заряжать мины.

Цепочка идущих саперов всегда привлекала внимание встречных: след в след в лохматых маскхалатах движутся одинаковые фигуры людей, только лица выглядывают из-под капюшонов, на плечах — ящики, за спиной — карабины. Словно лесные привидения из детских сказок.

И в этот вечер, 30 июня, мы также молча шли с ящиками на плечах. Прошли лес, по краю глубокой осушительной канавы, по дну которой медленно течет

рыжая торфяная жижа, вышли в дальние тылы полка. Слева — бревенчатые блиндажи и укрытия артиллеристов и минометчиков. Впереди идет Коротич: широкоплечий, выше среднего роста, ступает уверенно, твердо. Я — за ним. За-мыкает цепочку командир взвода. Встречные солдаты останавливаются, уступая нам дорогу. Дошли до минометной батареи. Там среди солдат — девушка-сан-инструктор. Конечно, наши головы поворачиваются налево. Девушкам очень шла военная форма: юбка чуть выше колен, гимнастерка, затянутая ремнем, пилотка с наклоном вправо, из-под которой выглядывают пряди волос. Если солдаты почти все были обуты в ботинки с обмотками, то для девушек всегда находились сапожки.

Я тоже загляделся на девушку минометной батареи. И тут меня ударило в грудь с такой силой, что я вниз головой полетел в осушительную канаву. Ящик с минами плюхнулся рядом. В следующую минуту меня вытащили наверх, отряхнули от торфа, сняли маскхалат. Никаких следов ранения никто не увидел, а все мое тело скривило влево. Подбежала девушка, на которую я загляделся, заставила раздеться. Нигде никаких следов, только над левой ключицей выступила маленькая капелька крови. Девушка вытерла кровь ваткой и обнаружила маленькую ранку.

— Пуля на излете попала в грудь и застряла там, — сделала вывод, — немедленно в санроту, — добавила она. И тут я почувствовал, как в груди разливается боль, а левая рука повисла, как плеть. Я попросил лейтенанта, чтобы в санроту меня отвел Коротич, попрощался со всеми ребятами и долго глядел им вслед. Знал, что никогда их больше не увижу. На войне прощаются навсегда.

Настала ночь на первое июля. В батальоне я прослужил ровно два месяца. Шесть раз в нашу роту минеров приходили новые ребята. Я стал ветераном батальона. За два месяца существования нашей роты, вернее взвода, потому что других взводов просто не было, никто ни разу не пострадал от огня противника. Я оказался первым.

В медсанроту меня встретили молодые врачи-лейтенанты: две девушки и парень. Коротич объяснил им, что со мной произошло. Одна из девиц нащупала спицей пулю, которая застряла в теле. Никакой срочной помощи мне не требовалось, меня уложили в палатку на хвойные лапы и больше не стали беспокоить.

Под утро солдаты принесли майора — начальника разведки дивизии. В ночном поиске ему очередь из автомата прострелили тело в области таза. Его долго перевязывали, делали уколы, а затем положили в санитарную повозку. Меня посадили рядом, и по лесной дороге нас повезли в медсанбат. Лесная дорога, наверное, специально была создана, чтобы испытывать терпение раненых. Колеса прыгают на толстых корнях сосен, майор стонет, а я кусаю губы. Только повозочный спокойно сидит и покуривает самокрутку. Он таких, как мы, раненых перевез, наверное, не одну сотню. Но в жизни все кончается: и хорошее и плохое. Кончилась и тряская дорога. Мы приехали в медсанбат.

В медсанбате тишина, раненых нет. Меня с повозки сразу определили на операционный стол и накрыли простыней. Хирург — снова женщина. Она ухватила пулю пинцетом и дернула — из меня словно душу вырвала! — а пинцет сорвался. Потребовала другой. Наконец выдернула пулю, а из раны кровь фонтаном. Так легко стало, сознание отключилось.

Очнулся на носилках, пуля в руке зажата, на груди бумажка с зеленой полосой по диагонали. Понял: значит, транспортировать надо осторожно. Меня

принесли на баржу и переложили на топчан под брезентовый тент. С реки прохладный ветерок продувает. Закрыв глаза, лежу и думаю, что легко отделался: жив, руки-ноги целы, а рана заживет. Вспомнил ребят, стало немножечко грустно. Слышу знакомый голос:

— Ты счастливый! Ранен, в госпиталь поедешь.

Открыл глаза, а на краю топчана лейтенант Иванов сидит. Такой же неухоженный, пилотка поперек головы и лицо небритое.

— А вы куда едете? — спрашиваю.

— На медкомиссию. Если у меня есть нервная болезнь — демобилизуют, а если нет, то трибунал судить будет, — каким-то бесцветным голосом ответил мой бывший командир взвода.

— Где же вы были столько времени? — снова поинтересовался я.

— Находился под арестом, — поднялся он с топчана. — Ну, прощай, выздоравливай, — и куда-то побрел по палубе.

В эвакогоспитале мне трижды переливали кровь и объяснили, что пуля перебила надключичную артерию, поэтому я потерял много крови, пока перевязывали ниткой оба конца этой артерии. Несколько дней мне нельзя было делать резких движений. А 3 июля я был уже в поселке Мельничные Ручьи в армейском госпитале для легкораненых № 2583.

Сразу же послал письмо Коротичу с новым адресом. Через две недели получил ответ: «Спасибо тебе, что попросил лейтенанта сопровождать тебя в медсанроту. Этим ты спас мне жизнь. В ту ночь немцы устроили засаду среди этих пней и всех перестреляли. Из всего взвода остался один лейтенант. Он, раненый, приполз к боевому охранению. Меня перевели в строительную роту». Ночью мне снились кошмары.

Вот и все. 1 сентября я снова был в строю. Лето прошло, а война продолжалась. Мне исполнилось девятнадцать лет.

СЕРГЕЙ НОСОВ



ЦАРСТВО ГРЕЗ

От Андрея Платонова до наших дней

Простые инструменты властного действия на сознание человека художественного мировидения и творчества — художественные иносказания, сравнения и метафоры как естественные слагаемые завораживающего мира художественных грез. Это, пожалуй, можно назвать само собой разумеющимся, очевидным.

Помнится, стародавний поэт-классик торжественно и весьма для себя естественно именовал белогривые волны белыми барашками на взволнованном лице синего моря-океана. Как бы в пику прославленному класснику скептический нынешний поэт-экспериментатор самодовольно назвал некогда те же белогривые морские волны безобразной свалкой серебристых велосипедных рулей. Конечно, высокоразвитый современный читатель обычно понимает, «сие читая», что вздыбленные на морском просторе белогривые волны только кажутся нашему скептическому поэту серебристыми велосипедными рулями, сваленными на голом пространстве пригородного пустыря. Тем не менее есть основания заметить, что данный поэт-новатор (не будем его называть, но он реально существует) слишком уж послушен своей довольно-таки нелепой фантазии. Признаем, впрочем, что у любого поэта имеется законное профессиональное право, пользуясь полной свободой творчества, воображать что угодно. Главное лишь в том, чтобы сей поэт, а вслед за ним и его благоверные поклонники не разбили бы когда-нибудь незадачливые свои головы, приняв груды велосипедных рулей на пригородной свалке за скопление белогривых волн на морском просторе, в которые их неодолимо повлекло освежиться.

Важно, иначе говоря, не принимать плоды каких бы то ни было фантазий (в том числе и фантазий высокохудожественных) за физически существующие

Сергей Николаевич Носов (род. в 1956 г.) — историк, филолог, выступал в печати как эссеист, литературный критик и поэт. Автор большого числа работ по истории русской мысли и литературы, в том числе книг «Аполлон Григорьев. Судьба и творчество» (М., 1990), «В. В. Розанов. Эстетика свободы» (СПб., 1993), «Лики творчества Владимира Соловьева» (СПб., 2008), «Антирационализм в художественно-философском творчестве И. В. Киреевского» (СПб., 2009). Живет в С.-Петербурге.

феномены материального мира. Иначе мы неизбежно попадем в царство грез, наваждений и иллюзий, где будет решительно непонятно, что является подлинной реальностью, а что только вымыслом, миражем, фантомом воображения.

Рискнем заявить в этой связи, что российская литература, жизнь и культура, начиная с XX века и до самого последнего постсоветского времени, были фатально заражены подобным вирусом нескончаемых грез наяву, при всевластии которых в сознании человека явь от вымысла совершенно неотличима.

Механизм торжества мира грез и иллюзий над реальностью достаточно прост — представляемое в воображении воспринимается как физически реальное и материально существующее. Это становится возможным посредством околдовывающего, гипнотизирующего человека воображения, которое не желает признавать границы между явью и вымыслом. Утверждаем в этой связи: XX век принес в Россию не только революцию 1917 года, насаждавшую в русскую жизнь плоды самоуверенного вымысла фантастов-марксистов, проповедников и устроителей небывалого равенства, несказанного братства и неопишуемого всеобщего счастья. Прошлый век породил в нашей стране соответствующую торжествующему вымыслу культуру и модель жизнеповедения, по инерции утверждавшие даже после самораспада и гибели в конце XX столетия российских коммунистических грез произвол лихой собственнической фантазии и всевластие корыстного «государственнического» вымысла.

Вектор развития взаимоотношений между грезами, наваждениями, иллюзиями и явью был задан в России надолго. Причем к этому процессу отчетливо прикосновенны — и отражали его, и одновременно подстегивали — отечественная литература и искусство.

Демонстративная подмена реальности грезами, а действительного — грезящимся была намеренно и самозабвенно совершена, в частности, в символической в этом смысле художественно-философской прозе Андрея Платонова.

Для Платонова как писателя-мыслителя нет принципиального различия между тем, что видит и знает человек, и тем, что человеку только грезится, мечтается. Фактически в творчестве этого писателя полностью исчезает само явление иллюзорного, кажущегося как противоречащего реально существующему, действительному.

В художественном наследии Платонова есть, в частности, замечательное произведение о торжествующем в русском мире в революционную эпоху царстве грез — «Чевенгур», роман о революционном пересоздании после Октября 1917 года российской действительности, пересоздании, в результате которого объективная реальность попросту исчезла, уступив место фантомам необычайно разгулявшегося революционного воображения.

Можно назвать «Чевенгур» Платонова и фантазмагорическим повествованием о том, как умудрились русские люди обойтись без объективной реальности, существующей независимо от их воли и желания.

Типичны для воплощенного в «Чевенгуре» мировосприятия Платонова такие, например, строки: «...над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства — вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающуюся от своей скорости». Этот вполне рядовой отрывок романа Платонова, можно сказать, извращенно поэтичен. Платонов описывает в нем фактически только то, что кажется, чудится, мерещится его герою.

На самом же деле платоновский любимый герой, Дванов, ничего вокруг себя не замечает, не признает реальным и не осмысливает — он всецело занят упоенным самосозерцанием, ощущает только «теплое озеро» своих собственных чувств и «длинную быстроту» собственной мысли, отделяемую от чувств в его сознании условной «плотиной» и «охлаждающуюся от своей скорости». Бредет этот герой по русской жизни, видя и признавая реальным фактически только себя самого — свои собственные зеркальные отражения среди зыбкого, призрачного, едва существующего вокруг мира, подобного мареву или наваждению.

Чтобы сохранить хотя бы элементарную верность объективной реальности в процитированном нами отрывке из «Чевенгура», Платонову пришлось бы как-то засвидетельствовать, что видел Дванов на самом деле лишь то, что ему пригрезилось. Но для Платонова как писателя не существует никаких принципиальных различий между тем, что его герой действительно видел, и тем, что ему только казалось. Более того, именно то, что показалось и пригрезилось Дванову, утверждается Платоновым как истинная реальность. Так сама собой рождается фантазмагория, своего рода поэтический кошмар: чувства Дванова буквально вспухают «теплым озером» у призрачной плотины, а затем превращаются «в длинную быстроту мысли» за этой виртуальной плотиной, необъяснимым образом охлаждаясь «от своей скорости». Существовала ли материально где-то эта самая «плотина», существовал ли физически у плотины какой-то «сторож», который подремывает в человеке «за дешевое жалованье», напоминая созерцающий жизнь разум, — уже не важно: объективная реальность благополучно растаяла, пропала в бездне упоенного и как бы всеохватного платоновского самосозерцания.

Что же должны были в первую очередь осознавать, творя вместо объективного мира свой собственный мир, зависимый только от извивов личного мировосприятия, платоновский Дванов и ему подобные «революционные» герои русской жизни? Головокружительную свободу. Свободу и возможность погружения в некое зазеркалье существования, где, конечно же, «все позволено» (вспомним, кстати, что это и предрекал Достоевский) и где властвуют самые невероятные видения, грезы, наваждения и кошмары.

Весь мир есть череда моих душевных состояний — таков философский стержень творчества Андрея Платонова, в полной мере проявившийся в романе «Чевенгур».

Рождалось же подобное философское зазеркалье на основе, казалось бы, вполне духовно невинного, романтического изображения мира неким единым и многоликим одушевленным организмом, в котором решительно все чудесным образом живет, движется и преобразуется.

Характерен в этом смысле, например, следующий наивно поэтический в своей восторженности отрывок из «Чевенгура»: «Утром было большое солнце и лес пел всей гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву <...>, взьерошились деревья, забормотали травы и кустарники и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженной щекочущей теплотой...»

В таком духе легко можно фантазировать и мечтать как беспредельно сладостно, так и бесконечно долго — до головокружительного самогипноза: леса поют, дожди пляшут, грезы торжествуют...

Конечно, поэзии и поэтическому мировосприятию не обойтись без своеобразного условного одушевления материального мира — в основном по принципу

внешних подобий, непредсказуемых совпадений и случайных соответствий, когда кажущееся изображается как существующее на самом деле. Поэт «по долгу службы» уподобляет тихие лесные озера голубым глазам, затейливую горную речку изображает весело смеющейся, хмурый осенний ветер представляет сердитым небесным пастухом, сгоняющим за горизонт стада неповоротливых облаков и т. д. Но, наслаждаясь поэзией и веря ей, слова поэтов во имя сохранения здравого смысла не следует воспринимать буквально. Ибо материально существующую реальность поэты и мечтатели (а также те, кто им слепо верит) начинают презирать, не замечать, пытаясь подменить ее магией грез «собственного изготовления».

И тогда, казалось бы, безобидное поэтическое фантазирование «во имя прекрасного» застилает своим чудесным маревом явь до полной неразличимости «что есть что», до полного незнания, где подлинная реальность, а где лишь миражи и наваждения. Такой мир кажущегося, грезящегося наркотически притягателен — в нем очень привольно, в нем все возможно и позволено.

Возвращаясь непосредственно к Платонову и тем веяниям в русской жизни, которые он выразил в своем творчестве, вновь заметим: отличительная черта бесспорно эпохально значимого творчества этого замечательного русского писателя состоит в стремлении приучить читателя к восприятию кажущегося как действительного. Причем подобное мировидение в известном смысле продиктовала Платонову (и не ему одному, а миллионам русских людей) сама российская жизнь, зов которой — от приземленной реальности к зазеркалью грез, от действительного к вымышленному, — писатель услышал и выразил в числе многих русских людей.

Но парадокс в том, что безоглядное погружение в первоначально, казалось бы, сладостное зазеркалье «кажущегося» в конце концов привело Платонова в странный, полный произвола, карикатурно нелепый и, в сущности, кошмарный мир сплошных иллюзий и абсурда.

В прозе Платонова и прямо и исподволь утверждено фактическое равенство в изображаемом им всецело одушевленном мире живого и неживого, разумного и неразумного, осмысленного и бессмысленного, прекрасного и уродливого. Человек способен жить в произведениях Платонова в фантастическом единении, например, с ожившим лаптем: «Минувя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелуги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста».

Для реального человека как мыслящего существа подобное единение с лаптем или, скажем, с каким-нибудь бревном на дороге едва ли почетно и приятно — фантастический мир распущенного до вседозволенности воображения и своих равных грез открывает свою, подобную кошмару, изнанку. И неудивительно, что героев «Чевенгура» посещают порой такие тяжелые мысли и неотвязные ощущения: «Он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет».

Фантастический, небывалый примитивизм человеческой жизни, изображаемой Платоновым в «Чевенгуре», воистину поражает. Люди, как будто намеренно, сброшены Платоновым в этом романе о русской революции в мир собственных болезненных видений — сладкие грезы переворачиваются изнанку и оборачиваются самыми мрачными кошмарами.

Почему это происходит? Во-первых, потому что кошмары также характерны для субъективного личностного сознания, творящего собственный мир взамен мира действительного, как и сладкие грезы. Во-вторых, потому что, оттолкнув от себя объективную действительность, человеческое сознание попадает в стихию абсолютного произвола, где все возможно, но именно поэтому ничего и не значит, являясь лишь очередным ликом пустоты. Такая невесомость для земного человека, привыкшего к земному тяготению реальности, упоительна только в первые мгновения. В дальнейшем она становится тягостной и плодит в беспомощно барахтающемся в пустом мире космической невесомости личного сознания человека череду мрачных кошмаров и диких видений.

Подчеркнем: прямое следствие фатального размывания действительности в прозе Платонова — овеществление сознания, остающегося единственной осязаемой «материальной» реальностью. Если сознание, состоящее из чувств и мыслей, начинает играть роль физически реального внешнего мира, то неизбежно имитирует этот мир. Тогда и появляются «озера чувств» и бегущая речным потоком «быстрота мысли», о которых писал Платонов. Тогда вдруг становятся материально реальными какие-нибудь «дожди тоски» и «ветры ненависти» — переодетые реалиями физического мира человеческие чувства. И такой фантастический мир, будучи изначально поэтически привлекательным, в конечном счете становится гротескно-кошмарным, приводит к сплошному окарикартуриванию реальной жизни человека. Например, среди действующих лиц «Чевенгура» Платонова есть и «бог» — некий крестьянин, фанатически убежденный в том, что он является Богом. Питается этот «самозванец-бог» одной глиной, и сказано о нем Платоновым так: «Бог уходил, не выбирая дороги, — без шапки, в одном пиджаке и босой; пищей его была глина, а надеждой — мечта».

Подобное явление «бога», конечно, для верующего человека кощунственно. Но Платонов не кощунствует, он просто верен своему принципу овеществления всего, существующего в человеческом сознании: он бы овеществил и представление о Боге, но не может овеществить веру и потому-то ее и не изображает. Ведь вера уж никак не представима в качестве некой вещи или вещества, а тем более в виде живого существа из плоти и крови.

В мире овеществленного сознания, рисуемом Платоновым, ничего нематериального, духовного просто нет. Сознание в таком мире само на самом деле становится бездуховным и признает, любит, творит, обожествляет только материальные предметы, только вещи. Новый мир сотворен, но он — только мир вещей. Характерно в этом смысле, что об одном из героев «Чевенгура», приобщающемся к новой коммунистической реальности, Платонов пишет: «Сербинов хотел бы копить людей как деньги и средства к жизни, он даже завел усердный учет знакомых и постоянно вел по главной домашней книге особую роспись прибылям и убыткам».

В новом мире людей можно «копить», а можно и «тратить», они составляют «приход», но их можно пустить и в «расход». Одним словом, они — вещи, подобно стульям, окнам, чашкам, чайникам и всему прочему, культивируемому в вещном царстве всепоглощающего демиургического материализма и его диковатых грез.

Именно это вскоре и случилось в сталинской России — человек стал в ней именно вещью, которой при необходимости распоряжались как угодно, вплоть до ее уничтожения.

По мере нарастания в «Чевенгуре» стихии овеществления сознания нарастает и гротескное начало, все сильнее затопляют повествование волны абсурда: «Изредка Фуфаеву все же подавались деловые советы, например — утилизировать дореволюционные архивы на отопление детских приютов, систематично выкашивать бурьян на глухих улицах, чтобы затем, на готовых кормах, завести обширное козье молочное хозяйство...»

Проза Платонова, бесспорно, сопричастна европейской прозе «потока сознания» — прозе, ставившей во главу угла изображение бытия чувств. Однако сопричастна лишь отчасти. Платонов не стремился, подобно М. Прусту, рассказать о жизни человеческого сознания традиционными художественными средствами, как не стремился, подобно Д. Джойсу, просто натуралистически изобразить спонтанный «поток сознания». У Платонова была иная и поистине грандиозная задача, продиктованная ему его страной и эпохой, — жизнетворчество, причем жизнетворчество как бы «из ничего», путем спонтанного овеществления «всего и вся» силой творящего свой мир демиургического сознания. Этот процесс стихийного жизнетворчества выглядел у Платонова то радостно, то мучительно, а порой граничил с созиданием абсурда. Вот характерный тому пример из «Чевенгура»: «Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района, но это шло в нем долго: он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается». Новый, творимый из ничего платоновский мир чаще всего нелеп и именно этой своей нелепостью завораживает, гипнотизирует.

Но и старый, отвергнутый коммунистами российский мир в изображении Платонова уныл и неприятен, в нем «многие русские люди с усердной охотой занимались тем, что уничтожали в себе способности и дарования жизни; одни пили водку, другие сидели с полумертвым умом среди дюжины своих детей, третьи уходили в поле и там что-то тщетно воображали своей фантазией». Не принимая ни прошлое, ни настоящее русской жизни, Платонов, как и вся его романтическая или, точнее, псевдоромантическая революционная эпоха, надеется «сделать себя» и все вокруг заново одним лишь простым, но как бы чудодейственным усилием воли и воображения.

На деле же оказалось это коммунистическое «творчество» новой жизни и нового человека глупым, грубым и примитивным до нелепости, хотя порой и наркотически притягательным. Новый мир утверждался как мир торжествующего примитивизма и самодовольного холопского уродства.

Общеизвестно, что в советской России люди изначально жили по обыкновенным общечеловеческим критериям, достаточно убого и запуганно — под вечной угрозой «всепроникающего» жестокого (вплоть до уничтожения) наказания за любого рода неповиновение партии и государству. Но те же самые весьма бедные и явно угнетаемые всемогущей партией и всемогущим государством советские люди бывали и в кошмароподобной советской (в частности, сталинской) России фантастически счастливы или как бы счастливы — вместо реальности они по воле государства видели одни только воплощенные и воплощаемые якобы «в жизнь» коммунистические мечты и грезы.

Это как некий нескончаемый чудовищный кинематограф, в котором зритель — действующее лицо и не более реален, чем вымышленные герои, разы-

грывающие на светящемся экране комедию невиданного всеобщего счастья. На самом же деле зритель в этом кинематографе грез — жертва фантазмагорий, жертва злокачественных миражей. Он вроде бы живет и созидает, но в конце концов незримые, но всеильные враги (политические владельцы этого коммунистического театра) превращают его в беспомощное и убогое ничтожество. Околдованный, оболваненный, поработанный и беспомощный, он (как в «Процессе» Ф. Кафки) лишен чувства реальности и решительно не знает, не понимает, «что есть что».

В русской культуре предчувствие подобного грядущего трагического «краха действительности» под воздействием коммунистических или иных наваждений существовало издавна. Но, увы, та же культура эпохи своего расцвета (XIX — начало XX века) этому краху в значительной мере и способствовала — возвышенное воображение, чудесные грезы и фантазии с легкостью заменяли в ней «низкую» реальность.

Да, был в русском искусстве, в русской литературе и культуре в целом своего рода культ действительности. Но от действительности ждали большего, чем она могла дать, — чудесной разгадки тайны бытия, разрешения всех философских дилемм и «роковых» вопросов жизни. И потому вскоре действительность в России начали просто презирать.

Общеизвестно и имеет как бы знаковый характер неотступное стремление Льва Толстого к срыванию всех и всяческих масок с видимой реальности — к выявлению утаиваемых, тщательно маскируемых истоков человеческих помыслов, амбиций и стремлений, к обнажению некой затаенной под их покровом правды бытия.

Подобная, не одному Толстому свойственная, фатальная неудовлетворенность «видимостью» жизни и порождает тяготение к преодолению материальной действительности, к замене ее изображением какой-то гипотетической «высшей правды» жизни.

Именно поэтому, Достоевский, например, стремясь отодвинуть «занавес» видимой «внешней» реальности, изображал в своих произведениях движущиеся и действующие сущности человеческих душ, а отнюдь не самих людей и реальные будничные обстоятельства, их обычно окружающие.

За знание неких тайн действительности, существующих где-то под покровом видимого, в России боролись со страстью, как за обладание волшебным «философским камнем». На фоне подобных великих ожиданий та реальность, которая легко отыскивалась и являлась осязаемой, устроить, конечно, не могла и потому казалась призрачной.

Даже у Чехова художественное воссоздание облика ежедневной и самой обыкновенной действительности не является самоцелью. Цель Чехова-художника — показать бессмысленность действительности, обнажить скрытую под ней неизбежную пустоту. У Чехова трагическое восприятие бытия контрастирует с плотью художественного повествования — тщательным воспроизведением однообразия и будничной монотонности жизни, в которой решительно ничего не происходит. Классический трагический чеховский герой — дядя Ваня — просто остается жить неказистой жизнью в деревне, жить, как и жил, среди забот, мелочей быта. Фактически в прозе Чехова реальность, бессобытийная и унылая, никому не нужна, тождественна пустоте, ничего не говорит и никого не удовлетворяет. Потому, собственно, Л. Шестов и определил творчество Чехова знаменитой формулой — «творчество из ничего».

Почти нечего добавить к рассуждению о российском презрении к материальной реальности жизни, и говоря о таком типичном русском мыслителе-мечтателе, как Вл. Соловьев. Для Вл. Соловьева видимая окружающая реальность не только ничего не значила, но и почти не существовала. Вспомним хотя бы известные соловьевские строки: «Смерть и время царят на земле, / Ты владыками их не зови, / Все вокруг исчезает во мгле, / Неизменно лишь солнце любви». Вскоре после написания этих строк (по историческим меркам) Россия действительно полностью исчезла во мгле, хотя «солнце любви» на былых ее просторах в коммунистические времена, да и позднее, ничем духовно светлым себя не проявило и едва ли вообще показывалось.

Неверно думать, что первобытный человек, наделенный богатой фантазией, но ни имевший «ни капельки» научных знаний о чем бы то ни было, жил в реальном мире и в какой-то особой гармонии с природой. И о себе самом, и о жизни природы первобытный человек имел самые фантастические представления, но, тем не менее, пребывая в этом своем полном неведении, был очень доволен собой и часто имел повод наслаждаться. Незнание реальности не тревожило его.

Нечто подобное происходило в XX веке в России, и причем во многом «по инициативе» отечественной культуры. Презираемая реальность самовольно «отменялась» и начинались нескончаемые игры в некую новую реальность, создаваемую из «воздуха грез», — множились декларации, лозунги, планы, проекты и пр., фактически означавшие одно единственное: несуществующее существует.

Что из всего этого вышло, мы уже, казалось бы, давно знаем: СССР развалился, как карточный домик, и «растаял как дым». Иллюзии остались иллюзиями, грезы — видениями. Но привычка «грезить, созидая» осталась. Не умерли грезы не только о Святой Руси (где, конечно, есть невидимый град Китеж и т. п.), но и о капиталистическом рае, где люди будут не менее счастливы, чем при коммунизме.

И все это грустно. Так и хочется назвать всю нашу большую страну с ее литературой и культурой, обывателями и начальниками, поэтами и толстосумами Царством Грез. А жаль, что так случилось.

ВЛАДИМИР ХОЛКИН

«СОЛДАТАМ СЛЕДУЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ...»

Об одном рассказе Генриха Бёлля

А я был солдатом...

Г. Бёлль

Драки, столкновения, поединки, схождение «стенка на стенку», страстное желание «переведаться на мечах» или «разборки» в городских подворотнях — все это стойкие проявления мужской истории человечества. Но прежде всего — война. Ибо именно война — это поруха и разор, нарушение и распад. Именно война катит перед собой колесо смещения и сбоя, что калечит лад жизни. Искажение добра — суть любой войны. Нетерпение к чужаку, неприязнь к иному обличью, к другому мышлению, неприятие его образа. Свербящее раздражение от инакости, стремительно возникающее из-за лишённой смысла досады — прямиком к гневливому бешенству, к мутным завихрениям бесовщины. И наконец, падение в полное бесстыдство ослепшего разума.

Об этом пишет Бёлль.

Пишет о беспутном, заблудившемся во вражде и ожесточении человеческом сердце. О недоумении, горе и ошеломлении человека, впервые убившего человека, и о шалой, закусившей удила, «прельстительной» привычке убивать.

О том, как горюют и бедуят, страдают и гибнут от мужских «игр в войну» женщины, как страдает от этих игр их таинственно-сложная природа. Как насилуют их души и тела мужчины войны, как мучительна их доля своей покорностью и вековечной отданностью человеку-всаднику, человеку-воителю, человеку-мужчине. Бёлль же, со всем ожесточением печали военного опыта, ясно «противопоставит мужское разрушительное начало женскому, охранительному, косвенным образом осуждая всякую воинственность» (И. Б. Роднянская. «Мир Генриха Бёлля»).

Владимир Игоревич Холкин (род. в 1946 г.) — литературовед, прозаик, критик. Статьи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Континент», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», «Русская литература». Автор книг: «Действующее лицо» (СПб., 2009), «Двенадцать персонажей одной души» (СПб., 2010), «Илья Обломов: жизнь вопреки» (Ульяновск, 2012). Живет в Великом Новгороде.

Сочинения Бёлля — это точный в своей сдержанной яркости, отважный в психологизме и неповторимый в словесной графике документ времени.

В одном из писем с фронта Бёлль в 1943 году делится своим чувством с женой: «Война жестока, зла и ужасна. Как звери, мы съеживаемся в своих земляных норах и прислушиваемся, прислушиваемся к огню артиллерии, которая часто накрывает нас тяжелыми калибрами. <...> Я плотно прижимаюсь к черной земле, чтобы защитить свою жизнь от смертельного железа. Ах, я уверен, что со мной ничего не случится».

Плотная экзистенциальная связь страха и веры, сошедшихся в последних словах письма, свидетельствуют: Бёлль-солдат был на войне одинок. В других его письмах с фронта чувствуется, что «фронтового братства» он сторонился, полагаясь в своей надежде выжить только на Бога. Об этом в письме к родителям: «Я действительно верю, что я вернусь к вам живым из ужасов этой войны. Здесь действительно не ждешь никакой человеческой помощи, везде ты предоставлен воле „случая“. Нужно только знать, что никакого случая нет, но действительно каждая мелочь зависит от Бога».

«Солдат почувствовал, что он наконец напился. Вместе с тем он со всей отчетливостью вдруг понял, что в кармане у него уже нет ни гроша и что расплатиться ему нечем». Так начинается рассказ Бёлля «Выпивка в Петеки» из сборника «Когда началась война». Короткий, как скользнувшее впечатление, и незамысловатый, как заурядный бытовой случай, он лишен, казалось бы, даже более или менее изобретательно сложенной фабулы. Согласно событию и смыслу первой фразы, обратить внимание в рассказе уже не на что, кроме как на нечаянное изумление героя, любующегося немудрящим убранством крохотного кабачка. Рассказ завершается описанием его ухода из этой сельской пивной, на миг укрывшей солдата от войны; из гостеприимного приюта в оккупированной его армией чужой стране. Словом, бесхитростная картина солдатских хмельных чувств.

Однако ясный до тоски и простой до отчаяния, короткий этот рассказ так выразительно честно обнаруживает всю глубину трагического и вместе с тем унылого одиночества человека на войне, что по смысловой насыщенности несомненно приближается к послевоенной экзистенциалистской притче об абсурде, в который заброшен одинокий, утративший свое место в бытии человек. Это переживание проступает в рассказе жесткой, безотрадной мыслью о том, что передышки человеку-солдату война не дает. А если ненароком и позволяет, то лишь в виде пьяного забытья, в котором явственно брезжит смерть. Смерть даже не как избавление от «гносной войны», а как обретение причудливых «райских» видений. «Солдат закурил и отхлебнул большой глоток из своего стакана. Постепенно комната закружилась у него перед глазами; толстая хозяйка повисла как-то косо под потолком, старый ржавый прилавок будто взвился на дыбы, а мало пивший венгр запрыгал вдоль карниза, словно дрессированная обезьяна».

Основное пространство трехстраничного рассказа составляют пронзительно сильные в своей немудрености, тоскливые отклики души хмелеющего героя на мирную картину опрятного уюта малолюдного закутка, его простая, но страстная внутренняя речь, бессильные воплотиться мечты уставшего воевать, страшиться и целиться в живых людей солдата. «„Господи, — думал солдат, — здесь могла бы быть музыка, а во всех этих чудесных темных зелено-синих углах могли

бы сидеть парочки, а я, я мог бы спеть песню. Да, черт побери, я прекрасно мог бы спеть песню. Я очень счастлив, и я пел бы для влюбленных и перестал бы думать о войне“. Теперь я все-таки немного думаю об этой гнусной войне. А тогда я совсем бы перестал думать о войне». Он поглядел на часы — была половина восьмого. В его распоряжении оставалось еще двадцать минут».

В этом внутреннем монологе героя кроме недвусмысленной его содержательности прямо явлено писательское мастерство Бёлля: его психологическая зоркость и чувствительная острота его биологической, так сказать, правдивости. Выпрямлённые упростившимся сознанием слова сожаления и досады выражают безраздельное верховодство печального и вместе с тем возмущенного чувства добровольно, настойчиво и целеустремленно хмелеющего человека. Человека, стремящегося хотя бы хотя бы на один пьяный миг вернуться к позабытой душевной свободе.

Свободе, что прежде всего иного полагает в свою основу радость солирования, то есть ценность самовыявления, самовыражения одной неповторимой личности. Личности, в месиве многолюдной безликости войны не учитываемой героем, не замечаемой и роли не играющей.

Единственным заметным узлом фабулы, притязающим на сюжетное событие, является решительный жест солдата, с каким он, расплачиваясь за обильную выпивку, «медленно снял мундир, стянул с себя великолепный черный свитер с высоким воротником и положил его на столик рядом с часами», после чего неожиданно — даже для себя — запел. «Он пел „Поеду в Страсбург“ и вдруг почувствовал, что поет хорошо, впервые в жизни хорошо». Иными словами, случай, описанный в рассказе как заурядная повседневность войны, — обычен; как происшествие — незначителен, а житейски — едва ли не мелок. То есть как повод для глубокого психологического повествования ничем, кажется, не примечателен вовсе.

Однако внутри композиции рассказа скрыто некое зерно, едва ли не тщательно обдуманной парадокс. Ибо в отличие — и даже вопреки — скудости фабулы, сюжет глубок, цепко укоренен. И оттого подспудно — в самой своей основе — трагичен; то есть трагичен психологически и глубок как духовное событие. Событие, обусловленное зримыми, полными выразительных пластических подробностей приметами, настолько субъективно правдивыми и на свою особицу верными, что кажется, описаны они не автором, а увидены и воплощены в самом «несобственно-прямом» зрении героя — прямодушным юношеским взглядом, воспаленным тоской, мечтами и алкоголем: «Он снова отхлебнул прохладного терпкого вина, и вдруг перед его глазами как бы поставили увеличительные стекла: все вокруг приблизилось, стало четче, неподвижной, а по его телу разлилось великолепное сладостное опьянение. Он теперь увидел, что мужчины у стойки — бедняки, пастухи или рабочие, что у них залатанные штаны, а лица усталые, покорные, несмотря на топорщащиеся усы и хитрый прищур глаз».

И прочитав это, мы понимаем, что это опьянение, а вернее — забытье, желанно: «Я выпил, наверное, уже стаканов десять, — думал солдат. — Хватит. Я так великолепно пьян, что почти счастлив». Оттого и увидено окружающее так отчетливо, что исподволь утоляет печаль героя, являясь ему вроде бы случайно на глаза попавшимися мирными пустяками, а на самом деле — избранными, почти символически емкими знаками вольности и утраченного покоя. Само

же состояние и положение этого безымянного солдата описаны с такой ясной безнадежностью и так драматически просто, что обыденный этот сюжет приобретает черты метафоричности, а поэтика рассказа поднимается до обнаженных вершин поэтики притчи.

Суть рассказа в том, что подневольный человек-солдат, бессильный вырваться из круглосуточно выматывающего душу свирепого многолюдья войны, ищет хоть на миг избавление в созерцательном одиночестве чужестранца. Устав от тоски ежедневного участия среди «своих» в «этой гнусной войне», он находит временное прибежище в крохотном зальчике «чужого» кабачка. И, найдя, глядит теперь словно в театре на его неправдоподобно мирный покой, с почти болезненной подробностью рассматривая его персонажей в «великолепном густом зеленом полумраке» неспешно идущего спектакля. Выбираясь, выныривая из почти первозданно наивных, хмельных своих мыслей, с восхищением и изумлением вслушивается он в незнакомый язык завсегдатаев, «который поражал обилием гортанных звуков и был настолько же страстный, насколько чужой и красивый. <...> Их тихий разговор в три голоса ласкал слух, казался каким-то таинственным гулом на краю иного мира».

Есть, однако, среди его романтически раздраженных, простодушных мечтаний и взвинченных сетований на войну один мотив, который полнится искренним и простодушным негодованием, — на войну, оскорбительно презревшую любовь и с грубым безразличием разявшую ее естественное и трепетное двуединство. «Позор, — думал солдат, позор, что здесь не сидят любовные парочки. Этот кабачок просто создан для влюбленных — сидеть здесь в эти чудесные зелено-синие сумерки. Это позор, позор! Сколько влюбленных, которые сейчас шатаются где-то по свету, среди людей, и не знают, где приткнуться, а ведь в этом кабачке можно было бы так уютно болтать за стаканом вина и целоваться...»

Еще немного — и мотив этот перестает быть риторичным и, обоснованный горчайшим сокровенным воспоминанием, становится не замутиненным риторикой проклятьем безжалостному механическому разъятию, которому война подвергает любовь. Проклятьем тому, что проделывает с ней — сильной, но беззащитной перед насилием — эта «гнусная война». За этим проклятьем кроется не только трагедия оскорбленной свободы, но и драма необратимо разлученной любви. «„Черт подери, — думал солдат, — как ужасно было тогда: стоял собачий холод, и я должен был уехать; вокруг повсюду свет и ослепительный снег; у нас оставалось еще несколько минут, но не было уголка, темного, прекрасного, человеческого уголка, где можно было бы обняться и целоваться; был только холод и свет!“ — Пожалуйста! — крикнул он хозяйке; пока она шла, он поглядел на часы. Оставалось еще десять минут».

Последняя фраза (так же, как и предыдущая, — о двадцати минутах) для сюжета рассказа психологически важна и для его темпоритмического решения примечательно весома. Дело в том, что время и пространство действия рассказа парадоксальны и, каждое своим чередом, отчетливо двоятся. Так, с одной стороны, это время солдатского увольнения, длящееся в пространстве кабачка, и это насущное время несвободно, ибо, безусловно, ограничено сроком солдатского увольнения, краткой отлучкой нашего героя с войны. Оно торопливо, это время, торопливо и мимолетно. Но зато и прекрасно полнотой своего отвлечения и устранения от времени другого — всеядного и все полонившего, стоячего времени войны. Времени хотя формально и находящегося за пределами по-

вестования, по сути же — в нем ежеминутно и неотвязно присутствующем и дышащем. Что же до пространства, то реальное, зелено-синее сумеречное пространство кабачка хотя и тесно и скудно, но зато дружелюбно, приветливо и уютно. В отличие от безбрежно простирающегося, свирепого и полного повседневной смерти пространства войны.

И если такое наблюдение хотя бы отчасти верно, то каким же многозначительным, едва ли не символическим предстает тогда непринужденный (и такой, для хмельного, но и дотла поистратившегося мужчины житейски понятный) жест солдата, легко расстающегося и со своим «великолепным черным свитером» и со своими часами. Жест, что являет собой знак прощания с пространством малым — мирным и уютным — и подневольной смены его на бесконечное и бездомное пространство войны, где домашняя эта шерстяная «рухлядь» вызывающе неуместна. И все же более символично и экзистенциально трагичнее выглядит его расставание с часами. С тем равнодушным, беспощадным, но и щедрым хронометром, что, хоть и скуп, но уделял, а вернее, дарил ему возможность любоваться чужим покоем и свободно солировать в своей песне. «Он почувствовал, что снова сильно опьянел, и все опять тихо закружилось перед глазами, но при этом он снова посмотрел на часы и установил, что у него осталось всего три минуты, чтобы петь и быть счастливым, и затанул новую песню: „Инсбрук, я должен тебя покинуть“». Иными словами, хронометр пробил срок и перестал быть ему нужен. Ибо солдат уходил в унылое и страшное пространство той самой «гнусной войны», где время безразлично, безлико, безлюбо и бесчеловечно. «И все трое венгров смотрели ему вслед, когда он открыл наконец дверь и пошел по каштановой аллее, которая вела к вокзалу и была погружена в бесценные зелено-синие сумерки, прямо созданные для того, чтобы обниматься и целоваться».

— И эти последние слова рассказа настолько изобразительно и психологически чутки, что кажется — пойдя в воображении этой аллеей вслед за солдатом, непременно услышишь песню. А сквозь песню — слезы.

ИГОРЬ СМИРНОВ



ТОТЕМ И ТАБУ

1

Кроме заголовка, моя статья не имеет ничего общего с известной книгой Зигмунда Фрейда о происхождении религии и общества (1912/1913), в которой он изобразил первочеловека криминальным существом. В этом, самом фантастическом из своих сочинений, Фрейд поведал историю о том, как братья, завидующие отцу, убивают и съедают его, а затем раскаиваются в содеянном, не ведая, как им, равным между собой, заполнить освободившуюся верховную позицию в «первобытной орде». Вакантное место отводится идеальному предку; преступление вытесняется из группового сознания подстановкой на роль отца тотемного животного; вина, испытываемая убийцами, выливается в структурирование публичного поведения — она взывает к сдержанности и установлению глубоко «амбивалентных», чреватых «неврозами» запретов на реализацию желаний. Фрейд предлагает нам собственную версию грехопадения человека, вступая в конкуренцию с ветхозаветным мифом. Накануне Первой мировой войны, великой катастрофы западной цивилизации, психоанализ, уже добившийся сенсационной популярности, вознамерился стать эрзац-религией, заложив в свою основу никак не проверяемый этиологический рассказ, аналогичный тому, на котором покоилась иудео-христианская традиция. Обильные ссылки Фрейда на этнографические данные не столько служили достижению научных обобщений, сколько были средством решения сверхзадачи — сделать новозаявленную религию приемлемой для рационально-аргументативного мышления. Обращаясь к тотемизму и табуированию, психоанализ перешагивал за свой предел, преобразуясь из специализированного знания о душевных расстройствах и аномалиях в своего рода вероисповедание, обещающее избавить — путем терапевтического просвещения — социокультуру от пронизывающих ее «неврозов», которые она, не отдавая себе в том отчета, унаследовала из своего исходного состояния.

Книга Фрейда — самый разительный, но далеко не единственный случай экспансионистской когнитивной политики частных дисциплин, имеющих дело

с институциональными особенностями архаической социореальности. Если Фрейд, занимаясь началами «символического порядка», придал психоанализу характер религиозного учения, то в более умеренных версиях трактовка тотемизма и табуирования, проводимая в отдельных отраслях знания, устремлялась в сторону философии.

Такова, скажем, концепция Джеймса Джорджа Фрэзера. Его «Золотая ветвь» (первое издание состоялось в 1890 г.) не только этнологический и уже тем более не только этнографический труд, но и сверх того политико-философский трактат, объясняющий власть и начальствование, отправляясь от их привязки в ранних обществах к магии, которой предназначалось обеспечивать благополучие коллектива — его циклическое возрождение из смерти и умножение его достояния. Вожди и цари — олицетворения и средоточия сверхъестественного. По мнению Фрэзера, табу представляют собой негативную магию, предостерегающую от опасностей, тогда как обрядовые инсценировки суть конструктивные действия, колдовским образом (по сходству и смежности) влияющие на мир. В эту же экспланаторную схему «Золотая ветвь» и другие работы Фрэзера вставляют тотемистические верования. Тотем для него — магический генератор клановой жизненной (в том числе прокреативной) энергии, ее зачинатель, хранитель и гарант. Как *zoön politikon*, человек с первых своих шагов озабочен поиском протекционистской силы, превосходящей его собственную, и находит ее в вечно регенерирующем естественном окружении.

В «Элементарных формах религиозной жизни» (1912) Эмиль Дюркгейм в открытую требует от социологии вмешательства в философию религии, умозрительно оторванную от общественной практики. Будучи системой «коллективных представлений», религия возникает, по Дюркгейму, из обожествления социума как такового. Он защищает себя запретами, сакрализирующими его, отделяющими социально значимое от профанного, и экстернализует свое высокое внутреннее содержание в почитании тотемов, которые сами по себе не обладают той мощью, что им приписывается. Более чем за два десятилетия до Дюркгейма путь, ведущий от исследования древностей к философии религии, точнее даже к теологии, принялся проторивать Уильям Робертсон Смит. Вразрез со стоически-христианской центрированностью на Логосе, он на фаустовский манер постулировал в «Лекциях о религии семитов» (1889) первичность не Слова, а Дела, не мифа, а обряда. *Nomō ritualis* выражает идею единого Божьего мира в том, что усиливает клановую сплоченность, солидаризуясь с ближайшим физическим окружением, сообщая культу материальное воплощение, которое присущая человеку религиозность получает в сакрализации камней, деревьев, воды, мест и т. п.

Еще один пример вторжения этнологии на территорию философии (историософии и теории сознания) — штудии Люсьена Леви-Брюля, посвященные «пралогическому мышлению» (первая из них, «Мыслительные функции в низших обществах», увидела свет в 1910 г.). Носитель дорационального мировоззрения отождествляет себя с тотемом, подчиняясь «закону партиципирования» (индеец из северобразильского племени бороро считает себя, как пишет Леви-Брюль, одновременно и человеком, и красноперым попугаем). Неспособный думать в причинно-следственных категориях, а вместо этого гипертрофирующий смежность, член «низшего общества» подвержен постоянным страхам контакта, запечатлеваемым в произвольном табуировании тех или иных предметов и лиц.

Строго разъяв историю ментальности на «пралогическую» и логическую стадии, Леви-Брюль осуществил ту дихотомизацию, которая обычно конституирует философский дискурс, абсолютизирующий одно (допустим, эйдосы вещей), чтобы умалить и обесценить противоположное (каковым у Платона выступают мнения о вещах).

Хотя я не собираюсь проследить в подробностях развитие исследовательских взглядов на тотемизм и табуирование¹, все же, говоря о совершившемся здесь экспансионистском выходе науки из себя, о ее тяге к далеко идущим выводам, нельзя не упомянуть о том, что она старалась и погасить эту трансгрессивную претензию. Противники философствующей этнологии либо формализовали раннечеловеческую учрежденческую активность, либо толковали ее с прагматико-функциональной точки зрения. Застрельщиком первого из двух направлений был эмигрировавший из России в США ученик Франца Боаса, Александр Гольденвейзер. Настаивая на чрезвычайной региональной вариативности тотемизма и вызываемых им пищевых и охотничьих табу, Гольденвейзер отнимал у «тотемистического комплекса» какую бы то ни было религиозную сущность, усматривая в нем не более чем результат аффективного (то есть не имеющего концептуальной подоплеки) отношения группы к внешним ей объектам.² Функционализм, как и формализация гуманитарного знания, лишал тотемизм и табуирование чисто идейного содержания, но при этом рассматривал оба явления как полезно целеположенные. Для Альфреда Радклиффа-Брауна тотемизм обусловлен поддержанием экологического баланса между обществом и природой («Социологическая теория тотемизма», 1929), а ритуально-запретительные предписания устанавливают аналогичное равновесие между коллективом и составляющими его индивидами («Табу», 1939).³

Формальный подход к тотемистическим верованиям был увенчан книгой Клода Леви-Стросса «Тотемизм сегодня» (1962). Указывая вслед за Гольденвейзером на разнородность фактов, равно относимых к тотемизму, Леви-Стросс попытался демистифицировать сопряженную с таковым научную «иллюзию» — расколдовать сциентизм, как тот расколдовывал мифо-ритуального человека (постструктуралист Жак Деррида не без иронии назвал бы этот умственный ход «контрмагией»). За понятием тотемизма кроется, согласно Леви-Строссу, всего лишь классификационная логика культуры, еще близкой к природе. Там, где тотемы (как у австралийских аборигенов) и впрямь значимы для общества, оно констатирует расподобление в естественной среде (противопоставляя, например, орла и ворона), чтобы уподобить ее видам собственные подразделения, свою внутреннюю (клановую) дифференциацию («это не сходства, но различия, которые сходятся»⁴).

И формалистическое, и прагматическое изъятие духовного стимула из жизнедеятельности примордиальных обществ не выдерживает критики. Если тотемизм сводится только к эмоциям или к логическим операциям, то почему он, тем не менее, наделяется исповедующими его людьми неким смыслом? Пусть этот смысл изменчив от региона к региону, исследовательское желание вовсе проигнорировать понятийное наполнение тотемистических культов и сопровождающих их запретов входит в непримиримый конфликт с установкой самого архаического человека. Похожий вопрос нужно задать и этнологам функционально-социологической ориентации: если тотемизм и табуирование нагружены утилитарно, преследуя цель интегрировать отдельных лиц в группе

и группу в природном окружении, то по каким причинам этот практический резон репрезентирует себя в обходных маневрах — в странных, по здравому размышлению, регламентациях (ведь нет ни малейшего проку в отказе иудаистов и мусульман от свинины) и в творческих фантазиях, далеких от натурализма (вымышленные животные, встречающиеся среди тотемов, пересоздают среду, а не вписывают в нее человека)?

И все же в недовольстве по поводу трансгрессивной амбиции у этнологов конца XIX — начала XX вв. есть своя правота. Неважно, какие конкретно концепции разрабатывали эти широко мыслявшие ученые, как неважно и то, каким эхом их модели отозвались в последующей истории гуманитарных дисциплин (Леви-Брюль нашел себе несравнимо меньшее признание, нежели Фрэзер, чья идея магической власти была подхвачена Максом Вебером в понятии «харизматического лидера» и в такой реинтерпретации укоренилась в политфилософии). Главное в том, что изучение социокультурных древностей и реликтов, выбиваясь из своих рамок, перечило исследуемому предмету в принципе. Выбор родоплеменным союзом себе тотемов ограничивает поле идентификации, которую проводит коллектив, и той же рестриктивностью проникнуто, само собой разумеется, табуирование, которым он упорядочивает индивидуальное поведение. Чтобы быть верной тенденцией, проступающей в материале, этнология должна была бы, если ей дорог универсализм, задуматься над тем, что такое самоограничивание, налагаемое на себя людьми. Подобная постановка проблемы входит, однако, в компетенцию не частно-, а общепределенного знания, в ведение философии. Вырывающаяся за свой порог этнология философствует на выходе, в то время как ей следовало бы с этого начать. Но тогда бы она сделалась отраслью философского дискурса, потеряв суверенность. Избегая самопожертвования, переоценивая, напротив того, свои возможности, занятия социокультурной архаикой забывчиво упускают из виду суть того, с чем они имеют дело: знаменательным образом Фрейд взял за исходный пункт рассуждений не обуздывающего себя, а нарушающего семейный мир человека.

Что касается собственно философии, то ей, вообще говоря, не чужд интерес к архаическим установлениям (Гегель размышлял о жертвоприношениях, Шопенгауэр — об обычае кровной мести и т. п.), но она не затронула тотемизм и табуирование после того, как обе институции были введены в интеллектуальный оборот Запада полевыми наблюдениями. Единственное известное мне исключение из этого правила — последний текст Анри Бергсона «Два источника морали и религии» (1932). По мнению Бергсона, культ животных в своем сцеплении с экзогамией предохраняет общество от вырождения (но есть же и эндогамные касты, обнаруживающие крайне длительную жизнестойкость). Табуирование, убежден Бергсон, каким бы иррациональным оно ни было, маркирует зону опасностей, сторонясь которых человек спасается от страха смерти, свойственного рассудку. В том и другом случаях *ratio* попадает под надзор инстинкта. Вот на что нацелены «Два источника...»: показать, что интуитивизм, уже давно проповедовавшийся Бергсоном как лучший способ миропостижения, — не просто философский конструкт, но и изначальная человеческая реальность, в которой к аналитическому умствования примешивается отприродный «жизненный порыв». Архаика исполняет в «Двух источниках...» подсобную роль, обслуживая и без этой опоры обходившееся философское построение. Философия обязана, однако, специфицироваться применительно к тотемизму и табуированию, а не навязывать им свои априорные схемы.

В отличие от животных, закрепощенных наследуемыми инстинктами, человек ставит себе искусственные препятствия и рамки, эквивалентные биорегулированию поведения, но учреждаемые в акте свободного (и потому разнообразящегося) волеизъявления. Тем самым социокультура по собственному почину уподобляется природе, остается собой и вместе с тем оказывается своим Другим, коротко: старается обрести онтологическую основательность. Тотемизм и табуирование философски релевантны, поскольку представляют собой духовные практики, как бы более чем операционального характера — включающие бытующего в бытие. Вопреки Мартину Хайдеггеру, человек не прозябает в быте (Dasein), а жаждет бытийности.

Modus operandi, выдаваемый за modus vivendi, не реализуем в одних и тех же всегда и повсюду воплощениях. Материальная конкретизация Духа зависит от местных условий и, более того, будучи столкновением однонаправленного мыслительного усилия с необозримой множественностью вещей, неизбежно избирательна и гетероморфна. Строгость запретов, несоблюдение которых влечет за собой смертельную угрозу для отступника, — плата за их произвольность. В «тотемистический комплекс» (воспользуюсь выражением Гольденвейзера) входит не только ассоциирование кланов с животными, растениями и прочими натурофактами, но и ритуальный поиск подростками, проходящими инициацию, духов-хранителей, и вера в защитно-покровительственную силу персональных фетишей («чуринги» австралийцев, сибирские «онгоны»). Фетиши могут и принадлежать к реальности, которую человек застаёт готовой, и быть продуктами культуропроизводства, однако и эти последние онтологичны по заданию, состоящему в магическом посредничестве между тем кто и тем что — есть. Дмитрий Зеленин опознал в амулетах индивидуализацию тотемизма, совершающуюся на стадии «разложения» родоплеменного общества («Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов», 1936). Но, как показывают недавние археологические находки в центральной Европе (Блаубойрен), древнейшие образцы фетишей, предназначенных для личного употребления, насчитывают от тридцати до сорока тысяч лет. Нельзя сказать, что возникло раньше — предметы коллективного или индивидуального почитания. Недостижимость одно-однозначного соответствия между идеальным и материальным ведет к тому, что вариативность сакрализуемых ценностей открывает позиции как для группового, так и для индивидуального заполнения. Личное рождается вместе с социальным (о чем писал в пику Дюркгейму уже Бергсон). Суживая персональную свободу, табу предполагают, что она учитывается и мифоритуальным человеком.

Научный дискурс не обошел вниманием то обстоятельство, что ранняя культово-декретивная организация общества оставляет свой след в позднейших эпохах — и притом отнюдь не всегда вырождаясь в пережиток и суеверие, но и продолжая быть продуктивной моделью социального строительства. Так, правоведы считают, что в поле законодательства конституция с ее нерушимостью подлежит рассмотрению в качестве прямой наследницы табуирования.⁵ Нестираемость архаики из социокультурной памяти не вызывает никаких сомнений. Вместе с тем нельзя не заметить, что и в самых очевидных проявлениях такой преемственности совпадения между глубокой стариной и последующими временами далеко не полны, не буквальны. При всем сходстве с табу основной закон государства не потусторонен, как его прототип, обществу. Конституция

«институируется» (заимствую это слово у Руссо) внутри общества, в осознании им своей самостоятельности. Автономизирующий человека, порождаемый изнутри социальных взаимо- и противодействий правопорядок означает, что *modus operandi* вытесняет собой *modus vivendi*, требуя в своем логоцентризме подведения под закон аргументативной базы (пусть разумность многих правовых инициатив, вроде введения сухого закона в США, и оборачивается противоположностью). Табу же дается группе откуда-то извне, так что его происхождение либо неопределенно, либо мифологично. По религиозным воззрениям народности лугбара (Уганда), «адро» (Дух) нисходит на людей со стороны («амве»)⁶, из-за рубежей, в которых мы находимся. Даже тогда, когда тоталитарные режимы XX в. неудержимо регрессировали в преисторию, желая превратить, по завету Фердинанда Тённиса, *Gesellschaft* в *Gemeinschaft* (социум — в «большую семью»), табуирование, которому «нечистая» часть населения подвергалась по расово-национальному (евреи, цыгане) или классовому (дворяне, буржуазия) признаку, преподносилось в виде гигиенического мероприятия, обусловленного потребностями, имманентными обществу, и вступало в силу здесь и сейчас — на глазах у современников.

Социокультура, скрывающая на первых порах свою операциональность, сливающаяся с сущим, исчерпывает собой мир сей и вынуждена мыслить себя в самоотчуждении, из запредельности. Это самоотстранение предвещает грядущий историзм символических установлений. Бескрайнее неизменяемо. Преобразуемы, передвигаемы только границы, и человек замыкает себя в них с тем, чтобы отсюда, из ловушки, где он находится, творить историю. Запреты парадоксальны: они блокируют те или иные акции в настоящем, но развязывают волю к историческому развитию общества. Впрочем, уже в мифоритуальном обществе, приуготовляющем историзм социокультуры, постоянство и всеобщность запретов не вполне императивны. Диахрония зреет в синхронии. Лицу, наделенному большой магической мощью, предоставлена привилегия ломать табу⁷; такой же свободой обладают и коллективы в моменты карнаваловых праздников: по ходу церемонии «интичума», практикуемой коренными жителями Австралии (аранда), членам племени разрешается есть мясо тотемного животного, на которого не охотятся в остальное время.

2

Итак, социокультура возводится в сопричастности бытию. Она сопоставляет себя космосу в сезонных ритуалах и в путешествиях шамана в верхний и нижний миры. Она неистребима в своей бытийности и потому «вечно возвращается» к первоистоку, не давая ему иссякнуть, подтверждая неисчерпаемость его генеративной энергии. Магия, вопреки Фрейдю, не просто «всевластие мысли», ничем не сдерживаемая игра воображения. Раннее общество потому и переоценивает силу Духа, что онтологизирует его, не отрывает от фактического положения дел. Позднее, когда начальная социокультура распадется на специализированные отрасли, искусство — наиболее самодовлеющая из них — будет по инерции, идущей из прошлого, понято в аристотелевской теории мимезиса как подражание действительности, то есть как продиктованное креативному сознанию бытием. Аристотелевский мимезис обеспечивает континуальность там, где динамика социокультуры повышено дисконтинуальна — в сфере автотеличной художественной созидательности.

Спрашивается, что именно, какие свои особенности онтологизирует человек в тотемизме и табуировании? Ясно, что самоограничивание есть авторефлексивный акт. Тотемистическим верованиям и опутыванию поведения сетью табу предается трансцендентальное существо, предрасположенное к интернализации знания, расщепляющееся на «я»-субъекта и «я»-объект. Подчиненная бытийности, эта асимметрия проецируется вовне. «Я»-субъект удваивается в ассоциировании себя с неким подобием, наличным в естественном окружении, привносимым туда воображением (в виде духа-хранителя) или изготовляемым (как некоторые из фетишей). Какую бы форму ни получал «тотемистический комплекс», он выступает результатом селекции, различающей среди реалий (натуро- и артефактов) те, что могли бы соответствовать нашей субъектности⁸ — как индивидуальной, так и коллективной. Аналогично: «я»-объект экстернализует себя, регулируя действия человека применительно к объектам же, выделяя из них заповедные — соотносимые с жизнью-смертью тех, кто предпринимает табуирование. Натываясь в самосознании на нашу объектность, мы мыслим из смерти, оттуда, где нас нет. Явления, подводимые под табу, выпадают из оборота так же, как смерть исключает нас из сонма живых. Тотемизм и табуирование спаяны взаимодополнительностью (отвлеченного, не обязательно конкретного, характера). В первом случае человек конструктивно объединяет себя с тем, что он обособливает, с alter ego; во втором — отъединяется от из ряда вон выходящего, от не-«я». В тотемных зримых образах и в разметке запретных зон трансцендентальное переводится в трансцендентное.

В обратной, или, что то же самое, диалектической, связи вращение человека составной частью в бытие, преобразует сущее, упорядочивает мир. Именно ответ действительности на стремление человека упрочиться в ней и возводится в тот высокий ранг, который вменяется сакральному в противоположность профанному. Священна действительность, вернувшаяся в пересозданном (трансцендентном) обличье к тем, кто опрокинул в нее свою авторефлексивность. Попросту говоря, человек освящает собственное творчество, отчуждаясь от него. Он вынужден устраняться из своих инициатив по причине, которая уже называлась: ибо его цель — быть не техно-, а онтологичным. Меланезийская «мана», изучавшаяся вместе с ее эквивалентами у других этносов Марселем Моссом («Наброски общей теории магии», 1904), — это энергия самосознания, расширяющегося так, что оно теряет себя из виду, оказываясь неспособным подняться на метауровень, оспорить свои построения, стать внутренне диалогичным, отсеять слабые доводы в пользу более разительных, то есть совершить все те умственные ходы, которые именуются рациональностью. Исполнение желаний посредством волшебства берет назад трансцендентализацию мира, достигаемую в тотемизме и табуировании: можно сказать, что магия — не что иное, как самосознание, поверившее в свою сверхъестественную силу после того, как ему удалось овнешниться в естественной среде.

Не опираясь на ratio, тотемизм и табуирование вместе с тем и не бессознательно-инстинктивны. Фиксация архаического общества на ценностях, с которыми оно себя отождествляет и которых остерегается, лишь имитирует строгий контроль, осуществляемый инстинктами над повадками животных. С другой стороны, находя себе второе «я» и не-«я», человек выказывает несомненный, пусть и не рациональный, гносеологический интерес. Этот когнитивный порыв формирует область тайны, знания об исключительном, в свою очередь, также исключительного, не поддающегося окончательному самораскрытию.

Иногда табу выглядят прагматически мотивированными, как, например, описанный Зелениным запрет на громкую речь во время охоты у северных народностей⁹ (ведь шум отпугнет зверя). Но точно так же, по свидетельству Маргарет Мид, обязуются к молчанию и строители каное на Гавайях¹⁰, что вряд ли оправдано практическими нуждами. Опричинены ли табу здравомыслием или нет, они бывают выражены так, что парализуют сами средства выражения и тем самым указывают на их недостаточность там, где знание становится сокровенным. По ходу истории из этого недоверия к слову вырастают всяческие апофатические учения. Свобода слова, декларируемая секуляризованными обществами, — одно из многих обольщений, которым предается homo historicus, переоценивающий свое настоящее в ущерб чужому прошлому. Фактически она никогда не бывает совершенной, стопорясь на пороге, в качестве которого выступают государственная и корпоративная тайны, самоцензура (допустим, «политическая корректность») и сокрытие информации ради обмана (частных лиц и народонаселения).

Исступившая из себя авторефлексия загадочна для тех, кто ее остраняет. Если табу и объяснимы в обществе, которое ими руководствуется, то не столько по происхождению, сколько по смертоносному эффекту, вытекающему из их несоблюдения. В разных локальных социокультурах трактовки тотемов (то ли первопредков, то ли клановых и племенных классификаторов, то ли внешних душ индивидов и т. д.) расходятся потому именно, что перевоплощение «я»-субъекта в другое, чем он есть, может быть только иносказуемо, лишь косвенно обозначено. Тотемизм и табуирование суть знание-в-себе, отторгнутое от нас. В той мере, в какой человек хотел бы завладеть такого рода знанием, то есть постигнуть тайну самого себя, он обречен на развязывание своевольной истории, на изгнание из первобытности, в чем состоит смысл самого дальнедействующего из мифов творения (которое переламаывается в автопойезис) — ветхозаветного рассказа о вкушении Адамом и Евой заповедных плодов с гносеологического древа.

Тотемистические культы и сильные запреты очерчивают в социокультуре область формально необменного. Корректируя модели архаического обмена, разрабатывавшиеся Моссом, Брониславом Малиновским и Леви-Строссом, Морис Годелье настаивал на том, что оборот, в который запускаются дары, товары или — при экзогамии — брачные партнеры, не обходится в мифоритуальном обществе без закладки некоего неприкосновенного, не подлежащего отдаче и циркулированию, запаса сакральных ценностей.¹¹ Если, однако, принять, что освящается, как говорилось выше, возврат человеку его выпущенной наружу самости, то даже необменное в архаическом обиходе окажется результатом обмена. Несмотря на всю весомость критических замечаний, посланных Годелье в адрес традиционной этнологии, следует признать, что она шла в верном направлении, пусть и не продумывая до конца взятый ею курс. Изначальный обмен абсолютен. Другое дело, что в своей абсолютности он раздваивается на процессуально-возобновляемую и эксцессивно-одноразовую версии (каковая фундирует все текущие трансакции). Процессуально бытие обмена. Эксцессивен обмен субъектно-объектного «я» с бытием, который исчерпывает собой обе вступившие в него реальности и который поэтому дает в итоге ничем не заместимое достояние индивидов и групп.

От тотемной репрезентации «я»-субъекта тянется преемство к национализированному Богу, скрытому от посторонних. Имя Яхве нельзя произносить,

а сам он не изобразим, ибо он принадлежит только народу Израилеву и не должен быть доступен — коммуникативно и зрелищно — всем и каждому. В своем последующем превращении *Deus absconditus* открывается для обмена: односторонняя зависимость людей от Всемогущего делается взаимозависимостью; в мир, как на сцену, предназначенную для всеобщего обозрения, является Сын Божий в человеческом облике; сподвижники Христа учреждают трансэтническую религию, для которой нет ни эллина, ни иудея. История переводит, таким образом, эксцессивный, в себе завершённый обмен самосознания с бытием в процессуальный, втягивает в субституирование и то, чему было приписано свойство необменного. Евхаристия и пощение, несомненно, восходят к тотемистическим обрядам и табуированию, но отправление этих процедур нейтрализует национально-социальную принадлежность христиан, будучи для любого из них свободным выбором, итожащим обмен индивида с самим собой.

Такая же, как у тотемизма, трансформационная судьба ожидает табуирование. В мифоритуальном обществе отступление от его правил не искупаемо ничем, кроме физических страданий и гибели ослушника. Эта кара подразумевает, что табуированное не имеет иного эквивалента, кроме нехватки и ничто. Малиновский рассказывает о том, чем закончилось нарушение экзогамии на Тробрианских островах: влюбившийся в кузину по материнской линии юноша был публично обвинен соперником, законным женихом девушки, в инцесте и, не выдержав остракизма со стороны соплеменников, совершил самоубийство, бросившись наземь с кокосовой пальмы.¹² Что касается эволюционно продвинутой социальности, то она рассматривает большинство преступлений (за исключением самых тяжких, влекущих за собой смертную казнь) в виде компенсируемых — посредством денежного возмещения, принудительного труда осужденных или их временной изоляции, которая уравнивает свободу криминогенного поступка несвободой в качестве меры наказания за него. Закон разнится с табу не только наличием довода, оправдывающего его принятие, но и тем, что он устанавливает обменное отношение между преступлением и возмездием за таковое. Среди прочего отсюда следует: чем опаснее для общества противоправное поведение, тем выше цена, которую приходится платить злоумышленнику за содеянное. Табуированное же не делится на более и менее запретное.

Делегируя самость Другому, дублируя свою субъектность в тотемизме и свою, источающую опасность, объектность в табуированных предметах, человек отрешается от мыслительной работы с собой, от того, что конституирует нас как особой, по большому счету — от антропологизма. Социальным, замкнутым в родоплеменном союзе существом человек становится за счет вычитания своего общечеловеческого содержания. Общество основывает кантовский трансцендентальный субъект, руководствующийся, однако, отнюдь не «нравственным императивом» (не причиняй ближним того, что не желал бы испытать на себе!). Примордиальный социум создается не обоюдными уступками, солидаризирующими индивидов, а производимым ими пожертвованием самой трансцендентальностью. Антропологизируется за пределами обществу (допустим, природа — в анимистических представлениях) — тем самым коллектив делается себе довлеющим образованием.

Виктимизация человека как такового — суть социальности. Приобщенность тотему и воздержание, которого требует соблюдение запретов, предпосланы

этой виктимизации, составляют ее рамочное условие. Тотемное животное может отдаваться на заклятие (в церемонии «интичиума»); ломка табу может вести к самопожертвованию, как демонстрирует пример, обсуждавшийся Ма-линовским. Но подобные случаи не обязательны для функционирования обеих институций. Тотемизму и табуированию предназначается фундировать то социальное устройство, которое не в состоянии обойтись без жертв. Кому бы они ни посвящались и какой бы вид (имущественной траты или расточения жизни) ни принимали, их отправной пункт — отчуждающееся от себя, растворяющееся в бытии самосознание.

Поскольку тотемизм и табуирование зиждательны, будучи началом социальной организации, постольку они несут в себе вместе с потерями, которые претерпевает *homo universalis*, и приобретения, от которых выигрывает *homo socialis*. Удвоенность всякой самости, позиционируемой на ее собственном и альтернативном местах, внушает членам складывающегося общества уверенность в надежности их существования. Даже если тотем не прямо спасителен, как то предполагают амулеты и духи-хранители, он позволяет субъектам помыслить себя присутствующими в параллельной реальности, там, где их нет, за гранью персональной брэнности, в ином, чем их, классе явлений. Что табу предостерегают от катастроф и несчастий — очевидно. Имплицируя жертвенное расходование собственности, которой обладает общество, тотемизм и табуирование в то же самое время сотериологичны, обещают спасение коллективу и его отдельным участникам, предоставляют убежище человеку, расставшемуся со своей общепределенностью. Здесь лежит причина той амбивалентности, которая присуща сакральному, попирающему — в жертвоприношениях — смерть смертью же.

Экскоммуницирование означает, что изгнанник из общества может быть убит, не становясь жертвой, как это подчеркнул Джордж Агамбен («Номо сеге», 1995). Сакральное испытывает в такой ситуации зеркальный переворот: не жизнь добывается из смерти, а смерть наступает уже при жизни. Понятно, откуда берется страх, который будят в традиционной социокультуре так называемые «заложные покойники» — те, кто умер неестественно и преждевременно. Как и лица, выброшенные из коллектива, они озеркаливают священную жертву.

Тотемы избирательны, табу — контингентны, потому что за тем и другим стоит отрицание всечеловеческого. Парадокс этой борьбы человека с собой с целью конкретного самоопределения в том, что она универсальна в момент становления социальности и отсюда должна быть подчинена некоей логике — отвечать отвлеченным от всего частного нуждам, вызревающим в погруженном в себя сознании.

Остранение «я»-субъекта в тотеме не произошло бы, если бы человек не ощущал необходимости придать себе значение, которое ускользает от него при самотолковании. Объективирующая самость интроспекция сталкивается всегда с одним и тем же — с подавленной жизненной активностью, с неопровержимой правдой, которая заключена в нашей смертности. Чистая авторефлексия расписывается в собственном поражении, ей приходится выбирать между капитуляцией и поиском внешнего коррелята, который снабдил бы ее неразрушаемым значением. Такой, удостоверяющей значение архаического человека, инстанцией и служит тотем. Чтобы выполнять свою верифицирующую функцию, он должен быть явлен *face-to-face* индивидам и обществу (безразлично, фетиш ли

это, дух-хранитель, с которым встречаются подростки в обряде инициации, или клановый символ, взятый коллективом из своего окружения).

Комбинаторные способности нашего мозга велики до чрезвычайности. Проверимость значения, которым наделяют себя создатели ранней социокультуры, требует канализации «мозговой игры», ее выхода из множественности в единичность (по крайней мере в исчисляемость), из неопределенности — в определенность и выливается в одержимость человека тотемистическим воображением. Обсессивная фантазия резко сокращает нейрональное богатство и конфронтрует с ним. Если воспользоваться языком формалистов, переиначив их главную идею, то можно сказать, что ostranenie, которым занято общество, отправляющее тотемистические культы, автоматизирует его видение мира. Фиксированная референтная привязка самости к тотему контрастно соотносена с естественным путем получаемой нами идентичностью по кровному родству, прежде всего, разумеется, с отцом и матерью, что показалось Фрейдю следствием эдипальности, но что на самом деле обуславливается не завистью младших к старшим членам семьи, а включенностью семьи в целом в социокультуру. Трансбиологический способ идентифицировать себя остается в силе и в историческом времени, в котором homo socialis ориентируется на духовные и политические авторитеты отдельных лиц¹³, а общество идолизирует государственное правление. В преисторическом социуме власть харизматиков и племенных лидеров уже намечена, но пока еще далека от полноты и безусловности, коль скоро с ней соперничает власть тотемов. Вообще говоря, мы подчиняемся тому, что сообщает нам значение. Любая власть среди людей — продукт семантики, poiesis, а не praxis.

Упираясь в авторефлексии в нашу объектность, мы впадаем в противоречие — хороним себя заживо. Табу призваны отгородить человека от явлений, овеществляющих и персонифицирующих биполярность, содержащих в себе контрарное напряжение, которое связывается самосознанием с конечностью индивидуальной жизни. В этом плане табуирование комплементарно противостоит тотемизму, не страшась противоречий, ищущему таковые в производимых «я»-субъектом отождествлениях себя с Другим. Табуирование приписывает опасность перекресткам, где совершается переступание границ; близнецам и отражениям в зеркале (то есть единому как разному); манипуляциям, совершаемым левой рукой (захватывающей роль правой — доминантной); стрижке волос и ногтей (отделению тела от себя и его пребыванию в двух местах); менструальной крови (индицирующей пассивность прокреативной плоти); начальным и конечным отрезкам какой-либо длительности (например, первой брачной ночи) — присутствию, смешанному с еще или уже отсутствием, а также многому иному, обладающему антитетичными свойствами. Табуируются личные знаки, ибо собственные имена, подобно образам в зеркале, раздваивают соматически единое и к тому же экземплифицируют участников групповой — первостепенно ценной — жизнедеятельности. Инцест запрещен как возвращение в родовое тело, предназначенное к поступательному движению, к переходу от старой семьи к новой, к другому, чем было, пребыванию в мире. По проникательному суждению Мэри Дуглас, мясо свиньи подпадает под пищевой запрет, потому что это животное, будучи парнокопытным, тем не менее не принадлежит к виду жвачных.¹⁴ Нарушивший табу — тоже табу, ведь он выпал из общества, исключаяющего то, что само себя исключает. В зону табуирования попадают

любые из живущих, соприкасающихся с мертвым (например, на похоронах), и те, кому приходится профессионально иметь дело (как рожденным «неприкасаемыми» в Индии) с хаосом отбросов и отходов, с «нечистой» материей, не интегрируемой в символическом порядке.

При своей частой нелепости для прогрессирующего сознания табу в высшей мере логичны. Чему учит нас античная и вся наследующая ей логика, если не избеганию противоречий? Логика табуирования, однако, непрозрачна, неэксплицитна, поскольку к ней прибегает существо, отказывающееся от самоотчета, от собственной духовности в пользу одухотворения обступающей его действительности (и потому неспособное, как заметила все та же Дуглас, размышлять о самости¹⁵). Наложение запретов на то, чему имманентна противоречивость, идейно, теоретично, но проводится эмпирически, так сказать, на ощупь, оказываясь вероятностным, не повсюду и не всевременно обязательным (в отличие от семитских народов, для полинезийцев свинина — лакомство; лугбара разрешают юношам на погребальных торжествах соблазнять девушек из собственного клана¹⁶, отменять табу инцеста — материализуясь, идея не только прячется от опознания, но и упраздняет себя). Защита от противоречий имеет у мифоритуального человека демонстративную функцию, выстраивается на наглядных примерах, апеллирует к восприятию, не возвышаясь до генерализованных «правил для руководства ума». Не поддающееся рационализации вызывает повышенно эмоциональное отношение к себе. Аффектированность не просто естественное состояние человека, она воспитывается социокультурой, символически нагружена. Выделившись в особый тип мыслевыразительной активности, именно искусство — символический порядок *par excellence* — посвятит себя шоковому воздействию на потребителей, тематизируя ломку того, что просится под запрет.

Декарт полагал, что нас ограничивает чувственное восприятие, не идущее дальше непосредственного опыта. Кант считал, что к самодисциплине индивида обязывает сосуществование с Другим, с партнером по социальной кооперации. Как я постарался показать, общество (вразрез с семьей) — не первичная данность для человека, а его творение, весьма и весьма условная конструкция. Постигаемое в сенсорном опыте впускается в нас не само по себе, а всегда со смысловой надбавкой — на то мы и принадлежим к роду *homo sapiens*. Давление обстоятельств (в виде ли воспринимаемых органами чувств, в лице ли сородичей и соотечественников) вряд ли объясняет, почему человек куда как менее свободен в своих проявлениях, чем мог бы быть. Что мы принуждены к неволе кем-то и чем-то, только мнится нам. Человек самотворно ставит себе барьеры и экономит психическую энергию, твердо прикрепляя воображение к одним и тем же предметам (тотемам). Ведь если ограничивание исходит от него самого, оно нейтрализует то абсолютное, финальное, которое обрывает жизнь. Лимитируя себя, мы замыкаемся в магический круг, куда как будто нет доступа смерти. Человеческая витальность самоубийственна — чаще метафорически, но и буквально (в каннибализме, войнах, физическом насилии). Похоже, что формула «жизнь ценой смерти» определяет не только генезис социокультуры, но и ее историю.

¹ Дальнейшие сведения на этот счет можно найти в двух добротных монографиях: Holden Lynn. *Encyclopedia of Taboos*. Oxford e. a., 2000; Jones Robert Alun. *The Secret of the Totem. Religion and Society from McLennan to Freud*. New York, 2005.

² Goldenweiser A. A. Totemism, An Analytical Study // The Journal of American Folklore. 1910, Vol. 23. № 88. P. 179—293.

³ Обе статьи перепечатаны в: Radcliffe-Brown A. R. Structure and Function in Primitive Society. London, 1952. P. 117—132, 133—152. Точки зрения Радклиффа-Брауна на тотемизм придерживался и Бронислав Малиновский в монографии «Магия, наука и религия» (1948).

⁴ Lévi-Strauss Claude. Le totémisme aujourd'hui. Paris, 1962. P. 111.

⁵ Isensee Josef. Verbotene Bäume im Garten der Freiheit // Recht und Tabu / Hrsg. von Otto Depenheuer. Wiesbaden, 2003. S. 130 ff (115—140).

⁶ Middleton John. The Study of the Lugbara: Expectation and Paradox in Anthropological Research. New York e. a., 1970. P. 50.

⁷ См. подробнее, например: Webster Hutton. Taboo. A Sociological Study (1942). New York, 1973. P. 17 ff.

⁸ Иногда по принципу pars pro toto: в Северной Австралии свойства тотемов вменяются рвотным массам и прочим выделениям из тела. Этот кажущийся необычным факт обсуждается в: Worsley Peter. Totemismus auf Groote Eyland und *Le Totémisme aujourd'hui* // Mythos und Totemismus. Beiträge zur Kritik der strukturalen Analyse / Hrsg. von Edmund Leach (= The Structural Study of Myth and Totemism. London, 1967) / Übers. von E. Hoffmeister. Frankfurt am Main, 1973. S. 198 (194—216).

⁹ Зеленин Д. К. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии. Часть I. Запреты на охоте и иных промыслах // Сборник Музея антропологии и этнографии. VIII. Л., 1929. С. 64 сл.

¹⁰ Mead Margaret. An Inquiry into the Question of Cultural Stability in Polynesia (1928). New York, 1969. P. 17.

¹¹ Godelier Maurice. L'énigme du don. Paris, 1996.

¹² Malinowski Bronislaw. Crime and Custom in Savage Society (1926). Totowa, New Jersey, 1985. P. 76 ff.

¹³ Боас писал в этой связи о том, что поклонение святым патронам, сменяющее тотемистические культы в развитых религиях, предоставляет верующим возможность мыслить свою группу привилегированной, распространять на себя тот особый статус, который дарован угодникам Божьим (Боас Франц. Ум первобытного человека (Boas Franz. The Mind of Primitive Man, 1911). М.—Л., 1926. С. 129). Умозаключение, которое стоит отсюда сделать, состоит в следующем: возвышаясь над прошлым, историзованная современность преобразует то, что было классификацией, в иерархии.

¹⁴ Douglas Mary. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966). Harmondsworth e. a., 1970. P. 69.

¹⁵ Douglas Mary. Ritual, Tabu und Körpersymbolik (= Natural Symbols. Explorations in Cosmology, 1970/1973) / Übers. von E. Bubser. Frankfurt am Main, 1986. S. 198.

¹⁶ Middleton John. The Lugbara of Uganda. New York e. a., 1965. P. 70.

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ



О СКВОЗНОМ ОБРАЗЕ В СТИХОТВОРЕНИИ «СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА ЗА ПРИВКУС НЕСЧАСТЬЯ И ДЫМА...»

Если верно, что самый глубокий слой мандельштамовских аллюзий — пушкинский, то на роль «Памятника» у него могут претендовать два стихотворения весны 1931 года: «За гремучую доблесть грядущих веков...» и «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» (далее — СМР). Между ними существует очевидная связь, сходство не только тематическое, но интонационное и риторическое. Причем от пушкинского «Памятника» оба контрастно отличаются в модусе речи: у Пушкина — гордое утверждение: *я воздвиг, весь я не умру, не зарастет народная тропа*, а у Мандельштама — не утверждение, а надежда и просьба, почти мольба: «запихни меня...», «уведи меня в ночь...», «сохрани мою речь». У Пушкина — аполлоническое бесстрашие, у Мандельштама в первом случае мы видим, как страх за себя мучительно преодолевается верой в свою звезду, во втором — мольба уже только о спасении — не брэнного тела, вот именно что «души в заветной лире», которую Мандельштам обозначает просто и точно: «моя речь».

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье, —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Григорий Михайлович Кружков (род. в 1945 г.) — поэт, переводчик, эссеист, автор шести книг стихов, книги литературоведческих эссе «Ностальгия обелисков» (М., 2001), книги об английских поэтах эпохи Возрождения «Лекарство от Фортуны» (М., 2002), а также антологии английской абсурдной поэзии «Книга NONсенса» (М., 2001; 2-е изд. — 2003). Отдельными изданиями выходили переводы стихов Донна, Китса, Лира, Кэрролла, Дикинсон, Йейтса, Фроста, Стивенса, Джойса, Хини. «Избранные переводы» в двух томах вышли в 2009 г. Лауреат Государственной премии России (2003). Живет в Москве.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как, прицелясь на смерть, городки зашибают в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топориче найду.

СМОЛА И ДЕГОТЬ

Анна Андреевна Ахматова искренне верила, что адресатом СМР является она. Надежда Яковлевна Мандельштам скромно писала, что стихотворение не посвящено никому. Но она, реально сохранившая вопреки смертельному риску стихи Мандельштама, заучившая их и пронесшая, как живое письмо, сквозь самые мрачные десятилетия сталинщины, не могла, я думаю, сомневаться, что стихи адресованы ей — если не автором, то самой судьбой. И она была права; хотя права была и Ахматова. Есть такие портреты, которые как бы «следят за зрителем»; пусть перед картиной стоят несколько человек — каждому из них чудится, что взгляд с портрета обращен на него одного.

Как это происходит, Мандельштам объясняет в своей статье о собеседнике. Речь поэта всегда направлена к «провиденциальному читателю», тайному другу. Кажется поначалу, что поэт обращается к близкому другу-современнику, — на что намекает начало второй строки «За смолу кругового терпенья...», — но в то же время через его голову к любому, кто прочтет его «письмо в бутылке», к своему читателю в потомстве.

Все это более или менее очевидно. Даже обсуждать нечего, достаточно вслушаться в этот глухой, прямо в сердце идущий голос, в завет поэта тем, кто его переживет, к людям будущего... Но в литературоведении чего только не случается. Вот, например, Александр Жолковский считает, что вероятный адресат стихотворения СМР — *власть*, с которой Мандельштам ищет контакта любой ценой.¹ Он интерпретирует это так, что поэт, закончив отчет о своих *заслугах* в первой строфе, во второй и в третьей предлагает властям *предержащим свои услуги в форме «прислуживания при наказании других лиц»!*

Жолковский не первый, который видит в этом стихотворении Мандельштама попытку договориться с властью. Такое же мнение в более мягкой форме высказывал и Сергей Стратановский: Мандельштам, в обмен на сохранение своей «речи», «подобно Маяковскому, Багрицкому и многим другим советским поэтам, готов оправдать казни».² Но зачем равнять Мандельштама с Маяковским и Багрицким, а не с Ахматовой и Пастернаком, которые никаких казней не одобряли? Стратановский уточняет: «Мандельштам готов оправдать не всякие казни, а лишь те, что совершались во имя Революции». Но все стихи Мандельштама начала тридцатых свидетельствуют о его ясном понимании, что усиливающийся в стране террор лишь прикрывается именем революции. Вряд ли Мандельштам был менее чуток, чем Пастернак, который писал еще в 1928 году по поводу Шахтинского дела, по которому 11 человек были приговорены к расстрелу: «Террор возобновился», причем без следа тех «нравственных оснований и оправданий», что в эпоху военного коммунизма.³ Нет, Мандельштам не обманывался относительно «хищи» и «лжи», «кровавых костей в колесе» и «шестипалой неправды», которая пытается убаюкать совесть поэта. Прислуживать тем, которых он ясно обозначил как «татарва» — слово, заключающее в себе страх и отвращение, — он не собирался. Это, кажется, ясно. Это одно лишь и ясно — сразу, без всякого логического анализа.

Хотя в целом СМР — стихотворение, конечно, загадочное. Читатель улавливает не столько смысл, сколько мощную волну стихов, убеждающую прежде всего интонацией, поверх и помимо слов. По поводу таких непрозрачных стихов, кажется, Анна Ахматова как-то заметила: не важно, что читатель не понимает; главное, чтобы сам поэт понимал, что он имеет в виду. Уточним: и чтобы читатель понимал, что поэт понимает. Если такое ощущение есть, это уже хорошо. Но в какой-то момент хочется пойти дальше и открыть заложенный автором смысл, разгадать шифрограмму.

Итак, начнем с самого начала.

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, / За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...»

Смола кругового терпенья — это то, что *слепляет* вместе дружеский круг, к которому обращается поэт, слепляет неизбежно, как в сказке о «бычке — смоляном бочке». Но это еще и ссылка на *липкий страх* — и терпенье, такое же липкое, как страх, который принуждает к терпенью; это *круговая порука* страха и терпенья.

Совестный деготь труда — смелое выражение, идущее поперек идиоматических «мазать дегтем», «в бочке меда ложка дегтя». Это тоже нечто вязкое, как смола, но это *«привычка к труду благородная»* (Некрасов), это тот самый *«блуд труда»*, который у нас в крови (Мандельштам) — с переправленным на плюс значением слова «блуд», как и слова «деготь». Деготь черен, как *черный труд поэта*, как черен любой честный труд. У Мандельштама труд и чернота всегда рядом: «чернозем», «черноречивое молчание в работе» и т. д. Совесть поэта — в честности его работы над словом и смыслом, то есть в конце концов над собственной душой.

К своим заслугам во второй строке поэт относит именно это — честность черного труда поэта — даже в условиях липкого страха, сковавшего не только его самого, но весь его круг.

Возможна и ассоциация с известной фразой Шекспира, ссылающегося на свою профессию актера: «рука красильщика» (Сонет СХІ).

На имени моем — клеймо стыда;
И, как рука красильщика, всегда я
Запятнан краской моего труда.⁴

Читаем дальше.

«Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда».

Почему в **новгородских**? Не потому ли, что Новгород — символ русской вольности, разгромленной и уничтоженной Иваном Грозным?

«И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, / Я, непризнанный брат, отщепенец в народной семье...»

К кому обращается поэт в первой (пятой строке) строфе? Если в первой строфе адресатом служит одновременно и современник и потомок — далекий друг, то здесь *происходит метаморфоза и адресатом становится сам русский язык* — воплощение всего, что было, есть и будет, хранилище народной памяти.

«...Обещаю построить такие глубокие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье».

Об обещании построить глубокие срубы — чуть далее, а вот о татарве хочется сделать одно замечание. Как известно, в годы опричнины на Руси было перебито

больше бояр и князей, чем погибло от татар за все века татаро-монгольского ига. Поэтому, полагаю я, слово «татарва» употребляется здесь в обобщенном значении «варвары» и относится ко всяким чинителям массового террора, в том числе к нашим домашним карателям вроде Ивана Грозного.⁵

СРУБЫ И СТРОФЫ

В комментариях М. Л. Гаспарова к СМР говорится: «Сквозной его образ — деревянные *срубы*: в первой строфе на дне их светится *звезда* совести (образ из Бодлера), во 2-й расовые враги топят в них классовых врагов; в 3-й они похожи на *городки*, по которым бьют: если в «С миром державным...» поэт жертвовал собой за класс, к которому не принадлежал, то здесь он принимает на себя смертные грехи народа, которому он чужд; концовка двусмысленна — *топорище* он ищет то ли на казнь врагу, то ли самому себе».⁶

Что касается замечания Гаспарова о Бодлере, оно представляется здесь не очень убедительным: звезда и колодец — слишком традиционное сочетание образов. Критик основывается на заключительных строфах стихотворения Бодлера «Неотвратимое»:

О, светлое в смешенье с мрачным!
Сама в себя глядит душа,
Звездой черною дрожа
В колодце Истины прозрачном.

Дразнящий факел в адской мгле
Иль ступок дьявольского смеха,
О, наша слава и утеха —
Вы, муки совести во Зле!

Однако у Мандельштама речь идет не о том. Ни ада, ни дьявольского смеха, ни грешного поэта, который с ужасом глядит вглубь своей души, у него нет. Колодец, который строит Мандельштам, — совершенно иной, в нем должна отразиться звезда Рождества, и вода в колодце — «сладкая»; поэт должен принести людям благую весть о мире, который уже почти искуплен⁷, а Христу родившемуся — драгоценные дары от полноты души и благодарности.

Немного поверхностным (хотя и остроумным) представляется и замечание Гаспарова о том, что в этих срубках «расовые враги топят классовых врагов». Как я уже отметил выше, «татарва» здесь скорее бранная кличка, чем указание на этнос, а «князья» — элита народа, к которой Мандельштам, несомненно, причислял и себя.

Но это все второстепенно. Главное в другом. Мне кажется, что М. Л. Гаспаров, подойдя совсем близко к пониманию стихотворения, все же недооценил внутреннюю «железную» логику Мандельштама и слишком рано отступился. Мало сказать про *сквозной образ* «деревянного сруба»; тут не просто сквозной образ, а *сквозной концепт* — развернутая метафора, проходящая от начала до конца стихотворения. Поразительна как простота этого концепта, так и столь долгая его утайка от глаз литературоведов. Речь идет об изоморфизме *стихотворение — колодец*. Соотношение вполне очевидное, наглядное. Если спросить (хотя бы ребенка), на что похоже стихотворение, напечатанное на листе бумаги, то ответ будет: на башню. У Йейтса сказано прямо:

Священна эта земля
 И древний над ней дозор:
 Бурлящей крови напор
 Поставил Башню стоймя
 Над грудой ветхих лачуг —
 Как средоточье и связь
 Дремотных родов. Смясь,
 Я символ мощи воздвиг
 Над вялым гулом молвы
И, ставя строфу на строфу,
Пою эпоху свою,
Гниющую с головы.

Но башня — героический символ. Колодец — как бы *негатив башни*, ее выворотка: то же самое, но утаенное от глаз, интроспективное. Можно сказать и так: башня — для символистов, колодец — для акмеиста.

У Мандельштама — колодец.

Проследим детальнее изоморфизм колодца и стихотворения. Стихи состоят из строк, колодец — из коротких бревен или плах (тех же бревен, расколотых или распиленных вдоль, плоских с внутренней стороны и горбатых с внешней). В стихотворении, написанном перекрестной рифмой, строки соединены по четыре в катрены (четверостишия). В срубе колодца — как и в срубе избы — бревна тоже соединены, связаны по четыре в венцы; каждый венец сруба соответствует четверостишию, *венец ложится на венец, как строфа на строфу*.⁸

Нужно ли добавлять, что содержанием колодца служит вода, просочившаяся из глубин земли, а содержанием стихотворения — мудрость из потаенных земных и небесных (отраженных в колодце) глубин.

УМЫСЛЫ И РАСЧЕТЫ

Жолковский представляет дело так: поэт обещает властям построить колодец, *чтобы* топить в нем «князей». Он усматривает у Мандельштама некоторый «договорной мотив», задаваемый конструкциями с *чтобы, для, за*, определяющими в данном конкретном случае договор Мандельштама с сильными мира сего. По мнению Жолковского, этот мотив соответствует «глубокому убеждению поэта, что мир управляется законами высшей целесообразности, „рецептурности“, что за все приходится платить». Взятое под таким углом, стихотворение предстает как попытка некоего «гешефта» Мандельштама с властями ради достижения своих целей, в том числе, метафизических (бессмертия и пр.).

Усмотренные Жолковским обороты действительно часто встречаются у Мандельштама и действительно служат «риторическим каркасом» текста, но приписываемое поэту «глубокое убеждение» в простом и рациональном устройстве мира является, на мой взгляд, лишь грамматической иллюзией.

В данном случае критик путает онтологические свойства поэтики Мандельштама с механизмом его поэтической риторики.

У Мандельштама воздух стиха — неожиданность, а не логическая связка и не «рецептурность».

Да, он любит союз «чтобы» и часто связывает, соединяет им строки и синтагмы, чтобы они не рассыпались. Однако с этим союзом не все так просто,

как кажется. Даже в стандартном русском языке он не обязательно являет целепологание (см.: Словарь современного русского литературного языка. Т. 17. С. 1134—1135). А в поэтическом языке «чтобы» может означать не прямую логическую связь, а простую последовательность событий: *не вследствие чего, а после чего*, иногда даже *вопреки чему*.

По-русски можно сказать (и написать) так: «Он успел блестяще сдать экзамены в консерватории и даже услышать исполнение своей первой симфонии, — чтобы через несколько недель погибнуть в ополчении под Москвой, где таких же „вояк“ с винтовочками бросили против танков и мотопехоты немцев». Разумеется, тут никакого целепологания нет, никто не сдавал экзамены с тайной целью погибнуть. Коннектор «чтобы» в данном случае подразумевает, по сути, риторический вопрос: для того ли, чтобы?.. В эмфатической и поэтической речи такое употребление встречается сплошь да рядом.

Вот один пример из Мандельштама:

И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

(«Черепеха», 1919)

У «выпукло-девического лба» здесь нет определенного целепологания. И провеявший холодок не ставил никакой ясной цели в столь отдаленном будущем. «Чтобы» выступает лишь как *коннектор*, соединяющий поэтические идеи, связь между которыми, скажем так, далеко не прямая. Просто разные поэты предпочитают разные коннекторы. У одного это скромное «и», у другого «но», а у Мандельштама — «чтобы». Это не означает сплошных умыслов и расчетов — только роковую связь явлений мира, тайную их переключку.⁹

ПЛАХИ И РЮХИ

«Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи — / Как, прицелясь на смерть, городки зашибают в саду...»

Мерзлые плахи — из которых сложен сруб колодца.¹⁰ Во второй строке они уподобляются чуркам, из которых складывают городошные фигуры. Здесь уместно заметить, что в городки любили играть руководители Советского государства: Ленин, Сталин, Калинин, Ворошилов¹¹ и что в 1928 году городки были включены в программу Всесоюзной спартакиады. Одна из фигур городков (пятая) называется «колодец».

Разбитый вдребезги битой, или *рюхой*, «колодец» — образ отношения новой власти к поэзии Мандельштама. «Зашибленный», разнесенный на бревнышки сруб — вот что ждет его стихи. Одна надежда, что и разбитые, они останутся ему верны и выручат его у смерти. «Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи...» (Любовь — это и есть верность и выручка.) Так и случилось.

Еще маленькое замечание. Союз «как» во второй строке не подразумевает никакого сравнения (что приводит к абсурду), а должен пониматься в значении «когда». Ср.: «Как разбил государь Золотую Орду под Казанью...» (Дм. Кедрин).

«А за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе / И для казни петровской в лесах топориче найду».

Железная рубаша — вериги аскета или кандалы каторжника. В лесах топориче найду — шаг, который делает обреченный навстречу собственной казни, предпочитая открытую смерть на миру тихому дрожанию и ожиданию неминуемой участи. Проще говоря, антисталинский памфлет 1933 года «Мы живем, под собою не чуя страны...» (до которого оставалось еще два года) и есть то самое «топориче».

ДВА «ПАМЯТНИКА»

Жолковский признает, что гипотеза о предлагаемой Мандельштамом сделке наталкивается на абсолютную ее нереалистичность и неосуществимость, так как в самом тексте «договора» поэт аттестует своих предполагаемых партнеров как «палачей с петровскими топорами, мерзлыми плахами, железными рубашами, зашибанием насмерть и фантастическим опусканием на бадье в дремучие срубы, — то есть в качестве, выражаясь языком Савельича, *злодеев*».

Так зачем же тогда выдвигать эту нелепую гипотезу о сделке со злодеями? Неужели Мандельштам в 1931 году совсем сбрендил, что обращается к своему палачу как к другу: «Сохрани мою речь навсегда...»? И не просто другу, а человеку с развитым литературным вкусом, который поймет и «привкус несчастья и дыма», и «смолу кругового терпенья», и прочее — всё то, что вполне понятно может быть только собрату-поэту. К нему-то в конечном счете и обращает свою речь Мандельштам, завещая своим стихам жить, «доколь в подлунном мире» и так далее.

«Сохрани мою речь навсегда...», по сути, и есть его «Памятник», как это признает и А. Жолковский в конце своей статьи. Может быть, точнее было бы сказать: «половина памятника», так как на эту роль претендует и написанное той же весной 1931 года «За гремучую доблесть грядущих веков...»; по справедливости их нужно бы считать *парными* и взаимно дополнительными стихотворениями.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей...

Отметим, что в начальных двух строках первого стихотворения три союза «за», а в начальных второго — два.

В первом — роль памятника выполняет глубокий *деревянный колодец*, в котором проступает *семиконечная звезда Рождества*, во втором — *енисейская сосна*, которая «до звезды достает».

Образы, конечно, зеркально отраженные.

¹ Жолковский А. Сохрани мою речь, — и я приму тебя, как упряжь. Мандельштам и Пастернак в 1931 году // *Звезда*. 2012. № 4.

² Стратановский С. Нацелясь на смерть // *Звезда*. 1998. № 1. С. 218.

³ Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений. В 11 т. М., 2005. Т. 8. С. 207.

⁴ *Thence comes it that my name receives a brand, / And almost thence my nature is subdued / To what it works in, like the dyer's hand...*

⁵ То, что в этой строфе аллюзия на убийство великих князей («алапаевских мучеников») 18 июля 1918 г., первым отметил, кажется, Омри Ронен. Но это именно косвенная аллюзия, а не прямая отсылка. Известно, что великих князей сбросили в колодец мертвых или полумертвых.

⁶ Мандельштам О. Стихотворения. Проза. Сост., вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М.; Харьков, 2001. С. 650.

⁷ См. в статье «Скрябин и христианство»: «Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилось, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен...»

⁸ Уже после написания этой статьи я узнал, что к аналогичному выводу («срубы — это стихи») пришел также Александр Илличевский в своей книге эссе «Дождь для Данаи» (М., 2006) .

⁹ Вот еще один (придуманый мною) пример, показывающий употребление оборота с «чтобы» в значении *непредусмотренного следствия*:

Он всю жизнь укрощал наш язык, непокорный и грубый,
Украшал и расцветчивал жизни унылую гладь
И во сне целовал свою музу в холодные губы, —
Чтобы нынешний бард не умел и корову склонять.

По нашему мнению, в строке «Чтобы в них татарва опускала князей на бадье» союз «чтобы» работает в таком же или сходном смысле.

¹⁰ Колодцы обычно рубили «в прямоугольную лапу» из дубовых либо сосновых плах горбылем наружу.

¹¹ Живописное описание Ленина, играющего в городки, см. у А. Вознесенского в поэме «Ланжюмо»:

Раз! — распахнута рубашка,
раз! — прищурился глаз,
раз! — и чурки вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!) —
рраз!

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



ВЫНЫРНУВШИЕ ИЗ ТУМАНА

«Как будто он вынырнул из тумана, внезапно стал видимым красивый корабль» — роман «Деревянный корабль» (СПб., 2013) начинается как ясная и точная реалистическая проза. С легким гоголевским оттенком: а доедет ли-де такое колесо до Москвы? — очень уж серьезно рассуждают о плотницкой работе кораблестроителей «три компетентных господина, умеющих точно выразить суть дела». К ним присоединяются два таможенных чиновника: «Как бы то ни было, они выразили согласие с компетентными рассуждениями трех случайных господ и намекнули, что у них тоже есть свое мнение относительно выдающихся целей, которым мог бы послужить такой корабль».

Однако корабль и через две недели стоит на прежнем месте, и — «стоило чиновникам взглянуть на голые теперь мачты, как кожа у них на лбу собиралась в хмурые складки. Приходилось признать: их мнение о корабле оказалось ошибочным». При этом их рассуждения по столь серьезному поводу до того подробны, логичны и многословны, что это уже начинает отдавать Кафкой. Но дальнейшие рассуждения все новых, отлично обрисованных персонажей еще более философичны — по поводу нарастающей череды нелепостей, начинающихся с драки в трюме и не заканчивающихся исчезновением дочери капитана, чей жених еще в самом начале плавания обнаружил в чреве парусника таинственный лабиринт, по которому блуждают неясные фигуры...

Вполне очевидно, что у автора более чем достаточно ума, выдумки и живописного мастерства, чтобы развить такое начало в сатирический гротеск, в притчу, в детектив, в мистический триллер. Но он почему-то не желает загнать повествование ни в одно определенное русло, а пишет вместо этого «Реку без берегов» («Деревянный корабль» — ее первая часть) — так называется классическая трилогия Ханса Хенни Янна, законченная в добровольном изгнании на острове Борнхольм, по словам автора, за три недели до вторжения Германии в Россию, а по прикидкам переводчика и комментатора Татьяны Баскаковой (и перевод и комментарии превосходны) — к Сталинградской битве.

К читателю же роман попал лишь в начале холодной войны — к читателю немногочисленному, ибо, как разъяснил швейцарский литературовед Вальтер

Мушг, «после смерти Альфреда Дёблина Ханс Хенни Янн остался последней из великих фигур, которые когда-то под знаком экспрессионизма создавали современную немецкую литературу. Он разделяет судьбу их всех — быть практически неизвестными сегодняшней публике, то есть молодежи. Он тоже страдает от той отсталости немецкой литературной жизни, что проявляется со времени катастрофы 1933 года».

В советской России, правда, германисты свое дело знали: в «Краткой литературной энциклопедии» (1975) совершенно справедливо указано, что «интеллектуальный роман» Я. строится вне хронологич. сюжетности, на основе ассоциативности худож. идей, символики лейтмотивов и т. д. Так что, будь он переведен в те годы, его, глядишь, расхватавали бы в обмен на макулатуру, коей были завалены полки наших книжных магазинов. Однако после культурной катастрофы 1991 года рынок все расставил по своим местам: миллионы наших соотечественников перестали притворяться, что любят серьезную литературу, а потому поисковая система на запрос «Янн» отвечает вопросом, не имеется ли в виду Ян — тоже автор трилогии («Чингисхан» — «Батый» — «К последнему морю»), а если продолжаешь настаивать на Янне, тебе выдают канадского писателя Мартела Янна.

Надеюсь, после этой книги посмертная жизнь немецкого Янна в постсоветской России приобретет качественно новый масштаб. Замысел книги, полной не находящих разрешения загадок, настолько необычен и значителен (сам Янн однажды объявил целью своего романа *деконструкцию западного логоцентризма*), что было бы величайшей самонадеянностью в короткой заметке пускаться в его глубины. Здесь довольно поблагодарить Издательство Ивана Лимбаха за то, что теперь каждый из нас тоже получил возможность поймать в этой реке собственную рыбку.

И, если повезет, не простую, а золотую.

Я бы с большим интересом прочел о Янне какую-нибудь умную и страстную статью, эссе или очерк вроде тех, которыми наполнена книга Олега Юрьева «Писатель как сотоварищ по выживанию. Статьи, эссе и очерки о литературе и не только» (СПб., 2014).

Олег Юрьев, похоже, не терпит никакого масскульта, от интеллигентского до блатного (первейшая задача культуры, напоминаю, наделять ее носителей чувством собственной красоты и правоты). «Владимир Вертлиб — взрослый писатель и человек — ушел из нашего „культурного круга“, поэтому не знает больше и больше не понимает „само собой разумеющегося“, всей аксиоматики советского интеллигентского сознания, смотрит на нее — на нас — извне. Поэтому свободен от нашего самообмана, от восхищенного взгляда на себя — на *ах каких честных, порядочных, культурных, интеллигентных... если бы, только не советская власть (она же российская дикость), не израильская бескультурность, не американская наивность...*» «Даже забавная мысль — взять харьковского прибалтийского подростка, с характерными для него льстивостью, наглостью, с неудовлетворенной претензией на лидерство в банде, со страстью к *клевому прикиду*, с восхищением перед всяким насилием, кроме государственного (в переводе на нынешний, частично англизированный лимоновский язык, — это и есть ненависть к истеблешменту) — так вот, взять и перенести его в Нью-Йорк со всем его уровнем развития не выше этажерки. Могла бы получиться смешная книга,

если бы в уличном кодексе, сформировавшем личность подростка Савенко, хоть как-то ценилось чувство юмора.

Но нет — настоящий блатной трагически-серьезно относится к себе. А вслед за ним и бегающий за папиросами мальчишка».

«Эдичку ведет по Нью-Йорку, а писателя Лимонова по жизни поиск *слабых*, считающих себя несправедливо обиженными, завидующих, — чтобы стать среди них самым сильным, самым несправедливо обиженным, самым завистливым и жестоким. В этом смысле безразлично кто — троцкисты, уголовные негры, замучанные (так! — *А. М.*) эмигрантским истеблешментом авангардисты или московские молодые люди, от скуки и безнадежности поверившие в химеру „национал-большевизма“ <...>. А правыми они будут называться или левыми — совершенно безразлично».

Олег Юрьев вообще не щадит «навзрыд-навскрик-говорения с отчетливым привкусом сыгранного социального низа, приблатненного пафоса и слезливой жестокости, которую если не открыл, то освоил и присвоил я-Маяковский: *улица-де корчилась безъязыкая, и вот пришел я и дал ей язык*». Даже не решаюсь помыслить, насколько Юрьев говорит о самом Маяковском, давшем новый язык отнюдь не улице, но исключительно восстающей против миропорядка интеллигенции, а насколько о «время от времени входящем в моду типе „хулигана“, срывающего с себя тонкую пленку цивилизации, которой его коварно пытались заламинировать *буржуи, символисты и вообще царизм... жида и пидарасы... Путин... инопланетяне... — неважно кто*».

«Главное, что мы эту пленку сдираем и требуем признания, что мы и так хороши, без пленки. Полюбите нас черненькими. <...> А что хамим налево и направо, так это чтобы объязычить безъязыкую улицу. И очень обижаемся и переживаем, когда обхамливаемые почему-то позволяют себе не щадить *наших* чувств. <...> Не только я как читатель и вообще гражданин прекрасно обхожусь без объязычивания безъязыкой улицы, но и сама она нисколько не нуждается ни в каких якобы артикулирующих ее оргнчиках. Особенно в форме попыток закомплексованного полуинтеллигента изобразить из себя страшного грозного хама-пролетария и выдать себя за голос „улицы“, обращенный-де к самой же этой улице, именуемой в таком случае „народом“. Или Читателем с большой собирательной буквы Ч».

Однако бичевать гораздо легче, чем создавать, как теперь выражаются, *позитив*: отдернуть руку от огня или стукнуть по носу обидчика — движение почти рефлекторное, а вот умение любить и делиться любовью — это требует серьезных духовных усилий. Олег Юрьев любить умеет: «Написанное Чеховым не нуждается в календарных напоминаниях: его проза всегда есть и будет, пока существует русская речь и Россия (что означает, я надеюсь, вечно)». Но выживание Чехова и России не слишком нуждается в чьих-то частных усилиях: «...в фокусе зрения автора, — справедливо указывает издательская аннотация, — скрытая, тайная, подавляемая доминирующей идеологией и эстетикой великая несуществующая литература XX века, которой он пытается вернуть существование: Тихон Чурилин, Павел Зальцман, Всеволод Петров, Борис Вахтин, Владимир Губин...» Этот оксюморон — «великая несуществующая» — вероятно, и наполняет душу автора горечью за обойденных не тайным, но явным социальным величием поэтов и писателей, а также обидой на тех, кто, не задумываясь и не замечая, проходит мимо их книг — надгробий на заброшенном кладбище, довольствуясь «*джентльменским набором совинтеллигента* (Волошин, да Гумилев, да — в хорошем случае — Цветаева и Кузмин, да в самом лучшем — Ходасевич), усердно

размножаемым просвещенными инженерами на личных и служебных пишма-шинках, а то и на множительной технике номерных НИИ)».

Любые разговоры в пользу тех, кто обойден посмертной известностью, не могут не трогать. А Олег Юрьев еще и обладает отличным слогом, эрудицией и умом, и оттого его интересно и приятно читать, о чем бы он ни писал. Хотя, увы, довольно часто он оказывается интереснее тех, кого вывел из тумана. Главы, скажем, о Чурилине и Нельдихене настолько хороши, что в оба портрета я просто влюбился. И эту любовь не смогли погасить даже их стихотворения.

Тихон Чурилин:

Весе сна спадшего,
Граде, дар радости радоницы!
Гремль, младший гром — А ну ницы!
И целуй у лея дождя
Благословенные руки.
И цели лавра вождя
Мироточивые муки.
Кому, кому, о муко, купать
Упадки в купели липе.
О, падь,
Да возносяйся лепей!

Или Нельдихен:

Бирюзою перстня божьего
Небо нынче не заткнуто, —
Небо серое.
Но зато и в бурю осенью
На деревьях загорелых
Листья солнятся.
В городах во время праздника
Марш гудит солдатошагий; —
Разве весело?

Я уверен, что Олег Юрьев и знает и видит в этих строчках гораздо больше моего, но я, несмотря на все усилия самообразования, по своему уровню поэтического развития, видимо, так и остаюсь с людьми, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу, — с просвещенными инженерами. Однако преданность автора своим любимцам невольно приводит на ум (из нашего Яна) слова Бату-хана, покоренного мужеством *урусатов*: «Вот как надо любить и защищать свой родной улус!»

А с чем еще невозможно не согласиться, «история русской литературы должна непрерывно расширяться во все стороны, иначе она не Вселенная. А она — Вселенная». И мою личную Вселенную Олег Юрьев расширил весьма существенно. Ну а какую культуру следует считать первой, а какую второй — на этот вопрос автор, может быть, невольно, отвечает сам: «Всякая неофициальная культура стремится (или ей следовало бы стремиться) избежать главной ловушки — языка времени». Какая культура не оглядывается на другую, хотя бы и в стремлении ей не уподобиться, — та и есть первая.

Правда, и галактики субкультур оказываются необозримыми, куда ни загляни. Небольшой двухтомник Юрия Шубика (СПб., 2013) — в одном томике

картинки, в другом комментарии — располагает уже самим названием: «Занимательная медицина в картинках для врачей и сочувствующих им граждан: Медицинский экслибрис». Полностью присоединяюсь к предисловию Бориса Стругацкого: «Это маленькая, емкая, сверхкомпактная энциклопедия обширной территории мировой культуры. Здесь история медицины и множество увлекательных медицинских историй, рассказанных изящно и мастерски. Здесь мифология, причем мифология почти нам неизвестная (нам, малограмотным читателям „Мифов Древней Греции“). Здесь замечательные биографии замечательных людей — врачей, коллекционеров, художников всех времен и народов... И юмор. Ну конечно же, — юмор!»

Этот юмор особенно располагает к автору, когда он смеется там, где другой истекал бы желчью: «А коллекционеры — они люди особые. Понятно, что это в основном ребята с интеллектом, весьма образованные, любящие поговорить о высоких материях, порассуждать об искусстве. И при этом — когда дело касается предмета их вождения (в смысле коллекционирования) — порой совершенно беспринципны! Обмануть, объегорить, надуть — да не вопрос! Купить за бесценок коллекцию у вдовы покойного собрата — едва ли не знак особой доблести! А приобрести у бабки за рубль то, что стоит тысячу, — удачная сделка!»

Пожалуй, на такие кунштуки и у пишущего эти строки не хватает юмора.

Конгресс Международной федерации экслибриса в Стамбуле. «Обстановка вполне семейная, во всяком случае почти все друг друга знают. Половина участников — художники, половина — коллекционеры. <...> Только вот что любопытно: почти каждый вечер бедные художники печально чешут в затылке и подсчитывают, сколько работ у них сперли эти самые интеллигентные люди — коллекционеры».

Впрочем, ничего нового — мир, где что-то делают, всегда низок, высоким бывает лишь тот мир, где что-то делают. А люди никогда ничего не делают без участия фантазии. Даже в самых современных экслибрисах не только присутствует — доминирует символика мифологических и магических времен. Но это нужно не просто смотреть — рассматривать (жаль, в книге отсутствуют даты создания экслибрисов, было бы очень интересно сопоставить с периодами «главной» культуры живописи и графики). Ясно, что тема борьбы за жизнь не может избежать присутствия смерти, но человеческий дух не сдастся, защищается эстетикой и метафизикой.

Правда, самого автора даже и его душевная щедрость не защитила от обиды за ушедшего из жизни Бориса Натановича, чьей светлой памяти посвящена книга: «В России любят мертвых. Вернее так: к сожалению, только мертвых и любят». К счастью, однако, это совсем не так. В начале 1970-х я провел лето с гатчинскими физиками на таймырской шабашке, и они с утра до вечера перебрасывались цитатами из братьев Стругацких, рождая во мне обиду за боготворимого Толстого: его никто так не любил. А как обожали Высоцкого, Окуджаву, Городницкого!..

Если бы в России не умели любить, у нас не было бы ни литературы, ни музыки. А что каждый культурный или субкультурный кумир наживал не только друзей, но и недругов, то это совершенно нормально для любой страны. Что, не было могущественных врагов у Мольера, у Байрона, у Шиллера?

Если писатель не нажил врагов, значит, он не внес в мир никаких серьезных изменений.

ХВАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ



Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки
М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2014.

Нам, «рожденным в девяностые», зачастую кажется, что Советский Союз — это давно и неправда. Трава тогда, конечно, была зеленее, но не у нашего дома — а стало быть, все аргументированные споры отменяются. В общем, «био-роман» «Жизнь советской девушки» обещал рассказ о чужой жизни в какой-то совсем другой стране.

Но не так уж много отличий между девушками «советскими» и «российскими». Люди те же. Ошибки почему-то повторяются. Жизненные установки дублируются. «Мне восемнадцать лет, я никто и ничто, и ум мой взбудоражен искусством без всякого выхода — из-под моего пера вырываются разве горячечные девические стишата. Я живу с родителями, общаюсь с друзьями, я никогда не была так безнадежно и отчаянно одна. Ах, никакой я не „боец“!» Общие места, конечно, да и сам автор во вступлении говорит: «Я пишу для тебя», — мол, нет разницы между тобой и мной. Разница часто подразумевается в бытовых мелочах.

Именно на них обращают внимание современницы Москвиной, реагируют на приметы времени: на особенности личной гигиены женщины в шестидесятые, семидесятые и даже восьмидесятые годы, которые, кажется, были совсем недавно; на бесхитрость и малочисленность гардероба обычной девушки того времени; на поистине викторианскую противоречивость нравов. Бытовое, близкое к сфере низменного — это всегда карта, припрятанная в рукаве. Москвина с мудростью библейского пророка отмечает: «Все, что унижено, — будет возвышено. Все, что возвышено, — будет унижено». Помимо детабуизации сокрытого, Москвина занимается собиранием детского, школьного и семейного фольклора: рассказывает, например, про игру в бумажные куклы и вызывание пиковой дамы Акулины, детально — про сбор грибов, сопутствующую ему обрядовость (вроде повторения заклинаний «грибы нас ждут»), а также приводит мнения информантов — например, о том, что никто и никогда не любит отличниц.

Все, что далеко от как такового «низкого», надо сказать, практически не изменилось. Если предметный мир модифицируется (на это влияет и технический прогресс, и переход от плановой экономики к рыночной — в общем, материально обусловленные факторы), то сфера эмпирического обнаруживает совпадений между эпохами «тогда» и «сейчас» явно больше, чем порой хотелось бы. В этой сфере не может произойти ни реформы, спущенной сверху, ни научно-технической революции. Подобного рода смешные и наивные замечания не стремятся утверждать: нет разницы между советской жизнью и российской. Они демонстрируют лишь удивление — как ее все-таки мало. И если в бумаж-

ные куклы девочки, наверное, и перестанут когда-то играть, то делать глупости и совершать личные подвиги будут всегда (и слава богу).

Кстати, о женском, которое в романе Москвиной появляется в большом количестве: «Когда в каком-то деле скапливается слишком много женщин, это симптом, и это симптом не расцвета. <...> Если мужчины куда-то не стремятся ни разумом, ни нутром, там нет ни денег, ни славы, ни любви — короче, нет энергии». При этом женщины «вытягивают цепь рождений»: это существа созидательные, которые хотят, чтобы всё, всегда и всем было хорошо — в том числе и будущим поколениям. Кажется, вокруг чересчур много мнений, а среди них очень много стереотипных: что такое женщина (причем именно русская женщина) и что с ней не так. «Жизнь советской девушки» — адекватное суждение о месте женщины в мире. Никаких девчоночьих «We can do it» и «Who run the world». Просто хочется, чтобы все было хорошо, ну а если надо — «у меня не может быть жены, я сама жена», сама перепишу свой роман, а потом «приготовлю обед, перемену постель, сниму дачу на лето, куплю теплые носки».

Здесь, кстати, тоже ничего не меняется.

Елена Васильева

Всеволод Непогодин. Девять дней в мае
Нева, 2014, № 10.

Длинный список Национального бестселлера отличается от других тем, что номинанты располагаются рядом с именами номинаторов. Любопытно, что существует возможность номинировать самого себя, что и сделал журналист Всеволод Непогодин. Однако его роман «Девять дней в мае» выдвинул на соискание премии не он один, что, естественно, в еще большей степени привлекает внимание к произведению. Если в романе увидели что-то интересное и важное не только сам автор и редакция журнала «Нева», значит, это интересное и важное в нем есть.

Оказалось, что роман — представитель весьма распространившегося в последнее время «украинского текста». Всеволод Непогодин летом прошлого года в своем интервью телекомпании «Вести-Ярославль» обещал написать роман о событиях 2 мая 2014 года в Одессе и обещание свое выполнил. Безусловно, поджог Дома профсоюзов сторонниками Майдана — большая трагедия, что подчеркивает Непогодин, объясняя, почему эссе в данном случае будет недостаточно: «Нужно восстановить в памяти картину событий: важна каждая деталь, каждая эмоция...» Но коль скоро журналист назвал свое произведение романом, то и рассматривать его справедливо как художественное произведение, абстрагируясь от политики. Однако в таком случае мы оказываемся в тупике. Потому что ничего похожего на роман в классическом понимании мы не найдем. Воображаемая история с главным героем, развернутая в широкую и цельную картину, развитие сюжета с кульминацией, внешние события и внутренние изменения героев... А перед нами лишь линейная фиксация событий, происходящих с героем, а точнее с автором, потому что в данном случае эти величины равны. Событий абсолютно всех, вплоть до поедания вареников и словесных перепалок с матерью (хорошо, допустим, последние нужны для создания образа героя). Вы можете возразить: а как же Пруст с Джойсом, где же у них развитие сюжета? Но позвольте, в их романах создается цельный художественный мир, соответствующий

щий авторскому замыслу. Непогодин же запечатлевает все происходящее вокруг него с прилежностью видеопленки или, раз уж перед нами вербальный продукт, диктофона. Помните сериал «Школа» Гай Германики? Съемка ручной камерой по принципу «куда иду, то и снимаю». Или иначе «что вижу, то и пою». А поет Непогодин преимущественно на родном ему языке — на языке «публицистики»:

«Либеральные трепачи устроили виртуальную пляску на костях мучеников, сгоревших в Доме профсоюзов. Они радовались, как будто были уничтожены серийные убийцы, маньяки-педофилы или живодеры, насилующие собак. Либеральное шапито давно уже держалось только на круговой поруке, вранье и лицемерии».

Видимо, исключительно для того, чтобы добавить нотку «романности», автор рассказывает нам и о своих отношениях с возлюбленной. А может быть, лишь для того, чтобы этой даме сердца роман посвятить. Конечно, описать высокие чувства публицистическим слогом трудновато, на помощь приходит «художественный». Но в тексте Непогодина он выглядит странно и неуместно.

Инородные лирические отступления могли бы стать результатом рефлексии главного героя, но это понятие, похоже, ему чуждо. Герой может вспоминать, думать о своих будущих действиях, но причинно-следственные связи не выстраиваются никогда. Увидев, как украинские наци таскают за волосы женщину, которая посмела ответить им по-русски, наш герой не предпринимает никаких действий. Положим, его могло смутить, что молодчиков трое, а он один, но у него не возникло и мысли о возможности вмешаться. Никаких терзаний, только голые факты. Просто-напросто: «Небеседин завернул в Красный переулок...» Получается, героя нет, ведь герой — хороший он или плохой, — но у него должны быть мысли и чувства. И это самое главное в романе, даже важнее сюжета, которого может и не быть, в чем мы уже убедились на примере модернистского романа.

Остальные персонажи тоже взяты из реальной жизни, и не составляет труда их вычислить: Платон Беседин = Антон Соседин (таким образом якобы обозначился антагонист героя Небеседина; этот антагонист не участвует в действии романа, но его постоянно вспоминают), Ирина Ах Астахова = Арина Ох Астафьева и т. д. Возможно, пройдут десятилетия, и роман Непогодина станет добротным материалом для составителя комментариев. Но если мы уже настроились на документальность, то, может быть, и не стоило упражняться в перекраивании имен? Прием стар.

Что же имеем на выходе? Человек пережил ужасные события, которые к тому же не освещались правдиво, — ему нужно об этом поведать миру. И мир действительно должен узнать все из уст очевидцев. Но при чем тут роман? И романная все-таки премия? Это так и осталось для меня загадкой. Приходится с грустью предположить, что документальная журналистика пошла войной на старый добрый роман и, возможно, уже готова одержать над ним победу.

Дарья Облинова

Джон Уильямс. Стоунер. Перевод с английского Л. Мотылева
М.: CORPUS, 2015.

С романом Джона Уильямса «Стоунер» произошла вполне себе романтическая история. И тут даже непонятно с чего начинать. То ли с того, что с этим романом случился роман у Анны Гавальды, чье имя, указанное на обложке

французского издания книги (она перевела ее), сыграло ту же роль, что играет имя Джоан Роулинг на книгах, изданных по другую сторону Ла-Манша. То ли с того, что написанный в 1965 году и не вызвавший почти никакого отклика в литературном мире «Стоунер», будучи переизданным только в 2003 году, оказался мировым бестселлером и удостоился похвал знаменитых писателей и критиков. Но так или иначе «Стоунера» через сорок лет после того, как он был написан, оценили. Интересно, как к этому отнесся бы сам Джон Уильямс, умерший в 1994 году и признания, соответственно, не увидевший? У меня есть предположение, что никак не отнесся бы. Во всяком случае, Уильям Стоунер, заглавный герой романа, несомненно, наделенный чертами своего создателя, говорит о написанном им много лет назад научном труде вот что: «Да, книга была позабыта и мало кому пригодилась, но какая разница? Вопрос о ее былой или нынешней значимости казался пустым». Но обо всем по порядку.

Джон Уильямс родился в 1922 году в штате Техас в рабочей семье, ушел на войну, не питая никаких патриотических восторгов, вернулся, получил образование, опубликовал роман и сборник стихов, чуть позже стал преподавателем в университете Миссури, литературный сколок которого стал самым важным местом в жизни его будущего Стоунера. Джон Уильямс писал прозу, какую, кажется, к его времени не писал уже никто. Вот, например. «Он родился в 1891 году на маленькой ферме недалеко от поселка Бунвилл посреди штата Миссури, примерно в сорока милях от города Колумбии, где находится университет». И это, когда твои современники — Сэлинджер и Джон Барт, с которым, кстати, за свой следующий (четвертый, он же последний дописанный) после «Стоунера» роман Уильямс разделил Национальную книжную премию.

И вот так, в духе XIX века, написан весь роман. Здесь практически нет места изощренным литературным приемам, сложным нарративным конструкциям, кричащему языку. Потому что это не модернизм, постмодернизм или что-то в этом роде, не литература о литературе (разве что о любви к литературе), это настоящая классика с вечными проблемами — что жизнь проходит, оставляя пустоту, и нечем, по сути, эту пустоту заполнить, некуда бежать от своего одиночества. Сюжет практически совпадает с фабулой. Сын фермеров, не имевших образования, но решивших дать его своему с детства привыкшему к труду сыну, поступает в университет, чтобы учиться на агронома, но, прослушав общий курс английской литературы, понимает, что посвятит себя ей. Вот как описывается этот переломный для всей его жизни момент. «Стоунер вдруг понял, что его пальцы уже не сжимают так сильно крышку стола. Глядя на свои руки, он медленно повернул их; он подивился тому, какие смуглые у него ладони с тыльной стороны, как затейливо вправлены ногти в округлые кончики пальцев; ему казалось, он чувствует, как незримо движется кровь по крохотным венам и артериям, как она, беззащитно и нежно пульсируя, проходит от пальцев во все уголки тела». Вообще остранение — один из самых частых приемов в романе, поскольку именно оно наилучшим образом отражает внутренний мир героя. Как мы узнаем из дальнейшего повествования, жизнь Стоунера в общем-то не сложилась (гибель друга, неудачный брак, загубленная проявленной в неподходящий момент принципиальностью карьера). Поэтому он все больше отрешается от мира, находя удовольствие лишь в работе (он стал преподавателем), которая единственно и наполняет его жизнь смыслом. Неслучайно в конце романа вновь упоминается написанная Стоунером книга

(о латинском влиянии на поэзию Ренессанса) — с одной стороны, как символ напрасных стараний, а с другой — как робкое обещание осмысленности непрекращающегося течения жизни. Стоунера уже нет, а латинские риторы продолжают оказывать влияние на ренессансных поэтов. Джона Уильямса уже нет, а «Стоунер» зажил второй жизнью.

Перевод заново открытого миром «Стоунера» — большая удача для российского читателя. Удивительно только, что, обошедший по числу мировых продаж многие бестселлеры, в России «Стоунер» вышел трехтысячным тиражом, то есть всего на тысячу превышающем первоначальный, 1965 года.

Кирилл Филатов

Елена Макарова. Вечный сдвиг

М.: Новое литературное обозрение, 2015.

Всем известная истина: искусство дает возможность сменить точку зрения на мир, остраивает его, позволяя открывать новые смыслы и помогая жить — или выживать. Проза Елены Макаровой как раз для тех, кому тесно и страшно в реальном мире, кто готов увидеть в привычном что-то новое, сложное, невероятное. «Вечный сдвиг» — это не просто название сборника повестей и рассказов, это художественный принцип. Только заглянув с изнанки, перевернув все с ног на голову, человек способен увидеть настоящую жизнь.

Новая книга Макаровой, писателя, куратора многочисленных выставок и арт-терапевта, выделяется на фоне всего, что есть в современной литературе. Ее тираж — тысяча экземпляров. Кажется, больше и не нужно. Это произведение из тех, что принято называть «для немногих». Плотная, сложная философская проза никогда не привлекала массового читателя.

На обложке натюрморт автора — человеческая сущность отражается в предметном мире. Елена Макарова никогда не пишет «с натуры», она трансформирует облик привычных вещей, изменяет пространство и время. В ее текстах действуют особые законы, не имеющие ничего общего с законами физики. Герои здесь поднимаются в облака, пишут стихи после смерти, общаются с умершими и даже изобретают вечный двигатель — вещь, к слову сказать, никому не нужную. На фабулу повестей и рассказов приходится смотреть сквозь легкую дымку, вглядываясь в персонажей, пытаясь увидеть их лица, понять характер тех, кто противостоит действительности. Автор, сознательно или нет, продолжает традицию писателей, создававших странных героев, живших в мире-перевертыше:

«— Где я? — спросил Федот у советского туриста.

— Соловецкие острова, древний памятник архитектурного зодчества, — отчеканил турист.

— За что тебя? — спросил Федот.

— За высокие показатели в социалистическом соревновании.

„Ни фи́га себе, — подумал Федот, — и за это берут“».

Рассказ «Ни гу-гу» наверняка бы пришелся по вкусу Андрею Белому, будь он нашим современником. Провокации, слезки, загадочные изменения внешности, двуликость героев — все это сбивает с толку и открывает ужас советской действительности. Тема эмиграции, невозможности жить в стране, где строят социализм, — центральная во всем сборнике. Слова об одиночестве и непони-

мании вовсе не выдуманы: в художественный текст Елена Макарова вплетает реальные факты:

«Флюид ностальгии? Ты тщательно прячешь его, загоняешь во тьму, но он вырывается на свет, находит зажженную яркую лампочку под оранжевым абажуром <...>. Нет, ностальгия — это не мотылек. Просто тоска. И вовсе не по родине. По неосуществившемуся».

Другая важная тема сборника — Израиль и его жители. Повествование о девяностолетнем еврейском художнике, о смерти героя с невероятным именем Моисей Фрицевич и другие истории — это философские размышления о смысле существования, о любви и о том, что ждет человека в ином мире. Каждый рассказ — высказывание, после которого стоит многоточие, приглашение к рассуждению, к сотворчеству. Пересказать содержание повестей Елены Макаровой невозможно, как нельзя пересказать стихотворение. «Вечный сдвиг» требует многократного переосмысления, он заставляет ум и фантазию работать в усиленном режиме. Порою возникает ощущение, что текст написан каким-нибудь герменевтом с целью продемонстрировать на практике свое учение. Не случайно заключительный рассказ сборника посвящен Мерабу Мамардашвили.

Тексты Еленой Макаровой не всегда «открываются» и «узнаются». Некоторые сопротивляются тому, чтобы их смысл стал понятным и однозначным, делают его ускользающим, текучим, скрытым. Художественный язык автора лишь кажется простым, за каждым словом — миллионы значений, оттенков. Остается только преодолеть инерцию и выбрать нужное.

Надежда Сергеева

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ. Из цикла «Безымянный полустанок». Стихи	3
ИГОРЬ ЕФИМОВ. Стремление к счастью. <i>Париж, Монтиселло, Вашингтон.</i> <i>Исторический роман.</i>	6
ВАЛЕРИЙ СКОБЛО. Стихи	120
ТАТЬЯНА ЖИДКОВА. Рассказ соседки по палате	122
СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН. Стихи	125

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АЛИ ХАШАГУЛЬГОВ. Стихи. <i>Перевод с игнушского</i> <i>и вступительная заметка Хавы Хазбиевой.</i>	127
---	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

АНДРЕЙ БАБИКОВ. «Дар» за чертой страницы	131
ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Дар. II часть. <i>Публикация, подготовка текста</i> <i>и примечания Андрея Бабикова</i>	157

МНЕНИЯ

ДМИТРИЙ ТРАВИН. Россия на европейском фоне: причины отставания. 12. Как Сталин поменял нам вехи	176
--	-----

ВОЙНА И ВРЕМЯ

ВЛАДИМИР ЖЕНКО. Ленфронт. Весна 1943-го. <i>От ранения до ранения</i>	190
---	-----

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

СЕРГЕЙ НОСОВ. Царство грез. От Андрея Платонова до наших дней	226
ВЛАДИМИР ХОЛКИН. «Солдатам следует жаловаться...» <i>Об одном рассказе Генриха Бёля</i>	234

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

ИГОРЬ СМИРНОВ. Тотем и табу	239
---------------------------------------	-----

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ. О сквозном образе в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»	252
---	-----

БЫЛОЕ И КНИГИ

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Вынырнувшие из тумана	260
--	-----

ХВАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА. Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки.	
ДАРЬЯ ОБЛИНОВА. Всеволод Непогодин. Девять дней в мае.	
КИРИЛЛ ФИЛАТОВ. Джон Уильямс. Стоунер.	
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА. Елена Макарова. Вечный сдвиг	265

CONTENTS

Poetry and Prose

Alexander Frolov. From 'A Nameless Railway Halt.' <i>Poems</i>	3
Igor Yefimov. Pursuit of Happiness. <i>Paris, Monticello, Washington. A historical novel</i>	6
Valery Skoblo. <i>Poems</i>	120
Tatiana Zhidkova. A Story of a Hospital Room-mate	122
Sergei Slepukhin. <i>Poems</i>	125

New Translations

Ali Khashagulgov. <i>Poems. Translated from the Ingush with an Introduction</i> by Khava Khazbiyeva.	127
--	-----

Our Publications

Andrei Babikov. 'The Gift' Beyond Its Pages	131
Vladimir Nabokov. The Gift. Part 2. <i>Prepared for publication with Commentaries</i> by Andrei Babikov.	157

Opinions

Dmitry Travin. Russia against the European Background: Reasons of Lagging Behind. 12. How Stalin Changed Our Milestones	176
--	-----

War and Time

Vladimir Zhenko. Lenfront. 1943, Spring. <i>From Wound to Wound</i>	190
---	-----

Essays and Literary Criticism

Sergei Nosov. The Kingdom of Dreams. From Andrei Platonov to the Present Day	226
Vladimir Kholkin. 'Soldiers Ought to Complain...' A <i>The Böll's short story</i>	234

Philosophical Commentary

Igor Smirnov. Totem and Taboo	239
-------------------------------------	-----

Studies of Belles-Lettres

Grigory Kruzhkov. About the Recurrent Image in the Poem 'Preserve my speech forever for its flavor of misfortune and smoke...'	252
---	-----

The Past and Books

Alexander Melikhov. Emerged from the Fog	260
--	-----

Approve or Disapprove

Yelena Vasilyeva. <i>Tatiana Moskvina</i> . Life of a Soviet Girl. Darya Oblinova. <i>Vsevolod Nepogodin</i> . Nine days in May. Kirill Filatov. <i>John Williams</i> . Stoner. Nadezhda Sergeyeva. <i>Yelena Makarova</i> . Eternal Shift.	265
---	-----

Подписка 2015

Подписку на журнал «Звезда» на территории РФ осуществляют:
агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать»
(подписной индекс на полугодие — 70327, на год — 71767);
группа компаний «Урал-Пресс» (www.ural-press.ru)
ООО «СЗА «Прессинформ» (пинформ.рф)

В Москве можно приобрести любой номер по адресу:
Редакция журнала «Знамя», ул. Б. Садовая, д. 2/46,
тел. (495) 699-80-67

За рубежом подписку осуществляет ЗАО «МК-Периодика»
тел. (495) 672-71-93, 238-46-34, info@periodicals.ru, www.periodicals.ru

В любой адрес РФ, ближнего и дальнего зарубежья можно
заказать отдельные номера журнала (старые и новые)
в редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 20,
(812) 273-37-24, mail@zvezdaspb.ru (Горин В. А.)

Кроме того, можно заказать в редакции книги
(см.: www.zvezdaspb.ru)

Последние издания:

Андрей Арьев. «Жизнь Георгия Иванова»
Яков Гордин. «Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь»
Рид Грачев. «Письмо заложнику»
Регина Дериева. Сочинения. В 2 т.
Сергей Довлатов. «Жизнь и мнения»
А. П. Ермолов. «Кавказские письма. 1816—1860»
Журнал «Звезда». Библиографический указатель 1924—2013. В двух томах.
Юлия Кантор. «Прибалтика: война без правил (1939—1945)»
Вадим Ковский. «Уплывающие берега, или Время вспоминать...»
Федор Кудрявцев. «Повесть о моей жизни»
Геннадий Николаев. «Ожидание свободы». Воспоминания
Владимир Рецептер. «Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта»
Маша Рольникайте. «Наедине с памятью»
Омри Ронен. «Заглавия. Четвертая книга из города Энн»
Омри Ронен. «Чужелюбие. Третья книга из города Энн»
Глеб Семенов, Тамара Хмельницкая. «Говорить друг с другом, как с собой»
Владимир Уфлянд. «Мир человеческий изменчив. Собрание рифмованных
текстов и рисунков пером»
Вадим Шефнер. «Непрерывность». Стихи разных лет
Юлия Эйдельман. «Век иной и жизнь другая»

В следующем номере журнала читайте:

- К 75-летию Иосифа Бродского
- Александр Окунь. Камов и Каминка. Детективно-искусствоведческий роман
- Наталья Роскина. Детство и любовь. Фрагменты будущей повести

Звезда

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

26. V (6. VI). 1799 – 29. I (10. II). 1837

* * *

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828

ISSN 0321-187-8



Роспечатать — индекс 70327, 71767 (годовая)